

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

1998

9

1998

НОВОСТИ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9(881)

Сентябрь, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ — Зачем единый утрачен смысл? Стихи	3
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ — Сочельник. Скрипичный квартет	8
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — Жена Фараона, рассказы	24
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА — Флейтистки бродят по оврагу, стихи	40
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть первая (1974 — 1978)	47

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ЕЛИЗАВЕТА КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА — Тишина, огонь и слово. Публикация и предисловие Т. Емельяновой	126
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

МАРК ФЕЙГИН — Закавказский узел	134
---------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ЖМУ ВАШУ РУКУ, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ!». Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина. Публикация, подготовка текста, комментарии Т. Дубинской-Джалиловой и А. Чернева	156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЛА МАРЧЕНКО — «С ней уходил я в море...». Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования. Окончание	179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР СЛАВЕЦКИЙ — Обратная перспектива. «Амелинский сезон» в поэзии конца века	197
--------------------------------------------------------------------------------------	-----

По ходу текста

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Последняя черта	208
----------------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Павел Басинский. Люди лунного света	214
Алексей Козырев. Частная жизнь «взыскующих»	216
Елена Ознобкина. Библия для женщин?	223
С. Файбисович. Экстаз принадлежности как тип мышления	226
К. Белоцкий. Всплывающая Атлантида	229

Татьяна Касаткина. — I. С. И. Фудель. Наследство Достоевского. II. Сергей Земляной. Улыбающийся Иисус. Русская литература и новозаветное Благовестие. Статья первая	233
Г. Лятев. — Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918 — 1932 гг.	237

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО — Ты записался добровольцем?	240
-----------------------------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	243
Периодика (составитель Андрей Василевский)	245
SUMMARY	256

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОМПОЗИТОРА СОВРЕМЕННОСТИ
АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
БОЛЬШОГО РУССКОГО ПРИЗА «СЛАВА/CLORIA — 98»,
УЧРЕЖДЕННОГО АССОЦИАЦИЕЙ «РУССКАЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА» И ОНЭКСИМБАНКОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА МЕЖИРОВА
С 75-ЛЕТИЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ИНГУ ГРИГОРЬЕВНУ ПЕТКЕВИЧ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА»!
Фрагменты премированной книги Инги Петкевич «Плач по крас-
ной суке» печатались в «Новом мире» (1994, № 6).

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3331 экземпляр журнала «Новый мир».

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

*

ЗАЧЕМ ЕДИНЫЙ УТРАЧЕН СМЫСЛ?

Двое

Короткая поэма

1

Двое еще не стая,
Но понадежней стай...
Я тебя не оставлю,
Ты меня не оставь.

Тьму пережив годин,
Пожив свое с лихвою,
Понял: *один* плюс *один*
Меньше куда, чем *двое*.

В цифре той смыслов столько,
Что захватило дух...
Радостно, гордо, горько
Быть одному из *двух*.

Двое — сперва как счастье
И как печаль потом:
Сразу ведь, в одночасье,
Не разлучась, вдвоем,
Разом, одновременно —
Вряд ли кому суметь...

И потому измены
Нету страшней, чем смерть.

2

Одиночество — нелегкий дар,
Душу нам опустошает дочиста,
И когда сигнал к отходу дан,
Постигаешь ужас одиночества.

В дальний путь меня благослови,
Ощущу в последнее мгновение
Я могущество твоей любви
Как напутствие и откровение.

Прошепчи надежные слова,
Чтобы смог перебороть отчаянье,

Чтобы просветлела голова
У бездонной пропасти прощания...

3

За жизнь держусь так цепко,
Что оторвать нельзя...
И все ж переоценка
Идет всего и вся:

Безделья и работы
И новой старины,
Безверья и свободы
Народа и страны.

И в том чередованье,
Где свет похож на тень,
Нет разочарованья
В тебе, как в первый день.

4

Скверное нынче время,
Подлы его дела:
Сдохло мировоззренье,
Собственность верх взяла.

Покуда мы, как бараны,
Мотались по площадям
И новой волны прорабы
Рай обещали нам,

Прибрали мало-помалу
Всё, что с возу упало,
А также и самый воз
Ударники капитала
Надолго, притом всерьез.

5

И вот в полярности,
В неимоверности,
В жестокой ярости,
В надменной дерзости

Сверхграндиозная
Идет неистово
Продажа воздуха,
Причем нечистого.

6

Но не так страшна разруха,
Хоть без толку в ней сидим,
А разрыв, раздрай, разлука
Каждого с собой самим.

Страх животный всеми движет,
И в раздоре ножевом,
Чтобы выжить, выжить, выжить,
Как бы вовсе не живем.

7

Я себе невыносим,
Зол и бестолков.
Мучает потеря сил
И обилье слов.

Сам себе не угодил
И, обидой сыт,
В стих и в прозу уходил,
Все равно как — в скит.

Только жизнь куда сложнее
Прозы и стиха,
Оттого-то перед ней
Все они — труха...

8

Чтоб, от бесплодного бреда опомнись,
В бездне, во тьме не плутал, не страдал,
Ты мне дана, как маяк или компас,
Как гирокомпас или радар.

Руль и ветрило, мотор и пружина,
Ветер, и топливо, и подзагод...
Всем сверхнадежно вооружила,
Кем бы я был без твоих забот?

Верен годам, лишь тобой осиянным,
И не вернусь к предыдущим годам.
Понял, что ты мне дана талисманом,
Но не пойму, для чего тебе дан...

9

Сегодня мужчины не доблестны,
Сплошь невыносимы и тягостны
Их споры, разборки и комплексы,
Но женщины самодостаточны.

Покуда химичат политики,
Банкиры и киллеры тешатся
И сыпят проклятия лирики,
Россия на женщинах держится.

Эпоха стоит похоронная,
А станет еще позловещее...
Однако семью или родину
По силам сберечь только женщине.

10

Я холил в изгойстве
 Невзгоды свои,
 Твоей даже горсти
 Не стоя любви.

И все-таки силу
 Дарила ты мне.
 За это спасибо
 Вдвойне и втройне,

За счастье средь горя,
 Средь боли утрат...
 Хотя за такое
 Не благодарят...

11

Двое не стая,
 Двое — семья.
 Жаль, что сырая
 Спрячет земля

Нас — врозь и вскоре —
 В чреве своем...
 В этом всё горе,
 Больше — ни в чем!..

12

Но мы еще вдвоем
 По воле волшебства,
 Но мы еще живем,
 Жаль, только *однова*...

Нас, Боже Всеблагой,
 Еще побереги:
 Ведь встречи никакой
 Не светит впереди.

Наводнение

Дмитрию Сухареву.

Наводнение в Днепропетровске!
 По проулкам и по дворам
 Табуретки плывут и доски,
 Подгребают лодки к дверям.

Это у Запорожья воду
 Перекрыли, но все равно
 Добывает себе свободу,
 Как Петлюра или Махно.

Точно новая продразверстка,
План коварного ГОЭЛРО —
И плывет из Днепропетровска
Недограбленное добро.

...Будет всё — и террор, и голод,
Оккупация... А потом
Все страдания вспомнит город
И останется за бугром.

...Что мне отрочество и детство,
Еле брезжущие вдали?!
Мне в том городе нету места,
Да и немцы мой дом сожгли.

Но в бессоннице вижу воду,
Затопившую полкрыльца,
И гребущего на работу
Молодого еще отца.

Зачем

Зачем луна тревожит меня
И не дает уснуть?
А ночь зачем прекраснее дня,
Хотя с нее толку чуть?..

Зачем такое в ней колдовство,
Что сумрак света милей?
Зачем, когда не слышат его,
Безумствует соловей?

Зачем вода, и земля, и высь
Спасают одних себя?
Зачем единый утрачен смысл
И каждый себе судья?

Не оттого ли который век
Беспомощно одинок
И Бога отторгнувший человек
И человека — Бог?



ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ

*

СОЧЕЛЬНИК

Скрипичный квартет

Четверо — трое мужчин и женщина — выходят друг за другом, садятся, под одним скрипит стул, они посмеиваются, переглядываясь, и мужчина подымается, передвигает стул, садится, но стул скрипит, и теперь все смеются, и тот, у которого скрипит стул, и двое других, и женщина смеясь опускает голову, и вдруг скрипит стул у легонького, тоненького, и они снова смеются, и важный служитель как бог из машины на вытянутых руках выносит из кулисы два новых стула и удаляется, и ничто не скрипит, а четвертый что-то шепчет женщине, и та просто падает от смеха как школьница, и говорит прямо в зал — ноты забыл! и уже зал смеется, и даже служитель улыбается, и все ждут.

И наконец они начинают: две скрипки, альт и виолончель...

Но истории не про них.

I. — Роберт! Роберт! — часто слышалось с соседнего балкона.

Хозяина квартиры звали не Роберт. Его звали несколько экзотичнее. Робертом он назвал ворону с перебитым крылом, которую однажды принесла в руках его маленькая дочка.

Сам он был русский человек из Сибири, и родители были сибирские интеллигентные люди, но они почему-то дали ему сложное имя, вернее, даже не имя, а отдаленно напоминающее его производное из нескольких предметов и событий. И он носил имя как крест. Девушкам всегда надо было объяснять, почему его так называли, и он объяснял терпеливо. В столице он стал знаменит, но все равно надо было объяснять про имя уже не девушкам, а взрослым начальственным мужчинам.

Жена, за которой он безнадежно ухаживал институтские годы, вышла за него, когда стало понятно, что он будет знаменит: теперь она в свой черед отвечала на эти глупые вопросы, но потом ей это надоело, и она придумала мужу уменьшительное от некоего дурацкого, но зато реально существующего в мире имени. Многие его так звали теперь, но он сам не любил нового имени, по сути, он все равно был ближе к тому — первоначальному.

Когда его дочка зимою в мокрых варежках — одна шерстяная пестрая, другая кожаная, на байке, но обе на одной ленточке, чтобы не потеряться, — принесла в этих вот варежках тоже мокрую холодную птицу с завешенным ко лбу зрачком, и он взял большую, черную с серым, раненую ворону, и та вдруг встрепенулась и сказала хрипло, что жива, то есть она сказала «кар» задыхаясь, а в переднюю, словно почувствовав неладное, вбежала его изящная жена и замахала руками в ярком шелку, руками-крыльями, и сразу же заметила разные варежки на голубой ленте и позвала из кухни няньку, чтобы отругать за разные варежки, с птицей ей было

и так все ясно, а он вдруг понял, ему принесли друга, жалкого, задыхающегося от боли и несчастья, и, приняв птицу из детских рук, он молча, не ответив на раздраженную фразу жены, унес ее к себе.

Он сам выходил птицу, нянька только советовала невпопад или рассказывала, что у ворон, как у нее, на погоду болят кости, а дочь была крошечная и немного побаивалась, когда Роберт, скосив набок глаза, неловко, но уже весело прыгал по кабинету.

Робертом он назвал его сразу; может быть, если бы его самого звали не так, как звали, он бы и не назвал ворону — Роберт, но тут он с первого же мгновения, когда остался с ним один на один и почувствовал за хрупкими ребрышками лихорадочный стук слабеющего сердца и острая нежность пронзила его, шепнул: «Роберт, мой Роберт!»

Совершенно иная жизнь началась, он спешил домой с забытым чувством; однажды, когда лифт долго не ехал, он взлетел на седьмой этаж даже не запыхавшись, и, поспешно отворив дверь квартиры, едва не толкнув няньку, которая не успела и пожаловаться, что вот лифт опять встал, засмеялся, когда увидел, что и Роберт с той же так ему понятной радостью бежит навстречу, растопырив крылья точно курица.

Вечерами они с Робертом теперь сидели вдвоем, жена любила ходить в гости, нянька с дочкою ложились рано, а ему хорошо работалось в эти спокойные вечерние часы. Роберт наблюдал, ему предстояло жить на земле долго-долго, и он, смежив веки, с отпущенным самою судьбою великодушием терпеливо ждал, когда его друг оторвется от наскучивших обоим занятий и начнет перебирать ему перышки на загревке горячими легкими пальцами.

Но вот однажды нянька, почему-то оглядываясь на дверь комнаты, где еще спала поздно засидевшаяся в гостях жена, сказала:

— Вы дверочку в кабинет поплотнее закрывайте! А то у нас котик, сами знаете, самостоятельный.

Кастрированный кот жены возненавидел Роберта, как положено оскотленному; он вряд ли кого любил, но его одинокая комплексующая душа знала ненависть.

Пробираясь в кабинет в отсутствие хозяина и неслышно, на цыпочках, пройдя по ковру, мерзко пахнущему табаком, он вспрыгивал на огромный письменный стол и часами — уши только подрагивали — наблюдал за птицей. Кот уже давно понял, что это — ох, не воробей, от хвастливой прыти которых сладко шемило под ложечкой, когда на специальном поводке его выводили гулять на просыхающий после зимы тротуар.

А весна уже пришла в город. Измученные горожане перестали ее ждать, и она наступила внезапно: в какой-то один час сам воздух переменялся, заблагоухали по дворам помойки, ученые пудели срывали ошейники, а серьезные мужчины в оранжевых куртках бросились рыть канавы, с остервенением дробя асфальт и вгрызаясь в землю, влажную и податливую после еще недавнего снега.

Возвращаясь домой позднее обычного и по шатающимся деревянным мосткам перейдя одну из таких свежерытых канав, он привычно поглядел на свои окна и по горящей в кабинете люстре (а он просил няньку гасить Роберту свет, если задерживался, как сегодня) решил — случилось непоправимое.

Кот в крови дико выл посреди передней, а в стеклянной зеркальной стене, которую придумала жена и которая была сейчас испачкана кровью и пухом, отражалось белое гневное лицо жены, ее сомкнутые на груди руки.

— Где Роберт? — крикнул он отражению. — Где мой Роберт?

— Твоя поганая ворона здесь больше не живет, — сказала жена. — Я ее выбросила.

— Ты врешь! — Он так громко крикнул, что дочка проснулась, и детский голосок раздался в глубине квартиры.

— Психопат! — сказала жена, и ее лицо сделалось злым и птичьим, а он глупо подумал, что такие птицы, наверное, едят ворон. — Ты совсем обалдел со своим Робертом. Я не хочу жить с этой вороной! Запомни, или Роберт, или я!

И она побежала прочь, хлопая всеми попадавшимися ей по пути дверями. А он только подумал, если жена говорит — «или Роберт, или я», — значит, Роберт здесь и жив, и, даже не поинтересовавшись котом, взбеженным обидою, с лоснящегося меха которого нянька смывала перья, кинулся в кабинет и сразу же увидел Роберта. Тот сидел на подоконнике, и глаза его мрачно поблескивали...

Роберта била мелкая дрожь, и у самого горлышка запеклась яркая алая кровь; это была его кровь, а не кота.

— Сейчас, сейчас я помогу тебе, — засуетился человек, имя которого было так сложно, что неизбежно отделяло его от других людей, но Роберт вдруг сделал сильное движение обоими крыльями, взлетел на форточку и прощально кивнул ему круглою вороньей башкой.

— Подожди! — взмолился человек. — Не улетай! Я так хорошо работаю, когда ты сидишь на той полке и смотришь на меня. Прости, но я чувствую себя человеком рядом с тобой. И потом, я люблю тебя.

— А она? — спросил Роберт. — Она! Я слышал, как она крикнула тебе — «я или он».

Да, вспомнил человек и подумал с тоскою и уже не в первый раз: неужели это и есть та прелестная девочка, которая как наваждение возникла перед мешковатым провинциалом в тот памятный день, когда, высокомерно скользя по таявшему мартовскому снегу в коротеньких замшевых башмачках с тоненькими — сейчас сломаются — каблукками, она прошла мимо него, и он увидел ее лицо с заносчивою линией рта, и серые глаза блеснули холодом, и он удивился, что бывают на свете такие неправдоподобно красивые существа, и совсем не мужская жалость наполнила его готовое любить сердце.

— Не улетай от меня, — тихо попросил человек ворону, и ворона послушалась человека.

...Они долго сидели вдвоем, забившись в угол дивана. Все уже спали, и девочка, и жена, и нянька, и даже кот бросил выть, потому что его рана оказалась пустяковой.

Утром Роберт исчез.

Человек распахнул окно — холодный воздух ударил в лицо — и крикнул:

— Роберт!

— Кар! Кар! — живо ответили ему с высокого тополя, росшего над помойкой, который так любили окрестные вороны. Но Роберта там не было.

Теперь каждое утро, боязливо оглянувшись на дверь, чтобы не увидела жена, он высовывался во двор и звал:

— Роберт!.. Роберт!

Вороны не отвечали ему, потому что привыкли; они деловито прыгали с ветки на ветку и каркали друг дружке.

— Кар! — попробовал сказать и он. — Кар! — получилось похоже.

— Ты совсем спятил! — сказала жена, все-таки оказавшаяся однажды за его спиной.

Внешне их жизнь никак не изменилась с отсутствием Роберта. Вечерами жена по-прежнему уходила, а он сам, торопливо поужинав, шел к себе. Он пытался работать, но все мешало ему: возбужденные крики подростков со двора, бухтенье телевизора, который смотрела нянька, даже тихие шаги кота за дверью. Кот ждал, что его наконец позовут и он пройдет по ковру, сладко мяукнув, прыгнет на хозяйский диван и, запустив в плюш острые коготки, прильнет к нему всем своим кошачьим сердцем.

Но кот не звали, и он сидел за дверью упрямым изваянием или один бродил по темной квартире, прислушиваясь к звукам засыпающей улицы. Кот первым узнавал, когда приезжала хозяйка: задрал хвост, он бежал встречать.

— Ты ждешь меня, — радовалась она, не подозревая о возможном коварстве, и не сняв пальто, сопровождаемая котом, шла в кухню.

Она угощала кота рыбою, а сама, застыв перед холодильником, долго глядела в него, улыбаясь. Наконец, прогремев кастрюлями на всю квартиру, она вытаскивала из холодильника свои любимые холодные котлеты, наливала в стакан соку со льдом, брала пепельницу, с удовольствием закуривала и, пододвинув к себе телефон и не вынимая сигарету изо рта, звонила подруге, у которой только что была.

Однажды под вечер он возвращался домой, усталый, замотанный чувством, и когда перешел канаву, вырытую в апреле, но так и не засыпанную, и уже повернул к своему подъезду, его окликнули. Ему закричали «кар» знакомым дребезжащим голосом: «Кар! Кар!»

И он понял сразу же и крикнул:

— Роберт!

— Кар! — обрадовался Роберт. Он сидел на ветке дымящегося почками тополя, но он был не один. С ним была его подруга, и она тоже сказала застенчиво:

— Кар!

— Кар! — повторил человек. — Кар! Кар! — Получилось похоже.

— Кар! — опять позвали с ветки.

— Роберт, дорогой! — крикнул он. — Кар!

И легко взлетел на ветку и опустился рядом.

...Красные лучи низкого солнца пронизывали город. Теплый воздух поднимался туманом, и сладкое дыхание остывающей земли кружило голову. Начиналась ночь, тополиная, нежная; ночь, в которую распускаются листья тополя.

Эту историю многие рассказывают на свой лад, но я слышу насмешливое контральто, с женскими гортанными руладами, с побрякушечками, которые всегда позвякивали на ее античной шее, и в ушах, и, конечно, на запястьях, потому что, рассказывая, она всегда то опускала, то воздымала руки.

II. Мой отец сразу узнал ее, у ней была особенная походка — не скрыться, и когда она прошла мимо в темной вуали, чтоб не узнал никто, отец узнал по шагам, узнал бесповоротно, испугался, понял — мой дядя, его старший брат Шалва, не знает, что она сюда ходит. Отец еще зачем-то оглянулся посмотреть, как она исчезает в полумраке гостиничного коридора, и вуаль таинственно, слишком таинственно трепещет под шляпой. О, тогда умели носить тряпки! Но шагала она быстро, резко, как сейчас ходят девчонки, был уже восемнадцатый год нового века, и она сама была чуть старше.

— Эта дама часто бывает здесь? — спросил отец у швейцара.

Тот кивнул и сказал, к кому она ходит. Отец был знаком с ним: армянин из Баку, богатый удивительно, такой несостоявшийся русский Рокфеллер, пальцы короткие, но элегантен как бог. И она к нему ходила, а мой дядя Шалва ничего не знал об этом.

Мой дядя был князь. Не такой князь, про которых говорят «князь», и люди улыбаются, мол, у них там все князья; он был настоящий светлейший князь. Вместе с моим отцом их было шестеро детей, четыре брата и две сестры, они все очень дружили между собой, особенно мой отец и дядя Шалва, поэтому, когда отец увидел ее в гостинице, он понял, что не может скрывать это от дяди, они были с дядей как одно, они даже похожи

были больше всех детей. Но еще отец понял — дружба их кончена, если скажет.

Этой ночью мой дядя и отец кутили вместе. Отец сказал:

— Шалва, ты не должен жениться на ней.

Дядя посмотрел на моего отца вот так, дядя понимал, отец что-то знает.

— Все неправда о ней! — так ответил дядя Шалва моему отцу в ту ночь, когда они кутили вместе, и ушел с кутежа.

И женился, конечно.

Между ним и отцом что-то порвалось тогда, и даже потом, когда она, эта женщина, обманула дядю, ничего не восстановилось. Только в тридцатые дядя опять стал писать отцу из эмиграции длинные письма на тонкой бумаге, каждый листик разного цвета, один сиреневый, другой фрез. За эти письма отца и посадили.

Кстати, мой дядя был прав, говоря — все неправда о ней! ведь если женщина одарена красотой и талантом, она сама не представляет, что она такое. А что может понять в этом мужчина?

Но правдой было — когда она шла под венец с моим дядей и на ней была белая вуаль, а не темная, как в гостиничном коридоре, где она скользнула мимо отца по плюшевой дорожке, не заметив его, так спешила, она увидела первого друга моего дяди.

Этот дядин друг был шафером у них на свадьбе, знаменитый артист, соболиные брови, черные кудри, глаза яшмовые. Это потом он стал лысым и толстым, а был тоненький мальчик, играл Ромео. А я забыла сказать — она сама была артистка, но дядиного друга видела только издали. Она вообще мало кого знала. Она была не из очень хорошей семьи. Дело не в том, что они не дворяне — разве это делает женщину аристократкой? — но семья у нее действительно была неважная.

Так вот, она увидела Ромео и влюбилась в него, когда стояла рядом с дядей под белой вуалью и менялась с дядей кольцами.

Дядиному другу она тоже очень понравилась. За свадебным столом он не сводил с нее глаз, он так на нее смотрел — она потом рассказывала, — что она краснела.

У нас в Грузии умеют смотреть на женщину, чтоб она покраснела, и мой дядя умел, но он никогда не смотрел на нее так. Он говорил моей маме и смеялся над собой, рассказывая: он не мог представить, что она устроена, как все женщины, он считал, она — Ангел, он удивился, когда увидел, как она вдруг вышла из спальни и пошла в туалетную комнату. Честное слово, он удивился. Такой был мой дядя! А ведь до нее он легко брал разных женщин.

— И когда я узнал — она не Ангел, а человек, — рассказывал дядя, — я стал любить ее еще больше, потому что она не Ангел, а следовательно, испытывает все страдания, которые испытывают смертные.

После свадьбы они сняли огромную квартиру на втором этаже, окна спальни выходили в сад — она так хотела, а внизу, куда спускалась эта тихая мощенная плитами улочка, была видна Кура — она тоже так хотела. А дядин друг — Ромео — часто бывал у них, и все смотрел на нее, а мой дядя был как слепой.

Она вдруг стала недовольна театром, в котором играла, у нее начались мигрени, и дядин друг предложил дяде позаботиться о ее театральной карьере; они вместе с дядей решили, что она перейдет в другой театр, к его другу. А тут еще революция, война, меньшевики, потом большевики. Мой дядя не был монархистом, его это совсем не привлекало, наверное, потому, что он был царского рода. Политика для него была как игра, он вообще не был игроком, карт не держал в руках, а в эти игры играл. Он был меньшевик, мой дядя, очень известный, и в правительстве не был только потому, что не захотел. Тогда в Грузии многие интеллигенты были меньшевиками, почти все. Например, этот старый артист из Руставели, который сейчас всех игра-

ет, такой важный, был меньшевиком, и его брат, конечно, и вся семья тоже. Но они вовсе не хотели сдать Грузию англичанам, они любили свою страну. А то, что мой дядя уехал и умер во Франции, виновата только она. Мой дядя Шалва был очень честный человек, но она виновата; может быть, даже не она, а просто его любовь к ней. Не знаю.

Так вот, когда победили большевики, мой дядя стал прятаться. Для дяди ужасно было прятаться, но он думал, что его жизнь нужна ей. Дядя не знал, что она уже встретила глазами с его другом.

Дядя стал жить у своей тети. Эта тетя, моя двоюродная бабушка, была бездетной и из детей своей сестры больше всех любила Шалву. Еще маленьким она часто брала его к себе, и он тоже любил гостить у тети. И вот сейчас через много лет он опять приехал к ней.

Тетя всегда жила тихо и незаметно, и место, в котором она жила, тоже было тихим и не менялось с годами, и моему дяде казалось, когда он жил у своей тети, что и в мире ничего не изменилось. Так ему казалось, если бы не газеты, которые приносил мальчик, сын тетиного сторожа.

Кстати, это именно мой отец, хотя холодок пробежал между ним и братом с того кутежа, когда дядя сказал: все неправда о ней! Это именно отец посоветовал дяде приехать сюда.

— Поезжай к тете, Шалва, — сказал мой отец дяде, — хотя у нее в городе все знают, что она княжна и светлейшая, но все как-то забывают об этом. Потом, у нее другая фамилия, и никто не подумает, что она тетя знаменитого Шалвы. А те, кто подумает, наверняка решат, что ты не будешь прятаться у родственников.

И вот дядя Шалва стал прятаться у тети, а время было непростое и летело быстро, и жена дяди Шалвы уже не переглядывалась с его другом, они играли влюбленных в одной пьесе, а после спектакля дядин друг приходил к ней в тот дом на улице с платанами, где окна ее спальни выходили в сад, как она хотела. Они не были идеалистами, как дядя. Когда они стали наконец мужем и женой, они все равно искали чего-то вокруг — он путался с какими-то балеринами, и она тоже спала с кем попало. Но на сцене они умели любить; там у них это получалось гениально; их даже звали в Берлин обоих; я не помню, почему они не поехали, по-моему, правительство не пустило их из-за дяди — он уже был во Франции. Они были очень талантливы оба: она просто как Сара Бернар, и голос необыкновенный.

Я помню, она пела еще для дяди у тети Тасо. Это совсем не та тетя, у которой прятался дядя; об этой тете, уже моей тете, я расскажу еще, какая она была роковая женщина, хотя в жизни у нее был только один мужчина.

Дядина жена пела в тот вечер как ангел, можно было понять тогда, почему дядя Шалва и считал ее Ангелом. Она пела, а мой дядя читал стихи. Я и сейчас вижу, как они — мой дядя и мои тети, отец и мать — сидят в гостиной вокруг черного рояля, высокие узкие окна раскрыты, трамвай слышен, да, тогда ходили трамваи, не так много времени прошло, и я не такая уж старая. Трамвай звонит, и еще звенит люстра, большая люстра со стеклянной бахромой, бахрома тоненько звенит от ветра, когда мой дядя Шалва читает стихи. Это уже после того, как она пела. Дядя сочинял стихи, но он их никогда не записывал, он их просто сочинял.

Вот он приходит кутить, а друзья кричат ему:

— О, Шалва! Читай стихи!

И дядя читает стихи, может всю ночь читать, читает, поет, и никогда своих стихов не записывал, другие иногда записывали, и уже в Париже вышла книжка стихов дяди Шалвы. Это были стихи любовные, в них ничего не было про политику. Но в жизни он не был поэтом, он был политиком, к сожалению. Всю жизнь он ею занимался до старости и без всякого смысла — всю жизнь. И всю жизнь он любил свою жену, хотя она была потом женой другого человека. Он все простил ей, он был верую-

щий. Странно, тогда и политики были верующие. А когда мой дядя прятался у своей старой тети, он любил жену, как какая-нибудь Пенелопа Одиссея, то есть так, как мужчины не любят, весь, целиком. Обычно их всегда что-нибудь отвлекает, они всегда чем-то заняты еще — войной, политикой, или у них профсоюзное собрание. А моего дядю тогда ничто не отвлекало, он был молод и горел любовью, и у него было много свободного времени — большевики уже заняли всю Грузию, бороться с ними было смешно, дядя понимал это лучше других, и потом, жизнь была ему дорога. Я объясняла, почему ему была дорога тогда собственная жизнь. Все она, она, она — эта женщина.

Короче говоря, дядя не знал, что ему делать. Тетя варила ему по утрам кофе, потом он читал газеты, тогда было много газет, и все писали разное, но, я говорила, дядя был гениальный политик, и он заранее знал, кто что напишет, и ему скоро это стало совсем неинтересно, он мельком проглядывал газеты, а внимательно изучал только программу тбилисских театров. Он хотел знать, что сегодня играет она. Живя в этом маленьком городке, он каждый вечер знал, что она играет в Тбилиси, и, когда он, предположим, читал в программе — «Дама с камелиями», он, волнуясь, будто опаздывает на спектакль, быстро ужинал и, поцеловав тете руку, вышел на балкон. Была осень, конец сентября, он брал с собою плед, вино и сигары и, завернувшись в плед, садился в кресло-качалку. Дядя всегда курил только сигары, этому он научился еще при царе, когда жил в Швейцарии в эмиграции. Он сидел в старой тетиной качалке, покачиваясь, курил, и пил вино, и смотрел прямо перед собою. Ему не надо было закрывать глаза, чтобы представить ее; он мог смотреть на что угодно и видеть ее — на горы, на небо, темнеющее над горами, на звезды, на белые при луне листья винограда, — он смотрел и видел ее.

Он знал каждый спектакль жены. Начиная с репетиций видел много раз и помнил ее движения почти так же, как всю ее всегда помнил, а особенно вот такими вечерами, уходящими в ночь, в забытье, в беспмятство. Даже во сне тоска охватывала его. Наверное, это было желание. Сегодня она играла «Орленка» Ростана. В мужском платье, с ярким театральным лицом, отчужденная сценой, публикой, светом, его жена заламывала руки, как было принято тогда: несчастный мальчик, движения подростка, порывистые, трепетные, о, такие женские движения...

— Ты простудишься, милый Шалва, — сказала тетя, выходя на балкон, — сегодня ветер.

— Нет, тетя. Я очень закаленный.

— Ты сейчас похож на маленького, Шалва. У тебя такое лицо, как когда ты был мальчиком и приезжал ко мне. Ты помнишь, Шалва, как тебя привозил наш Иракий? Царствие ему Небесное! Больше таких слуг не будет. Я всегда разрешала тебе посидеть здесь подольше и посмотреть на луну.

— Тетя, — сказал тогда он. Мне тетя рассказывала, у него был такой спокойный голос. — Когда поезд в Тифлис?

Тетя еще ничего не понимала, и она ему сказала:

— Ничего не изменилось в расписании, хотя все изменилось. Странно, но поезда ходят по-прежнему: один утром, другой вечером. Разве ты не привык после ужина слушать его гудок?

И тогда Шалва сказал, еще не вставая:

— Тетя, я хочу уехать на одну ночь. Я вернусь утром.

Тетя заплакала.

Но он поехал в Тбилиси. Его никто не узнал в поезде, наверное, просто не было знакомых. А потом, его друзья еще месяц назад распустили слух, что он бежал в Турцию. Что он такого сделал, почему Турция, почему все так боялись за него? — не помню, я была девчонкой, и такое было время.

Но дядя благополучно добрался до Тбилиси и взял извозчика, и тот привез его на улицу, мощенную черными каменными плитами.

Когда, не доехав шагов ста до своего дома, дядя остановил извозчика, и спрыгнул на землю, и хотел расплатиться, тот не взял денег. Он смотрел на дядю и улыбался во весь рот:

— Я горжусь, что вез тебя этой ночью, князь. Я не верил, когда люди говорили, что ты удрал в Турцию. Я знаю, что ты никогда не покинешь свою землю.

— Никогда, — сказал дядя Шалва, он и вправду так думал.

Он не стал звонить в дверь, он никогда не доверял челяди, и он не знал, кто сейчас служит ей. Он просто перемахнул через забор в сад. Ее окно, окно их спальни на втором этаже, слабо светилось. У дяди было в запасе меньше двух часов: рассвет не должен застать его в Тбилиси.

Если бы дядя знал тогда, что эти два часа — последние два часа в Тбилиси, может быть, он не так провел бы их, может быть, он обошел бы любимые им места своего города, может быть, просидел бы в хинкальной, может быть, поднялся на гору — ему бы как раз хватило двух часов, — и он увидел бы у своих ног ночной Тбилиси, похожий на бабочку, готовую улететь. Но он не знал, а знай, все равно побежал бы к ней.

Он влез на дерево, неслышно прыгнул на балкон, куда выходил светящийся лепесток ее окна, и заглянул в спальню. Она спала, одна, закатавшись в комочек в самом углу их огромной кровати. Ее платье было брошено в кресло. В высоком трюмо отражался ночник из фарфора. Это трюмо я потом сама у нее видела и любила вертеться перед ним; зеркало было красивое, и мне льстило, что она, известная актриса, отличает меня среди сверстниц. Я тогда знала только, что она была женой моего дяди, когда-то давно. Но я не понимала, почему отец не очень любит мои хождения к ней. Мне не сразу все рассказали, рассказали, когда выросла.

Она всегда была немного небрежна в одежде, не сильно, чуть-чуть, чтобы не быть неряшливой. Дяде моему, Шалве, это тоже в ней нравилось, и нравилось, что платья, сняв, бросает где попало. Он любил, не отдавая горничной, вешать в шкаф шелестящие, пахнущие ею платья. Это уже она сама, хвалясь, рассказывала мне, а про эту ночь рассказала его тетя, не моя тетя Тасо, а его тетя, моя двоюродная бабушка. Она жила очень долго.

...Когда часы с амурами пробили пять, женщина, вздрогнув, потянулась в постели. Теперь дядя видел ее лицо, спящее прекрасное лицо его Ангела. Она спала, а дядя мой стоял на балконе и смотрел на нее.

Полтора часа, пока она спала, он смотрел. У него больше не было времени, только полтора часа; он не мог оставаться в городе до рассвета, а то он бы смотрел вечно. Наверное, смешно теперь: он — политический деятель, в стране — революция, в мире — бог знает что, а он залез на дерево, прыгнул на балкон и, прижавшись головой к стеклу, смотрит, как спит его жена. Она спала, усталая, и он пожалел ее.

Счастье, что она была нездорова в тот день, как бывают нездоровы все женщины раз в месяц, и ее Ромео не приехал после спектакля; через много лет, когда она узнала от меня, она впервые от меня узнала, что дядя смотрел, как она спала, и все дворники были подкуплены, все гремели деньгами в шашлычных, она сказала:

— Бог спас его. Я была больна.

Я так и не поняла, кого она имела в виду — дядю Шалву или дядиного друга; может, она думала, дядя был способен убить их, или она все-таки за дядю испугалась, но она стала белая как смерть.

А дядя тогда вернулся благополучно, тетя ждала его, и он тихонько поступался к ней в комнату. Она разрешила ему войти, он присел перед ней как мальчик и поднял лицо, такое счастливое, умиротворенное, тихое и усталое, как после ночи любви. Тетя так и сказала. У тети, моей двоюродной бабушки, никогда не было таких ночей, но она это понимала, может, поэтому и не вышла замуж: она была очень серьезная и трусиха. Когда он

опустился перед ней, тетя поцеловала его в черную курчавую голову, за которой охотились и которая так дорого стоила. Но в Грузии не было человека, способного предать дядю. Тут моя двоюродная бабушка всегда начинала плакать, она вспоминала, что будет дальше, и плакала.

...Через три дня принесли газеты, и дядя прочитал объявление о помолвке своей жены и своего друга. Тогда еще о помолвках писали в газетах. Когда дядя прочел это, он тете ничего не сказал, но она удивилась, что он, допив кофе, не стал по обыкновению курить сигары, а ушел к себе. Потом он не вышел к обеду. Тетя позвала его, но он сказал, что работает. И вечером он все не выходил. Тетя не знала, что и подумать, но у нас в семье не было принято лезть с расспросами в чужую душу, мы сами говорили, если хотели. Ночью дядя не спал, тетя видела узкую полоску света под дверью и слышала его шаги. Но когда она подходила ближе, шаги замирали. Так прошла эта ночь, а утром следующего дня он появился как ни в чем не бывало к завтраку, но он стал седой.

Вот и все.

Потом он отправил зашифрованную телеграмму по одному условленному адресу; к нему пришли на следующий же день и помогли перебраться через границу.

Когда тетя, моя двоюродная бабушка, уже после его отъезда нашла эту газету, она прочла ее от корки до корки, чего ввек не делала, сама не знала, почему прочла, и объявление, конечно, тоже, и она прокляла эту женщину. А дядя уехал навсегда.

Я думаю, его бы простили. Они все, кто занимался в это время политикой, были тифлиссские мальчишки, которые вместе росли, вместе кутили, учились вместе, а потом стали одни меньшевиками, другие большевиками. Когда была новая война, Отечественная, немцы подошли к Кавказу, и некоторые думали, что это — конец, и говорили, что вернутся с немцами грузинские политические эмигранты, дядя был еще жив, и один мой друг, большой партийный человек, сказал мне:

— Если в эту комнату войдут немцы и если за ними войдет твой дядя, я, наверное, не смогу убить его, слишком люблю, но я пушу себе пулю в лоб, потому что зачем жить, когда я увижу, он вошел за ними. Хотя этого не может быть!

Так любили моего дядю многие, только она не любила. А женщины во Франции, говорят, тоже сходили по нем с ума.

У нас в семье — это просто семейное несчастье; вот у меня была тетя, я еще говорила, что расскажу о ней, тетя Тасо мы ее звали, хотя она Анастасия, так вот когда она была девочкой, из-за нее повесился один мальчик. А потом ее любил еще другой мальчик, а она опять смотрела гордо. Она уже тогда была влюблена в своего Нико — в того, кто стал потом ее мужем. А этот мальчик, ну, не тот, который повесился, конечно, а другой, вырос и стал мужчиной, но не женился, все любил нашу тетю Тасо. И через много-много лет, совсем старым, а тетя Тасо и в восемьдесят лет была красавица, старуха красавица, вот говорят — красота уходит как дым — а талант не уходит? — у многих уходит, а красота тоже иногда остается некоторым, и вот старым уже этот мальчик узнал, что тетин Нико умер. И он написал ей письмо, он написал, что хотел бы увидеть ее, просто поговорить или хотя бы писать ей. А она не ответила; она попросила передать ему, что не хочет ничего. И тогда этот старый человек застрелился, как тот мальчик в юности.

Я узнала об этом и заплакала, и я сказала тете:

— О, тетя, какая ты жестокая!

А она говорит:

— Что ты понимаешь в любви, идиотка?..

Не надо было писать концерт для альты! Барток написал и умер. Шостакович десять лет тянул с этим. Написал и умер. А у Чайковского, помните?

В Шестой симфонии. Нет, там не только трубы. Там альты вторят, на низах альты. Альт — это такой инструмент. Опасный. Потусторонний.

К. и Д.

III. В этом городе нельзя жить.

Да, да, под черепичными крышами, где топится камин на нижнем этаже, а в спальне на втором слышно, как идет дождь по игрушечным крышам, выдержавшим тысячи дождей. За окнами — море, живое, то есть живущее кораблями, лодками, яхтами и рыбаками, и рыбами в водах, и птицами в туманах, и пахнущее не только йодом, но и всем тем, что составляет жизнь. Вот крошечный магазин через мощеную улочку — за толстым стеклом витрины барышня поможет вам, угрюмо громоздящему подлежащие на сказуемые, выбрать рамку из темной кожи для фотографии матери; мать прокричала однажды ночью — в этом городе нельзя жить! — и вернулась в страну, которую прокляла, и умерла в блочном доме. А в чайной лавочке веет розами... Скажите, кому нужен букет чайных роз у старинного кассового аппарата с бронзовой русалкой? Неужели никто не купит чая без только что срезанных цветов? А на полках мореного дуба — коробки и коробочки, жестяные и лакированные, китайские и цейлонские, с ароматами лотоса и какой-то мандрагоры, с материка и Океании, фарфоровые чайницы и алые фунтики рождественского чая, перевязанные ленточками. И если заварить щепотку такого чая в кузнецовской кружке, оставшейся от негодующей матери, заварить и выпить, язык сладко жжет корицей. Как мирно глядят окна чужого дома, веками мирного и чужого. За занавесками, приспущенными флагами чужого государства, вечерами угадываются фигуры людей, которые в строгой очередности и всегда по одному он встречает утром, когда ведет на прогулку свою крапчатую собаку, а они целую свору низкорослых и страстных биглей. Он церемонно кланяется даме в охотничьих сапогах, улыбается юнцу, прихотливо меняющему газонные шарфы, едва успевает махнуть рукой херувиму в юбках, пролетающему на велосипеде. Тогда бигли мчатся с лаем и визгом, а их крепкие пятнистые зады возбужденно задраны. И он медлит шаги заранее, когда выходит, вероятно, общий дедушка и патриарх: иссохший мотылек с детскими глазами, и пока собаки, пофыркивая, обнюхивают хозяев и друг друга, услышать: все прекрасно, Слава Богу! — и повторить как эхо — слава Богу, все прекрасно!

Так отчего нельзя жить? Что стоит в тишине между двумя комнатами — его мастерской, куда спускаешься по железной лестнице и думаешь: в подвал, в погреб, в преисподнюю, а там окно в сад, с утра до ночи, с ночи до утра тяжело, отчаянно он бросает краски на холст или корпит у гравировального станка, и город привык к его смурному взгляду из-под век и джинсам, заляпанным масляной краской (но она не привыкнет, никак не привыкнет!), и ее высокой светелкой, где стрекот компьютера и она, щебетунья, с узкими глазами и прямым носиком птицы, а губы подвижны и монахини, если бы не их лукавый изгиб вверх, говорящий, что знает, давно знает то, что медленно открывается ему в тишине, когда они оба трудолюбиво и стойко *расставляют свои сети на пустынном берегу...*

А море приливает и идет в отлив, их дом смотрит на реку, гавань и море. У нее — из добропорядочного и высокого гнезда — достало средств, чтобы это был дом не в рассрочку, а сразу и навсегда, и грамота, прилагавшаяся к купчей, свидетельствует, как старинен дом, и как давно он стоит на земле у моря, и что дом нельзя перестроить, нельзя переложить кирпичи без ведома муниципалитета, потому что, если изменить один дом в городе, может измениться весь город... Но в доме так много места для двоих — для него и нее, для троих — и еще дочери, для четверых — и еще

собаки с шелковой шерстью на загривке и лапах. Щенком ее взяли в приюте: почти спаниель, морда чуть шире, зато глаза — спелые сливы.

Когда море отступает, и песок под ногами застыл как терка, и раковины горят ультрамарином, можно бесконечно идти по твердому, обнажившемуся дну и нюхать водоросли, оставленные океаном, а когда море опять двинется к городу — шагать к берегу за бегущей впереди собакой. От ветра стынет спина, но так ярко зажигаются огни прекрасного города, в котором нельзя жить, так покойно просидеть весь вечер одному в пабе, где лавки из дерева и картинки с парусными судами, а за стойкой еще одна комната, она кажется сперва отражением этой, но потом понимаешь, что не ты, а другой сидит у окна и ест яблочный пудинг после рыжего от колониальных приправ супа. Нет, это уж точно не ты. Безбородый гигант, стриженный как сноп, встает, берет кий и играет сам с собою, и непослушный этой стороне мира белобрысый хохолок на макушке вздрагивает перед каждым ударом, а твоя собака неподвижно глядит в камин, и глаза ее вспыхивают по-волчьи, когда она вместе с треском бильярдных шаров прыдет ушами.

Мы не знаем своей судьбы. И они, человек и собака, не знают: плетутся городской площадью, так похожей на декорацию классического балета, и выходят к автобану...

А он всегда помнил, что автобаны прокладывал Гитлер. Гитлер дал работу рабочим, потому что строил бетонные дороги без светофоров и прямоугольные арки переходов над мчащимися с одинаковой скоростью встречными потоками машин-огней: белых и красных. Сердце обмирало перед этой аннигилирующей гонкой. Как плюс — минус. Как белые — красные. И покинутая страна рыбьей костью вставала в горле. Он ненавидел автобаны, потому что ненавидел Сталина и Гитлера, но без автобанов не было мира, в котором он теперь жил.

...Ночами он поднимался над сумасшедшими трассами, и они, сперва превращаясь в пунктирные линии трассирующих пуль, тонули, гасли в наступающем с востока сумраке облаков. Ему снился повторяющийся опасный сон, в котором был взлет, и нежная рука стюардессы, похожая на руку жены, протягивала горячую от сухого пара салфетку, и он послушно вытирал лицо и разрывал пластиковый пакет с махровыми носками и другой — с темными очками, чтобы спать. Спать во сне. Но он не понимал, кто подает ему так невещественно-определенные предметы, что видна метка авиакомпании по краю салфетки, стюардесса в небе, или она, спящая рядом. Во сне он летел туда, где давно наступила ночь. Сумрак становился еще темнее, когда начиналась *та* земля. Он узнавал ее по остановившемуся в груди вздоху и словно перед смертью — перед невозможностью выдохнуть и проснуться — тянулся к иллюминатору, а видел только плотные спины облаков. Горбясь облака ползли навстречу, и грозовые вспышки дрожали на них отблесками близкого пожара. Там, внизу, гремела гроза, озоновый ветер гнул деревья, мял листья, а здесь, в металлической сигаре, не хватало воздуха. Он задыхался в ремнях, и вдруг, освобождаясь от ремней и самолета, от боли и памяти, даже от собственного тела, свободный, с одним каменеющим глотком воздуха падал на горящие облака. И последнее было — огонь. Он кричал и просыпался...

Отражаясь в зеркале, светлело окно. Она спала. Он боялся разбудить ее, тихо и покойно лежащую на спине, и, вставая с кровати, ему казалось бесшумно, так никогда и не узнал, следит ли она за ним сквозь опущенные ресницы, а если следит, то почему не кликает и от чего проснулась, если не спит, — от его жалкого хрипа на пределе сна или просто скрипнула половица.

Он спускался в мастерскую, включал жужжащую лампу дневного света и тяжело курил натошак, и сыпал пепел на колени, и один потом ехал в

Большой город с висячими разноцветными мостами. Но и в малолюдном курящем вагоне, и кружа портовыми улочками, когда, ломая карандаши о толстую бумагу, покрывал иероглифами рисунков страницы походного альбомчика, знал и помнил — жизнь его рода спокон веку сопровождают пожары. Они крались за семьей по какому-то умыслу. И, спускаясь от отца к деду, от деда к прадеду, путая имена и сроки, он следил, как и куда тянулась огненная колея — горели дома и усадьбы, пузырясь в пламени, обугливались вещи и книги — все уплывало дымом, и дети рождались смуглее и темноглазее, а у него такая беленькая, в нее, дочь. Так думал он, а карандаш чертил: дом, собор, мост, другой собор, другой мост, и прохожий, прохожий, еще прохожий — то, что видели глаза чужака, ложилось под карандаш, становясь двумерным, и опять не хватало воздуха. Мир был двумерным, как в его странных рисунках...

Но что можно объяснить психоаналитику тридцати лет, помешанному на экстр- и интровертах... В поступках — эмоции, в подкорке — ощущения. Что поймет местный доктор с генами, не сожженными пожаром. Выросший в городе, где уличные туалеты сродни домашним, и полотенца благоухают лавандой, и кажется — толкни дверь, а там комната, камин, половички, но ты выходишь к статуе чугунного герцога, который триста лет назад — помни про триста лет! — пролил-таки кровь на эти мостовые и теперь торчит идолом перед ратушей. И ты повторяешь про себя: триста лет! а врач смотрит взыскующе, его кадык, длинные зубы, гороховый галстук выражают внимание. Но что углядит юноша в сумрачном лице мужчины из далекой страны... Не от табачного же дыма, а курит тот одну за другой какие-то бумажные гильзы и не отгоняет дым от лица, так не от едкого же дыма у пациента трескаются белки. Но ученик Юнга выписывает рецепт, ты покупаешь в аптеке таблетки, похожие на пули, и спишь без снов.

В сочельник, когда жена и дочь поехали в Большой город за рождественскими покупками, а беременная собака с отяжелевшими боками лежала у его ног, он услышал внятные шаги. Строгая дама, помогающая по хозяйству, простилась еще в полдень. Он не испугался, подумал, что слышит шаги, которые не слышит собака, иначе она бы давно бросилась с лаем по лестнице, а она спит, только бока раздуваются. С кротостью перед происходящим он продолжал работать, как его собака — спать. Мысль, что шаги могли принадлежать кому-то конкретному, не пришла в голову, да и потом не приходила, хотя в городе многие считали, что тут не просто — уж из такой страны он был. Четыре шага запомнил, но не сдвинулся с места и сделал еще один оттиск, а когда поднял голову, не узнал сада в багровых пятнах, и раскаленный воздух лег ему на плечи.

Хозяева биглей вызвали пожарных, те приехали, казалось, через мгновение, но не смогли потушить огонь. Жена и дочь еще с автобана увидели пылающий факел дома. И сгорело все, все, что он делал здесь, и все, что увез оттуда. Все стало пеплом. Утром в груди выволоченных и выкинутых при пожаре холстов он пытался найти одну уцелевшую картину, но они, еще хранившие форму до его прикосновения, рассыпались в прах.

Он никому ничего не сказал и ничего не взял с собою. У него даже денег не было. Папиросы взял. Единственное, что он получал с родины. И на каждой пачке твердые штрихи знаменитого канала. Стоя у обочины автобана, он поднял руку, согнутую в локте. Салют юного пионера. Грозный «рот-фронт» испанских времен. Здесь не останавливают машин таким жестом, но владелец «форда» не удивился, затормозил и распахнул дверцу. Там, где они попрощались, не было ничего, кроме вересковых холмов, но водитель опять не удивился и ни о чем не спросил молчащего пассажира. Надо ли выпытывать у человека, зачем ему вересковые холмы? Ведь ничего нет лучше, чем идти бесконечной, волнистой, с холма на холм, тропой, то пригибаясь под легкими изгородями или, наоборот, перепрыгивая через них, как смешно прыгала она, когда в другие дни шла с ним безлюдными полями. Изгороди

были, чтобы местные овцы с черными головами и белой шерстью не потерялись, не убежали далеко. Но неужели никто из них не мог перескочить изгородь, или они не хотели догадаться, а жили как жили, смиренно, не бунтуя, готовые к закланию — и Агнец — поэтому...

А запах пепелища тащился за ним, и в горле было сухо и горько.

Только после полудня он увидел монастырь — несколько углых строе- ний вокруг церковки. Бетонная площадка для автомобилей была пуста: в будние дни редкие прихожане навевывались сюда. Длинноногие мохнатые козы смотрели на него сквозь прутья ограды, и черное монашеское платье мелькнуло там, в хлеву... Женщина, родившаяся в той же земле, что он, кормила коз среди вересковых холмов; ей не надо объяснять про город, в котором нельзя жить, но он никого не хотел видеть сегодня.

Он вошел в храм, и тишина Этого Дома обступила его.

И он упал на пол, будто хребет у него переломили. Голова его была в пепле, а копоть пропитала одежды.

— Господи! — крикнул он всем своим рухнувшим сердцем. — Господи! Спаси меня от меня самого!

И заплакал, как плакал маленьким, уткнувшись в колени той, которая, бросив его, уехала умирать. Слезы были горячи и обильны. И он потерял счет времени.

Когда он встал с колен и покинул церковь, солнце клонилось за холмы. Он опять шагал один, и не было в его душе ничего, способного на слова. Душа была пуста, как чистый лист, и мир тоже казался пустынным, да он и был таким на многие мили. Но чувство, что кто-то наблюдает за ним, не покидало его, и он видел себя будто со стороны, немолодого, бородатого, наискось бредущего вересковыми полями, и черномордых овец, шарахающихся от него, видел он этими чужими безвзглядными глазами...

Шофер рефрижератора довез его до окраины города и, уже захлопывая дверцу, крикнул:

— Веселого Рождества!

Он вздрогнул. Вспомнил — сочельник.

В сочельник еще краше город, в котором нельзя жить. Он светится между небом и морем. Рождественский подарок. Лучезарная бонбоньерка в стеклянных шарах и мишуре. Он ждет Рождества как ребенок и поет детскую песенку «Мерри Кристмас» — веселого Рождества!

Завтра у всех будет веселое Рождество. А у него — пост. Глухой. Едва предчувствующий праздник. Пост у него и его родины. Он шел мимо ярких витрин, и даже витрины пели — Мерри Кристмас! И, припадая на левую ногу, он твердил — пост, пост. И вспомнил — человек на посту. Все часовые его родины были на посту, хотя Главный Постовой давно умер. Но и новые не пустят домой поставангардиста, женатого на иноземке.

...Он подошел к своему сгоревшему дому и толкнул дверь. Млечный запах жилья ударил в лицо, перекрыв горькую вонь пожара. Под опаленным потолком, в скудном свете лампочки от временной проводки, у плиты, стояла жена и что-то тихо говорила как пела, помешивая кипящее варево. Дикая мысль, что она сошла с ума, не успела задержаться в нем; легким кивком жена кивнула куда-то вбок, и сразу у его ног раздалось собачье ворчание. На подоткнутом пледе лежала их собака с почти людским выражением умиротворения, хвост ее радостно и часто бился об пол, но она не могла и не хотела встать, потому что щенки — пятеро! он потом пересчитал их — точно как мать, и, приникнув к матери, твердыми движениями передних лапок выдавливали молоко. Жена протянула собаке миску с медовым настоем; та сперва остановила ее руку, но тут же принялась лкать, не своя с них обоих блестящих сливовых глаз.

И он понял, чего не понимал раньше, — он и его семья живы. Даже щенки, слепые мыши с прижатыми к голове ушами из каракульчи, живы. Все живое живо...

Прости меня, хотел он сказать жене, и пойми. Между нами все-таки триста лет!

Но не сказал.

Триста лет было между ними и тридцать три года, но ничего не было между ними, когда она так смотрела на него...

Наутро ударил мороз. Здесь почти не бывает холодов в Рождество, и явление мороза казалось таким же непостижимым, как те шаги, которые он слышал. И чтобы не разорвало трубы, он стал сам разбирать сожженные перегородки и отлаживать временную крышу. Знать бы, что спасает, когда кажется, уже нельзя жить...

Рассказал мой друг. Музыкант.

IV. Когда он был молод и, кичась молодостью, легкостью и даже формой футляра скрипки, бегал на занятия в консерваторию, Москву навестил Великий Скрипач. Любой иностранец мнился чудом, а тут — Маэстро! Купить билет невозможно, и невозможно попасть на белые хоры Большого зала, как обычно ухитрялись консерваторцы, а теперь поймите удивление студента — профессор вдруг остановил его, спешащего коридором: «Хочу, чтобы вы пошли в концерт. Знаю, вы любите музыку!» — и, заговорщицки улыбнувшись, протянул билет.

Старик, верно, понимал — его воспитаннику вряд ли выбиться в солисты, он будет сидеть в оркестре, пусть лучше, да и как сказать музыканту — вы любите музыку! но билет он отдал ему, единственному среди учеников.

Подымаясь по привычной лестнице почтенной альма-матер, бедный школяр не мог отличить свое лицо от других в обширном консерваторском зеркале. Ему, одетому в перелицованный костюм и обутому в чиненные башмаки, Наташа Ростова на первом бале представлялась, он вообще был начитанный ребенок из старой московской семьи, которую одна тащила на себе его мать. Отец погиб на войне... Школяра ошарашила и заворожила нарядная неторопливая толпа: дамы с обнаженными руками, с остро вспыхивающими драгоценностями, в мехах, отливающих то в золото, то в угольную синеву; старухи, но не те, что в мальчиковых ботинках на подагрических ногах бойко топчут мраморные ступени абонементных концертов, нет, знаменитые, сияющие старухи, еще похожие на известные портреты, и, наконец, мужчины — дамам под стать крахмалом сорочек, бабочками, просторными пиджаками, они свободно держались, кивали друг другу — все были знакомы между собой, и он мучительно стеснялся своего одиночества.

А рядом села красавица (бабушка его восхитилась бы — профиль камеи), и вправду профиль камеи, маленькие руки с яркими ногтями сжимают бисерную сумочку, и нога, затянутая в шелк, покачивается совсем близко от юношеских коленок. Женщину окликнули, она обернулась, и волна тлетворного аромата обдала его. Разве смели так пахнуть воспитанные на «Красной Москве» подруги матери или нежно потеющие под мышками однокурсницы?

Но вот на сцену вышел Великий Скрипач.

Он был в летах. Положенная музыкантам одежда не красила его, но шаги человека в мешковатом фраке были так стремительны, так любопытен детский почти взгляд, не взгляд — охват, вбирающий, жадный, что красавица соседка подобралась в своем кресле, а мальчик вжался в сиденье, когда зоркие, неожиданно ледяные глаза скользнули и по его лицу.

Присущим ему — единственным — движением Скрипач привлек к себе скрипку и кивнул пианисту...

Что сказать? Это был Великий Маэстро!

Даже ритуальное покашливание между частями становилось необходимым атрибутом многозвучной мистерии, разыгрываемой под скромным куполом московской ротонды. А в финале концерта вместе со всеми студент бил в ладоши, пытаясь удержать пятящегося к кулисам артиста, но Маэстро был непреклонен. И тут на весь зал поставленным голосом — бис! — потребовала соседка.

Скрипач взглянул на нее почти с негодованием, но увидел — и улыбнулся как обыкновенный мужчина. Переждав аплодисменты, он снова посмотрел туда, где сидела красавица, и на этот раз заметил мальчика с раскрытой партитурой в ладонях. Догадался ли Маэстро, что происходит в отроческой душе, собственная ли неустроенная юность вспомнилась, но мой друг и сейчас утверждает: последнюю пьесу Великий Скрипач играл для него.

Пьеса была незнакома.

А он не только сразу узнал композитора — такая способность поражает дилетантов вроде меня, — он узнал и саму пьесу. Думаете, слышал по радио? Или пластинка? Возможно. Хотя композитор здесь был не в чести, сочинение исполнялось редко, а он, едва семнадцатилетний, ведал наперед каждую ноту. И уже бедному школяру чудилось, что это его неловкие руки освятили бумажный лист с линейным пятистрочием. Что это его вдохновенные каракули выводил смычок гения, замершего на сцене в иступленной стойке сверчка-кузнечика-музыканта. И мальчику показалось (не забудьте, он был так юн) — ему не перенести следующего звука. И тогда Скрипач сделал паузу.

Она длилась мгновение, но жизнь музыкального дитяти, подчиненная одному божку, одной цели: сольфеджио, гаммы, Мазес и Шредик, и нотная папка с завязочками, к ней с детства привыкла его рука, и покупка Моцарта с бабушкой, пересчитывающей монеты в кошельке с кнопочкой, и плачущая мать, когда он стал студентом, — все, будто снятое чьими-то, в Скрипача, глазами, от подружки из школьного хора с меткою зеленки на щеке до старика профессора, Мефистофелем вручившего билет, — вместились в паузу между нотой, которая прозвучала, и той, которую он с таким страхом жаждал...

И потом, мчась любимыми переулками мимо домов разных эпох и стилей, с мемориальными досками в память великих, мимо храма с распахнутой боковой дверью — там еще догорали свечи, он не сомневался в славе и счастье, будущее манило и обещало, вечная неуверенность покинула его, и он шагал бездумно и действительно счастливо, легко ступая большими ботинками, кожа которых была перенасыщена гуталином.

Прошли годы.

Он женился, растил детей, мучился с возлюбленной, смутно напоминая соседку на том концерте, и, как все, маялся суетою, но, зараженный стойким семейным идеализмом, с годами изменился мало, и хотя сидел в оркестре глубоко среди вторых скрипок, по-прежнему любил музыку первую и восторженной любовью. Однажды молодые музыканты (они служили в оркестре, но честолюбие, слава Богу, пустило в них стойкие корни) пригласили его на свой концерт. «Мы играем Моцарта, — сказал тот, кто по праву считался главным у них, — а я попробую исполнить пьесу, она малоизвестна... Хочу, чтобы вы ее послушали!» Он был худенький, в рыжих веснушках, смотрел выжидающе и приветливо. Почему-то мой друг подумал, что это пьеса с паузой. И назвал ее. Ему кивнули, и он пробормотал, что слышал о программе.

Он решил идти один. У него давно была машина, и даже в булочную напротив он ездил на своих не первых «Ладах-Жигулях», а тут пошел пешком. Новогодье близилось. Снег выпал и не таял. Сугробы застыли вдоль спешно обновляемых особняков. И окна в заморских стеклах rispetабельно светились, и бродягу-бомжа он ни одного не встретил, а напротив:

иномарки пробивали снежные колеи, и женщины в шубках спешили и его не замечали, а он, вдыхая запахи замшелого камня, деревянных стропил, особый воздух, навсегда слившийся для него с этим городом, думал, да и не мог не думать, что его жизнь кончается. Впереди пять, десять, может, больше лет, но это не давешние годы, а другие — с болезнями, с немощью, с прощаниями, которые начались. Что остается? Дождаться внуков. Навестить сына, по гранту уехавшего в Канаду. Объясниться с женой. Или с любовницей. И вообще, сколько еще будет концертов? Сколько антрактов? Когда, стоя среди густой толпы оркестрантов, лабух, как и они, во фраке и лакированных туфлях, купленных в Вене, он пьет черный кофе и слушает анекдот неутомимого концертмейстера первых скрипок. Он напроць не запоминает анекдотов, а гастрольные поездки по миру слились в размытую полосу, вроде той, что мелькает за окнами поезда ли, автобуса, если прикрыть глаза, истомленные вчерашним концертом и утренней репетицией. Сколько раз, привычно волнуясь, предстоит ему настраивать свою «амати»? Его абсолютный слух и его скрипка порукою тому, что каждая струна прозвучит точно, и можно будет сыграть всем вместе — *zusammenspielen* — как справедливо обозначают немцы для оркестранта в оркестре. Играем вместе!

Музыкант давно понял: паузы не было в партитуре, ее делал сам Маэстро, но он помнил это место в пьесе, даже во сне, и, глядя, как мальчики играют, а сегодня не получалось слушать музыку иначе, устыдился, что не показал рыженькому паузу.

После концерта он отправился за кулисы, где артисты принимали поздравления, и там, обойдя просторную комнату со сваленными в беспорядке пальто, на подоконнике увидел нечаянно брошенную партитуру. Это была она — пьеса с паузой. Сожаление о несбывшемся было мгновенным, потому что чтение захватило его. Медленно, смакуя каждую ноту, он переворачивал страницы, и партия скрипки оживала. Он уже слышал игру другого — Великого Скрипача и, с трудом подавляя нетерпение, двинулся к паузе вместе с легким дрожанием самого удивительного инструмента мира. Наконец последние такты пропели в нем, и он не заметил, как прозевал паузу.

Его тронули за плечо. Рыженький стоял рядом, вероятно давно наблюдая за ним. Старший поздравил младшего, поведал про паузу, но юноша не поверил. Такт за тактом они скрупулезно проглядели финал и — рыженький оказался прав — не увидели возможности для паузы. Они попросили помочь им знакомого композитора — даром что слава опалила его, но он любил ходить на такие «домашние» концерты — теперь и тот склонил над нотами обычно отчужденное, а сейчас внимательное и даже лукавое лицо. Мало-помалу и другие музыканты, привлеченные странным интересом троих к только что сыгранной пьесе, столпились вокруг, и мой друг рассказал им, что вы уже знаете.

Кто-то сбегал за шампанским. Они говорили. Говорили. Чувство тайной общности охватило и не покидало их, и за полночь, с неизбежностью расходясь в разные стороны, они оборачивались и следили удаляющиеся фигуры друг друга.

Паузы они не нашли.



ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

*

ЖЕНА ФАРАОНА

Рассказы

ПАМЯТИ КАМПАНЕЛЛЫ

В старые времена, когда нешуточным делом было разжиться гаечным ключом десять на двенадцать и следовало ждать неприятностей за политический анекдот, в нашей лаборатории как-то вплотную подошли к синтезу жировой клетки, однако работы уперлись в дефенолантрацетную кислоту. То есть никак мы не могли раздобыть эту самую кислоту, которая вообще употребляется для обработки промежуточных материалов, хотя ее и нужно-то было — литр; и в министерстве мы все пороги пообивали, и справлялись по научно-исследовательским институтам, и на военных заводах искали, и даже пытались заказать ее в Йельском университете, но все наши усилия, как говорится, ушли в песок. Наконец узнаем стороной, что есть такой заштатный городок Мордасов, Сердобского района, Пензенской области, а в нем существует заводец, который, в частности, производит дефенолантрацетную кислоту. Я потом вспомнил, что названный городок фигурирует у Федора Достоевского то ли в «Дядюшкином сне», то ли еще где-то, а впрочем, это обстоятельство никак не отразилось на ходе дел.

Разумеется, в Мордасов послали меня, поскольку у Загадкина безнадежно болела теща, Комиссаровой нужно было срочно делать аборт, а Воробьев как нарочно ждал родню из Курган-Тюбе. С грехом пополам достал я билет по райкомовской брони, собрал свой клетчатый командировочный чемодан, запихнул в авоську вареную курицу, с полдюжины яиц, банку судака в томатном соусе, на которого потом облизывалось все купе, и отправился к месту назначения фирменным экспрессом. Дорогой ничего интересного не случилось; как я забрался на верхнюю полку с книгой в руках, так и читал все время; читал я, кстати заметить, «Город солнца» Томмазо Кампанеллы, хотя велел жене положить в чемодан «Розу ветров», которая ходила тогда в машинописном виде по цене десять целковых за экземпляр. Впрочем, нет: на одной станции я вышел проветриться и немного потолковал с подгулявшим пассажиром, видимо, тоже из командированных; он ко мне ни с того ни с сего подходит и говорит:

— Погода шепчет: выпей и удавись!

Климат наш в тот день действительно распоясался: не то чтобы с неба, а как-то сбоку сыпал колючий, мелкий-премелкий снег, подгоняемый сырým ветром, под ногами хлюпало, сосульки слезоточили, ко всему противно пахло угольной пылью и как будто кирзовым сапогом.

— Хотя я и не еврей, — в свою очередь говорю я, — но если и в Пензе такая погода, то я с вами за компанию удавлюсь.

Пассажир спрашивает:

— Вы, собственно, до Пензы?

— Я, — отвечаю, — собственно, до Мордасова; есть такой населенный пункт.

— Гм!.. — последовало в ответ.

— Доводилось бывать?..

— Даже не знаю, что вам сказать на это: и да и нет...

Вроде бы ничего стоящего внимания не содержал в себе наш мимолетный, необязательный разговор, однако же осталось от него на душе что-то нехорошее, настораживающее, отчасти даже предвещающее беду. Но вскоре это наваждение растаяло без следа, поскольку я снова забрался на свою полку и взялся за «Город солнца», вместо того чтобы упиваться «Розой ветров» ценою десять целковых за экземпляр. Временами я засматривался в окошко, за которым бежали бесконечные сараи, заборы да провода, и, так как нам тогда не полагалось ничего экзотичнее поездки на Сахалин, то я с тоской размышлял о том, что род людской прозябает на довольно скучной планете, что весь-то наш подлунный мир — всё сараи, заборы да провода.

Прибыв в Пензу, я не задержался, а тут же на вокзале сел в электричку и поехал себе в Сердобск. Судя по карте Пензенской области, которую я предусмотрительно прихватил, город Мордасов стоял на реке Хопер, в стороне от железной дороги, не доезжая до Сердобска километров пятнадцати — двадцати. И эта часть моего путешествия не была отмечена чем-либо достойным упоминания, разве что у меня сильно разболелась голова и дорогою я соснул. Но прежде я измерил себе кровяное давление при помощи тонометра, который всегда при мне; давление было в норме, и я с легкой душой заснул.

Просыпаюсь — какая-то станция за окном, а напротив меня сидят двое престарелых попутчиков и едят. Я их спросил:

— Если человеку нужно попасть в Мордасов, ему, часом, не здесь следует вылезать?

Старики переглянулись между собой и сказали:

— Здесь.

Зачем они меня обманули — этого я долго не мог понять. Выходить следовало через две станции, но тогда мне это было, разумеется, невдомек, и я опрометью выскочил на платформу, обнимая свой клетчатый чемодан. С неба уже не сыпало, ветер как будто стих, еще был не вечер, но в воздухе чувствовалось нечто сумрачное, предвосхищающее тоскливый осенний мрак; уже над окошком кассы горел фонарь, и почему-то это безвременное освещение нагоняло особенную тоску. Пустынно кругом, безлюдно, и сердце сжимается, как подумаешь, что вот ты обретаешься невесть где, за многие сотни километров от дома, жены и любимой женщины, а в родной лаборатории товарищи в эту пору пьют чай из электрического самовара, причем Загадкин рассказывает неостроумные анекдоты, Комиссарова вяжет из шерсти шапочку, а Воробьев последними словами поносит родню из Курган-Тюбе...

В кассе никого не было, даром что над окошком горел фонарь. Я дошел до конца платформы, по железным ступенькам спустился вниз, обогнул осиновую рожицу и увидел обыкновенный пристанционный дом, вернее, строение в восемь окон, приземистое, крытое вечным шифером, который местами тронулся зеленцой, и явно поделенное между двумя семьями железнодорожников, так как одна половина здания была выкрашена светло-серым колером, а другая — чем-то похожим на голубой. Четыре окна слева были безжизненны и темны, но четыре окна справа радовали глаз занавесками в мелкий цветочек, из-за которых струился приятный свет. Я обошел это строение справа и обнаружил входную дверь, обитую дерматином, с медной профессорской табличкой, обозначающей имя и фамилию тутошнего жильца; фамилия была обыкновенная — Кузнецов.

Я сдержанно постучал. Кто-то сказал: «Открыто!» — и я вошел. В довольно просторной комнате, за непокрытым столом, на котором стояла

только керосиновая лампа, сидел человек лет сорока и шил. Я попросил прощения за беспокойство, справился у хозяина, как мне добраться до города Мордасова, и ни к селу ни к городу, вероятно от неловкости, пояснил, что в Мордасове меня интересует исключительно дефенолантрацетная кислота. Хозяин внимательно на меня посмотрел и вот что сказал в ответ:

— Всем нужна дефенолантрацетная кислота! — Чего-чего, а такого я от него нимало не ожидал. — Всем нужна дефенолантрацетная кислота, только вот такая вещь: до Мордасова вам сегодня не добраться, потому что регулярного транспорта туда нет. Не пойдете же вы в самом деле туда пешком, да на ночь глядя, да еще по щиколотки в грязи... Вот завтра утром придет на станцию молоковоз, и, как говорится, — счастливый путь.

Поскольку хозяин уж очень меня подивил ответом, я к нему присмотрелся: мужик как мужик, курчавый, лопухий, с передними зубами из нержавеющей стали, которые производили то обманное впечатление, как будто у него на лице гуляет улыбка, а он ее стесняется показать.

— А что, — нерешительно спросил я, — дорога на Мордасов совсем плоха?

— Хуже некуда! — сказал Кузнецов, перекусив нитку. — Это не дорога, а чистая Сибирь! Ни по какой погоде проезду нет! Только я думаю, что это они нарочно...

— Что нарочно? — воскликнул я. — Почему нарочно? И, собственно, кто они?!

— Слушай, мужик: давай я тебя лучше чем-нибудь покормлю?..

Я охотно принял это предложение, тем более что за весь световой день съел только пару крутых яиц. И четверти часа не прошло, как хозяин выставил на стол кастрюлю супа — это была куриная лапша, сковородку картошки с салом (сало было, по всей видимости, свое) и буханку теплого еще хлеба (стало быть, хлеб тут пекли самосильно), и мы с Кузнецовым принялись за еду. Мой визави продовольствовался настолько сосредоточенно, как если бы это было главное дело жизни, и я не осмелился заговорить с ним за обедом, как это вообще водится у людей.

Когда с обоими блюдами было покончено, я сказал:

— Вот что значит — подсобное хозяйство! По крайней мере, в Москву не надо ездить за колбасой...

Кузнецов отвечает:

— Да нету у меня никакого подсобного хозяйства! В доме кошки ободранной и то нет!

— Тогда откуда у вас такая экстренная еда?

— Да всё оттуда же...

— Да откуда?!

— Из Мордасова возом возят: картошку, хлеб, мясо, птицу, пиво в железных банках, вареную колбасу.

— Про пиво в железных банках я даже и не слышал.

— А я его пью и за честь не считаю, как тот же самый медовый квас!

— Квас тоже из Мордасова возят?

— Ну!

Разумеется, мне показалось странным, что какой-то глухой пензенский городок, о существовании которого я не подозревал еще неделю тому назад, снабжается так обильно, что тамошнее начальство подкармливает всю округу, что у них водится пиво в железных банках и даже какой-то медовый квас... Впрочем, по-настоящему удивиться я не успел, поскольку меня что-то стало клонить ко сну; Кузнецов постелил мне на огромном, старинном кованом сундуке, похожем на саркофаг, и в скором времени я заснул.

Продрал глаза я довольно рано, за окошком только-только мутнела мгла. Хозяина дома не было; я подождал его с полчаса, потом подхватил

свой клетчатый чемодан и пошел на станцию встречать обещанный накануне молоковоз. Действительно, в девятом часу утра, когда воздух уже посерел, проявился пейзаж и оконтурились окружающие предметы, к станции, по-утиному покачиваясь на ухабах, подрулил грузовик с цистерной, на которой было написано — «Молоко».

Шофер молоковоза представился так:

— Колян!

Я сказал:

— Как бы мне добраться до Мордасова, Николай?..

— Как добраться... Сядем и поедем! До самого химзавода вас довезу.

— А откуда вы знаете, что мне нужно на химзавод?

— Догадался! — сказал Колян и завел мотор. — Только по пути заедем в одно село. Там у них свадьбу играют четвертый день, так вот нужно забрать, пока живой, начальника ПМК.

— О чем разговор, — согласился я.

Дорогой мы больше молчали; Колян, как и полагается шоферу, таранился прямо перед собой, а я наблюдал заснеженный пейзаж: кособокие поля, пьяную череду столбов, которые заваливались в разные стороны, перелески, синевшие вдаль, редкие полуразвалившиеся строения, — или просто смотрел на дорогу, из тех, что Афанасий Фет называл «довольно фантастическими», то есть на коричневое месиво, змеившееся перед взором и уходявшее, сужаясь, за горизонт. От этой картины веяло сыростью, неприкаянностью, и почему-то все время хотелось закрыть глаза.

До того самого села, где четвертые сутки играли свадьбу, мы тащились приблизительно часа три; село было как село — две улицы сборных домов, выкрашенных светло-зеленой краской, заброшенная церковь, из которой торчали кустики, дом культуры, выстроенный из силикатного кирпича. Свадьбу мы заметили еще издали, по толпе ряженных, которые топтались посреди улицы под гармонь. Подъехали, и только Колян заглушил мотор, как нас окружили пьяные мужики, нарядившиеся в женские летние платья, с криками, с матерком повытаскивали из кабины и насильно — что называется, под белы руки — повели в дом.

Я когда трезвый, то пьяных не люблю; по этой простой причине мне пришлось не по сердцу и свадьба вообще, и в частности хмельные рожи, низкие потолки, обстановка с претензией, загаженные полы, но особенно — тяжелый запах вчерашнего виногрета, злых папирос и свекольного первача. Однако время сердце лечит: один лафитничек пропустил, другой, третий — и дело пошло на лад. Гляжу: ну симпатичные всё физиономии, попадаются даже лица, явно тронутые сильной мыслью, и разговоры у них ведутся о непорядках на молоканке и преимуществах клевера перед люцерной, а не о повышении цен на водку и не о том, что вот баба Маня украла у бабы Фени беремья дров. Потом даже зашел разговор о том, как некий Хорошъянц вывел на чистую воду компанию мошенников и воров.

— Да откуда же они у него взялись?! — недоумевал один из моих соседей, кажется, тот самый начальник ПМК, за которым приехал в село Колян, и при этом изобразил на лице такую уморительную мешанину из вопроса и возмущения, на какую способен хотя и пьяный, но покуда соображающий человек.

— Да, наверное, просочились, сволочи, как-нибудь... — предположил несмело другой сосед. — А так, конечно, откуда у него взялись мошенникам да ворам?!

— У Хорошъянца не забалуешь, — вступил в беседу сосед напротив, — это все же не наш совхоз.

— А что наш совхоз? Наш совхоз идет в ногу со всей страной!..

— Это точно: совсем заворовалась страна, моя бы власть, я бы, наверное, провернул вторую Октябрьскую революцию, чтобы всех этих рвачей по новой прижать к ногтю!

— А что говорит по этому поводу Хорошъянц?

— Хорошъянц говорит: нет такой политической проблемы, решение которой в ту или иную сторону стоило бы одного отрезанного мизинца.

— Да... Хорошъянц — центральный человек, это как дважды два!

Тут я не выдержал характера и сказал:

— Послушайте, мужики! Откуда вы такой антисоветчины набрались?! Страна шестой десяток лет живет святой верой в четвертый сон Веры Павловны, а вы тут разводите злостный либерализм!

Мне сказали:

— А ты молчи!

Как мне сказали, так я на всякий случай и сделал: сижу молчу. Десять минут молчу, двадцать молчу, уже полсвадьбы выходило на двор плясать и опять разобралось по своим местам, уже подали сладкий пирог и картофельные оладьи с яблочным киселем, когда хмель сделал свое дело и у меня приключилось помутнение в голове; отчасти помню, как пел песенку герцога, делал сомнительные комплименты невесте, как свалил горшок с цветами, стоявший на подоконнике, и как меня выводили бить.

Проснулся в тесной, но светлой клетушке, как будто на чердаке; это подозрение мне оттого закралось, что солнце кучно било через экстренно маленькое окно. Первая мысль: кто таков этот загадочный Хорошъянц? Вторая мысль: дефенлантрацетная кислота!

Рядом со мной причудливо храпели, как-то подвывая, два мужика, оба одетые да еще почему-то в резиновых сапогах, прямо над головой висела голая лампочка, справа в стене выделялась дверь. Оказалось, что я и вправду обретался на чердаке, так как за дверью была шаткая лестница, ведущая круто вниз; я спустился, держась за перильца, ибо с похмелья стоял на ногах непрочной, в большой низкой комнате, где мы накануне играли свадьбу, какая-то старушка меня напоила чаем, я выкурил подряд две сигареты и вышел вон.

Солнце стояло уже высоко, жемчужно белели поля окрест, из печных труб там и сям валили густо-серые, какие-то ватиновые дымы, с задов доносились истерические женские голоса, со стороны дома напротив остро несло соляркой — там мальчишка-подросток пытался завести трактор, остервенело, совершенно по-взрослому матерясь. Хлопнула дверь, и появился один из моих товарищей по ночлегу; он прошел мимо, кашляя и давясь, вышел за калитку, приблизился к голубому «уазику», стоявшему у ворот, и, глядя в небо, долго мочился на колесо. Я подошел к нему и спросил:

— Вы, случаем, едете не в Мордасов?

— В Мордасов-то в Мордасов, — отозвался он, застегивая штаны.

— Пожалуйста, возьмите меня с собой!

Мой давешний сосед ничего не сказал в ответ, однако по выражению его спины я понял, что он меня в попутчики нехотя, но берет.

По профессии он оказался зубным врачом, я это за чем-то перво-наперво выяснил, как только мы выехали за околицу, которую символизировал столб с подвешенным к нему билом; затем мы взяли правее, вдоль коровника, зерносушилки и сельского кладбища, утыканного надгробиями из органического стекла, затем вырулили на столбовую дорогу и потащились на второй передаче, то и дело увязая в грязи цвета шоколада, консистенции кислого молока. По сторонам дороги кружили стаи ворон, как-то меланхолически кружили, точно со скуки, от нечем себя занять.

— А кто такой Хорошъянц? — завел я разговор, чтобы тоже как-то себя занять.

— Маг и волшебник, — последовало в ответ. — Вообще он директор химзавода, но прежде всего кудесник, каких еще поискать...

— В таком случае его-то мне и нужно! — отметил я.

Потом мы долго ехали молча, и только однажды зубной врач ни с того ни с сего запел. Сразу за березовой рощей, давно уже голой и как бы в растерянности стоявшей от внезапно грянувших холодов, повернули направо и вдруг увидели на дороге какого-то мужика с распростертыми руками и женщину, сидевшую у обочины прямо в грязи, которая отрешенно и вместе с тем предельно внимательно смотрела на носок своего левого сапога. Зубной врач посигналил, — замечательно, что клаксон у него не гудел, а отчетливо выводил одно неприличное выражение, — но незнакомец не дал дороги, и нам пришлось вдарить по тормозам. Мужик, подскочив к водителскому окошку, стал умолять доставить в медпункт его беременную жену; по его словам, и роды были преждевременные, и медпункт находился на лесопилке, то есть недалеко.

— Как будто я не знаю!.. — с раздражением сказал ему зубной врач. — Я тут каждую бабку-знахарку знаю; не то что медпункт, ведь там у них фельдшером вроде Захар Ильич?..

— Именно что Захар Ильич! — чуть ли не в восторге воскликнул незнакомец и неожиданно сделал ручкой: — Ну, я, мужики, побег! У меня как назло собрание партактива.

Мы на паре с зубным врачом поместили беременную на заднем сиденье, кое-как развернулись и взяли обратный курс.

— Вот сукин сын! — сравнительно добродушно констатировал зубной врач. — Партактив у него!.. А бабы хоть окончательно не рожай!

По дороге на лесопилку я думал о том, что поделявают сейчас наши; Загадкин, может быть, рассуждает о III программе партии, Комиссарова описывает ужасы, связанные с искусственным пресечением беременности, Воробьев опять же клянет свою родню из Курган-Тюбе. Вообще приходится удивляться, как при таком режиме дня наука у нас худо-бедно идет вперед.

Долго ли, коротко ли, приехали мы на лесопилку, которая представляла собой небольшой населенный пункт, разбитый при двух ангарах, сивших ослепительным серебром, дебаркадере, заваленном березовыми стволами, и приземистом бараче конторы, неравномерно тонувшем в грязи на манер терпящего бедствие корабля. Сначала искали медпункт, потом фельдшера Захара Ильича, потом общими усилиями выгружали роженицу и препровождали ее в стационар на две койки, — бедняга тем временем, словно по обету, ни «ох», ни «ах».

Это отчасти странно, но фельдшер Захар Ильич принудил меня остаться, использовав тот предлог, что вся округа четвертые сутки играет свадьбу и некому даже подать воды. Зубной врач укатил в Мордасов, а меня фельдшер послал стерилизовать хирургический инструмент. Я от себя такой покладистости нисколько не ожидал и после хорошенько присмотрелся к Захару Ильичу, полагая обнаружить в его внешности какие-то сверхъестественные черты. Лицо у него, правда, было не крестьянское, породистое, уши предлинные, глаза близорукие и посему точно удивленные, волосы хохолком, но ничего прямо магнетического я в его внешности не нашел.

Через три часа мы с фельдшером приняли лысую девочку, ростом в срок семь сантиметров, весом в два с половиной килограмма, всю какую-то склизлую и сильно похожую на зверька; после этих родов я настолько укрепился в материалистическом мировоззрении, что потом даже подарил фамильную Библию с иллюстрациями Доре соседу по этажу.

— Одной вертливосткой больше, — заметил я.

— В Мордасове нам за это спасибо не скажут, — отозвался фельдшер Захар Ильич. — Потому что Хорошьянц с мужиками всегда справляется, а с бабами не всегда.

— Кстати о Мордасове: как бы туда попасть?

— А вот завтра трактор пойдет до фермы, — ответил Захар Ильич. — От фермы до города, мы считаем, подать рукой.

Ночевал я в стационаре, подле роженицы, на второй койке, поскольку больше было негде заночевать. Молодая мать темноты боялась, и я чуть ли не до утра читал «Город солнца», пока милые фантазии Кампанеллы не вогнались меня в неприятный сон.

Утром, часу в десятом, где-то поблизости зарокотал трактор, и я побежал его ловить, чуть было не забыв свой клетчатый чемодан. Трактор был огромный, голубой, — я, кстати заметить, тогда подумал, отчего это на Руси так любят голубой цвет, — с прицепом, на котором кое-как было навалено сено, спрессованное в брикеты, тракторист был пьян. Поначалу меня смутило это чреватое обстоятельство, но другого способа добраться до Мордасова не предвиделось, и я скрепя сердце насилу залез в кабину, поскольку располагалась она неудобно и высоко.

Тракторист сказал:

— Я с тебя рубль возьму, — это имей в виду!

— Хоть два! — с раздражением сказал я, а сам подумал: у нас ведь как ведется: или ты пьяница, или жлоб, но чтобы и пьяница и жлоб одновременно — такого феномена поискать...

Трактор взревел, прицеп дернулся, и мы отправились в путь, выделывая в грязи несложные кренделя. По той причине, что и мне тракторист не понравился, и я ему, кажется, не понравился, дорогой мы всё молчали; тракторист рулил и посапывал, я смотрел. То, что было вокруг — божеской фабрикации: убеленное ли поле, вздымающееся, точно оно набухло, перелески ли, просвечивающие, как стекло, или холодно темневшая вода небольшой реки, — это как раз умиляло взор, но то, что было человеческих рук дело, на это бы глаза мои не смотрели — такая дрянь. Стоит зачем-то сарай посреди поля с ободранной крышей, торчит у обочины ржавая сеялка, похожая на скелет, подпирает небо вдалеке водонапорная башня и вконец отвращает пейзаж, почти на физиологический манер, как, положим, отвращает желудок испорченная еда.

Тракторист сказал — кажется, сам себе:

— Как бы, ё-мое, окончательно бросить пить?! Прямо хоть в магометанство переходи!

Тут мы повернули налево, за электрической подстанцией опять повернули налево, одолели еще километра два и, наконец, въехали во двор фермы, спугнув компанию совсем молодых бычков. Дальше мне предстояло идти пешком; тракторист бессловесно указал мне тропинку, ведущую к городу, и я из принципа дал ему два рубля.

По словам фельдшера Захара Ильича, идти мне предстояло максимум полчаса. Оставив позади ферму, я какое-то время двигался убитой тропинкой, выходящей перелеском, а затем посреди поля, где стелились едва прикрытые снегом озимые зеленыя, после обогнул пруд, местами позатынувшийся тонким льдом, после тропинка ввела меня в дремучий еловый лес. Неприютным мне показался лес о ноябрьскую пору года: гигантские ели стоят и точно думают, под ногами похрустывает трава, перемешанная со льдом, режет глаз ядерного защитного цвета мох, изредка попадаются мухоморы, высохшие от мороза, и господствует абсолютная, какая-то нездоровая тишина. Час иду таким порядком, два иду, уже и третий час на исходе, а долгожданной панорамы города Мордасова нет как нет. Между тем воздух стал мало-помалу меркнуть, и меня всего передернуло при мысли, что, может быть, мне предстоит ночевать в лесу. Но, слава богу, вскоре я увидел просвет сквозь ветки подлеска и примерно через четверть часа, кажется, вышел на верный путь. Гляжу: поскотина, бревенчатый коровник, компания молодых бычков и голубой трактор стоит с прицепом, навевая все тот же дурной вопрос: отчего это на Руси так любят голубой цвет... цвет ожидания и мечты?

Тракторист, увидя меня, сказал:

— Во, блин, городские! Самостоятельно ни ногой!

Я напыжился, но смолчал.

— Ладно, сейчас доведу тебя до места, только окончательно разгрузусь.

С этими словами тракторист подхватил вилами брикет сена, но поскользнулся и рухнул в грязь. Я про себя отметил: давеча он был еще не пьян, а вот сейчас, хотя он и членораздельно объясняется, — точно пьян.

Как бы там ни было, через самое короткое время мы уже ехали в Мордасов, держа направление на восток. Понемногу наваливались сумерки, которые в ноябре приобретают что-то от нестираного белья, предметы стали темнеть, мутнеть, но небо очистилось, и вдруг прорезалась небольшая, хитро подмигивающая звезда. Тракторист сказал:

— Нам бы только на один вредный мосток ненароком не заскочить...

— Кто же вам мешает его объехать?

— Жизни ты не знаешь, как я погляжу!

Оказалось, что о жизни я точно имею смутное представление, поскольку миновать опасный мосток нам и вправду не удалось; едем, едем, выделявая в грязи несложные кренделя, вдруг что-то хряснуло под колесами, трактор страшно накренился, вздрогнул всем своим металлическим телом и завалился на левый бок.

Я кое-как открыл дверцу кабины, вылез наружу и первым делом ошупал себя всего: голова, конечности, грудная клетка — все было в целости, и я произвел облегченный вздох. Затем я сторожко обошел трактор кругом, и каково же было мое удивление, когда я увидел, что тракторист мирно посапывает, положив голову на переднее колесо. Эта картина меня настолько подивила, что я раздумал его будить.

Уже полная ночь стояла над Сердобским районом Пензенской области, ударил морозец, и грязь под ногами похрустывала, как бутылочное стекло, — то есть следовало позаботиться о поддержании жизни, и я решил развести костер. Откуда только взялось смекалки: нащипал сенца из первого попавшегося брикета, раздобыл валежника у ближайших кустов, нашел в кювете какой-то дрын, высосал из бака немного солярки через шланг от тонометра, развел огонь, сел на корточки и сижу. Пламя костра страшно озаряет взломанные бревна мостка и трактор, похожий на поверженного слона, где-то поблизости ветер завывает в голых ветвях деревьев, иногда доносятся непонятные звуки, похожие на скрип рассохшихся половиц, а я сижу себе на корточках и сижу.

За временем я, разумеется, не следил, но часа, похоже, через два к моему костру присоседился тракторист.

— Негодяй ты! — держась добродушного тона, заметил я. — Пьяная морда и негодяй!..

— Это не я негодяй, — отвечает он, — это такая жизнь!

В свете костра лицо его как-то вытянулось, истончилось некоторым образом даже иконописно, или, может быть, у него с похмелья всегда бывает такое возвышенное лицо.

Я ему сообщил:

— Какие мы сами, такая у нас и жизнь.

— Не скажи. Вот и в Мордасове, и у нас на лесопилке вроде бы одна и та же живет нация — русаки. Только у нас на лесопилке вчера какие-то злопыхатели украли подъемник, а в Мордасове, по слухам, народ валом валит на музыкальные вечера!

— Вот я уже в который раз слышу, что в этом городе творятся какие-то экстренные дела!.. Но что именно там творится — без ста пятидесяти граммов точно не разберешь!

— Это и нам, то есть местным, то же самое — невдомек. Ты не пове-ришь: ведь я в Мордасове даже ни разу и не бывал! И не поеду, хоть ты меня золотом осыпь, принципиально не поеду, потому что, может быть, для меня самое главное знать: не везде такой мрак, как у нас на лесопилке, — и сразу как-то сподручней жить!

— Нет, все-таки интересно, какие именно достижения стали в Мордасове нормой жизни...

— Ну, говорят, например, что у них пиво течет по трубам и у каждого на кухне есть для него специальный кран.

— А еще чего говорят?

— Еще говорят, милиции у них нет, только для вида один гаишник сидит в «стакане» и делает всем рукой...

С этими словами тракторист широко зевнул, потом заморгал-заморгал глазами и через минуту с присвистом захрапел, положи голову на переднее колесо. Была уже глубокая ночь; вероятно, вошла луна, скрытая ломаной линией горизонта, поскольку стало видно, как по черному небу передвигаются дымчатые облака, время от времени налетал сыро-морозный ветер и, что называется, пронизывал до костей, в костре дотлевали ярко-оранжевые головешки, иногда доносился все тот же звук: как будто скрипят разохшиеся половицы, — слева над лесом висела голубая, ясноокая, предутренняя звезда. Заснуть в таких экстренных условиях казалось мне невыносимым, но с течением времени я заснул.

Когда я проснулся, сияло солнце, и на душе сразу сделалось хорошо, хотя давеча я намучился с трактористом, был голоден и продрог. Кстати сказать, тракториста не было: то ли отправился за подмогой, то ли просто-напросто бросил все и ушел. Я минут пять помахал руками, чтобы согреться, подхватил свой клетчатый чемодан и двинулся обочиной вдоль дороги. Снег слепил, грязь была точно каменная, вокруг ни души, и только та развлекала мысль, что далеко-далеко, за многие сотни километров, Загадкин, Комиссарова и Воробьев, проклиная все на свете, давились сейчас в метро.

Солнце стояло уже высоко, когда справа от дороги я увидел деревеньку дворов в пятнадцать, к которой вела не сказать чтобы торная колея. Эта деревня производила впечатление положительно нежилого, словно все в одночасье бежали от какой-то напасти, бросив свои дома. Однако вскоре-таки слышались звуки жизни: где-то тюкали топором, вроде бы радио говорило, вскрикнул и сразу замолк петух. Я приглядел избу, более прочих похожую на обитаемую, отворил калитку, подошел к двери и постучал; долго я стучал, наконец звякнул засов, дверь приоткрылась, и я увидел старушку, которая в свою очередь смотрела на меня недоброжелательно, даже зло.

— Ну чего стучишь?! — спросила меня хозяйка.

— Я, бабушка, хотел только разузнать у вас про дорогу на Мордасов, — ответил я.

— Какая я тебе бабушка, обормот?!

Действительно, при ближайшем рассмотрении старушка оказалась не так стара.

— Ну вот: сразу и обормот!.. Ни «здравствуйте», ни «как поживаете», а в первую голову — обормот...

Дверь захлопнулась, засов звякнул, наступила, как говорится, мертвая тишина. Я еще немного постоял на крыльце, поглаживая волосы на затылке и думая о том, какое иногда встречается вредное старичье, как дверь вдруг широко распахнулась, и я снова увидел хозяйку дома; но вот какое дело: передо мной стояла женщина в годах, симпатичная, улыбочивая, кокетливо поджавшая губки, — одним словом, настолько не похожая на прежнюю фурию, точно она была не она.

— Вот это метаморфоза! — воскликнул я.

Видимо, хозяйке было неизвестно слово «метаморфоза», поскольку на лицо ее легла тень размышления, но когда мы вместе вошли в избу и оказались в уютной горнице, убранной главным образом салфеточками, вырезанными из бумаги, она меня, кажется, поняла и завела небольшую речь:

— Я, по совести говоря, пока с утра таблеточку не приму — прямо не человек! Мне сын присылает из Мордасова такие таблетки, навроде вита-

минов, которые принимаются натошак, чтобы я поддерживала свой стареющий организм. Сын у меня отличный, про свою мать не забывает, прямо золото, а не сын!

И она указала рукой на большой фотографический портрет, висевший на правой стене между пучком какой-то сушеной травки и вышивкой под стеклом: с портрета на меня посмотрел приятный молодой человек, неуловимо похожий на химика Менделеева, во всяком случае, у него было такое же, строго-одухотворенное, профессорское лицо. Это был первый гражданин города Мордасова, которого мне довелось узреть, и облик его, замечу, навевал, с одной стороны, непонятное беспокойство, а с другой стороны, беспочвенные мечты.

Потом мы с хозяйкою пили чай и закусывали яичницей на сметане, причем мой взгляд то и дело упирался в бутылку из-под вина, стоявшую на подоконнике, точно что-то значительное было в этой бутылке из-под вина. Между тем хозяйка подробнейшим образом объяснила мне дорогу на Мордасов, а после, когда мы уже вышли в сени, ни с того ни с сего подарила мне подростковый велосипед. Я был польщен, но, в сущности, попал в сложное положение: по ноябрьской погоде передвигаться на таком сугубо летнем виде транспорта было крайне неудобно, но еще неудобнее было бы отказаться от неслыханного подарка, и, как говорится, рассыпавшись в благодарностях, я приторочил к багажнику свой клетчатый чемодан.

Первым ориентиром по пути в Мордасов был песчаный карьер, откуда начиналась правильная дорога; иду себе не спеша, качу без особых усилий велосипед и размышляю о тайне человеческого сознания: вот велосипед — вещь в моем положении ненужная, даже обременительная, но поскольку он мне достался даром, на душе было как-то содержательно, окрыленно, говоря попросту — хорошо. Или, может быть, это на меня так подействовал пейзаж: справа, на просторе, виднелись три причудливо изогнутые сосны, которые радовали глаз зеленью своей хвои, слева глухой стеной стоял смешанный лес, а впереди вилась коричневая дорога, постепенно терявшаяся в далекой, белесой мгле. Как бы там ни было, но думалось о возвышенном, хотя ногам было холодно, постоянно звенело в ушах и давало о себе знать давно не менянное белье. Но это еще что: Томмазо Кампанелла написал свой «Город солнца», отбывая двадцатисемилетний срок заключения, томясь в подземной тюрьме, сидючи на хлебе да на воде...

Вдруг — точно что-то щелкнуло у меня в голове, включив ослепительное жемчужное освещение, и сами собой родились стихи:

На окне стоит сосуд,
Из него вино сосут...

Это были первые сочиненные мною самим стихи, и я так обрадовался внезапно прорезавшемуся таланту, как, вероятно, не радовался никогда.

Но веселился я недолго: на подходе к песчаному карьере откуда ни возьмись выскочили два мерзавца и отобрали велосипед, предварительно показав мне предлинный столовый нож. Хотя по-настоящему было жалко только тонометра, лежавшего в чемодане, этот грабеж среди бела дня настолько меня рассердил, что я пошел вслед за мерзавцами, строя им дорогой укоризненные глаза. Наконец один из мерзавцев мне говорит:

- Шел бы ты, парень, Христос с тобой.
- Ага! — отвечаю. — Так вы еще и верующие!
- В нашем положении без этого ни ногой.

С этими словами они исчезли; еще минуту тому назад мерзавцы спускались к балочке, заросшей высохшим камышом, и вдруг исчезли, точно давешнее приключение привиделось мне во сне. Я огляделся по сторонам: впереди лежала балочка, слева и справа расстилались заснеженные поля, сзади вилась тропинка, вернее, целая сеть тропинок, которые причудливо путались меж собой. Я выбрал самую торную и пошел; час иду, другой

иду, уже остался позади лес, свежевспаханное поле, небольшая речка, посадки молодой ели, и даже мне попался на пути какой-то заброшенный завод, уже и солнце стало заметно катиться к западу, когда я понял, что окончательно заплутал. Но делать было нечего, и дальше я отправился наугад; одно было хорошо, именно то, что я двигался налегке, — в неведомом направлении, обобранный, голодный, а все-таки налегке.

К вечеру я припелся на ту самую станцию, откуда начались мои скитания по мордасовским местам что-то с неделю тому назад. На платформе было пусто, за окошком кассы тоже было пусто, впрочем, на этот раз я углядел такую заманчивую деталь: над стулом кассирши висел большой фотографический портрет, изображавший мужчину волевой восточной наружности, — ставлю все против ничего, что это был загадочный Хорошьянц!

Кузнецов сидел за столом и шил. Моему появлению он нисколько не удивился, даже ни о чем расспрашивать не стал, а сразу притащил из кухни кастрюлю с супом и сковородку жареных макарон. Вообще отличный мужик был этот самый Кузнецов, я у него потом комнатенку снял с той задней мыслью, чтобы повторить свое движение на Мордасов, отнюдь не имея в виду дефенолантрацетную кислоту. По-настоящему меня волновали тайны социально-экономического порядка, хотя я потом надумал, что, может быть, вовсе не в тайнах дело, а в том, что попутно я приобрел множество свежих навыков, как-то: научился высасывать топливо через шланг, принимал роды, начал писать стихи, и меня даже водили бить.

Я еще трижды ездил в Мордасов, но так в этот заколдованный город и не попал. В последний раз я отправился туда в марте девяносто второго года, когда приказала долго жить наша лаборатория и мне пришлось открыть розничную торговлю мануфактурой; шатаюсь по Сердобскому району Пензенской области, я так насобачился в делах товарооборота, что вскоре сколотил себе порядочный капитал.

ЖЕНА ФАРАОНА

Соня Пароходова десять лет была замужем за бандитом по прозвищу Фараон. Этот самый Фараон начинал как владелец первого на Москве частного кинотеатра, но мало-помалу докатился до уголовщины, поскольку коммерческая жилка была в нем ограничено развита. Соня Пароходова не то чтобы любила своего мужа, а как-то с ним сроднилась за десять лет, что же до странных его занятий, то они представлялись ей не более экзотическими, чем, например, профессия водолаза или деревенского колдуна. А в девяносто шестом году Фараон купил Соне Пароходовой ателье мод, и она, что называется, с головой ушла в собственные дела; через неделю-другую она уже сколотила штат, запаслась по дешевке мануфактурой, в частности похищенной на фабрике «Красный мак», навывисывала женских журналов и пресерьезно принялась делать фронтду одному знаменитому московскому кутюрье.

Как раз утром 24 сентября 1996 года у Сони Пароходовой сочинилась фантастическая модель: комбинированный материал, цвета кардинальские, именно лиловое с малиновым, спина глухая, спереди декольте, спускающееся под острым углом без малого до пупа, а из проймы рукава растут сборенные крылышки, похожие на те, какие бывают у мотылька. Эта модель пригрезилась Соне Пароходовой спозаранку, однако, поднявшись с постели, она не понеслась сломя голову к своему письменному столу, а прибегла к обыкновенным утренним операциям, приятно-мучительным оттого, что у нее перед глазами все стояла фантастическая модель. Сперва она, как была в ночной сорочке, посмотрелась в высокое венецианское зеркало, отражавшее ее всю; посмотреть действительно было на что: Соня

Пароходова отличалась хорошим ростом, отменными пропорциями тела и тонким, точно изнуренным лицом, на котором светились славянские богобоязненные глаза. Затем она приняла ванну и надолго обосновалась у дедовского трюмо; кремы там разные, лосьоны, притирания, ну, самосильный массаж лица, — в общем, мужскими словами не описать, каким именно образом можно с толком провести битых сорок минут, сидючи у дедовского трюмо. Управившись с утренним туалетом, Соня Пароходова выпила первую рюмочку перно — она почему-то всем прочим напиткам предпочитала французскую водку перно, которую называют еще — пастис. Затем она отправилась на кухню готовить кофе; это немудреное занятие превращалось у нее в долгую, кропотливую процедуру, но вот уже по квартире распространился приторный и задорный кофейный дух, Соня Пароходова налила себе чашку гарднеровского стекла и села за телефон. Наступало самое разлюбезное время суток, когда она, потягивая кофе, звонила подругам и по делам.

— Кать, это ты?

— Представь себе, я, — донеслось как-то неверно, точно уж очень издалека.

— Как там у нас дела?

— Только что привезли от Михайлика подкладочный шелк, пуговицы и шифон.

— А что с костюмом для этой мымры?

— Уже петли обметываем.

— Ну-ну.

— Да, еще приходили чинить утюги, но оба совершенно косые, только что держатся на ногах.

— Прогнала?

— А то!

— Теперь самое главное... Ты стоишь или сидишь?

— Стою.

— Тогда сядь. Сегодня утром я придумала фантастическую модель!.. — И Соня Пароходова в мельчайших деталях описала свою фантастическую модель.

— Ну, теперь этот гад у нас не обрадуется! — сказала Катерина, имея в виду одного известного московского кутюрье.

— Кстати о гадах: как у тебя дела с твоим бухгалтером?

— Да никак! Мало того что я его не люблю, у него к тому же сахарный диабет...

Они еще с полчаса поговорили на общеженские темы, наконец Соня Пароходова повесила трубку, закурила сигарету и принялась ходить туда-сюда, понемногу приближаясь к своему письменному столу; хочется заметить, что стол у нее был замечательный, крытый английским сукном, отделанный карельской березой, с балюстрадкой по краям, на толстых витых... вот даже нельзя сказать — ножках, а нужно сказать — ногах; на столе стоял чернильный прибор, гипсовый бюст Наполеона и бронзовая керосиновая лампа под колпаком матового стекла. Итак, Соня Пароходова ходила туда-сюда, и в ней постепенно зрело то чрезвычайно приятное, хотя отчасти и нервное ощущение, которое знакомо только художественным натурам, а именно: как будто вот-вот составится формула счастья, и от этого в животе делается немного щекотно, к рукам приливает горячая кровь и какая-то жилка осторожно пульсирует в голове. Долго ли, коротко ли, она уселась за письменный стол, подогнув под себя правую ногу, открыла баночку китайской туши, раскрыла набор акварельных красок, взяла в руки перо, два раза тяжело вздохнула и принялась за свою фантастическую модель. Поначалу дело двигалось хорошо, но мало-помалу угар прошел, и следующие два часа Соня Пароходова просидела за наброском для проформы, из природной тяги к положительному труду. Вылезши из-

за стола в самом неприятном настрое чувств, она выпила другую рюмочку перно, закусила ломтиком лимона, посыпанным крупной солью, и села за телефон.

— Кать, это ты?

— Представь себе, я, — донеслось как-то неверно, точно уж очень издалека.

— Что-то у меня не получается ничего...

— Ты, главное, не переживай. И почаще вспоминай, чему нас учили в школе: в жизни всегда есть место подвигу, — нужно только, это самое... налегать!

— В школьные годы я училась на круглые пятерки и ходила на босу ногу.

— Ну вот видишь! Как ты была у нас отличница, так ею и осталась, поэтому ты главное — налегай.

— А что с костюмом для этой мымы?

— Она его только что забрала.

— Довольна?

— Не то слово!

— Ну еще бы! Ей на роду написано в дерюжке ходить и веревочкой подпоясываться, а тут ей, можно сказать, Елисейские Поля устроили на дому...

— Вот именно!

— Слушай: а бухгалтер твой не звонил?

— Звонил — а что толку? Он уже третий год только и делает, что звонит.

— Ну, три года — это для собаки много, а для человека считается ничего.

Они еще с полчаса поговорили на общеженские темы, а затем Соня Пароходова вышла проветриться на балкон. Даром что календари показывали конец сентября, погода стояла летняя — хотя и пасмурная, но теплая и сухая. Впрочем, приметы грядущей летаргии уже давали о себе знать: в воздухе чувствовалось что-то сонное, свет был квелым, листья на деревьях потемнели и чуть слышно запахи тленом, на балконе соседнего дома знакомый сумасшедший говорил дикую речь, вытянув правую руку в направлении Тишинского рынка, снегирь сидел на карнизе, хотя снегирям была еще не пора. Вдруг солнечный луч прорезался сквозь сероватую пелену неба и произвел на Соню Пароходову чрезвычайно приятное действие: чувство было такое, как будто вот-вот сама собой составит формула счастья, и от этого в животе делается немного щекотно, к рукам приливает горячая кровь и какая-то жилка осторожно пульсирует в голове. В эту минуту лицо ее осветилось улыбкой, как бы обращенной вовнутрь, и она вернулась к письменному столу.

Через час с небольшим эскиз ее фантастической модели был в общих чертах готов. В связи с этим обстоятельством Соня Пароходова испытала настолько полное удовлетворение, что на радостях выпила целый стакан перно. Затем она села за телефон и принялась раздумывать, кому бы ей позвонить, чтобы поведать про свой успех.

— Кать, это ты?

— Представь себе, я, — донеслось как-то неверно, точно уж очень издалека.

— Что-то у нас телефон плохо работает...

— Завтра велю телефонщикам починить.

— А если и эти пьяные придут?

— Выгоню в шею и подам на их службу в народный суд!

— Теперь суды как-то по-другому называются...

— Хрен редьки не слаще.

— Это, конечно, да.

Они еще с полчаса поговорили на общеженские темы, и в заключение Соня Пароходова пригласила Катерину в один маленький ресторан отме-

тить рождение фантастической модели, но Катерина отказалась под тем предлогом, что с часу на час в ателье должны были доставить лекала, которые Михайлик стяжал у знаменитого московского кутюрье. Повесив телефонную трубку, Соня Пароходова надолго призадумалась, что бы такое ей на себя надеть; в конце концов выбор пал на туфли светло-зеленой замши, строгий костюм из черного кашемира и темно-зеленый шотландский плед.

В четвертом часу дня она вышла из дома, села в такси и покатила в свой маленький ресторан. Шофер ей попался разговорчивый, и дорогой они потолковали о том о сем.

— Неприятная, знаете ли, приходит иногда мысль, — между прочим сказал шофер. — Вот есть, например, такая страна Уругвай, где, наверное, живет много интересных людей, которые обо мне ничего не знают, и я о них ничего не знаю и не узнаю никогда, будто бы их и нет! А ведь это страшно, во-первых, потому, что жизнь как бы прожита не сполна, а во-вторых, потому, что в некотором роде меня тоже нет... — спрашивается, как жить?!

Народу в ресторане не было ни души, и только два официанта в опереточной униформе, казалось, дремали у стойки, подложив под головы кулаки. Соня Пароходова заказала рюмку перно, бутылку шампанского, салат с креветками, венский шницель и клубничное мороженое на десерт. От шампанского на нее напало лирическое настроение и захотелось поговорить.

— Вот если пожилой человек едет в автобусе, — сказала она официанту, принесшему венский шницель, — а ты хочешь к нему обратиться, что ты в таких случаях говоришь?

— Я в автобусах не езжу.

— Ну, предположим, случился такой казус...

— Я бы сказал: отец.

— А в Англии, представь себе, такого слова в заводе нет! То есть слово, конечно, есть, только они его друг другу не говорят.

— А что же они говорят?

— Если ты клиент, то тебе говорят: сэр.

— А если я обслуга?

— Тогда ты говоришь: сэр. А чтобы сказать: «Ты, мать, давай не толкайся», — этого у них нет. И дети английские никогда не говорят незнакомым мужчинам «дядя».

— А кому же они говорят «дядя»?

— Если ты брат отца.

Из ресторана Соня Пароходова вышла в отличном расположении духа; чему в первую очередь способствовало шампанское и милый официант. Кроме того, денек был хорош: солнце едва пекло, но при этом светило так ласково и печально, как в другой раз глядят симпатичные старики; в воздухе не было заметно никакого движения, но почему-то слегка ерошились волосы у прохожих; на бульваре дворники жгли опавшие листья, которые далеко распространяли дух волнующий и пряный, действовавший на психику, как вино. Соня Пароходова медленно шла в сторону Моховой, шурилась на солнце и думала о том, какой в самом деле чудесной выдалась ее жизнь.

Впрочем, в последнее время ей стало являться одно неприятное подозрение: точно покойное, обеспеченное, веселое существование есть что угодно — аномалия, греза, ощущение ощущения, но не жизнь в правильном смысле слова, а настоящая жизнь есть нечто таинственное и грозное, какая-то страшная боль, которая тем не менее завораживает и манит.

Примерно с час Соня Пароходова ходила по магазинам: она купила пару черных лакированных туфель, флакончик духов, лайковые перчатки, набор колонковых кисточек для рисования, коробку шоколадных конфет,

букетик фиалок и бисерный кошелек. Под конец рабочего дня она наведалась в свое ателье мод; поскольку Катерины на месте не оказалось, она рассеянно поглазела, как работают девушки, проверила, аккуратно ли обметаны швы на одном из платьев, выкурила сигарету и вышла из ателье через задний ход.

Было около семи часов вечера, когда Соня Пароходова села в такси и покатила к себе домой. На этот раз шофер ей попался неразговорчивый, она его спрашивает:

— Правда, что скоро опять повысят цены на горючее?

Тот молчит.

Через некоторое время она ему говорит:

— Эти идиоты точно доведут народ до четвертой русской революции!..

Тот молчит.

Воротаясь домой, Соня Пароходова первым делом приняла ванну, надела черное короткое платье чулком и, манкируя опасностью простудиться, вышла проветриться на балкон. Солнце уже садилось на кособокие крыши Козихинских переулков, явственно пахло гарью, напротив знакомый сумасшедший говорил дикую речь, вытянув правую руку в направлении Тишинского рынка, по карнизам расхаживали колченогие сизари. Соня Пароходова печально вздохнула, вернулась в комнаты, налила себе рюмочку перно и села за телефон.

— Кать, это ты?

— Представь себе, я, — донеслось как-то неверно, точно уж очень издалека.

— Телефон ты так и не починила.

— Так мы же затеяли завтра его чинить!..

— А где ты была около семи часов вечера?

— Ездил к Михайлику смотреть настоящие вологодские кружева.

— Ну и как?

— В общем, факультативное зрелище, можно было и не смотреть.

— А этот козел звонил?

— Какой козел?..

— Ну, бухгалтер твой недоделанный.

— Перед самым закрытием позвонил.

— И чего он вообще себе думает?

— Он думает, что я дурочка и меня можно держать на телефонном проводе, как на укороченном поводке. Самое интересное, что замуж за него я в любом случае не пойду.

— Из-за сахарного диабета?

— Нет, я просто замуж для галочки не пойду!..

Они еще с полчаса поговорили на общеженские темы, затем Соня Пароходова повесила трубку и подошла к распахнутому окну. Вечер малозаметно перетекал в ночь: звезды еще не прорезались, но небо уже приобрело тот тяжелый сливовый цвет, который в пасмурную погоду обыкновенно предвещает появление звездной сыпи; было в этом небе нечто гнетущее и одновременно намекающее, и Соню Пароходову опять обуяло подозрение на тот счет, что о человеческой жизни у нее сложилось поверхностное впечатление — по крайней мере, она знает о ней не все. Усилием воли отогнав от себя эту ненужную мысль, она немного походила по комнате, потом села за письменный стол и принялась так и сяк крутить старинную керосиновую лампу под колпаком матового стекла. Немного погода она осторожно сняла колпак, затем отсоединила емкость, полную керосина, подняла ее над головой и всю вылила на себя; в комнате сразу запахло москательной лавкой, и Соня Пароходова поневоле вернулась в детство, в город Ижевск, в двухэтажный мещанский домик, где внизу продавали всякую всячину и в частности керосин. Она взяла в руки картонный спичечный коробок и, чиркая спичками, стала поджигать на себе одежду; то ли

керосин был нехорош, то ли он вообще плохо горел на открытом воздухе, но только ей пришлось извести больше половины картонного коробка, прежде чем ее черное платье нехотя взялось розоватым пламенем, которое производило вонючий дым. Когда уже затрещали волосы на голове, ей подумалось: вот она, другая жизнь, жуткая и неизмеримо значительная уже тем, что она необратимо идет к концу.

Кожу на теле так нестерпимо жгло, что Соня Пароходова не помня себя выбежала на лестничную площадку. Несколько секунд она дико озиралась по сторонам, но потом сознание ее помутилось, она упала на ступеньки и покатилась вниз, уже не думая, а как-то ощущая, что теперь она знает все.



ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

*

ФЛЕЙТИСТКИ БРОДЯТ ПО ОБРАГУ

* *
*

Успокойся, моя дорогая! Поверь — это все как во сне.
Это — вроде делириума: вне себя...

Спи теперь до побудки
золотого архангела. Всадник на белом коне
подберет тебя в памяти твердой и здоровом рассудке.

Это — не самосуд или самоубийство! Не бойся, усни,
не ворочайся в черной постели,
вороша обстоятельства, лица, причины, последствия, дни, —
мы тебя по церквам помянули, по чину отпели...

Спи, родная, забудь... Или вспомни, как в небе парил
дух нездешний, что перышко, средь земнородных видений:
ты ведь так и жила, дорогая, — не зная перил,
и летая из окон, и не замечая падений.

И когда ты шагнула с балкона с геранью в руке,
за которую ты ухватилась, сжимая все туже,
птицы вскинулись разом и вдруг закричали: «Перке?» —
на манер италийский свое «почему? почему же?...».

Март

I

Март. Подземные колокола. Палящие жерла
пушек, возвещающих траур. Дух заупокойных обеден.
Словно на негативе — сам Император-освободитель: жертва
горделивой черни. Он бел и бледен...

О, март, март! Ты лежишь на дряхлых носилках,
небо твое — в переменчивых двусмысленных звездах.
И при них — душа моя, что девочка на посылках,
мечется и вдыхает цареубийственный воздух.

II

Выпускающий птиц все держит их у себя до срока.
Только и прока в поющих раскачивающихся соснах,
да еще эта скачущая по ледяному насту сорока
в одеждах великопостных.

Знаешь ли, так и я, так и я в такую седмицу,
шатаясь по снегам черным, — с каждого бока
на любую сверкнувшую вдруг вдалеке вещьцу
округляю око.

III

О, март, март! Ты намеренно понижаешь высокое,
низкое делаешь еще ниже...

Крепости ледяные
растворяются в мировом океане.
Следы исчезают в месиве, дороги корчатся в жиже.
Дырка в твоём кармане.

И когда начинается великое таянье, половодье,
сдвигаются с мест вековые пласты памяти,
обнажается немощь духа:
разночинство принимается выть на луну,
мается простонародье,
а у прочих — мигрень, инфлюэнца, сплин, обморок, золотуха...

IV

О, март, март! Некому тебя подморозить. Уже не время
сдерживать небесные хляби,
брать высоту с бою:
крепкое твое воронье, сорочье семя
зацепилось: сердце подкармливает его собою.

Но, гоня кровь замерзшую по земле угрюмой,
ужасаясь всему, что она о себе скрывает,
начинает вдруг вопить из глубин: «Царю мой!»
И, бывает, что Царь приходит к нему, бывает!

Танцующая Зоя

Клуб заштатный, край провинциальный
девушке талдычит об одном,
и гудит, как вечер танцевальный,
голова и ходит ходуном.

«Зоя, Зоя, век девичий — краток,
и мечта — пуста, и жизнь — плоха.
У провинциальных танцплощадок
всеу караулишь жениха.

Серенад здесь не поют испанцы
и колец не дарят под полой,
разве что разок тебя на танцы
кликнет Колька с фиксой удалой».

«Эх, — сказала, — что мне с вашей голой
правдой делать, как не бунтовать?
Буду я с Угодником Николой,
с Чудотворцем буду танцевать!»

В новое и белое оделась,
со стены икону сорвала,
закружилась с нею, завертелась,
комнатою в танце поплыла.

И, притопнув, возле шифоньера
встала на мысок — крута, лиха:
«Вот кто мне теперь — за кавалера!
Сам Угодник мне — за жениха!»

И — окаменела вдруг. Икона
у лица. И руки как крючки.
Сам Свяtitель смотрит непреклонно
в узкие безумные зрачки.

Не очнуться. Не пошевелиться.
Глаз не отвести.
Уст не разлепить. Не помолиться:
«Господи, прости».

Сорок дней столпом постыдным стоя,
покрываясь пылью, в седине,
как тебе жених твой, Зоя, Зоя? —
Как тебе вдвоем, наедине?

Черная слепая роговица
порывает с этим миром связь.
Вот тебе и праздник, танцовщица, —
дождалась, добилась, дозвалась!..

...Только стук за стенкой спозаранок.
Только скрип разошедшихся дверей...
Нет, не любит небо самозванок!
Нет, земля не терпит бунтарей!

* *
*

Бес полуденный тебя сманил, иль злоба
дня осеннего, иль бездна, иль звезда,
ты поставил крест на мне — из гроба
шлю тебе посланья в никуда.

Кто ведет тебя, казня, взыскуя,
милая, сражая с высоты?
Где теперь поешь ты «аллилуйя»
и какую мессу служишь ты?..

В сумеречный вьюжный промежуток
за меня, беглянку, помолись.
Вера, безрассудство и рассудок
так темно в тебе переплелись.

Кто теперь ты? Дух моей печали,
тень моей гордыни, черный куст?
На безлюдье — дворянин в опале.
На безверье — ссыльный Златоуст.

Даже Аввакум — и сруб паленый,
Меншиков в Березове на пне.
На безрыбье — кит. Но кит — с Ионой,
с беглецом Ионой в глубине.

* *
*

Здесь уже давно не летают птицы —
только голуби с воробьями пространство тратят.
Здесь соседская дочка мечтает уйти в блудницы —
говорит: у них жизнь интересней и больше платят.

Впрочем, здесь слова перепутаны — словно пакля,
разве что затыкают щели к скончанью века.
И когда потолкаешься с биржевиками — маклер
сам вдруг выглянет из тебя, отгибая веко...

Как легко поддаться на это веденье мер, уловок
и причинно-следственных скреп — эти все сквозные
линии сериалов, маркетингов, маркировок...
Я все буквы угадываю, особенно заказные!

А царевна-жизнь, как пленница чародея,
то корысти ищет, то копит злую сутулость.
И любая синица в руке у нее, немея,
задыхается... Она уже задохнулась!

* *
*

В детстве я боялась смерти в виде будничного
эпизода: наледи на краю колодца
иль иголки швейной с нитью, вдетой в будущее:
спит царевна, спит и не проснется.

День сменялся сумерками грязновато-палевыми,
испарялся охрой из стакана.
Ну а вы — как жили вы? безопасно спали вы ли?
Под какой охраной?

Сны смотрели льстивые, грозные и прелестные,
где расплывчато, туманно и всесильно
звезды, облака над вами — кучевые, перистые,
и земля вокруг — крепка и семижилна.

Мне ж — тончайшей тканью, ожерельем бисерным
жизнь страшна была: вот-вот порвется
от зацепки малой, вдоха, шага, мизерным
ноготком царапается, коготком скребется.

...Молнии обшаривали небеса, пошаливали
их шары, грозились выдать имя.
О напрасной смерти слезы Авелевы
вопиют. Земля полита ими.

Но — познавших немощь собственную, ту еще и
беззащитность, ужас, страх и трепет,
как младенцев, обволакивает облако ликующее:
нежность ранних птиц, блаженства лепет...

* *
*

...То, что скрипки тебе поют о любви, мне — о смерти.
Этот город пленников, пленниц,
где спешат твои золотые часики, а мои — отстали,
как во сне распахнувшийся розовощекий младенец,
спит себе в растревоженном бархатном одеяле.

Спит — и слышит торжественный хор из певцов воскресных.
Видит ангелов — да не может назвать, как ни сложит губы.
А научится говорить — забудет духов небесных,
будет слушать чувства свои — свои скрипки, органы, трубы...

Ночная песня

Когда поют ночные ели
и ветер, пойманный в полете,
я так играю на свирели,
как ты играешь на фаготе.

Как Тот, Кто дух темно и странно
в меня вдохнул, припал устами —
и голос отворил, и раны
искусно зажимал перстами.

...Казалось, жить нельзя... Эпоха
кончается, напрасно бденье...
Но от Его любви и вздоха
опять и ураган и пень!

Так не ищи резона, толка:
флейтистки бродят по оврагу,
а грифель так отточен тонко,
что он царапает бумагу.

Застынь столпом, как новобранец
небесных воинств пред походом,
под славословья дев-тимпанниц
во тьме с серебряным исподом.

Пусть опыт в задубелой шкуре
хрипит и никнет исступленно,
когда из музыки и бури
нас окликают поименно!

Дрожат кусты, поют ступени,
и перехватывает сердце
от этих струн и дуновений,
от этих тремоло и терций!

А посреди всего — на тверди
Архангел золотой трубою
ручается, что и по смерти
они останутся с тобою.

На смерть отца

I

Папа, больше тебе по этой земле не придется
скользить и мерзнуть,
смахивать морозную неживую слезу с ресниц,
шляпу свою смешную на лоб надвигать от ветра,
когда идешь, накрываясь вперед, навстречу ему...

За тебя и за усопшего — сладко, светло молиться:
насыщенный кротостью, ты, наверное, там,
где — страшно сказать — твой ангел и твой Спаситель
и сам Серафим Саровский, которому тебя поручила мать.

За тебя — за смиреннейшего Александра —
я скажу на эту земную боль и неземную красу:
был ты вроде диковинного рододендрона, олеандра
в смешанном этом лесу!

А когда и меня понесут отсюда во гробе,
потерявший руку в великой страшной войне,
ты из белых одежд две руки вдруг протянешь: обе
распахнутся блаженным объятьем навстречу мне!

II

Есть в оркестре такая одна деликатная скрипка:
даже слуху пристрастному и прихотливому еле слышна
и едва уловима, но тайно, пронзительно, зыбко
здесь, под сердцем, поет и поет, не смолкая, она.

Так и ты, дорогой: как бы сам неприметен, стушеван
в оркестровую яму, покрыт партитурой чужой,
только голос твоей драгоценнейшей скрипки грошовой —
что он делает, папа, с моею душой?

...Знаешь, папа! Когда умирает отец, лишь равнина
остается в заступниках и конфидентах. Всю ночь
так по-царски меня утешает, как блудного сына.
И терзает, как блудную дочь!

Аскетические упражнения

Не хочу играть в ваши игры, угадывать ваши буквы.
Лишь свои со своими могут соперничать так, стараться...
Лучше буду сажать на полях монастырских брюкву —
исключительно корнем кверху, по слову старца.

И за то, что бьет меня оторопь, оробь,
и за сердце ленивое, спрятанное в чулане,
я себя достану, столкну в крещенскую прорубь,
вынырну в самом Иордане!

...Я себя поведу, как коня под уздцы, вола — на аркане,
иль как водит цыган косолапого за ошейник,
иль как водит слова язык на уздечке, а не
пустомелет, словно дремучий лес, полевой репейник.

Никогда душа не отыщет родины краше
языка родного, где столько вещей священных
и корней, уводящих в небо, и меда в чаше
для его херувимов пленных!



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(1974 — 1978)

Глава 1

БЕЗ ПРИКРЕПЫ

За несколько часов вихрем перенесенный из Лефортовской тюрьмы, вообще из Великой Советской Зоны — к сельскому домику Генриха Бёлля под Кёльном, в кольце плотной сотни корреспондентов, ждущих моих громовых заявлений, я им ответил неожиданно для самого себя: «Я достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу».

Странно? Всю жизнь мучился, что не дают нам говорить, — вот наконец вырвался — теперь-то и грянуть? теперь-то и пальнуть по нашим тиранам?

Странно. Но с первых же часов — от неохватимой здешней лёгкости? — как замкнулось во мне что-то.

Едва войдя к Бёллю, я просил заказать разговор в Москву. Вот тут я думал: не соединят. А соединили! И отвечает — сама Аля! На месте! И я мог своим голосом заверить её, что — жив, что — долетел, вот, у Бёлля.

А вы? А — вы? (Ну — не растерзали же детей. Но — что там творится в квартире?)

Аля — ясным голосом отвечает. Через бытовые подробности даёт мне понять, что все свои дёма, что гебисты ушли, и — сказать нельзя, но умело намекает: квартира не тронута, вот, мол, дверь чинят. Так понять — что обыска не было?? Это меня поразило! Уж в обыске был уверен, и столько же тайного на столах — неужели не взяли?

Ещё до моего приезда звонила Бёллю Бетта (Лиза Маркштейн) из Вены, и адвокат Хееб из Цюриха, вылетают сюда. Позвонили и Никите Струве в Париж, готов лететь сюда и он. Сразу весь мой Опорный Треугольник, во жизнь! Но я почувствовал, что такой плотности мне не вместить, — и просил Струве лететь сутками позже прямо в Цюрих.

© А. Солженицын.

В журнале «Новый мир» (1991, № 6 — 8, 11 — 12), а затем отдельным изданием (М., «Согласие», 1996) была напечатана книга А. Солженицына «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни». Ее непосредственным продолжением являются предлагаемые главы, написанные осенью 1978 года.

Напряжение, которое держало меня этот долгий день, теперь оборвалось, добрёл до отведенной комнаты и рухнул. А среди ночи проснулся. Дом Бёлля, выходящий прямо на улочку посёлка, был как в осаде: мелькали светá от автомобильных фар, подъездов, разворотов; у самого дома гудела корреспондентская толпа; при открытом, по европейскому теплу, окне слышна была немецкая речь, французская, английская. Они теснились и ждали утренней добычи новостей, какого-то же, наконец, моего заявления? Какого? — всё главное уже сказано из Москвы.

Ведь я и в Советском Союзе почти полную свободу слова завоевал себе. Несколько дней назад я публично назвал советское правительство и ГБ — сворою чертей, рогатой нечистью в метаниях перед заутренней, сказал и о бескрайности беззакония, и о геноциде народов, — что ещё добавлять сейчас? Простые вещи и без того всем известны. (Отнюдь нет?) А сложные — не прессе передать. Как бы я хотел вообще больше не делать никаких заявлений! В Союзе я последние дни частил ими по нужде, обороняясь, — но здесь какая неволя? Да здесь и каждый неси, что хочешь, тут не опасно.

Лежал в бессоннице, в сознании счастливого освобождения, но — и перепутанного разветвления мыслей: что и как теперь делать? да ещё сами вопросы не выдвинулись из темноты, так и не решить ничего.

В эту ночь прилетела Бетта, сердечно встретились. Она переломила моё настроение — вообще не выходить к корреспондентской толпе, до того не хотелось, ну никакого смысла я не видел выставляться как чучело. Убедила, что мы с Генрихом должны выйти, прогуляться по лужку, дать пофотографировать нас, без этого репортёры не могут уехать, прикованы. После завтрака вышли мы с Генрихом, посыпались от дверей вопросы в таком множестве — и пожелаешь, так не ответишь, и всё поразительная дребедень, вроде: что я чувствую в данную минуту? как спалось эту ночь? Не помню, каких-то несколько фраз я провякал. Потом мы с Генрихом медленно прошлись метров сто и назад. Фотокорреспонденты пятились перед нами по неровной земле в безумной тесноте, один пожилой больно упал на спину — жалко его стало, да и всем не позавидуешь в этой работе.

Следующее решение Бетты было, что моей гебистской белой рубашки надолго не хватит. И на марки, сунутые мне от ГБ в самолёте, пошла она и купила в сельском магазинчике случайных две. Я сразу и не смекнул, но та, которую надел на следующий день в дорогу, была в вертикальных серо-белых полосах, как частокол, весьма похожая на форму советских эков в лагерях спецрежима.

Вскоре за тем в доме Бёлля появился и неторопливый, предельно солидный мой благодетель доктор Хееб, плотный, крупнолицый, весьма осанистый. Пока с нами Бетта, мне не надо было упражнять свой немецкий язык, но и ни о чём серьёзном говорить не предстояло. Да толпа корреспондентов опять требовала и требовала меня на выход, фотографировать, спрашивать.

Примчавшиеся со всех концов Европы и через океан — какого заявления ждали они? Я не понимал. Им нужна была всего какая-нибудь мелочь для крупного заголовка: что я исключительно устал или, наоборот, совершенно бодр? что я чрезвычайно рад оказаться в Свободном Мире? или что мне очень понравились германские шоссе́нные дороги? Вот и всё, и дальняя поездка каждого из них оправдалась бы. Но, только что из рукопашной, не мог я, если б и понял, их так развлекать.

А молчанием моим — они оказались крайне разочарованы.

Так — с первого шага мы с западной «медиа» не сдружились. Не поняли друг друга.

Тут приехал из Бонна вчерашний знакомец, встречавший меня от германского МИДа, господин Дингенс. Сели в светлой гостиной за стол, но по торжественной европейской привычке у жены Генриха Аннемарии на столе горело и несколько красных свечей. Дингенс привёз мне временный краткосроч-

ный немецкий паспорт, без которого нельзя было существовать, а тем более двигаться. И официально, от правительства, предложил, что я могу избрать местом постоянного жительства Германию.

На минуту я заколебался. Такого плана у меня не было (в задумке была Норвегия). Но Германию — я любил. Наверно оттого, что в детстве с удовольствием учил немецкий язык, и стихи немецкие наизусть, и целыми летними месяцами читал то сборник немецкого фольклора, «Нибелунгов», то Шиллера, заглядывал и в Гёте. В войну? — ни на минуту я не связывал Гитлера с традиционной Германией, а к немцам в жаркие боевые недели испытывал только азарт — поточней и быстрее засекают их батареи, азарт, но нисколько не ненависть, а при виде пленных немцев только сочувствие. Так и жить теперь в Германии? Может быть, это и было бы правильно. Но грезилась Норвегия, а пока-то, пока-то вот сейчас — ну конечно в Цюрих, и главное, о чём два дня назад и подумать не мог: ведь недописанный «Октябрь Шестнадцатого» так был скуден подробностями ленинской жизни в Цюрихе, ничего ведь позаочью не представишь, — а теперь сам, вот, хоть завтра увижу?

С благодарностью, не наотрез, но пока отклонил.

Посидели сколько-то с Бёллями, не успели никакие мысли наладиться — снаружи известие: приехал и хочет меня видеть Дмитрий Панин с женой (со второй женой, с которой он эмигрировал, я её не знал). Я изумился: да ведь он же в Париже? с какой же лёгкостью так сорваться — и сразу перелететь? и не осведомить заранее? Да представляет ли он всё стеснение моего духа и времени сейчас?

Но это был Митя Панин, мой лагерный друг, «рыцарь Святого Грааля», надо было его знать! Лет пять назад читал я рукопись его философской работы, как понять человечество и как его спасти. Допытывался у него: а — с чего же начать? Что именно делать *сейчас*? Но ему всегда была важна только законченность конструкции мировоззренческой, а практика? — это мелкое дело, это сделает кто угодно второстепенный. (Неотчётливое ощущение реальности и возможных движений в ней. Так, в 1961 он резко осуждал, что я дал «Ивана Денисовича» в «Новый мир» и тем приоткрыл своё подполье: надо было продолжать таиться в закрытие.) Спасение нашего народа от коммунизма? да очень простое: надо убедить Запад дать *общий слитный ультиматум*: откажитесь от коммунизма или мы вас уничтожим! — вот и всё. И советские вожди несомненно капитулируют. (Я поднял его на смех.) Недоработка лишь в том, твёрдо видел он, что западные страны — в расстройстве, не действуют в одном строю, вот и де Голль безрассудно отъединился от НАТО. Чтобы их сплотить — надо действовать через Папу Римского («Крестовый поход!»). Два года назад Митя и взял на себя, так и быть, практическую эту задачу: он сам убедит Папу Римского! для этого вместе с новой женой выехал по её израильской визе. И — был-таки принят Папой. Увы, Папа не усвоил такого прямого и простого образа действий. Тогда Митя стал готовить почву сам, издал книгу «Записки Сологодина» (его фамилия в «Круге первом») и ездил по Европе с презентациями её и с афишами, где с малого фото была увеличена наша с ним обнимка по плечам. Лекции были призывно-боевыми, всем безотлагательно подниматься и сплываться против коммунизма, — но неразумные европейцы откликались вяло.

Часть из этого я знал ещё в СССР по левым письмам и газетным вырезкам, остальное он досказал мне теперь. Мы присели с ним в первой комнате, а жена его перешла в гостиную, к красным свечам и нашей остальной компании. Так вот с чем приехал Митя: немедленно объявить и продемонстрировать перед этим скопищем прессы наш с ним Блок и Союз против коммунизма, насмерть. (Распределение обязанностей он всегда понимал и писал мне так: ты — стремительный фрегат с расцветенными парусами, а я в нём — трюм идей, арсенал, вместе мы будем непобедимы!) Боже, как это не вмещалось не только в мои первые часы прилёта, не только в мои усилия осваиваться в новом положении, но в простое же человеческое жизненное понимание: ну, кто

же так чего-нибудь добьётся? ну, только на смех себя выставить. Нет! Митя этого не понимал. Бесплезно прошли все мои доводы, он был больно ранен моим отказом, забрал жену и уехал в обиде, если не в гневе.

А тут новый вызов: приехал и просится ко мне Янис Сапиет из русской секции Би-Би-Си (известный всем слушателям как «Иван Иваныч») — ну как его не принять? И — теплейший, милейший оказался человек, и голос какой знакомый издавна. Уговорил он меня записать тут же интервью — да ведь для советских слушателей, и в самом деле надо. Записал (а что — не помню.)

Мой паспорт на руках, можно бы и ехать, не утомляя больше Генриха. (Как бы не так! весь мир узнал, что я у него, — и теперь почти месяц будут литься сюда телеграммы, письма, книги — и его секретарю труд регистрировать и всё пересылать в Цюрих.) И Бетта, и Хееб думали, конечно: лететь. Германию, значит, и глазком не посмотрим? А нет ли подходящего поезда? Нашёлся: завтра утром сядем в Кёльне и ещё засветло будем в Цюрихе. Великолепно.

Утром рано простились с гостеприимными Бёллями, поехали автомобилем. (А их — всё ещё стояло несколько десятков в узких улицах посёлка, теперь все заворачивали ехать за нами.) Вкратке достигли кёльнского вокзала, ничего в окно не рассмотрев, и наспех поднялись, чуть не лифтом, на нужный перрон, за две минуты до прихода нашего поезда.

Но эти две минуты! Прямо передо мной, ничем не загороженный, во всю свою стройность стоял — красавец, нет, слово не то, — чудо, Кёльнский собор! Даже не изошрённая отделка, а сколько глубины мысли и тяги к небесам в этих башнях, в этих шпилях. Я задохнулся и смотрел, разинув рот. (А проворные корреспонденты, уже на перроне, фотографировали, «как я смотрю».) И тут же — подошёл и поглотил нас поезд.

День распоживался, и смотреть в окно можно было без помех, с видами вдаль. Наш маршрут — у самого Рейна, по левому берегу его, через Кобленц и Майнц. Но Рейн казался грязным, опромышленным, уже и не поэтичным, даже около утёса Лорелеи (показали мне его). А до нынешней порчи, наверно, было картинно. Да главной красоты, многовековой угнеженности старых улочек и домов, — из проходящего поезда и не заметишь.

Как бывало в Москве: едва только встретимся с Беттой, Аля или я, идёт огневой обмен конспиративными соображениями, — а сейчас беспрепятственно бы обсуждать что угодно, а мысли никак не соберутся. Отойдя от сотрясения, его ощущаешь даже больше.

Уже известно было по пути, каким поездом меня везут, — и на станциях к вагону толпились кучки любопытных. Просили автографы на немецкое издание «Архипелага», я давал, то с вагонной площадки, то через окно, меня фотографировали, и всё в этой полосатой каторжанской рубашке, много таких снимков напечатано в Германии.

Середина февраля, а днём стало уже и жарко. После полудня достигли Базеля, проверка и на немецком вокзале, и на швейцарском. Пограничники меня уже ждали, приветствуют, тоже просят автограф. Теперь покатали по уютнейшей тесной Швейцарии, долинами между гор.

Вокзал в Цюрихе, не говорю наш перрон, но и все другие перроны, и асфальтный влив с площади и дальше площадь — всё было густо забито народом. Никакая полиция не могла оберечь, давка оказалась смертная, без преувеличения. Сжало нас в тисках, очень выделялись на защиту два высоченных швейцарца, издатели из «Шерца» («Архипелаг» на немецком), выглядели они прямо-таки самоотверженными, с риском для себя освобождали перед нами хоть сантиметры. Казалось: можем и не выйти целыми? По-крохотному, помалу, по сгалу, наконец долились до ожидающего автомобиля, меня как пробку туда втокнули, затем я долго там сидел, окружённый извне доброжелательными и прямо восторженными, вопреки их характеру, швейцарцами, — пока собирали остальную нашу компанию, расселись, тогда поехали медленно, под

всеобщее помахивание — и ещё сколько-то так на улицах. Цюрих с первого же моста, первых домов и трамваев выглядел очаровательно.

Поехали на квартиру к Хеебу. Он жил где-то в окраинной части города, в этажных домах новой постройки. Тотчас за нами корреспонденты обложили весь дом. Требовали, чтоб я вышел и сделал заявление. Не могу. Тогда — просто попозировать. Но и это было уже сверх сил, не вышел. (А в прессе накоплась обида.)

Вскоре предупредили меня, что на квартиру Хееба приехал приветствовать меня штатдпрезидент Цюриха (то есть глава города) доктор Зигмунд Видмер. В гостиную вошёл он, высокий, интеллигентный, с мягким, но торжественно напряжённым лицом, я поднялся ему навстречу — а он, с большим усилием и ошибками, произнёс приветственную фразу — по-русски! Тут я ответил ему двумя-тремя фразами немецкими (оживлялись клетки старой мозговой памяти и связывались цепочками) — он просиял. Сели, дальше говорили через Бетту. Напряжённость ушла, он оказался действительно очень мягким и милым. Выражал самые радушные чувства, предлагал всяческую помощь в устройстве. Арендовать квартиру? А в самом деле: пожить у Хееба день-два, а дальше? Что-то надо решать.

Но решать — я ничего не находил. Да катились на меня требования, звонки, советы. Через какой-нибудь час уже звонил из Америки сенатор Хелмс, в трубку переводчик приглашал меня немедленно ехать из Цюриха в Соединённые Штаты, там меня бурно ждут. Ещё вскоре из Штатов же — Томас Уитни, переводивший «Архипелаг» на английский, знакомый мне пока лишь по имени. — Ещё звонок, низкий женский голос, по-русски, с малым акцентом: Валентина Голуб, мать её из Владивостока увёз отступающий чех в 1920; а Валентина с мужем-чехом бежали из Праги от советской оккупации — и теперь здесь, в Цюрихе. «Нас тут, чехов-эмигрантов, шесть тысяч, мы все вам поклоняемся, готовы для вас на всё, рассчитывайте на нас!» И предлагают любую бытовую помощь, и русский же язык. Я — тепло благодарен, да мы перед чехами за август 1968 кругом виноваты, и это — уже настоящие мне союзники. Уговариваюсь о встрече.

А вот ещё какая телеграмма из Мюнхена: «Все радиопередатчики радиостанции „Свобода“ к вашим услугам, открыты для вас. Директор Ф. Рейнольдс». Во как! Говори на весь СССР, сколько хочешь. Да, наверно, и надо же! Да разве дадут хоть минуту сообразить?

Кажется, не в этот вечер, а в следующий, но уж доскажу тут. С низу лестницы, где стоит полицейский пост (а то бы все хлынули сюда, в квартиру), докладывают: рвётся ко мне, просит принять писатель Анатолий Кузнецов. Ах, тот самый Кузнецов, «Бабий Яр», поразивший в 1969 своим убегом на Запад (под предлогом изучать ленинское бытё в Лондоне — ну, вот как я сейчас буду в Цюрихе?), но и тем же, что отныне стыдится фамилии Кузнецов (ибо по требованию советских властей он судился против своего западного самовольного издателя) и потому отныне все свои будущие романы будет подписывать «Анатоль» (а будущих, за пять лет, и не оказалось). Пропустили его. А времени, поговорить — некогда, накоротке, на ходу. Маленького роста, подвижный, очень искренний и с отчаянием в голосе. Отчаянием, конечно, как неудачно у него всё сложилось, — но и отчаянной опаской за меня, чтоб я не наделал ошибок, как он: мол, кессонная болезнь, переход из сильного давления в малое опасен тем, что разорвёт! надо — сперва не делать заявлений, надо оглядеться. (И прав же он!) Ах, бедняга, и для этого летел из Лондона, вот на эти десять минут, предупредить меня, что я и сам знаю? Я прекрасно понимаю, как надо остерегаться, я не только не рвусь к прессе, я не знаю, в какой рукав голову спрятать от её беспощадной осыды.

Так я и не вышел к репортёрам. Уже темно, спать бы? Жена Хееба даёт мне снотворное, всё равно не спится. Дохнуть бы воздуха. В полной темноте выхожу на балкон, 4-го этажа, с задней стороны дома, подышать в тишине, —

и вдруг зажигается сильный прожектор, на меня, уловили! сфотографировали! ещё который раз. Не даютдохнуть. Ухожу с балкона. Ещё какие-то таблетки.

В суматоху цюрихской вокзальной встречи угодил и Никита Струве — третья вершина Опорного Треугольника. А Цюрих, оказывается, подходящее место: тут и адвокат, сюда из Вены легко приехать Бетте, из Парижа, вот, Никите. Отсюда легче распутывать наши дела, запутанные конспирацией. А ведь ждуться ещё и арьергардные бои за «невидимок», кого ГБ прижмёт.

Был отдалённый друг за Железным Занавесом — а вот проступает и вживе. Невысокого роста, в очках, не поражая наружностью, ни тем более одеждой, лишь бы удовлетворительна, это и на мой вкус. А — быстрый, пронизательный взгляд, но не для того, чтобы произвести впечатление на собеседника, а себе самому в заметку и в соображение. С Никитой Алексеевичем оказалось всё так просто и взаимопонятно, как если б его не отделяла целая жизнь за границей: духом — он всё время жил в России, и особенно в её литературных, философских и богословских проявлениях на чужбине. В 1963 он книгой «Христиане в СССР» вовремя оповестил Запад о хрущёвских гонениях на Церковь. Вместе с тем — широкий эрудит и в западной культуре. (Кончил Сорбонну, пробовал древние языки, арабский и их философию; остановился на русском языке, литературе.) Очень деликатен (не мешает ли это ему в издательской деятельности, там надо уметь быть суровым); как бы опасался проявить настойчивость, а всё высказывал в виде предположений (к этой его манере ещё надо привыкнуть, не пропускать его беглых замечаний). Ещё больше опасался впасть в пафос и при малом к тому повороте высмеивал сам себя.

И вот досталось ему после провала «Архипелага» тайком-тайком готовить взрыв 1-го тома, главный удар в моём бою с ГБ. Пришлась публикация даже раньше, чем я надеялся, — ещё прежде русского Рождества и даже до Нового года; и несмотря на каникулярную на Западе пору — какой ураган звонков, запросов и требований обрушился на издательство «Имка» тут же.

Дел у нас с ним предстояло множество. 2-й том «Архипелага» перестал быть таким срочным, как нам виделось в Москве, уж я теперь не так торопил. Но вот надо было срочно заново печатать брошюру «Письма вождям»: уже готовое издание всё теперь не годилось из-за последних исправлений. А пора начинать и французский перевод «Телёнка» (плёнки ещё раньше прибыли тайным каналом). А ещё пора... Да все возможные публикации хотел бы я гнать скорей, скорей.

Дальше не помню, какая-то карусель дня два-три. Ездили с супругами Видмерами (жена Элизабет оказалась сердечнейшая), с Беттой и со Струве в горы, посмотреть дом Видмеров, предлагаемый мне для уединённой работы. (Только тем оторвались от потока репортёрских машин, что штатдпрезидент своей властью устроил сразу позади нас трёхминутный запрет проезда.) Домик этот, на предгорном хребтике, очень мне понравился: вот уж поработаю!

Зачем-то нужна была мне большая лупа, наверно наши вывезенные плёнки рассматривать. Заходим с Беттой в магазинчик, выбираю удобную лупу — продавец со страстью отказывается брать с меня деньги; препираемся, но так и пришлось взять подарком (и очень к ней потом привык). Посещаем внушительную адвокатскую контору Хееба на главной улице Цюриха, Банхофштрассе, тут в штате и жена, и сын его Герберт, симпатичный умный молодой человек, тоже тут служит, и ещё какая-то девица, и множество каких-то папок, папок, не до этого мне теперь. Да мне и очки срочно нужны, по соседству заказываю очки.

Потом мы всей компанией должны где-то пообедать, и тут я их всех (кроме Бетты) поражаю, что в ресторан не хочу: истомляет меня эта чинная обстановка, размеренно-медленный (потеря времени!) культ поедания, смакования, за всю советскую жизнь, 55 лет, кажется раза два только и был я в ресторане, по неотклонимости (да ведь и жил на обочинах жизни и постоянно без денег). Сейчас, да при всеобщем внимании, появиться в ресторане — мне со стыда сгореть. Хееб явно шокирован, но я прошу ехать в какую-нибудь простую сто-

ловую, да чтобы побыстрее. Хееб с Беттой советуются, не без труда находят, вне центра города, столовую при каком-то производстве. Рабочие и служащие густо сидят, видят меня, узнают, приветствуют, корреспондентов в этом месте почему-то не помню. Но по улицам они нас сопровождают и бесцеремонно подсовывают к моему рту длинные свои микрофонные палки: записать, о чём я разговариваю со спутниками. Не только ни о чём секретном, но вообще ни о чём нельзя сказать, чтоб не разнесли тут же в эфир. Меня взрывает: я требую, чтоб они прекратили и отвязались: «Да вы хуже гебистов!» Отношения мои с прессой всё портятся и портятся.

Но главное же! — ленинский дом посмотреть, Шпигельгассе. Какое скрепление, какая удача! почти не выбирая, попал я на жилу «Октября Шестнадцатого», на продолжение начатых ленинских глав! В первую же прогулку и идём с Беттой. (А зря: получилась необдуманная демонстрация, в газетах написали: пришёл поклониться дому Ленина!) Предвкушаю, сколько теперь могу в Цюрихе собрать ленинских материалов.

Как раз в эту прогулку настиг меня на улице Фрэнк Крепо из Ассошиэйтед Пресс, тот милый благородный Крепо, который так помог мне в разгар встречного боя, утвердиться тогда на ногах, — и как же теперь отказать ему в интервью в благодарность? Дал небольшое. [1]* (Небольшое-то небольшое, но что во мне горело — судьба архива, без которого я не мог двигаться, а какая у Али с ним уже удача — я не знал и наивно придумал пригрозить Советам: не отпустят архив исторический — буду лепить им о современности.) Однако другие корреспонденты, бредущие за нами толпой, видели, как Крепо подошёл ко мне на улице, я обрадовался — и через несколько часов у него уже интервью. Кто-то, из зависти или оправдать свою неудачу, дал сообщение, что Крепо привёз ко мне из Москвы тайное письмо от жены (а ничего подобного). На следующий день читаем это во всех газетах. А для Крепо это — *закладка*, ему сейчас откажут в советской визе, корреспонденту запрещено такое! Он подавлен. Значит, что же делать? Значит, новое заявление прессе, по этому поводу. К их толпе перед домом Хееба вышел и выражаю возмущение такой дезинформацией. А пусть-ка тот корреспондент, да само агентство или газета извинятся.

Наивен же я был, что раскается корреспондент, агентство или газета! — хваткой, углядкой, догадкой они и соперничают, на том и стоят, сколько стоят. Так, уже случай за случаем, эти первые дни на Западе, дни открытого сокосновения с кипящей западной «медиа», — вызвали у меня неприятное изумление и отталкивание. Во мне поднялось густое неразборное чувство сопротивления этим дешёвым приёмам: грянула книга о гибели миллионов — а они какую мелкую травку выщипывают. Конечно, это было неблагоприятно с моей стороны: вот такая западная медиа, как она есть, — она и построила мне мировой пьедестал и вызволила из гонений? Впрочем, не только она: бой-то вёл я сам. И хорошо знали гебисты, что если посадят меня, то тем более всё будет напечатано, и им же хуже. Пресса же спасала меня и по инерции сенсации. И по той же инерции, вот, всё требовали и требовали заявлений, и не понимали моего упорства.

Думали: молчу, пока семью не выпустили? Но уже уверен я был, что не посмеют не выпустить. Или — архивов не пропустят? Так и ясно было, что ни бумажки не пропустят, а всё зависит от находчивости Али и помощи наших доброжелательных иностранцев. Нет, не это. Сработал во мне защитный писательский инстинкт: раньше моего разума он осознал опасность выговориться тут в балаболку. Я примчался на Запад на гребне такой размашистой волны, теперь бы мог изговориться, исповторяться, отбиться от дара писания. Конечно, политическая страсть мне врождена. И всё-таки она у меня — за литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено

* Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце главы. (Ред.)

столько общественно-активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам за политическое ораторство, — я отныне и остался бы в пределах литературы.

А тут ещё столкнулся с западной медиа в её яростном расхвате: подслушивают, подсматривают, фотографируют каждый шаг. Да неужели же я, не притворяясь перед Драконом на Востоке, — буду теперь притворяться и угрожать перед этими на Западе? Окутываете меня славой? — да не нужна она мне! Не держался я ни одной недели за хрущёвскую «орбиту» — ни одной и за вашу не держусь. Слишком отвратными воспринимал я все эти ухватки. «Вы хуже гебистов!» — эти слова тотчас разнеслись по всему миру. Так с первых же дней я много сделал, чтоб испортить отношения с прессой. Сразу была заложена — и на многие годы вперёд — наша ссора.

А вторая — безоткладная атака, не дающая подумать и очнуться, была — от почты. Ещё я нигде не жил, ещё не решил, где жить, квартировал дней несколько у Хееба — уже привозил он ящиками телеграммы, письма со всего мира, тяжёлые книги (а к Бёллю катились само собой) — да на всех мировых языках, и безнадежно было их хоть пересмотреть, перебрать пальцами, не то чтобы читать и отвечать. Да эти ящики — первые настойчиво требовали: куда ж их складывать? где я живу? Надо было скорей определить, где я живу.

У меня издавна была большая симпатия к Норвегии: северная снежная страна, много ночи, печей, много дерева в быту и посуда щепенная, и (по Ибсену, по Григу) какое-то сходство быта и народного характера с русским. А ещё же в последнее время они меня защищали и приглашали, где-то уже «стоял письменный стол» для меня, — у нас с Алей было предположено, что если высылка — то едем в Норвегию. (И Стига Фредриксона я тогда приглашал быть моим секретарём в предвидении именно скандинавской жизни.) Конечно — не в Осло, но в какую-нибудь глушь, рисовалось так: высокий обрывистый берег фиорда, на обрыве стоит дом — и оттуда вдаль вид вечно бегущего стального океана.

Так надо немедленно ехать смотреть Норвегию!

Моя поездка тотчас по высылке привлекла внимание и удивление. (Аля в Москве услышала по радио — не удивилась: поехал искать место.) На железнодорожных станциях Германии и Швеции узнавали меня через окно с перрона, на иных станциях успевали встретить делегации, по Копенгагену водили целый день почётно — уже на вокзале: пить пиво в полицейском участке, и малый их духовой оркестрик играл мне встречный марш. Потом — по улицам, с председателем союза датских писателей, осматривать достопримечательности, и всход на знаменитую Круглую башню. (Тут я увидел и церемонийный развод стражи в медвежьих шапках у королевского замка — о котором раньше только рассказ в Бутырках слышал.) Наконец — и в парламент, пустой зал, заседания не было. Дальше потащили меня в союз писателей, на вручение какой-то здешней премии. Говорили все по-датски, не переводя, я сидел-отдыхал-кивал, а после церемонии какой-то из писателей подошёл ко мне вплотную и, наедине, впечатал выразительно на чистом русском: «Мы вас ненавидим! Таких как вы — душить надо», — красный интернационал так сразу же мне о себе напомнил.

Вечером того дня мы с Пером Хегге, старым знакомцем по Москве, тогда всё ещё корреспондентом «Афтенпостен», поплыли на «пароме» (большом парохоме, со многими сотнями пассажиров, с буфетами, развлечениями и аттракционами для них) в Осло. Мне и побродить было невыносимо сквозь это шумное многолюдье, в каюте я лёг и пролежал ночь пластом. А утром, войдя уже в залив, на подходе к Осло, позвали меня в капитанскую рубку, посмотреть их технику слежения-вождения и полюбоваться видом. Уже в тёплой куртке, купленной с Беттой в Цюрихе, вышел я и на высокий нос, холодный был ветер, но прозрачно солнечный воздух, — и увидел внизу у пристани кучки людей с плакатами «God bless you», не сразу и догадался, что это — ко мне от-

носятся. Долго мы причаливали, сходила толпа — эти доброжелатели дожидались меня и светло встретили.

Шли по длиннейшей главной улице, Хегге сказал: «Знаете, кто это вот сейчас на тротуаре с вами поздоровался? Министр иностранных дел». Да, не в лимузине ехал в министерство, не в «чёрной волге», а пешком. (Вспомнил я опять же бутырский рассказ Тимофеева-Ресовского, что и норвежский король ходит пешком по Осло и без охраны.) Теперь и тут — в парламент, и тоже не день заседаний, но встретил меня парламентский президиум. Тут я объяснил в первый раз цель своего приезда, и председатель парламента, указав на свод законов, обещал их полную защиту, пока стоит Норвегия.

Но главный поиск мой был — фиорд, какой-нибудь фиорд для первого присмотра, и мы с Пером Хегге и норвежским художником Виктором Спарре, очень самобытным, поехали мимо главного норвежского озера Мьёсиншё с голубой водой, валунными берегами, а выше — чёрно-лесистыми горками; и дальше долинами реки Леген и Гудбрандской, углубляясь в норвежские горы, суровые, с причернью обнажённых отвесных скал, до фиолетовости тёмной синевой оснований и замёрзшими на высоте сине-зелёными водопадами. В доме художника Вейдеманна принимали нас с норвежско-русской радушностью, и открывалось нам «ты», так же естественное в норвежском языке, как в русском, и норвежский горец дарил мне свой кинжал в знак братства. И все зданья — дома и церкви, были рублены из брёвен, как у нас, а крыты иные — берёстою, и только двери окованы фигурным железом. На заборах торчали снопики овса и проса для малых птиц, чтоб они не погибли зимою. Ехали мимо деревянных церквей — зданий ещё IX века, с языческими украшениями на крышах (крестил население тут — король Олаф II, топором, в начале XI века), перед входом в ограду — столб с железным замыкаемым ошейником для выставляемых грешников (не в одной проклинаемой России подобные меры применялись!) и оружейными хижинами перед церковью, где вооружённые прихожане оставляли оружие. Суровость, зимность и прямота этой страны прилегли к самому сердцу. Верно я предчувствовал: такое где ещё сегодня найдёшь на изнеженном Западе? В этой обстановке — я мог бы жить.

(И по норвежскому телевидению, первому, по которому мне нельзя было не выступить, я сказал, нахожу теперь черновую запись: «Норвежцы сохранили долю спасительного душевного идеализма, которого всё меньше в современном мире, но который только один и даёт человечеству надежду на будущее». Может быть, целиком по Норвегии это и не так, но в ту поездку и в те встречи я так ощутил.)

И правда же: что значил и для Норвегии и для всей нашей одряхлевшей цивилизации плот «Кон-Тики»! Весь нынешний благополучный мир всё дальше уходит от естественного человеческого бытия, сильнее интеллектуально, но дряхлеет и телом, и душой. Так, для решения проблемы, откуда мигрировали жители тихоокеанских островов, только и можно сидеть в удобстве с бумагами и обсуждать теории. А у Тура Хейердала хватило мужества утерянных нами размеров — отправиться доказать путь на примитивном плавучем средстве. И — доказал! И вот покоится «Кон-Тики» в особом музейном здании национальной гордостью Норвегии — и я с почтением рассматриваю его. В гараже музея он кажется большим — но какая же щепка в океане...

Так норвежцы мне по духу — наиболее близкие в Европе?

Тут же меня везут и посмотреть какое-то продаваемое под Осло имение — помнится, 170 гектаров, по ним рассыпана избыточная дюжина живописных, под старину, и с древними очагами домов — для кого это настроено? а в доме владелицы с вычурной обстановкой угощают шипучими напитками, покупайте имение за безделицу в 10 миллионов крон. Я, конечно, и близко не соблазнился, а может и жаль: тогда бы на 8 месяцев раньше узнал бы от Хееба о моих не слишком просторных денежных возможностях.

В Осло же наткнулись мы, что в одном кинотеатре как раз идёт фильм об Иване Денисовиче. Конечно, пошли. Фильм англо-норвежский, Ивана Дени-

совича играет Том Кортни. И он, и постановщики приложили честно все старания, чтобы фильм был как можно верней подлиннику. Но что удаётся им передать — это только холод, холод и — условную — обречённость. А в остальном — и в быте, и в самом воздухе зэческой жизни — такая несхваченность, такая необоримая отдалённость, подменность. Журналисты спрашивали меня после сеанса — я, что ж? похвалил. Участники фильма — не халтурили, старались от сердца. Но самому так стало ясно, что никем как нашими — с советским опытом — актёрами этого не поставить. Зинула мне эта непереходимая, после советских десятилетий, пропасть в жизненном опыте, мировосприятии. (Ещё не видел я тогда позорного фильма «В круге первом», равнодушно-рвачески запущенного в мир.) И — разве мне дожидаться при жизни истинной постановки?

Гнались за мной корреспонденты уже и по Норвегии, так что когда мы ночевали у Вейдеманна (сам он был в отъезде), — то под горой полицейский пост перегородил дорогу преследователям. И еле пропустил ко мне... внезапно приехавшего из Москвы — Стига Фредриксона! Родной, рад я ему был как! Он — смущён: дала ему Аля записку ко мне, он спрятал в транзисторный приёмник, но гебисты прекрасно догадались проверить и отоברали, и содержания утерянного он не знал. А главное: могли его теперь попереть из Москвы, лишит аккредитации. Значит, доследились до нашей с ним связи?

Но — что в доме там?? Тут я узнал: пока обыска не было, ничто не взято. Наружное наблюдение — круговое, прежнее, но через Стига и других дружественных корреспондентов (вот тебе и пресса! это — другая пресса) Аля разослала важную часть моего архива по надёжным местам. Нет и теперь уверенности, что с обыском ещё не придут. Но все близкие держатся хорошо, в квартиру к нам безбоязно приходят, Аля ведёт себя твёрдо, молодцом, главнокомандующим.

Теперь назад со Стигом все сведения и впечатления для Али я уж, конечно, не писал, передал устно.

А к фиорду мы с Хегге подъехали в Андалсьнесе, и оказался он — отлогоберегий извилистый морской залив, а горы — отступя. Не виделся тот обрыв, на котором у самого океана ставить бы дом изгнанника. Был я на Западе уже больше недели, внутри меня менялось восприятие и понимание, но что-то требовалось, чтобы дозреть. Вот эта морская вьёмистость низменного берега вдруг дояснила мне то, что зрело. Находясь в брюхе советского Дракона, мы много испытываем стеснений, но одного не ощущаем: внешней остроты его зубов. А вот норвежское побережье, изнутри Союза казавшееся мне какой-то скальной неприступностью, вдруг дало себя тут понять как уязвимая и желанная атлантическая береговая полоса Скандинавии, вдоль неё недаром всё шныряют советские подводные лодки, — полоса, которую, если война, Советы будут атаковать в первые же часы, чтобы нависнуть над Англией. Почти нельзя было выбрать для жительства более жаркого места, чем этот холодный скальный край.

Дело в том, что я никогда не разделял всеобщего заблуждения, страха перед атомной войной. Как во времена Второй Мировой все с трепетом ждали химической войны, а она не разразилась, так я уже двадцать лет уверен, что Третья Мировая — не будет атомной. При ещё не готовой надёжной защите от летящих ракет (у Советов она куда дальше продвинута пока) лидеры благополучной, наслаждённой своим благополучием Америки, проигрывающие войну во Вьетнаме своему обществу, — никогда не решатся на самоубийство страны: на первый атомный удар, хотя б Советы напали на Европу. А для Советского Союза первый атомный удар и тем более не нужен: они и так заливают красным карту мира, отхватывают в год по две страны, — им повалить сухопутьем, танками по североевропейской равнине, да вот прихватить десантами и норвежское побережье, как не упустил Гитлер. (Оттого-то СССР охотно взял обязательство не нанести атомного удара *первым*, он и не нанесёт.)

Так, ступя на берег первого фиорда, я понял, что в Норвегии мне не жить. Дракон не выбрасывает из пасти дважды.

А ещё за норвежские дни я задумался: на каком же языке будут учиться наши дети? Кто понимает норвежский в мире? А печатаешь что-нибудь в скандинавской прессе — в мире едва-едва замечают, или вовсе нет.

Возвращался в Швейцарию — опять поездами, через Южную Швецию, парбомом (теперь другим, для перевозки поездов), Данию, Германию, чтобы больше повидать Европу из окна. (Парому знаменательно пересек путь советский корабль, и, при близком виде советского флага, так странно было ощутить свою отдельность от СССР. С того же парома, в предвечерних сумерках, силясь я разглядеть поподробней гамлетовский Эльсинор.) Ехал — и перебирал, перебирал мысленно страны. Ещё как будто много оставалось их не под коммунизмом, а как будто и не найдёшь, где же приткнуться: та — слишком южная, та — беспорядочная, та — по духу чужа. Ещё одна, кажется, оставалась в мире страна, мне подходящая, — Канада, говорят — сходная с Россией. Но текли недели, ждалась семья, откладывать с выбором было некогда.

Да Цюрих — подарок какой для ленинских глав. Да и нет уже времени ездить выбирать, — ладно, пусть пока Швейцария.

И остался я в крупном городе — как не любил, не предполагал жить. Хотя правильно выбирать главное место жительства сразу и окончательно — в те первые западные месяцы никак было не до выбора его. Слишком много наваливалось, тяготело или ждалось.

А Зигмунд Видмер времени не терял. Тотчас по моему возврату предложил арендовать в возвышенной университетской части города, в «профессорском» квартале, половину дома. (А кроме того же — распоряжаться половиной его собственной дачки на цюрихском нагорьи, в Штерненберге.) Поехал я посмотреть. Скученные друг ко другу соседние дома, да в Цюрихе везде же так, а есть маленький, на две сотки, зеленотравный дворик, и место сравнительно тихое, по изгибу улицы Штапферштрассе, и движение небольшое (прицепилось спереди это «ш», а «Тапферштрассе» была бы — «Храбрая улица» или «Неустранимая»). Предлагаемые мне полдома, по вертикали, — подвал хозяйственный, но и с просторной низкой комнатой, можно детям зимой играть; на первом этаже гостиная и столовая с кухней, на втором — три спальни, и ещё мансарда скошенно-потолочная, из двух комнатёнок — вот тут и писать можно. Ещё и чердачок поверх крутой лесенки.

Не успел я поблагодарить и согласиться — на следующий же день городская управа привезла в аренду кой-какую мебель (можно потом вернуть, а понравится — купить). Но и ещё не успела эта первая мебель стать неуверенными ножками в разных комнатах, как лучшую и просторнейшую из них, прямо по ковровому полу, стали заваливать ворохи привозимых из конторы Хееба телеграмм, писем, пакетов, брошюр, книг: те хотели меня поздравить с приездом, те — пригласить в гости, другие — убедить что-то немедленно читать, третьи — что-то немедленно делать, заявлять или с ними встречаться. Знал я уже по взрыву после «Ивана Денисовича», как в таком всплеске перемешивается и порывистая сердечность, и звонкая пустота, и цепкий расчёт. (А враждебные письма — поразительно: и здесь были анонимные, ну казалось бы — чего им бояться?) Знал, что нет безнадежнее и пустее направления деятельности, как сейчас бы заняться разборкой и классификацией этого растущего холма: на многие месяцы он охотно обещал съесть все мои усилия, а начини отвечать — только удвоится, а не стань отвечать никому — перейдёт в сердитость. Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют. Я предпочитал второй путь. (Ещё ж были письма на скольких языках — на всех главных и вплоть до латышского, венгерского; представляли люди, что у меня сразу же по приезде и контора работает?)

Тут взялась мне помогать энергичная фрау Голуб. На сортировку писем дала двух студентов-чехов, они приходили после занятий. Что-то с посудой мне придумала; раз принесла готовую куриную лапшу, другой раз суп с отвар-

ной говядиной (такую точно ел в последний раз году в 1928, в конце НЭПа, никогда с тех пор и глазами не видел). Показала близкие магазины, где что покупать без потери времени. Очень выручила. Стал я и хозяйничать.

Дом запирался, а калитка сорвана, пока нараспашку. Ну, не сразу же узнают, где я, ничего? Как бы не так: в первые же сутки какой-то корреспондент выследил моё новое место, тихо отснял его с разных сторон — и фотографии в газету, с оповещением: Солженицын поселился на Штапферштрассе, 45. Ах, будь ты неладен, теперь кто хочешь вали ко мне в гости. И действительно, в распахнутую калитку стали идти, и шли, цюрихские или приезжие, кто только надумал меня посетить. (Приходили и типы весьма сомнительные, мутные, по их поведению и речам.)

Пока я ездил в Норвегию — а события своим чередом. В американском Сенате сенатор Хелмс выступил с предложением дать мне почётное гражданство США, как в своё время дали Лафайету и Черчиллю, только им двоим. [2] Теперь со специальным нарочным он прислал мне письмо с приглашением ехать. [3] Ещё в моём доме не было путём мебели, не включена потолочная проводка после ремонта, на полах груды неразобранных писем и бандеролей, никакой утвари, — и на единственной крохотной пишущей русской машинке, какая в Цюрихе нашлась, я выстукивал ему ответ [4] — политически совсем не расчётливый, но в моём уверенном сопротивлении: не дать себя на Западе замотать. Политическому деятелю мой, в этом письме, отказный аргумент кажется неправдоподобным, измышленной отговоркой: в моём сенсационно выигрышном положении — не рваться в гущу публичных приветствий, а «с усердием и вниманием сосредоточиться»? Но я именно так и ощущаю: если я сейчас замотаюсь и перестану писать — то приобретенная свобода потеряет для меня смысл.

Из лавины писем выловили, дали мне приглашение и от Джорджа Мини, от американских профсоюзов АФТ-КПП. [5] Потребительница всего нового и сенсационного, Америка ждала немедленно видеть меня у себя, и такая поездка в те недели была бы сплошной триумфальный пролёт и, конечно, почётное гражданство, — но я должен бы ехать тотчас, пока в зените, нарасхват, этот миг был неповторимый, общественная Америка — страна момента (как отчасти весь общественный Запад). (И Советы так и ждали, что я поеду, и в оборону мобилизовали десяток писателей и всё АПН, гнали целую книжку против меня на английском, «В круге последнем», полтора ста страниц, и в мае советское посольство её рассылало, раздавало по Вашингтону*.)

Но я по духу — оседлый человек, не кочевник. Вот приехал, на новом месте столько забот по устройству — и что ж? всё кинуть и опять ехать? А в Америке — что? новые бурные встречи, и уже не отмолчишься перед ТВ и газетами, аудиториями, — и молоть всё одно и то же? в балаболку превращаться?

Вели меня совсем другие заботы.

Первая — спасётся ли мой архив? Эти, уже почти за 40 лет, с моего студенческого времени, мысли, соображения, выписки, подхваченные из чьих-то рассказов эпизоды революции, на отдельных листиках буквочками в маковые зёрна (легче прятать)? а за последние годы и концентрированный «Дневник романа», мой собеседник в ежедневной работе? и сама рукопись ещё не оконченного «Октября», тем более — не спасённого публикацией, как уже спасён «Август»? и ещё, вразброс по Узлам, даже и до XIX-го, написанные отдельные главы?

Вторая, очень тревожная, мысль: а вообще — сумею ли я на Западе писать? Известно мнение, что вне родины многие теряют способность писать. Не случится ли это со мной? (Некоторые западные голоса так уже и предсказывали, что меня ждёт на Западе духовная смерть.)

* Я её 12 лет и не видел, только сейчас перелистываю. Как и вообще: в недели перед высылкой я пропустил всю газетную кампанию против меня, я тогда в газеты не заглядывал, какие там имена подписываются и как меня основательно мажут на десятилетия вперёд. (Примеч. 1986.)

И ещё: сохранится ли благополучен арьергард — оставшиеся в СССР наши друзья и «невидимки»? Если б сейчас поехать в Америку — осиротить наши тылы в СССР: уже нет постоянного адреса, телефона, «левой почты», да сюда в Цюрих может кто и связной приедет, с известием, вот Стиг. (Он и приехал вскоре.)

В Союзе я держался до последнего момента так, как требовала борьба. На Западе я не ослабел — но не мог заставить себя подчиниться политическому разуму. Если я приехал действительно в свободный мир, то я и хотел быть свободным: ото всех домоганий прессы, и ото всех приглашителей, и ото всех общественных шагов. Все мои отказы были — литературная самозащита, та же самая — интуитивная, неосмысленная, прагматически рассматривая — конечно ошибочная, та самая, которая после «Ивана Денисовича» не пустила меня поехать в президиум Союза писателей получить московскую квартиру. Самозащита: только б не дать себя закружить, а продолжать бы в тишине работать, не дать загаснуть огню писания. Не дать себя раздёргать, но остаться собою. А международная моя слава казалась мне немеряной — но теперь не очень-то и нужной.

И я выстукивал очередной отказ. [6]

В одурашенном состоянии я лунатично бродил по пустому полудому и пытался сообразить, что мне первой и неотложней всего делать. Да не важней ли было ещё один долг выполнить? — перед моей высылкой мы с Шафаревичем надумали выступить с совместным заявлением в защиту генерала Григоренко. Но так и не успели. А составить был должен я, и появиться теперь оно должно в Москве, раз две подписи. В неустроенной комнате я и писал это первое своё на Западе произведение*. По «левой» почте послал его в Москву Шафаревичу. Там оно и появилось.

На каждом шагу возникали и хозяйственные задачи, но не мог же я и совсем отказаться от разборки почты, просто ходить по этим пластам.

А — чего только не писали! Какой-то старый эмигрант Криворотов прислал мне «Открытое письмо», большую статью (она была потом напечатана), обличая, что все мои писания — ложь, я только обманываю русский народ, ибо не открываю, что все беды в России от евреев, и ничего этого не показал в «Августе», ни в 1-м, вышедшем, томе «Архипелага». Пока не поздно — чтоб я исправился, иначе буду беспощадно разоблачён. (Позже были возмущения в эмигрантской прессе, как я «посмел не ответить» Криворотову.) И в других письмах были нарёки, что я — любимец мирового сионизма и проданся ему. А ещё живой Борис Солоневич (брат Ивана) рассылал по эмигрантам памфлет против меня, что я — явный агент КГБ и нарочно выпущен за границу для разложения эмиграции.

А Митя Панин из Парижа слал мне строжайшие наставления, что пора мне включаться в настоящую антикоммунистическую борьбу. Вот сейчас в Лозанне съедется группа непримиримых антикоммунистов из нескольких смежных стран, и Панин там будет, — и чтоб я там был и подписался под их манифестом. (Боже, вот образец, как от долгого заключения и одиночества мысли — срываются люди по касательной.)

Тут, почти одновременно, проявились ко мне — Зарубежная Церковь и Московская Патриархия. От первой, вместе со священником соседнего с нами подвального храма о. Александром Каргоном (замечательный старик, мы потом у него и молились), приехали архиепископ Антоний Женевский (как я позже оценил, прямой, принципиальный, достойный иерарх) и весьма тёмный архимандрит монастыря в Иерусалиме Граббе-младший, тоже Антоний, — очень он мне не понравился, неприятен, и сильно политизирован. (Через несколько лет попался на злоупотреблениях.) А общий разговор: ждут же от

* См.: Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997. Т. 2, стр. 73 — 74. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы.)

меня реальной помощи, примыкания и содействия Зарубежной Церкви (о какой другой и речи нет).

В тех же днях приходит ко мне священник от Московской Патриархии (сын покойного писателя Родионова), он тоже рядом живёт, — и просит, чтоб я согласился на встречу у него дома с епископом Антонием Блюмом из Лондона (известным ярким проповедником, которого, по Би-Би-Си, знает вся страна). Соглашаюсь. И через несколько дней эта тайная встреча состоится. Епископ был не слишком здоров. Немного постарше меня. Врач по профессии, он избрал монашество, сперва тайным путём, в лоне Московской Патриархии. Теперь в ней же служит, и ещё ему долго служить. Спрашивает совета об общей линии поведения. Сдержанный, углублённый, взгляд с по́сверком. Но что я могу ему посоветовать? только жестокое решение: громко и открыто оповещать весь мир, как подавляют Церковь в СССР! Он отшатывается: это же — разрыв с Патриархией, и уже невозможность влиять с нынешней кафедры. А мне, ещё в размахе противоборства, непонятно: как же иначе сильнее в его положении послужить русскому православию?

Нет, в состоянии взбаламученности, перепутанности, многонерешённости — всё никак не пробьёшься к ясному сознанию. Что-то я делаю не то, а чего-то самого срочного не делаю. Но не могу уловить.

А в храм к отцу Александру я пошёл раз, пошёл два — был прямо схвачен за душу. Обыкновенный жилой дом. Спускаешься в подвал — все оконца только с одной стороны, близ потолка, и выходят прямо к колёсам грохочущего транспорта. А здесь, в подвале на сто человек, — пришло и молится человек десять, щемящий островок разорванной в клочья России, и почтенный священник, под 80 лет, в череде молений грудно придыхает и со страданием, едва не стоном произносит: «О еже избавити люди Твоя от горького мучительства безбожных власти!» Мало помню в России церквей, где бы так проникновенно молилось, как в этом подвале как бы катакомбной церкви, тем удивительней, что снаружи, сверху, грохотал чужой самоуверенный город. Да никогда за всю жизнь я такого не слышал, в СССР это же не могло бы прозвучать.

Раз в несколько дней звоню Але в Москву. Связь каждый раз дают, не мешают. Но много ли поговоришь? Вот обо всём, написанном выше, ведь почти ничего и нельзя. И Аля (занятая спасением архива, архива!) ведь ничего же не может мне о том процедить. Только, голос измученный: «Не торопи меня с приездом. Очень много хозяйственных хлопот». (Понимаю: *других*, посерьёзней. А ещё не осознал, что, ко всему, изматывают её полной ОВИРовской процедурой для семьи — все бумажки, справки, печати, как если б они просились в добровольную эмиграцию, — хоть этим досадить.) Тут ещё у младшего сына воспаление лёгких, надо переждать его болезнь.

Я — устраиваюсь в доме понемножку. Поехал с Голубами в крупный мебельный магазин, купил к приезду семьи сколько-то мебели, в том числе основательной норвежской, бело-древесной, хоть так внести Норвегию.

Супруги Голубы «и сколько угодно ещё чехов» готовы мне во всём помогать, они во всём мои радетели, объяснители и проводники по городу. (Хотя муж — неприятный, видно, что злой.) Нужен зубной врач, говорящий по-русски? Есть у них, повезли. А уж терапевт — так и первоклассный. Юноша-чех переставляет мой телефон из комнаты в комнату, без нагляду. Вот кто-то хочет мне подарить горный домик у Фирвальдштетского озера — везут меня туда чехи, пустая поездка. (Место на горе — изумительное, а мотив подарка выясняется не сразу: если б я взял этот домик — даритель надеялся, что власть кантона проведёт ко мне наверх автомобильную дорогу, и как раз мимо домика самих дарителей.) Да не откажитесь встретиться с нашими чехами, сколько в нашу квартиру вместится! Я согласился охотно. Устроили такую встречу на квартире у Голубов. Набралось чешских новоэмигрантов человек сорок, видно, как много достойных людей, — и какая тёплая обстановка взаимного полного понимания (с европейцами западными до такого добираться — семь вёрст до небес и всё лесом). И какая это радость: собраться единомышленно-

кам и разговаривать безвозбранно свободно. Да не откажитесь посетить нашу чешскую картинную галерею! Поехал. Хорошая художница, трогательные посетители. Да дайте же нам право переводить «Архипелаг» на чешский, мы будем забрасывать к нашим в Прагу! Дал. (Наперевели — и плохо, неумеючи, и растянули года на два, и перебили другому, культурному, чешскому эмигрантскому издательству.) Так же просили и «Прусские ночи» переводить — некоему поэту Ржезачу. Но не повидал я того Ржезача, как он настойчиво добивался.

Даже тысячесторожные, стооглядчивые, прошнурованные лагерным опытом — все мы где-нибудь да уязвимы. Ещё возбуждённому высылкой, сбито-му, взмученному, не охватывая навалившегося мира — как не прошибиться? Да будь это русские — я бы с оглядкой, порасспросил: а какой эмиграции? да при каких обстоятельствах? да откуда? — но чехи! но обманутые нами, но в землю нами втоптаные братья! Чувство постоянной вины перед ними затмило осторожность. (Спустя два месяца, с весны, я стал жить в Штерненберге, в горах у Видмеров, чувствовал себя там в безвестности, в безопасности ночного одиночества, — а Голубы туда дорожку отлично знали. Позже стали к нам приходить предупреждения прямо из Чехословакии: что Голубы — агенты, он был прежде заметный чешский дипломат, она — чуть не 20 лет работала в чешской госбезопасности. Стали и мы замечать странности, повышенное любопытство, необъяснимую, избыточную осведомлённость. Наконец и терпеливая швейцарская полиция прямо нас предупредила не доверять им. Но до этого ещё долго было — а пока, особенно до приезда моей семьи, супруги Голубы были первые мои помощники.)

Хотя знал же я, что в чужой обстановке всякий новичок совершает одни ошибки, — но и не мог, попав на издательскую свободу, никак её не осуществлять — так напирала мука невысказанности! С ненужной торопливостью я стал двигать один проект за другим. Издал пластинку «Прусские ночи» (через Голуба, конечно). У меня в груди напряглось за годы, что «Прусские ночи» — это важный удар по Советам. А по западному восприятию удар-то этот — по русским... Тут же начал переговоры (через Голуба, снова) о съёмке фильма «Знают истину танки», привезли ко мне чешского эмигрантского режиссёра Войтека Ясного, много времени мы с ним потратили, и совсем зря. А ведь у меня сценарий был — из главных намеченных ударов, я торопил его ещё из Москвы. А вот приехал сюда и сам — а запустить в дело не могу.

Но ещё же — самое главное: «Письмо вождям Советского Союза»*. Ведь оно так и застряло в парижском печатании в январе, последние поправки остались при аресте на моём письменном столе в Козицком переулке (но Аля уже сумела, вот, дослать их Никите Струве), — так надо ж скорей и «Письмом» громыхнуть! Я всё ещё не сознавал отчётливо, как «Письмо» моё будет на Западе ложно истолковано, не понято, вызовет оттолкновение от меня. Я только внутренне знал, что сделанный мною шаг правилен, необходимо это сказать и не дать вождям уклониться *знать* о таком пути.

Высший смысл моего «Письма» был — избежать уничтожающего революционного исхода («массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят», — писал я). Искать какое-то компромиссное решение с верхами, ибо дело не в лицах, а в системе, — устранить её. Так и написал им: «Смена нынешнего руководства (всей пирамиды) на других персон могла бы вызвать лишь новую уничтожающую борьбу и наверняка очень сомнительный выигрыш в качестве руководства». (Ибо, думал: почему надо ждать, что при внезапной замене *этих* — придут ангелы или хотя бы честные, работающие, или хотя бы с заботой о маленьких людях? да после 50-летней порчи и выжигания нашего народа всплывёт наверх мразь, наглецы и уголовники.)

Конечно, не было никакой сильной позиции для такого разговора, и в моём письме была прореха аргументации: на самом деле коммунистическая

* «Публицистика», т. 1, стр. 148 — 186.

идеология оправдала себя как великолепное оружие для завоевания мира, и призыв к вождям отказаться от идеологии не был реальным расчётом, но всплеском отчаяния. Я только напоминал им, насколько же *сплошь* ошибся марксизм в своих предсказаниях: экономическая теория примитивна, не оценивает в производстве ни интеллекта, ни организации; и «пролетариат» на Западе не только не нищает, а нам бы его так накормить и одеть; и европейские страны совсем не на колониях держались, а без них ещё лучше расцвели; а социалисты получают власть и без вооружённого восстания, как раз развитие промышленности и не ведёт к переворотам, это удел отсталых; и социалистические государства нисколько не отмирают; да и войны ведут не менее ретиво, чем капиталистические. А китайскую угрозу я вздувал сильнее, чем она на самом деле уже тогда возросла, — но страх этот в стране жил, а о будущем — не загадывай тем более.

Я не мог построить «Письма» сильнее, потому что силы этой не было за нами в жизни. Но я искал каждый поворот довода, чтобы протронуть, пробрать дремучее сознание наших неблагословенных вождей. «Лишь бы отказалась ваша партия от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства»; «достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой»; «потребности *внутреннего* развития несравненно важнее для нас, как для народа, чем потребности *внешнего* расширения силы», «внешнего расширения, от которого надо отказаться». (Ох, да способны ли они до этого доразуметь?) «Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб». (А — что им до духовного ущерба?) «Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы. И мы не смеем изобретать интернациональных задач и платить по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении и пока мы считаем себя его сыновьями». (Да нешто они — «сыновья»? они — «Отцы»...)

И в развитие этого, в отчаянной попытке пронять их бесчувственную толстокожесть: да хватит с нас заботы — как спасти наш народ, излечить свои раны. «Неужели вы так не уверены в себе? У вас остаётся вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, — но дайте же народу дышать, думать и развиваться! Если вы сердцем принадлежите к нему — для вас и колебания не должно быть!» Но нет, — *сердцем* они уже не принадлежали... Просто мне страстно хотелось убедить — даже не нынешних вождей, но тех, кто придёт им на смену завтра, или может их свергнуть.

И призыв мой к Северо-Востоку был — лишь как бы душевным остоянием перед невзгодами и разрывами, которые неизбежно ждут нас, как мне виделось. Мы ещё «обильно богаты неосвоенною землёй»; а «*высшее богатство* народов сейчас составляет *земля*» — простор для расселения, биосфера, почва, недра, — а мы-то довели свою деревню до полного упадка. Не то чтоб я *хотел* свести страну до РСФСР и компенсировать нас на неосвоенных пространствах Севера Европейской России и Сибири, — но я предвидел, что многие республики, если не все, будут отваливаться от нас неизбежно, — и не держать же их силой! «Не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации». Нужна программа, чтоб этот процесс прошёл безболезненно, хуже будет, если доведём до потери Северного Кавказа или южнорусских причерноморских областей.

И о многом, о многом ещё написал, ведь такое пишется раз в жизни. Об упадке школы, семьи, о непосильном женском физическом труде; о бессмыслице для *них же самих* преследовать религию: «с помощью бездельников травить своих самых добросовестных работников, чуждых обману и воровству, — и страдать потом от всеобщего обмана и воровства»; да для верующих уж не прошу льгот, «а только: честно — не подавлять». И вообще: «допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину! — все идеологические и все

нравственные течения». И о том написал, что более всего невыносима «навязываемая повседневная идеологическая ложь», и пусть их брехуны-пропагандисты, если они воистину идейные, пусть агитируют за марксизм-ленинизм в нерабочее время, и не на казённой зарплате. И о том, что «нынешняя централизация всех видов духовной жизни — уродство, духовное убийство». Без 60 — 80 городов... — «самостоятельных культурных центров... — нет России как страны, лишь какой-то безгласный придаток» к столицам.

По логике моей жизни в Союзе — это «Письмо» было неизбежно, и вот годы проходят — я ни на миг с тех пор не пожалел, что послал его правительству; даже в дни провала «Архипелага». Для спасения страны — переходный авторитарный период, это верно. У меня же дымилось перед глазами крушение России в 1917, безумная попытка перевести её к демократии одним прыжком; и наступил мгновенный хаос. «А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла ещё только снизиться». Ясно, что выручить нас может только плавный, по выражам, спуск к демократии от ледяной скалы тирании через авторитарный строй. «Невыносима не сама авторитарность», «невыносимы произвол и беззаконие»; «авторитарный строй совсем не означает, что законы не нужны или что они бумажны, что они не должны отражать понятия и волю населения». Как этого всего не понять? С каким безумием наши радикалы предлагали прыгнуть на автомобиле с кручи в долину?.. Их жажда «мгновенной» демократии была порыв кабинетных, столичных людей, не знающих свойств народной жизни.

А другого момента для «Письма», оказывается, и быть не могло, чуть позже — и навсегда бы упущено: выслан. И даже если б я в тот момент осознавал (но не осознавал), как это аукнется на Западе, — я всё равно послал бы «Письмо». Моё поведение определялось судьбой России, ничем другим. Надо думать, как воз невылазный вытаскивать.

Однако осенние месяцы 1973 шли. «Письмо», конечно, в ЦК заглохло. (Да и станут ли его читать?) Готовился ко взрыву «Архипелаг». Очень предполагая в том взрыве погибнуть, хотел я опубликовать и свою последнюю эту программу вместе с ещё последней — «Жить не по лжи». Я видел только соотношение нашего народа и нашего правительства, а Запад был — лишь отдалённым местом моих печатаний, Запада я не ощущал кончиками нервов. Я никак не ощущал, что поворот от меня ведущей западной общественности даже уже начался два года назад: от Письма Патриарху — за пристальное внимание к православию, от «Августа» — за моё осуждение либералов и революционеров, за моё одобрение военной службы (в Штатах это пришлось на вьетнамское время!); не говоря уже, что и художественно их раздражало то, что я отношусь к изображаемому с сильным соучастием. На Западе же теперь литературное произведение оценивают тем выше, чем автор отрешённее, холодней, больше отходит от действительности, преобразая её в игру и туманные построения. И вот, сперва нарушив законы принятой художественной благообразности, я теперь «Письмом вождям» нарушал и пристойность политическую. Под влиянием критики А. А. Угримова («Невидимки») я впервые увидел «Письмо» глазами Запада и ещё до высылки подправил в выражениях, особенно для Запада разительных: ведь это было не личное письмо, а без ответа оставшаяся программа имела право усовершенствоваться. Но исправленья мои были мелкие, всё главное осталось, и не могло измениться. И теперь на Западе я, так же не вдумавшись, не понимая, какой шаг делаю, — гнал, торопил издание на русском, английском, французском. 3-го марта «Письмо» впервые появилось в «Санди таймс» (без потерянного в «Имке», я не знал, важного авторского вступления к «Письму», без чего оно не полностью понятно, искажилось).

А для Запада теперь это выглядело так: от лютого советского правительства они защищали меня как демократического и социалистического героя (мне же приписали взгляды Шулубина о «нравственном социализме», — потому что очень хотелось так понимать). Спасли меня — а я, оказывается, ни-

сколько не социалист, и предлагаю авторитарность, и тому драконскому правительству какие-то переговоры, и даже уже с давностью полгода. Так я — не единомыслящий Западу, а то и противник? Кого ж они спасали?

И после близких недавних восторгов — полилась на меня уже и брань западной прессы, крутой же поворот за три недели! Да если бы хоть прочли внимательно! — из отзывов и брани сразу высказывалось, что эти газетчики и *не удосужились прочесть подряд*. Тут впервые поразила меня, а потом проявилась постоянным свойством — недобросовестность. Не резче ли всех хлестала «Нью-Йорк таймс», отказавшая моё «Письмо» печатать? Но прослышав от Майкла Скеммела, что внесены какие-то *поправки*, добыла у простодушного Струве именно список поправок, и напечатала не само письмо, а только поправки, раздувая скандал. Газета теперь обзывала меня реакционером, шовинистом, империалистом. Тут и я онедоумел, и можно онедоуметь: в чём же империалист? Предлагаю Советам прекратить всякую агрессию, убрать отовсюду свои оккупационные войска, — кому ж это плохо? пишу же: «цели империи и нравственное здоровье народа несовместимы», — нет, империалист! А потому что всякий русский, как только выявит себя русским патриотом, — уже «империалист».

Да больше всего их ранило, что я оказался не страстный поклонник Запада, «не демократ»! А я-то демократ — попоследовательней и нью-йоркской интеллектуальной элиты и наших диссидентов: под *демократией* я понимаю реальное народное самоуправление снизу доверху, а они — правление образованного класса.

Замешательство и враждебное отношение к «Письму», возникшее в Соединённых Штатах, отразилось во втором письме сенатора Хелмса, приоткрывавшего и свою внутреннюю подавленную американскую (южную) боль. [7] Отвечая ему, я разъяснил свою позицию шире. [8]

И тотчас, в поддержку этому возникшему в Штатах враждебному мне кручению, — громко и поспешно добавил свой голос Сахаров.

Чего я никак-никак не ожидал — это внезапного враждебного отголоска от Сахарова. И потому что мы с ним никогда ещё публично не спорили. И потому что за несколько дней перед тем он приходил в Москве к моей отъезжающей семье (долгий вечер сидели с друзьями на кухне, и песни пели, Андрей Дмитриевич подпевал), — и ни звуком же, ни бровью не предупредил меня через жену, что на днях будет отвечать. Конечно, не обязан, — но я-то свою критику его взглядов («На возврате дыхания и сознания», 1969) передал ему тихо, из рук в руки, и пятый год не печатаю, никому не показываю. И в той критике своей, после детального чтения, я бережно подхватывал, отмечал и поддерживал каждый убедительный довод Сахарова, каждое его доброе движение. И что ж он сейчас не мог передать свой ответ и мне, с Алей? Если опасался послать письменный текст — то хоть что-то устное? и хотя бы с каким-то дружественным словом?

Нет, на второй день как семья моя выехала, он — вчуже громыхнул на весь мир ответом, — да с какой поспешностью! как ещё не передавались самиздатские статьи: они обычно плыли ручной передачей, а тут — по телефону из Москвы в Нью-Йорк, к соратнику Чалидзе, 20 страниц по телефону! — какая же острая спешка, почти истерика, на Андрея Дмитриевича слишком не похоже, знать так горячо его склоняли, торопили — поспешить ударить! только сторонним влиянием и могу объяснить. И гебисты злорадно не прерывали этой долгой телефонной диктовки, как прерывают часто и мелочь.

Но — ещё обиднее: так спешил Сахаров, что даже «Письма» моего, видно, не прочёл хорошо? или только по радио слышал, и вот по слуховой памяти? —

* Вот, в 1984 Лех Валенса в «Ридерз дайджест» напечатал: если польскому [коммунистическому] правительству предложить разумную программу — то оно примет требования народа. А что такое «Письмо вождям»? Но — полякам так можно, а русским — нельзя. (*Примеч. 1986.*)

приписал моему письму, чего там вовсе не было. Например, такое: «стремление отгородить нашу страну... от торговли, от того, что называется обменом людьми и идеями», «замедление научных исследований, международных научных связей», замедление же и «новых систем земледелия», «отдать освободившиеся ресурсы государства» энтузиастам национально-религиозной идеи и «создать им возможность высоких личных доходов¹ от хозяйственной деятельности». Наконец, «мечта Солженицына о возможности обойтись... почти что ручным трудом». Да побойтесь Бога, Андрей Дмитриевич, да ведь ничего этого в моём «Письме» нет, откуда вы взяли? Научная некорректность — это ж не ваша черта!

Я — не ожидал. Но если вдуматься, ожидать надо было. Общественное движение в СССР, по мере всё более энергичного своего проявления, не могло долго сумятиться без проступа ясных линий. Неизбежно было выделиться основным направлениям и произойти расслоению. И направленья эти, можно было и предвидеть, возникнут примерно те же, какие погибли при крахе старой России, по крайней мере главные секторы: социалистический, либеральный и национальный. Социалистический (братья Медведевы, спаянные с группой старых большевиков и с какими-то влиятельными лицами *наверху*) представлял наиболее организованное направление, очевидно, уже давно тяготился своим смещением и мнимой общностью с остальным *Демдвижем* (хотя и тот не порицал советского режима) — и первый поспешил с разрывом и наступательным действием: в ноябре 1973, едва только стихла громоздкая барабанная правительственная атака на Сахарова, — Рой Медведев напал на Сахарова как бы в спину. Это многих тогда поразило. А вот теперь, едва кончилась правительственная расправа со мной, — Сахаров, определившийся вождь либерального направления, атаковал меня.

А мировой резонанс в тот момент был обеспечен. Сама атака шла в неравных условиях, да, но парадоксальным образом: из-за границы — туда, где Сахаров оставался во власти врагов, я не мог отвечать полновесно и остро. Именно моя свобода при его несвободе связывала мне руки.

Но откуда такая тревожная поспешность этого отклика, его напряжённость? кажется, я не предлагал «вождям» ничего немедленного. Я усовещивал их — впредь на большое время; а немедленно, вот сейчас — всех разгоняло, давило, секло коммунистическое правительство. Однако покидая неотложные опасности и заботы, Сахаров сел за некроткий ответ мне.

Сама статья Сахарова^{*} в большей своей части (но не до конца) выдержана в характерном для него спокойном теоретическом тоне. Во взглядах она почти неизменно повторяет его «Размышления о прогрессе», хотя тому минуло уже 6 лет. Сахаров так и писал: прежние общественные выступления «в основном по-прежнему представля[ются] мне правильными». Снова тот же «рационалистический подход к общественным и природным явлениям», и так же ему «само разделение идей на западные и русские непонятно». (А ведь это — не физика, не геометрия, это гуманитарность, и как же, не чужа этого разделения, нам высказываться по общественным проблемам? В гуманитарной-то области идеи во многом определяются *именно* средой своего рождения, традицией и менталитетом *именно* этого народа.) И тот же, во всей статье, планетарный образ мышления, не умелчанный до рассматривания национальной жизни: «нет ни одной важной ключевой проблемы, которая имеет решение в национальном масштабе», всё решит «научное и демократическое общемировое регулирование» (и перечисляет глобальные проблемы цивилизации, совсем опуская дух, культуру и собственно человеческую многомерную жизнь).

В отличие от «Размышлений» на этот раз Сахаров определён и категорично осуждает марксизм. Однако: «Солженицын излишне переоценивает роль идеологии». По его мнению «современное руководство страны» не идео-

^{*} Сахаров Андрей. О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза». — «Хроника» (Нью-Йорк), 1974; «Знамя», 1990, № 2, стр. 14 — 21; и др.

логией ведо́мо, а «сохранением своей власти и основных черт строя» (какого же строя, если не марксо-ленинского? и каким же инструментом, если не идеологией? и если б не Идеология, с чего б они так испугались, придушили свою же, косыгинскую, неглупую экономическую реформу 1965 года?). Но странно: хотя моё «Письмо» было направлено именно к *вождям*, с призывом именно *вождям* отказаться от Идеологии, — у меня и слова нет, чтоб за эту идеологию держалось советское *общество* или народные массы, — Сахаров с непонятной рассеянностью не замечает этого, и *трижды* в своей статье, с усилием, в открытую дверь, спорит: «если говорить именно о современном состоянии *общества* [курсив мой], то для него характерна идеологическая индифферентность», «не надо переоценивать роль идеологического фактора в сегодняшней жизни советского *общества*», «Солженицын, как я считаю, переоценивает роль идеологического фактора в современном советском *обществе*». Странное оспаривание *мимо* предмета спора (тоже от торопливости прочтения?) — а ведь здесь *ось* сахаровского ответа. И проскальзывает, всё же, старая оговорка: «казарменный социализм», — будто кто-либо, когда-либо видел другой, будто Маркс вёл к какому-то «нестеснённому» социализму? и ещё характерна фраза: «...роль марксизма как якобы „западного“ и антирелигиозного учения». Якобы антирелигиозного? якобы умершего? Ах, Андрей Дмитриевич, да живуча эта Идеология — и ещё как! ещё сколько будут держаться за неё, — именно за казарменное «равенство», казарменную «справедливость», чтобы только не взгрузить на себя бремя свободы.

И уже не первый, не первый раз касается Сахаров *русской* темы в форме заёмно-распространённой: «в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и иноверцам». (Как бы при таком презрении держалось бы 100-национальное государство?) Никак, А. Д., нельзя не сверяться с историками — С. Соловьёвым, С. Платоновым. И тогда узнаем, что на всём протяжении от Ивана IV до Алексея и Фёдора Россия тянулась получать с Запада знания и мастеров с их умением (и почётно содержала приехавших) — а отсекали им путь Ганза, Ливония, Польша да и прямое вмешательство Римского Престола: опасались все они усиления России. А с чего бы Петру понадобилось в Европу «прорубать окно»? Оно было *снаружи* заколочено.

Выражает Сахаров и мнение, что «призыв к патриотизму — это уж совсем из арсенала официозной пропаганды». И вообще, спрашивает он: «где эта здоровая русская линия развития?» — да не было б её, как бы мы 1000 лет прожили? уже и ничего здорового не видит Сахаров в своём отечестве? И особенно изумился, что я выделил подкоммунистические страдания и жертвы русского и украинского народов, — не видит он таких превосходящих жертв.

Дождалась Россия своего чуда — Сахарова, и этому чуду ничто так не претило, как пробуждение русского самосознания! Однако если подумать, то и этого надо было ожидать, подсказывалось и это предшествующей русской историей: в национально-нравственном развитии России русский либерализм всегда видел для себя (и вполне ошибочно) самую мрачную опасность. А с социалистическим крылом (да даже и с отпочковавшимися коммунистами) они были всё-таки родственники, через отцов Просвещения. И опять у Сахарова всё та же наивная вера, что именно свобода эмиграции приведёт к демократизации страны; и только демократия может выработать «народный характер, способный к разумному существованию» (о да, несомненно! но если понимать демократию как устойчивое, действующее народное самоуправление, а не как цветные флаги с избирательными лозунгами и потом самодовольную горделиво отделившихся в парламент и хорошо оплачиваемых людей); демократический путь (разумеется, просто по западному образцу) — «единственный благоприятный для любой страны» (вот это и есть *с х е м а*). И бесстрастно диктует Сахаров нашему отечеству программу «демократических сдвигов под экономическим и политическим давлением извне». (Давление извне! — американских финансистов? — на кого надежда!) А по центральному моему предло-

жению в «Письме» — *медленному, постепенному* переходу к демократии через авторитарность, Сахаров опять возражает *мимо* меня: «я не вижу, почему в нашей стране это [установление демократии] не возможно в принципе?», — так и я же не спорю с *принципом*, только говорю, как опасно делать это рывком.

Конечно, тон выступления Сахарова был неоскорбителен. Но к концу статьи он резко сменил его. И он был первым, кто назвал мои предложения «потенциально опасными», «ошибки Солженицына могут стать опасными». А если не прямо они, то «параллели с предложениями Солженицына» «должны настораживать». И если ещё не я сам прямо опасен, то неизбежно *опасными* проявятся какие-то мои последователи — и к этой-то неотложной *опасности* было так торопливо его письмо. Перекрывая болтами мягкость лично ко мне, не упустил он вставить набатную фразу, и сильно не свою: «Идеологи всегда были мягче идущих за ними практических политиков». Запасливая фраза, практически-политическая, да почти ведь в точности взята со страниц Маркса-Энгельса.

И эти-то сахаровские предупреждения, при начале капитулянтского деданта, пришлось Западу очень ко времени и очень были им подхвачены. По сути, только вот эти предостережения западная пресса вознесла и повторяла из статьи в статью, само «Письмо» почти не обсуждая. «Захватывающий дух диалог двух русских!» — пророчила она, несомненно ожидая, что дискуссия потечёт и дальше.

И мне — очень хотелось ответить немедленно, конечно. Как и Сахарова, меня тоже смутило многое у него. Но скромный, малый, щадящий ответ, лишь смягчить самые выпирающие ошибки оппонента — был бы не в рост поднятым проблемам. Вопросы — все очень принципиальные, а мы с единомышленниками уже год как готовили в СССР широкий по охвату самиздатский сборник статей «Из-под глыб» — да высылка моя сорвала общую работу, теперь сборник откладывался с месяца на месяц, как-то надо было кончать его сношениями через железо-занавесную границу, нелегко. Так обгонять ли «Из-под глыб» с его взвешенными глубокими формулировками — поспешной газетной полемикой, которая всегда обречена быть поверхностной? Скрепя сердце пришлось от немедленного публичного ответа Сахарову отказаться.

И когда 3-го мая журнал «Тайм» брал у меня интервью и прямо вызывал на ответ Сахарову — я ответил глухо, уклончиво. И, очевидно, зря: в западном сознании осталось, что Сахаров меня победно подшиб, как говорится, «один — ноль». Спустя полгода, в конце 1974, уже после «Из-под глыб», мой мягкий ответ Сахарову в «Континенте» — вовсе не был замечен: эмигрантский русский журнал не тянет против американской ведущей газеты, да уже многих западных газет.

Да хоть бы я ответил и в «Нью-Йорк таймс»? — тогда искрились надежды разрядки: с коммунизмом *можно* договориться, и надо, да он вовсе уже не коммунизм! — как раз по Сахарову. Из статьи его получалось, что мой счёт коммунизму — чрезмерен, необоснован, опоздан, я — не объективный свидетель того, что делается в СССР; ядро моего «Письма» и моё сомнение в абсолютном и безусловном благе Прогресса он изобразил как тягу к реставрации старины. С тех-то пор, вот с этой сахаровской статьи, с постоянными ссылками на неё, и пошло перетёком по Западу, что Солженицын — антидемократ и ретроград.

Но это я зашёл вперёд. А публикация «Письма вождям» произошла 3-го марта — и семьи моей ещё не было, и Аля по телефону настойчиво откладывала, и, можно было догадаться, не от вмешательства властей. А у меня была только сильно неустроенная полупустая трёхэтажная квартира, да ещё с неделю не починая, не запёртая калитка — и сам же Цюрих.

Цюрих — очень нравился мне. Какой-то и крепкий, и вместе с тем изящный город, особенно в нижней части, у реки и озера. Сколько прелести в готических зданиях, сколько накопленной человеческой отделки в улицах (иногда таких кривых и узких). Много трамваев; изгибами спускались они к при-

речной части города с нашего университетского холма, от мощных зданий университета. (А из прошлого знаю: столько российских революционеров тут учились, получали дипломы в передышках между своими разрушительными рынками на родину.)

Мне и усилий не надо было делать над собой: я уже весь переключился на ленинскую тему. Где б я ни брёл по Цюриху, ленинская тень так и висела надо мной. Сознательный поиск я начал с тех библиотек, где Ленин больше всего занимался: Церингерплац и Центральштелле (по многовековой устойчивости швейцарской жизни они, собственно, и не изменились). Во второй работал эмигрант-чех Мирослав Тучек, весьма социалистического направления, но мне сочувственно помогал. От него я получил и недавнюю книгу Вилли Гаучи, где было собрано всё о пребывании Ленина в Цюрихе, страниц 300 немецкого; получил домой, в подарок от автора, тут же и навалился. И, совершенно неожиданно! — знакомство с Фрицем Платтенем-младшим — трезвым сыном своего упоённого отца, того Платтена, который оформлял и прикрывал возврат Ленина через Германию в Россию, понёс его на своих крылах. Сын — уже не защищал отца, а объективно выяснял все скрытые обстоятельства того возврата. Дружески мы с ним сошлись (с удивлением я обнаруживал, как быстро восстанавливается мой немецкий). Бродил я и специально по ленинским местам, где он заседал в трактирчиках, как ликвидированный теперь «Кегельклуб», и сколько раз проходил по Шпигельгассе, где Ленин квартировал, и по Бельвю к озеру. А другие цюрихские впечатления наваливались на меня мимоходом, случайно, — но затем, с опозданием и в несколько месяцев, я догадывался, что это же прямо идёт в ленинские главы — как ярчайшая картина масленичного карнавала, или могила Бюхнера на Цюрихберге, или богатая всадница на прогулке там же.

Цюрихберг — лесистая овальная гора над Цюрихом, разумеется тщательно сохраняемая в чистоте, и тоже не первый век, место, куда Ленин с Крупской не раз забирались растянуться на траве, — начиналась своим подъёмом совсем близ моего дома, двести метров пройти до фуникулёра — милого открытого трамвайчика, круто-круто его втаскивал канат наверх, когда противоположный вагончик спускался. (Такое это было занятное зрелище, что я положил себе: вот приедут наши, повезу Ермошку показывать, ведь ему четвёртый год, он уже изрядно смышлён, вот удивится-то! Но поразительная жизнь: и приехали, и прожили там два года — так и не нашёл я момента в кружной жизни, свозил всех ребятишек кто-то вместо меня, может быть фрау Видмер, жена штаттпрезидента, мы очень с ними обоими сдружились: Зигмунд своими духовными свойствами и политическим пониманием стоял много выше сегодняшнего среднего западного человека, а фрау Элизабет была тепла, сердечно добра, проста, и привязалась к нашим ребятишкам, брала их то в зоопарк, то ещё куда, свои дети у неё уже были близки к женитбе.) Квартира-то наша была сильно достигаема шумом близких улиц, особенно от нынешнего завывания санитарных автобусов, тут рядом кантональный госпиталь, — а поднимаешься на Цюрихберг, минуешь последние дачи богачей — дальше такой лесной покой, и совсем мало гуляющих в будний день, я там отдышивался, раздумывал, закипали планы литературные, публицистические. (Не забуду встречи с пожилым швейцарцем, он тоже шёл один. Это было вскоре после моего приезда. Он изумился, повернул ко мне, обеими руками взял меня под локти, смотрел на меня с любовью, смотрел, и слёзы у него полились, сперва и говорить не мог. Надо знать сдержанных, жёстко замкнутых швейцарцев, чтоб удивиться: и что повернул без повода, и за руки взял, и плакал.)

Наконец, день прилёта наших прозначился: 29 марта. Солнечный, тёплый день, конечно и Хееб со мной. Опять было большое скопление прессы на аэродроме. К самолёту приставили лесенку, меня впустили. Вошёл, как в темноту, первым столкнулся с Митькой, обвешанным ручными сумками за всех, потом Аля передала мне Ермошку и Игната, они тарашились, Ермошка меня узнал, а полуторагодовалый Игнат просто покорился судьбе, я понёс их как

два пенька, Аля — корзину с шестимесячным Стёпкой. (Тогдашняя фотография стала из моих любимых.) За Алей шла бабушка. Чемоданов они привезли десяток, но это было, конечно, не главное, Аля успела шепнуть, что всё *существенное* не тут, пойдёт иначе. А на Шереметьевском аэродроме гебисты долго держали их багаж: фотографировали все третьестепенные бумажки, и, как потом оказалось, размагнитили и все наши аудиоплёнки, сколько интересных записей накопилось у нас за три года.

Покатили на Штапферштрассе, кортеж за нами, там толпа фотографов вывалила. Наша калитка уже запиралась — они, человек тридцать, кинулись в открытую калитку наших милых соседей, молодой пары, Гиги и Беаты Штехелин (их дома не было), и, ближе к нашему низкому заборчику — зверски теснясь и отталкивая друг друга, вмиг истоптали большую, излелеянную хозяевами цветочную клумбу. И это — европейцы? (Навредили б так русские, все бы: «во! во! русские только так и могут».) Я закричал на них, пытаюсь очнуть. Бесплезно. И — не отступил никто с клумбы, так и уничтожили её. Я изумлялся, до чего они надоедны, они изумлялись, до чего я горд. Измученных малышей мы спешили укладывать — они требовали, чтобы вся семья теперь вышла позировать на балкон. Невозможно, да на аэродроме уж нащёлкали без числа, я — отказал. Так и ещё, ещё утверживалась моя ссора с западной прессой — и надолго вперёд.

Зато: в одном самолёте с нашими прилетел из Москвы корреспондент Ассошиэтед Пресс Роджер Леддингтон. Аля тут же объяснила мне, что он — из самых самоотверженных спасателей архива, много унёс в карманах. Как же было избежать дать ему хоть маленькое интервью? А вопрос всё тот же: посещу ли я Соединённые Штаты? Америка продолжает ждать.

Между тем — приглашали меня и две подкомиссии американской Палаты Представителей, дать им показания. Взамен себя слал я им подробное письмо* с ответом: что я *не* полагаю разрядкой международной напряжённости: угодливые умолчания; сакраментальную веру в устные обещания правителей, никогда их не выполнявших; односторонние уступки; позднюю перетолковку договоров; заключение ничем не гарантированных перемирий; равнодушие к зверствам противной стороны. А под разрядкой *истинной* понимаю «такое *несомненно контролируемое* обезоруживание всех средств насилия и войны... которое делало бы каждый этап разрядки *практически необратимым*». Письмо моё было опубликовано в материалах Палаты Представителей, прорвалось отчасти в газеты, например, «Вашингтон пост». Примечание газеты было: «Мы сделали письмо Солженицына доступным американским обозревателям по советским делам, они охарактеризовали его взгляды как *упрощённые*». А желательный уровень *сложности* был: продолжать верить улыбкам и уступать односторонне...

Ещё и сенатор Мондейл (будущий вице-президент) добивался приехать ко мне в Цюрих — но не мог я всего вместить, уклонился.

А тут пришло письмо известного сенатора Джексона, сильно запоздавшее в пути (не по почте, он перемудрил с оказией). [9] И опять — приглашение, и опять — благодарю и отказываюсь. [10]

А тем временем всё притекали же и копились тысячи писем не столь известных людей, отвечать на них — да даже читать их — не было никаких сил. А на Западе привыкли, чтобы каждое учреждение и каждое лицо отвечало на каждое письмо: держи какую хочешь большую контору, пусть отвечают за тебя секретари — но отвечайте. Уже на меня обижались многие и в Швейцарии. Супруги Видмеры посоветовали мне отозваться через Швейцарское телеграфное агентство. Так я и сделал. [11]

Тут — не хватало ответа, который уже выпрашивали у меня швейцарские корреспонденты, который хотели слышать и все тут: по каким именно причи-

* «Публицистика», т. 2, стр. 78 — 80.

нам я избрал Швейцарию для своего жительства? И неловко было бы объяснить, как это получилось само собой. А говорить, что я давно пишу Ленина в Цюрихе, — преждевременно. И изо всех аргументов оставалось — традиционное сочувственное представление в России о Швейцарии да поразительная история, рассказанная Герценом в «Былом и думах» о силе той демократии, где община сильней президента.

Приезд детей поднимает сразу много вопросов. Митю — надо устроить в школу. Кстати, школа совсем рядом, на Штапферштрассе, — и школьники, видя из окон, как донимают нас корреспонденты, уже провели манифестацию с плакатами: «Оставьте Солженицына в покое!» Иду, подаю заявление. (Вослед начинают мне течь бумаги с методическими указаниями, советами.) Митя по уровню оказывается выше, чем школа ожидала, быстро схватывает и язык, ему становится легко, и он, по своему динамичному характеру, зорко использует также и либеральные щели в её распорядке, меня вызывают в школу объясняться.

А малыши? ведь они круглосуточно требуют Алю, им всё тут непривычно, смена резка; вот старшие растеребили пух из подушки по всему полу, младший плачет. Да у матери опережающая тревога: как детям в океане чужих языков не упустить свой, русский? ежедневно помногу читает им, целый чемодан привезла детских книг. Так Аля — полностью отдастся им, уже не будет сил не только для нашей работы, не только для ответов на дёргающий мир — но ни для какого домашнего устройства? а оно неперечислимо: неизвестный мир, неизвестные в нём предметы, неизвестные цены и нет языка! К счастью, приходит помощь в виде пожилой эмигрантки, живущей в Цюрихе, Ксении Фрис, она наставляет Алю по всем бытовым проблемам, и находит — чудо какое: в сердце Швейцарии одинокую простонародную, с самобытным русским языком русскую бабушку, закинутую судьбой сюда из Маньчжурии, когда в 1945 — 46 годах наша тамошняя (сибирская) эмиграция бежала от пришедших красных. И эта Екатерина Павловна, «баба Катя», в своей суровости проникается сердечной теплотой к нашим малышам, как если б вся её одинокая жизнь и была предназначением дожидаться вот этих крошек и холить их, и обучать простейшим навыкам жизни. А была бы нянька — иностранка (и все шансы были за то)?

Правда, жила она далеко за городом, у нас бывала только до полудня, но и то какая выручка. Остальное время малыши были с бабушкой и мамой. А продукты покупать? Тут уже Митя выручал, округу быстро освоив. На женщинах наших — всё хозяйство, да если б только! Ведь если *самим* сейчас не вычитать набор выходящего 2-го тома «Архипелага» (а через несколько месяцев и «Телёнка»), то книги выйдут с изрядными опечатками: у «Имки» нет средств держать корректора. Да уже и Митя много помогает маме: он бойко читает с подлинника вслух, со всеми запятыми, Аля правит по вёрстке. И вот — всё это вместе, перевари.

А малыши нуждаются не только в уходе, но и в зорком глазе. Ведь всего лишь год назад присылали нам гебисты угрожающие письма, стилизованные под уголовников, что расправятся с детьми, — и почему бы это была шутка? В числе доблестей чекистов Дзержинский не перечислял шутовности. Однако живя у Ростроповича в запретной зоне Барвихе, я на лыжах гонял часами по лесу — и знал, что никто меня не посмеет тронуть: ляжет несомненно на них. А здесь, за границей, уже из полиции двух стран предупредили меня, что у международных террористов — я на списке, да мне и так было ясно, Советы же и обучали и снабжали их. И теперь при любом похищении ребёнка ГБ и вовсе руки умоет: это — не наша страна, разбирайтесь сами. Пока беда не случилась — все скажут: пустые страхи, паранойя. А если случится (в XX ли веке не берут заложников?) — тогда только «ах! ах!». Правда, прогулки детей в город — или с фрау Видмер, или с дружной русской эмигрантской семьёй Банкулов, живущих под Цюрихом (нам посчастливилось познакомиться с ними через храм о. Александра Каргона), — прогулки начинаются не сразу, но и

наш крохотный дворик, где дети всё время, и мы устроили им разные забавы-горки, игровую площадку, — дворик-то просматривается с трёх сторон, и решётчатый заборчик всего по грудь, его перескочить ничего не стоит.

И перескакивали несколько раз. Какой-то фанатичный молодой человек сел на ступеньках нашего дома и объявил, что — никуда не уйдёт, что я — Иисус Христос, а он отныне будет проповедовать вместе со мной. И просидел на крыльце чуть не сутки, ни на чьи уговоры не поддаваясь, пока позвали полицейских, не пошёл и с ними, и они его мягко и бережно («права человека») вынесли на руках и отвезли подальше. — А то взяли нас в осаду несколько молодчиков, довольно бандитского вида, привезли и на руках держали, носили какое-то несчастное уродливое существо, взрослого карлика, сына из богатейшей латиноамериканской семьи: он желал встречи со мной, чтобы начать совместно писать книгу! — То, по недосмотру, была у нас не заперта и калитка и дверь — тотчас ворвалась в дом какая-то наглая советская баба и, не скрывая враждебности, развязно нам выговаривала. — То другая женщина, тоже с русским языком, настойчиво вызывала к калитке, не хотела бросить письмо просто в почтовый ящик; взяли — рукописное письмо, от кого же? от скандально знаменитого Виктора Луи. Он, простой советский человек, лежит в цюрихском госпитале, размышляет о смысле жизни; считает, что неприятности между нами теперь уже позади — и что же? раскаивается, как разыгрывал мою слепую тётю? как закладывал мою голову под советский топор? — о нет, пишет о своих собственных лагерных страданиях в прошлом, и чтоб я очистил его от обвинений, что он продал «Раковый корпус» на Запад; а теперь он не против бы встретиться со мной после выписки из госпиталя! — А сколько приезжали и стояли за заборчиком по грудь (всё в том же отворённом дворике соседа Гиги), и настойчиво звали меня. Среди них и очень, видать, искренние люди — и явно же подозрительные провокаторы, какие-то подставные фальшивые лица со смутными историями.

А ещё же приезжали посетители, с письменным заранее моим согласием или без, которых я приглашал беседовать в дом. Тут был и казачий вождь В. Глазков (я не сразу разобрался, что он сепаратист-казакиец: «Казакция» — отдельная от России страна). То, по созвучию, немецкий филолог Вольфганг Казак, сидевший в СССР в лагерях военнопленных, с тех пор вовлекшийся и в русский язык, затем и в русскую литературу. То — неугомонная Патриция Блейк, из ведущих американских журналисток, три года назад швырнувшая в мир, к нашему ужасу, подслушанную ею тайну, что есть такой «Архипелаг ГУЛАГ» и уже переводится на английский! Теперь она желала писать мою биографию. — И американские слависты. И та самая графиня Олсуфьева из Рима, о которой когда-то на Поварской сладко повествовали мне в Союзе писателей, — а теперь она приехала доказывать мне отзывами итальянских профессоров, что её за три месяца сделанный итальянский перевод «Архипелага» — превосходного качества. (А оказался — совсем плох.) И приезжали тщеславные эмигрантские пары, чтобы только отметить, что были у меня. А бывали — и самые славные старики, и с важными свидетельствами о прошлом, и надо бы плотно заняться ими, да нет времени.

Приезжал В. В. Орехов, редактор многолетнего (с 20-х годов) белогвардейского «Часового» (бессменная вахта, пока не дождёмся падения большевиков). В его письмах перед тем странные какие-то встречались намёки на нашу с ним никогда не бывшую переписку. Уж я думал — не тронулся ли он немного? Нисколько, приехал, уже за 70, с ясной головой и несклонимым духом, участник гражданской войны, капитан русской императорской армии. И показал мне... 2-3 письма *моих!* моим безусловно почерком, замечательно подделанные, и с моими выражениями (из других реальных писем), да не ленились лишний раз Бога призвать, и с большой буквы, — а никогда мною не писанные! Подивился я работе кагебистского отдела. А плели они эту переписку с 1972 года. Сперва я будто запрашивал у Орехова материалы по Первой мировой войне, и он мне слал их — куда же? а в Москву, на указанный адрес, за-

казными письмами с обратными уведомлениями — и уведомления возвращались к нему аккуратно, с «моей» подписью. Изумление? Да столько ли чекисты дурили! Затем, видимо для правдоподобности, «я» предложил ему сменить адрес — писать через Прагу, через какого-то профессора Несвадбу. Тот подтверждал получение писем Орехова. А в конце 1973, когда уже завертели полную «конспирацию», передали Орехову приглашение «от меня» встретиться нам в Праге, уже не для исторических материалов, а для выработки общего понимания и тактики. И Орехов абсолютно верил и лишь чуть-чуть почему-то не поехал — да тут меня выслали. Так — не состоялась ещё одна готовимая на меня петля: Орехова бы там схватили — и вот уже доказанная моя связь с белогвардейским заговором. Это был у ГБ, очевидно, запасной против меня вариант (да ещё один ли?).

Тут как раз брал интервью «Тайм», я дал им и эту публикацию, факсимиле «моего» почерка, поймал КГБ на подделке. [12] И урок: не надо такие случаи пропускать: эта публикация ещё сослужит защитную службу в будущем. Урок: что борьба с ГБ никогда не утихает, пока оно растёт на Земле чумною коростой, — и никогда нельзя позволить себе сложить руки.

Да ещё ж было одно место в Цюрихе — импозантная контора Хееба. Посещал я её раз-два в неделю, с деловитостью подшивали какие-то бумаги фрау Хееб, пожилая хрупкая дама, и юная секретарша, а неизменно важный Хееб в своём кабинете сидел за огромным письменным столом, тут и толстые своды швейцарских законов, — да и мне предлагал немало бумаг на главных языках Европы, а то и побочных, я сидел-потел, но все они были как-то не к делу: пустейшие поздравления, пустейшие приглашения, куда я ни за что не поеду, просьбы, просьбы о встрече, приёме, — да я и облегчён был, что всё пустое, не надо ещё на это время тратить. (И само собой — книги, книги в подарок, есть и вовсе лишние, куда их? только на наш чердак.) А если деньги мне нужны? — Хееб выписывал чек, он ведь распоряжался всем. И так не приходило мне даже в голову, что когда-то надо сесть, расспросить о *делах* — каких там ещё?

А вот и дело: говорит Хееб, надо мне ехать для судебного свидетельства. С чего это? Оказывается: лондонский издатель Флегон (тот самый, испортивший когда-то своим пиратским изданием «Круг» по-русски и проигравший суд за пиратское же английское издание «Августа», хороший друг Виктора Луи) — теперь так же пиратски издал первый том «Архипелага», «ИМКА-пресс» судится с ним, но раз я теперь на Западе — требуется и моё присоединение. Боже, как не хочется, как не до этого душе, только и рвущейся — начать бы писать. Но надо — так надо, в чужой монастырь со своим уставом не лезь. Едем, в цюрихский английский консулат. Какой-то чин садится со мной беседовать — теперь, конечно, по-английски, и давай перестраивай мозговые извилины с немецкого, Боже, как мучительно. Ну, кой-как моё мнение изложено, издания Флегона я не разрешал и протестую, теперь — приноси присягу на Библии. Приношу. (Стоило бы из-за чего другого! И безбожник Флегон в Лондоне охотно присягает.)

Проходит недели две — получаю из Лондона телеграмму от Флегона, что он такого-то числа явится для вручения мне судебного иска. Я и внимания не придал. Но в назначенный день — тёплый весенний день, появляется на Штапферштрассе некий подвижный человечек в чёрной шляпе и в чёрном же плаще-накидке, демонстративно длинном и с широким запахом, как ходили в Англии прошлого века может быть стряпчие, напоминает большую летучую мышь. На каменном столбике нашей калитки что-то наклеивает, возвращается на другую сторону улицы и стоит там. Выбежал Митя, вернулся, сообщает мне, что это, на английском языке, крупноразмерными, увеличенными буквами, вызов меня в Высший Суд Великобритании и с какой-то важной печатью. Первое наше движение — пусть Митя сорвёт прочь, да и всё. Но какой-то инстинкт почему-то подсказал мне — не срывать, чёрт с ним, пусть висит. Похожие останавливались, смотрели, удивлялись, шли дальше. Так и провисел до темноты. А Флегон-то, оказалось, все эти часы дежурил с фотоаппаратом — сфотографировать, как мы срываем, это и будет документально означать, что

я — принял повестку в английский суд, и теперь подпадаю под него. (Потом я узнал, что иски эти не разрешено посылать по почте, а только лично вручать. Но всё равно, английские газеты уже печатали: *издатель* «Архипелага» подал на *своего автора* — стало быть, недобросовестного — в суд. Подарок для ГБ. В каком-то скороспелом дерьме хотели меня измазать.)

Нет, решительно не хватало нам с Алей времени для простого раздумья.

И в один из чудесных апрельских дней повёз я её фуникулёром этим самым на Цюрихберг, уселись мы в лесу на скамье, с видом на Цюрих далеко внизу, и стали отходить.

Не специально искали главную мысль или деловое решение, а просто отходили. Да к тому же — по-православному Страстная неделя шла, мы уже хаживали и в наш подвальный храмик, настроение очищенное.

Посидели часок — и поняли. Ведь была ж у меня уже года три назад идея, на том я тогда завещание построил (которое Бёлль заверял): $\frac{4}{5}$ ото всех моих гонораров отдать на общественные нужды, только пятую часть оставить для семьи. А в январе, вот только что, в разгар травли, я объявил публично, что гонорары «Архипелага» все отдаю в пользу эзков. Доход от «Архипелага» не считаю своим — он принадлежит самой России, а раньше всех — политэкам, нашему брату. Так вот — и пора, не откладывать! Помощь нужна не *когда-то там* — но как можно быстрее. Жёнам эзков — собирать передачи и ехать на свидания *сейчас*, дети эзков и старики-родители недоедают *сейчас*. А тем более, что у нас подготовка обсужена: прошлым летом в Тарусе встречался я с Аликом Гинзбургом и обговаривали мы с ним, как бы нам, вытягивая мою «нобелевскую» из-за границы, наладить денежную помощь в СССР политэкам и их семьям, дать им возможность выжить. (Да преследования в СССР и сверх арестов густились: у кого обыск, кого с работы уволили, так тоже без заработка.) И Алик брал на себя всё распределение, имея к тому и жар сердца, и виртуозные конспиративные способности, и великолепный организаторский талант. И уже о деталях сговаривались, я настоял, чтоб не следовать советско-образованской брезгливости, помогал бы он и по старой статье 58—1, так называемым «изменникам родине», куда лепили и простых пленников, да и все, кто ещё жив, сидят 30 лет. И тогда упиралось только: *как* же переводить деньги с Запада. (Лишь кой-кому из «невидимок» мы тогда исхитрились.) Так вот, теперь, когда мы здесь, — неужели не найдём способа? Уже нам объяснили здешние знающие, что лучше всего устроить Фонд, ему отначала и передать жертвуемые деньги.

В это двухчасовое сидение, в прозрачной ранней весенности, мы с Алей всё и решили. Называться будет: Русский Общественный Фонд, отдадим ему все мировые гонорары с «Архипелага», это, наверно, и сложится под те $\frac{4}{5}$, а то и больше. Сперва — помощь экам, преследуемым, но не упускать и русскую культуру, и русское издательское дело, позже, может быть, и ещё какие-то восстановительные в России работы. Всё, начинаем действовать, утверждать Фонд! Через Хееба, разумеется, он тут всё понимает. А дальше — будем изобретать, *каким* же образом средства посылать.

И Бог споспешествовал нам: вот, познакомились с семьёй Банкулов. Виктор Сергеевич оказался в высшей степени рассудительным, деловым и душевно-надёжным человеком. Его первого мы посвятили в наш план, он принял большое участие, много верно советовал, затем стал и членом Правления Фонда. А уж всю конспирацию взяла на себя Аля, скрепляя звенья Невидимок, — эта цепь несколько не устарела, она ещё как нам пригодится!

А сложилось так, что почти в ту же неделю досталось нам с Алей — и просто на ходу, с какой-то внезапной ясностью, ещё одно крупное жизненное решение принять.

Здесь — не дадут мне работать. Здесь — скрещенье всех европейских путей. Поток посетителей. Чтобы писать — приходится уезжать в горы, и без семьи. Искать в Швейцарии — глушь и переехать всем туда? А есть ли такая? (Спустя время Аля и ездила вместе с Банкулами на плоскогорье Юру, искать

там подходящее. Ничего не нашли.) А тогда — уезжать в другую страну? А — куда?

Странно. Встретила меня немецкая Швейцария изумительно, гордилась таким приобретением. И весь образцовый порядок этой страны как будто так соответствовал моей методической организованной натуре. Я искренне эту страну одобрял, всё преотлично. К тому же, когда-то учённый в детстве немецкий язык, пригожавшийся редко, для чтения книг, вдруг теперь счастливо прорвался во мне — и я оказался способен объясняться не только на бытовые темы, но даже и на отвлечённые, хотя за полчаса уставал. Очень мне это помогло в швейцарские годы. Так десятилетиями лежащий в нас груз вдруг оказывается бесполезен, как бы мудро задуман для какого-то этапа жизни, не пропадает заложенный в детстве труд.

А сердцу — не было покойно. Цюрих — исключительно красивый город. А идёшь по нему, сердцу — не хорошо, тоскливо. Да это — и не к Цюриху относилось: скорей, это было общее неприятие западного преизобилия и беспечности. Но — и нависание СССР над плечами.

А приехала Аля — и так же в короткие недели переняла то внешнее ощущение драконовых зубов, которое я испытал в Норвегии. Странно, что, живя в Союзе, мы никогда так не ощущали его нависающую силу, как сразу почувствовали здесь. И вот, в какой-то миг ясности, на мансарде только освоенной цюрихской квартиры, я высказал, и жена как будто приняла: что, ох, не удержимся мы здесь; как уже волны и волны наших эмигрантов — не потянемся ли через океан? (И — продолжали осваивать квартиру, вертикальную от подвала до чердака. Женщине — трудней эти вечные переезды. Аля ещё потом отшатывалась и усиленно сопротивлялась, не хотела за океан. Сию минуту ведь ничто не гнало из Европы, не так легко подниматься на новый переезд. Но того требовало протяжённое будущее.)

Так мы начинали жизнь в Цюрихе, уже сразу решив из него уезжать, хотя бы в Юру?

А если не в Европе — то куда?

Методом исключения — получались или Штаты, или Канада. Да ведь делям и хорошо бы дать самый международный язык — английский.

А ещё же держала нас и назад тянула — задача защиты наших собственных арьергардов. Для людей, как-то связанных в прошлом со мной, и особенно для Угримова, всё ещё хранящего архивы, вот этот первый год после моей высылки и особенно первые месяцы были напряжённо-опасными, решающими: последует ли теперь разгром их всех или не тронут? Реальной силы защитить их у меня не было никакой, но ведь *реальной* силы не было у меня и все прошлые годы — однако же борьба прошла успешно. Пока советское правительство ещё продолжало меня бояться — а оно боялось меня! — я должен был всемерно показывать, что буду громко и сильно защищать каждого своего помощника, не дам им расправиться втихомолку. С волнением открывали мы приходящие из Москвы «левые» письма. Пока, неделя за неделей, все оставались нетронуты, хотя были наглые кагебистские звонки к Люше Чуковской. Затем узналось о преследованиях Эткинды (и надо было поддержать его, я написал защитное заявление и ещё раз напомнил о Суперфине). Море было прессы вокруг, а устойчивых приёмов, навыка, как же и где быстро и заметно напечатать, — у нас не было. И всё ещё не понимал я до конца, насколько Скандинавия — глухой угол, откуда плохо раздаётся по Западу: приехал как раз Пер Хегге — и я отдал ему для «Афтенпостен» статью*. И заглохли там мысли, которые надо бы разъяснить Западу всетелевизиюно: что подавление инакомыслящих в СССР помогает закрытости его, внезапности любого агрессивного шага, приближает войну больше, чем отодвигает мировая торговля. И нельзя превращать *разрядку* в поступенчатый Мюнхен.

* «Публицистика», т. 2, стр. 85 — 87.

Да не одна ж Скандинавия: не избежать мне было в первые месяцы объятий какой-то крупной телевизионной компании, да американской, конечно, — и я дал интервью CBS*. Они приехали к нам в дом шумной, технически оснащённой, крупной компанией, человек 10, за малой недостаткой: не было хороших переводчиков. И я тоже к этой встрече оказался плохо готов, не понимал, кто этот Кронкайт, какой он левый, и сколько подколок в его вопросах, — всё о западной медиа да моём отношении (уже все отметили его), да об эмиграции, да сами-то вопросы мне плохо переводил норвежец Хегге, а уж мои ответы на английский совсем сумбурно и неверно переводил Дэвид Флloyd, оба не переводчики, тем более не синхронные, — и Кронкайт меня не понимал.

Без надобности полез я и оценивать Третью эмиграцию: этично ли уезжать по отношению к остающимся? и хорошо ли, кто едет в Америку? и как о тех, кто едет в Израиль? не моё было дело в это вмешиваться, — но ещё понимали мы отъезжающих как недавних соотечественников, как *своих*, а рваная рана отрыва от родины пылала. И мысли были — как Гоголь когда-то написал: «Настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая своё презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должн всяк из нас спасть себя самого в самом сердце государства». (А привелось и ему годами жить в Италии...)

Тем временем вынужденная эмиграция — и через меня же! — коснулась столь близких нам Стивы Ростроповича и Гали Вишневской. Ведь никогда же бы их артистическая жизнь не пересеклась бы с каракатицей мерзкой, тускоглазой политики, если б не их широкодушный и дерзко отважный шаг — дать приют гонимому. И сколько ж за то унижений, подножек, насмешек, плевков пережили они в смрадном объёме советского Министерства Культуры, от угодливых прислужников его: их лишали концертов, не только заграничных, но и столичных, Ростроповича гнали ездить почти только по дальней провинции, Вишневскую вытесняли из любимого ею Большого театра, сколькокие прежние друзья отворачивались от них трусливо — после лет сиятельного успеха как им было больно, оскорбительно. Но уж года три они сносили все унижения, и ещё сколько-то бы продержались? однако после моего изгнания нажим на них стал ещё мстительней: отупевшие от злобы администраторы вместо того, чтоб теперь-то им помягчить, — прямо уже вытесняли их прочь и прочь из храмины советского искусства. И друзья наши не выдержали, согласились уехать. Так любовно устроенный ими дом в Жуковке с концертным залом, никогда не опробованным, и те все аллеи, где они дали мне вынашивать «Красное Колесо», а Але — Игната и Степана, — всё это брошено, дочери Оля и Лена оторваны от своего детства — и всей семьёй в четыре человека Ростроповичей понесло изгоняющим восточным ветром — куда-то в Европу, они сами ещё не знали куда. Да тут был для них не чужой мир, сколько раз они собирали тут жатву славы, сколько друзей тут у них, знакомых, и сколько сейчас полётса предложений, они были в положении, несравненно благоприятнее стольких эмигрантов, — однако от потери родины, без права вернуться, были в ошеломлении. В таком растерянном, смущённом, неприкреплённом состоянии они и посетили нас в Цюрихе. Улыбались — а горько, Стива пытался шутить, а невесело. В нашем травяном дворике сидели мы за столом до сумерок — никогда не примерещился бы такой финал, средь обступивших нас швейцарских особнячков, с высокими черепичными крышами, пять лет назад, когда они приютили меня в Жуковке.

А ещё в то лето дважды приезжал к нам В. Е. Максимов. Взяв эмиграционную визу почти день в день с моей высылкой, в начале февраля, он уже вот несколько месяцев в Европе, и осматривался и метался: как же приложить силы? Его тут знали мало. Он — не знал ни одного языка. Начать эмиграцию

* «Публицистика», т. 2, стр. 88 — 116.

с того, чтобы сесть и тихо писать следующий роман по-русски, — было не по нраву его, бурно-политическому, да и не давало перспективы: нуждался он в положении, и в средствах к жизни, приехал он с семьёй. Он задумал выпускать в Париже литературно-политический эмигрантский журнал, по карманному формату удобный для провоза в СССР. Но в Париже уже год восседал другой эмигрант — А. Д. Синявский, как писатель известный менее Максимова, но громкий на весь мир своим судебным процессом и уже создавший себе и в Сорбонне и в эмиграции почтительно-уважительное окружение. Итак, кандидата в главные редакторы было два, а создавать журнал не на что. Но Максимов, в отличие от Синявского искренний и горячий противник коммунизма, уже выглядел, кто бы мог дать деньги на подобный журнал — германский богатейший издатель правого направления Аксель Шпрингер, с его таким же искренним неприятием коммунизма. Однако чтобы Шпрингер дал на журнал деньги, весьма значительные, он должен был получить основательную рекомендацию, письменное поручительство, и Максимов не видел другой возможности, как от меня. С этим он и приехал в Цюрих.

С Максимовым я до того встречался лишь один раз: сидели мы с ним рядом в «Современнике» на спектакле. Отметно было — и вполне понятно мне — клочкотание гнева в его груди и против советского чиновничества и против литературных лизоблюдов. По повести его в «Тарусских страницах» видно было, что Максимов глубоко черпнул реальной жизни, да и лагерей коснулся, да и детство у него было беспризорное. В напряжении моих последних лет в СССР я успел прочесть две части из его «Семи дней творения» и нашёл их очень основательными, писатель без подделки и без самоукрасы.

Теперь — этот журнал? Что он будет непримирим к коммунизму — это не вызывало сомнений. Но всё ли — в том одном? А как он ляжет между эмиграциями? Уже отметно было, что Третья эмиграция отшатывается от Первой—Второй (да и против коммунизма никакой ретивости не проявляет). А сам Максимов проявлял тогда к *белым* холодность, а судьбу «остовцев» и военнопленных ему негде было перенять, ощутить. Безалаберно-неукладистая судьба вряд ли связала его душой с историческими и духовными традициями России. Так что надежда на него была, как говаривала моя Матрёна, — *горевая*. Именно *русскую* линию Максимов вряд ли удержит. Я так и сказал ему, в шутку: «Не рассчитываю и не настаиваю, чтобы вы защищали „Русь Святую“, но по крайней мере — не охаивайте её!» И всё же я представлял себе Максимова в русских сыновних чувствах определённое, чем он был. Да в тот год, все мы посвеже на Западе, ещё невозможно было вообразить уже близких трещин размежевания.

Но как не поддержать заведомо противобольшевицкое мероприятие? Только вот какую идею я ему предложил — в укрепление фундамента и смысла журнала — и он её воспринял и потом осуществил: этим журналом объединить силы всей Восточной Европы, чего более всего должны бояться на Старой Площади, дружного объединения восточноевропейских эмиграций. (В таком духе я потом послал и приветствие в их первый номер, впечатлевая это направление в рождаемый журнал. И само название подсказал: «Континент», а то Синявский уже предлагал Максиму собезьянничать с Кафки «Процесс».) И — написал Максиму требуемую бумагу, так и заложив помощь от Шпрингера.

Максимов был не один, с милой молодой женой. Уже в сумерки и в вечер засиделись по-русски за чаепитием у нас на первом этаже, а со второго что-то стал кричать Стёпка. Я оставил Алю с гостями, а сам пошёл его утишить. Было ему тогда месяцев девять. Взял его на руки, он сразу успокоился. Подержал его, положил — тут же опять кричит. Только взял на руки — он опять успокоился. И так вдруг — понравилось мне держать его на руках и прижимать, по-матерински. Как будто какая-то невидимая сила или радость переливалась то ли от меня к нему, то ли от него ко мне. И что мне идти туда вниз, за чаем

сидеть? Стал я тихо-медленно похаживать с сыном то по комнате, то выходил на балкон. Он посапливал счастливо. Начался тихий дождик. В соседней комнате смирно спали старшие дети. А я держал это сокровище, своего младшенького, — и думал о чуде продолжения жизни. (Он и Степаном-то назван вместо меня: я родился — на Степана, но мама хотела сделать меня Саней по только что умершему отцу; ныне я вернул долг.) И когда он ещё вырастет, при моей ли жизни? И кем станет? И насколько и в чём продолжит меня, комочек крохотный? мы с ним как союз какой-то заключили в тот вечер.

Но когда же, когда ж я начну снова работать? Ведь на родине писал, под всеми громами, до последнего дня, — а тут вот уже два месяца — и не могу? Задушили перепиской, заклевали вопросами, требованиями, визитами через калитку и окриками поверху заборчика.

Да главное: архива моего всё нет и нет. Хотя Аля уверена: отправка — самая надёжная, дойдёт!

Письма, большей частью иностранные, приходят к нам разбирать, сортировать (уже от чешской помощи отказались) то Аликс Фрис, дочка Ксеньи Павловны, то Мария Александровна Банкул. Даже физический объём этой переписки страшен, никаких комнат в нашей квартире скоро не хватит, а уж — по содержанию? у какого человека станет сил во всё это вникнуть? Изредка на какие-то вопиющие отвечаю.

А вот — приехали раз, и второй от НТС (Народно-Трудовой Союз, давние стойкие антибольшевики), этих нельзя не принять. А вот — вторым или третьим письмом добиваются встречи со мной деятели Международной Амнистии. Это и понятно: я стал известен как борец против тюрем и лагерей, — но и они же, они же? Однако я ещё из СССР, через западное вещание, понял: они ищут двугривенные только под фонарём, где их видно (западные страны, просвеченные информацией), а которые закатились в тоталитарный тёмный угол — тех и искать не будем. Просто — не ответил им ни разу (*объяснить* им — безнадежно), и не встретился никогда.

А между писем приходили же ещё книги, книги, только успевай распечатывать, упаковки в хлам, а книжки — на чердак, по крутой и тесной лестничушке. Чтó иностранцы шлют на языках — и не смотрю пока, времени нет, но — чтó русские? Когда спохватился, стал сортировать — названья частью слышанные, частью неслышанные, да и журналы целыми комплектами — «Белое дело», «Белый архив», «Первопоходник», — да в СССР никогда бы мне и глазами их не увидеть! Не успеваю осмыслить, объять, — а ведь у меня сами собой, без усилий, от доброжелательства и доверия ко мне старой Первой эмиграции, — собираются самонужнейшие и редкие книги, бесценная библиотека по российской революции (80% того, что нужно для «Красного Колеса», потом пойму). Так надо же дарителей благодарить! (А не всем, не всем ответил, иные так и скончались.)

Есть ещё одна, совсем не второстепенная подготовка к большой работе. Чего никогда б я не придумал в СССР, как и где добыть, заказали мы через милого соседа Гиги четыре серии разноцветных и разноформатных картонных папочек, размеров, которых и не делают нигде и не продают: 10×14 см (это — в предвидении многих картотек для исторических личностей времён начала века в России и 1917 года), 12×17 (для моих вымышленных персонажей) и 15×20 (для всех листочков по темам, по темам) — получилось и компактно, и такое цветковое и глянцевающее загляденье, и руками не нагладишься. Это теперь — на всю жизнь. А будет у меня — тысячи листиков, без этого — затеряешься; от правильной организации сотен и тысяч бумажек зависит и темп и успех такой обширной работы.

И наконец — наконец! — 16 апреля, на третий день православной Пасхи — не могли мы заранее угадать, в какой форме и через какого ангела это явится — подъехал к нашей калитке обычный легковой автомобиль немецкой марки, из него вышла молодая немецкая пара и выразила желание видеть меня. У нас был

сын Хееба, завёз какую-то почту, и при нём приезжий не назвал себя вслух, а протянул мне прочесть своё удостоверение, — теперь, наконец, я могу его и назвать: сотрудник германского министерства иностранных дел Петер Шёнфельд. Познакомил Алю и меня также и со своей женой Хильдегард и маленькой дочкой. И скромно передал нам два чемодана и сумку, всего — чуть не на пуд. Аля кинулась в другую комнату смотреть содержимое. Боже мой! — первая, но главная часть моего архива «Красного Колеса» — рукопись неоконченного (и нигде же не сдублированного!) «Октября Шестнадцатого», главных конвертов заготовок штук сорок и тетрадь «Дневника Р-17» — моего уже многолетнего дневника вокруг написания «Колеса». Готов я был Шёнфельда расцеловать! Ощущение Чуда: архив спасён из пасти Дракона, невидимо перепорхнул из-под его лапищ, через пол-Европы, — и вот теперь на наш стол, на наш диван! Ликование — не могу сопоставить равного: как выздоровление от рака!

С этого дня — можно было и начинать работу.

Можно — да нельзя. О, сколько же помех. Союз итальянских журналистов присудил мне премию «Золотое клише» (её вручали и пражской молодёжи за август 1968) и ждёт, когда я приеду получать. (Ехать? никуда не в силах. Но если они *сами* приедут в Цюрих — тогда... ну, тогда надо готовить речь.) — А в эмигрантской русской прессе разгорается жаркая дискуссия о моём «Письме вождям», теребят, чтоб я участвовал и отвечал на критику. — А Видмер звонит: вызывает меня президент Швейцарии, надо ехать, и он меня повезёт.

Эта поездка прошла в солнечный весёлый день. Разговаривали с Видмером не переставая — как я не устал, не знаю. А ехали из одного «ленинского» города в другой «ленинский», предчувствовал я победу над ним: вот, уж, напишу! А вот — проезжаем мимо подъёма на Зёренберг, где Инесса осенью 1916 отсиживалась, не желая встречаться с Лениным; если её описывать — подняться, посмотреть? (Уже посещал меня американский славист, рассказавший, что обнаружил: в те недели, когда для Ленина числилась она в Клара-не, — тут, в долине, нашёл в гостиничной регистрации и Арманд, и Зиновьева). Но нет, Инессу я не буду описывать.

Вот и Берн. И мы — у Фурглера. (В Швейцарии нет постоянного президента, это сменное дежурное лицо.) Фурглер встречает меня торжественно и, после короткой беседы, торжественно же объявляет, что мне, без испытательного срока, даётся *Niederlassungs-bewilligung* (разрешение на постоянное жительство). А мне стыдно-то как: ведь и Видмер не знает, что мы с Алей решили уезжать... (Вслед за тем цюрихская полиция выдаёт всей нашей семье швейцарские паспорта.) Ещё успеваем с Видмером посмотреть на характерный Берн, поднявшись сотнями ступеней на соборную башню, и оттуда глянуть на черепичное море крыш, на слитную стиснутую черепичность старого города, и готические сталагмиты на самом соборе. (Его построили в XV веке перед Реформацией. В решимости Швейцарской Реформации подчеркнуть, что истиной обладают все, — отдёрнули занавес алтаря и прихожан посадили в алтарь, лицами назад.)

А итальянские журналисты — ну конечно же согласились приехать в Цюрих, конечно, для них это вовсе не труд. В назначенный день сняли зал в здешней гостинице, мы приехали, ахнули: больше тридцати человек, да живые, подвижные, жадные поглядеть и послушать, и глаза и речь у них какие заряжённые. Расселись. Переводила Аликс Фрис, знающая итальянский как родной. Сперва один итальянец выступил, второй, вручили мне эту коробочку. Теперь — моя очередь отвечать. Говорю по фразе, останавливаюсь, Аликс переводит.

А приготовил-то я, оказывается, речь ого-го какую серьёзную*. Ещё находясь в состоянии неоконченного перелёта из одного мира в другой, ещё не усвоив ни точек отсчёта, ни реальных уровней, но уже и давимый нагромождением торжествующей западной материальности, заслонившим всякий дух, —

* «Публицистика», т. 1, стр. 195 — 198.

я, опережая догадками равномерный опыт, составил для итальянских журналов речь — вот уж не в коня корм. Мне казалось: пора подниматься в оценках на вершины — а ещё на изменности ничего не было разобрано! И журналисты бедные — угасали на глазах от мудрёных этих высот. После церемонии подошёл ко мне один молодой журналист попроще и едва не плачущим голосом спросил: «Ну, и что ж я из этого всего могу дать своим читателям? Вы поясней чего-нибудь не можете сказать?»

Удивительно: провалилась вся моя эта речь в глухоту, в немоту, как неслышанная и несказанная. Через четыре года её же, те же мысли сводя в тот же купол, произнёс я в Гарварде — она взорвалась на всю Америку и на весь мир. Очень неравно в западном мире — где именно произнести или печататься. И даже из рафинированных стран Европы, как Франция или Англия, в Америку проникает плохо. Но сказанное в немудрящей Америке — почему-то громко летит на весь мир. Анизотропная среда, как физики говорят.

А именно в Америку, даже за почётным гражданством, я в тот год и не поехал, сберегая время и простор себе для возобновления работы, наконец.

Неумело, разбросанно, нервно, в запуте прожил я на Западе свои первые месяцы, да и весь год сплошных ошибок, тактических и деловых. И утешенье было только: уезжать из этого Цюриха — да писать. Пытаться — писать.

Не самое лучшее место для уединения был Штерненберг: стояла дача Видмеров на узком гребне между двумя горными чашами, и с одной стороны к дому вплотную лепилась автомобильная дорога, правда с редким движением, а с другой, под самыми окнами, шла пешеходная тропа для осмотра красот, и каждую субботу-воскресенье и каждый праздник (а их, после СССР казалось мне, в Швейцарии поразительно много) шли и шли швейцарцы, в шерстяных чулках до колен, парами, компаниями, гурьбами, от стариков до школьных классов, — и не только мешали мне движеньем и разговорами, но и засматривали в окна. Чтоб не работать в жарких комнатах, устроил я стол под вишней — но и то место было под надзором тропы. А ещё это всё размещалось на альпийском лугу, и несколько раз в лето сгоняли меня шумом при косьбе, ворошении сена и уборке. Однако сельский труд добрых соседей своей разумностью и неутомимостью укреплял мир души, не мешало рабочее их движение, навозный полив лугов, обдающий крепким запахом, неумолкаемый звон коровьих колокольцев и даже шум трактора. А особенно светло действовал вид с высоты. В обзорном глядении сверху и далеко вниз, а особенно повторительном, ежедневном, ежеутреннем, есть что-то очищающее душу и просветляющее мысль. Простое стоянье и осмотр — уже есть работа души и ума. И облегчается задача оценить свою минувшую жизнь и преднаметить будущую. Одна чаша, удивительной красоты, сочетание круто спадающего луга, лесных клиньев и островков, извитых рабочих колеи, рабочих строений, была постоянно под моими глазами, лишь перевести вперёд с листа бумаги. А особенно удивительны были в этом вертикальном пейзаже игры туманных полос или обрубленных радуг. Ко второй объёмной, обширной чаше надо только дом обойти, это был пространственный швейцарский вид с далеко разбросанными хуторами как птичьими гнёздами. А прямо над нами, близко, сторожила манящая крутая высота, богатая для глаза (лазил туда я за год всего лишь раза три, один раз с о. Александром Шмеманом, нашли там дот швейцарской армии). Километрах в пяти высилась наибольшая тут вершина Хёрнли, в цепи других, не на много меньше. А кусок пешеходной тропы над ещё третьей, соседней, чашей был моим излюбленным «капитанским мостиком». Когда было не ждать гуляющих, я, по тюремному обычаю, ходил по этой тропе туда-сюда, туда-сюда, вбирая себе ясности и разума то от верхнего вида, то от нижнего — от горного прорыва в долину речёнки Тёсс, где иногда промелькивали вагончики поездов и каждый вечер светились одни и те же несколько неподвижных огней посёлка. Ещё особую игру этим трём чашам придавала луна, ежедневно изменяемая в форме и сдвигаемая по небу на час. И уж ни на что не похож был вечер 1 августа — швейцарской независимости, когда вспыхивает огромный

костёр на вершине Хёрнли и там и сям костры поменьше, горы перекликаются дрожащими огнями, а в долинах до полуночи хлопущи, стрельба. Стояла и так моя кровать в доме, что первый взгляд утра через распахнутое окно всегда был на дальние горы; глубина и высота видимых гор менялась от ясности прозора, но в лучшие чистые утра первооткрытыми глазами я видел сразу снеговые Альпы.

Отец Александр Шмеман провёл у меня тут чуть не трое суток. Это было первое наше свидание, после тех его великолепных радиопроповедей по «Свободе», которые я лавливал в СССР. Много-много переговорили мы тут с ним — о духовном, о положении православной Церкви, разбитости на течения; об историческом, о литературе (помню его острое замечание о внутренней порче Серебряного века: добро ли, зло, — «есть два пути, и всё равно, каким идти»). Много ходили по откосам. Помню, лежали на траве над одной из чаш — он закинулся в проект, как бы нам устроить свою русскую радиостанцию? (Поработал он на «Свободе» — слишком стала *не та и не то*.) О, ещё бы нет! Это было бы подейственной «Континента»! Да только кто же даст для русских десятки миллионов долларов?

День ото дня я в Штерненберге здоровел и телом и духом. И, спрашивается, как же *они* могли меня выслать? Сами устроили мне Ноев ковчег — переждать их потоп. (Сдали их нервы после сентябрьского встречного боя, после моей январской контратаки, и всё ж — на виду у Запада, а с Западом нужна разрядка, усумнились они в своём всемогуществе.) И вот теперь, в 55 лет, я смотрел, смотрел в эти три чаши: уже прокричал я правду о нашей послереволюционной истории — и удалось? и даже выше мечты? Из-под бетонных плит пробился слабенький стебелёк, и бетонная хватка могучего насилия не смогла его размозжить; и отравные испарения самой настойчивой в мире лжи не смогли задушить. С Божьего благословения — жизнь уже удалась.

Теперь заработал я и право заняться чистой литературой? И русской историей?

Всё ж, на «капитанском мостике», бодро вышагивал я разные проекты. И проект нашего окончательно решённого переезда в Канаду. И проект: устроить в Канаде Русский Университет? Я ещё не начинал знакомиться с русской эмиграцией, но любил её уже давней многолетней любовью, как хранительницу наших лучших традиций, знаний и надежд. Я годами воображал её большой человеческой силой, которая всё сбережёт и когда-нибудь исцеляющим вливанием отдастся нашей стране. И я — вышагивал и записывал проект Университета, у меня он так и сохранился. И факультеты. (Кроме широко гуманитарных, с отечественной традицией, непременно и — освоение пространств без гибели их, инженеры земли, и ведение народного хозяйства с западным опытом.) Уплотнённая программа, каникулы — месяц, хватит; а ещё месяц — работать для русского рассеянья. Стипендия, но для умеренного образа жизни. А потом бы — при университете открыть и русскую школу-десятилетку, с программами не оторванно-эмигрантскими, но и не искажённо-советскими. Я всеми мерами хотел бы укрепить будущих воспитанников, пробудить от западной убогостворённости, обратить к суровости родины. На это тоже хотел я положить деньги созданного мною Фонда.

Я ещё не представлял нынешней слабости эмиграции, её растёка этнического, что после шестидесяти лет *нету* тех слоёв, из которых бы набирать учеников, и никто так строго учиться не захочет, никто не примет на себя суровости добровольно. А по нынешним реальным силам эмиграции — можно бы набирать только из Третьей, однако не для того же безавшей из «этой страны», чтобы в неё вернуться.

Да и — денежно такого Университета не вытянуть.

В Штерненберге я сосредоточился писать — скорее убедиться, что эту способность не потерял в изгнании. Не так я много в это лето написал (отрывался, часто ездил в Цюрих, к Але, к семье) — Четвёртое Дополнение к «Телёнку», да начал «Невидимки».

И думал: ну всё, больше писать «Телёнка» не придётся: если писатель уже не бездомен, не должен гонять от чужого крова к чужому, рукописи свободно лежат в разных комнатах, в тревоге не прячутся при каждом стуке, и начало с концом можно сравнить на столе, а окончив — не надо зарывать в землю, — так, по советской мерке, *очерки литературной жизни* и кончились?? неудобно бы их и продолжать? Такую концовку я думал приставить после «Невидимок». О, не знаешь, что ждёт впереди. По западной мерке — опять вот *очерки* потекли, и совсем неожиданные, в новом направлении.

А снова за «Красное Колесо» не мог приняться — значит, сотрясение глубже, чем я сознавал. В растерянности то брался писать воспоминания о давних днях своей жизни, то повышенно много работал над случайной попутной публицистикой, да над письмом Собору Зарубежной Церкви*. К осени принимался за Ленина, тоже не очень сдвинул. Однако здешняя горная (почти — горная...) объёмность и мудрость быстро возвращали меня в рабочую форму и успокаивали, что писать я тут буду несколько не хуже, чем в России, — пока ещё налёживается во мне уплотнённый жизненный русский опыт.

А 27 июня героический — а для меня легендарный, я его до сих пор не видел — норвежец Нильс Удгорд, крупноростый, добрый, умный, с женой Ангеликой, привёз нам вторую часть архива. (Осенью пришла третья, последняя, и самая объёмная партия — от Вильяма Одома, через Соединённые Штаты. А мою «революционную» библиотеку перевёз Марио Корти. Так к октябрю я был собран весь.)

Удгорды поехали к нам в Штерненберг — и только там мы с Алей впервые узнали, как же был спасён и двигался архив «Красного Колеса», — о чём и в «Невидимках» (очерк 13) я умолчал, по тогдашней просьбе участников.

В том доверенном письме от Али 14 февраля 1974 было написано: «Прошу считать г. Нильса Удгорда моим полномочным представителем для сношений с **послом ФРГ в СССР**». И на следующее утро, 15 февраля, Удгорд написал на имя западногерманского посла Ульриха Зама (Sahm) письмо, по-английски: что говорил с женой Солженицына, та боится за сохранность архива и удастся ли его вывезти. По-видимому, западногерманское правительство помогло советскому отправить Солженицына за границу. Это возлагает на ФРГ моральное обязательство помочь ему. (И возможный объём архива был указан в письме: примерно два чемодана.)

Отлично это было нацелено и обосновано. Сам Ульрих Зам, хотя, вероятно, и сочувствовал мне (это он через Ростроповича тайно сговаривал нашу встречу с Гюнтером Грассом в Москве в сентябре 1973, потом испугался размаха травли, послал Грассу совет не приезжать, был публично им опозорен: «наш посол в Москве состоит на службе у германского или советского правительства?» — а не мог отвечать), — сочувствовал, но и: мог ли он действовать самостоятельно? да к тому ж, говорят, он был и личным другом Брандта. Удгорд не сомневается, что Зам запросил или хотя бы предупредил своё министерство иностранных дел.

Жена Удгорда Ангелика тотчас отвезла и отдала письмо дежурному чиновнику германского посольства. (Она — немка, Германия была и для Удгорда как бы второй родиной, очевидно, и в западногерманском посольстве знали их.) На тот же вечер Удгорд получил приглашение присутствовать на концерте посольского хора, устроенном на дому у советника посольства — третьего по значению в посольстве лица. Приёмы опытных дипломатов! — советник ни во что посвящён не был. Ему было поручено только: пригласить этого скандинавского корреспондента и дать ему прочесть странную, без обращения и без подписи, записку посла (после чего вернуть её автору):

* «Публицистика», т. 1, стр. 199 — 214.

1. Согласен.
2. Только два чемодана.
3. Только через начальника и его заместителя.

— Вы понимаете? — спросил советник.

Удгорд кивнул.

Так — архив «Красного Колеса», революции, все события которой потянулись от той безрассудной, взаимно пагубной войны с Германией, — именно Германия мне и спасла!

Так — незабываемо мы теперь побеседовали «не под потолками», и вернулись в Цюрих, где уже могли быть «потолки».

И что ж? — теперь-то и засесть писать? Э, нет! Э, нет. Тряска и дёрганье продолжались всё лето.

Вдруг, в июне, сообщают мне по телефону, что в Женеве на территории ООН властями её запрещена продажа французского и английского «Архипелага» — как книги, «оскорбляющей одного из членов ООН». Очень громко можно было вмешаться, в таких случаях рука моя сразу тянется к бумаге, и черновик заявления готов через 10 минут: «Генеральному секретарю Вальдхайму. Считаете ли вы предосудительным оскорбить правительство и допустимым оскорбить целый народ? Я ждал бы, что ООН не запретит эту книгу, а поставит её на обсуждение Ассамблеи. Среди обсуждаемых ею вопросов не часто встречается уничтожение 40 — 45 миллионов человек». Но... Нет. Невозможно дёргаться по каждому случаю. Надо научаться и молчать. Протечёт как-то без меня. Не самому автору книги защищать её. Смолчал. И протекло — печатали газеты, как-то компромиссно исправилось потом.

Летом — получаю частное письмо из Израиля: караул! почему так дорого продаётся русский «Архипелаг», недоступно купить. Да что такое, да ведь я же всем издателям поставил условие низкой продажной цены! чтобы весь мир читал! Но вишь — транспортировки, какие-то торговые наценки, прибыли книжных продавцов, — и вот книга опять дорога. В горячности шлю письмо в израильские газеты. [13] Книжные торговцы там очень возбудились, по своим расчётам они оказывались правы, и хотели в суд на меня подавать (антисемитизм!), да удержало общее моё положение первого года.

И тогда же, в конце лета, узналось про случай с рязанкой Светланой Шрамко, — благодаря её редкой настойчивости прорвалось, а то ведь из Рязани и знать не дашь, всё глухо. Протестовала она против той самой отравы от завода искусственного волокна, которая невидимым сладковатым шлейфом травила целую полосу города, и меня тоже — в моём ближнем сквере и через форточку в квартире. Но я вот не протестовал — а она, безвестная, беззащитная, — посмела! Как было мне теперь не подать ей помощи своим голосом? Послал письмо в «Нью-Йорк таймс»*. Там ещё долго перебирали, больше месяца не печатали — а когда и напечатали, так что? Помогло ли это Светлане хоть чуть? И что с ней будет дальше? Долго мы этого не узнаем или даже никогда..."

А тут — Ростропович, с обычной стремительностью, привёз ко мне австрийского кардинала Кёнига. Зачем? В чинной беседе кардинал объясняет мне неизбежность союза моего с католической Церковью в борьбе против коммунизма. Еле отдышиваюсь: да отпустите ж душеньку, не могу я разорваться.

А тут — после интервью CBS неудачливый в нём переводчик Дэвид Флойд, корреспондент «Дейли телеграф», стал теперь писать мне, и приезжал — и говорил, что другой мечты в своей жизни не имеет, как переехать бы ко мне и стать моим секретарём. Я отклонил. Тут он стал уговаривать встре-

* «Публицистика», т. 2, стр. 123 — 124.

** В 1991 узнал, письмо от неё: много мучили её, много преследовали, а уцелела. (Примеч. 1993.)

титься с польским эмигрантом Леопольдом Лабедзем, который жаждет создать Международный Трибунал, судить советских вождей.

Я уже пробыл в изгнании с полгода и понимал, что, при всей моральной правоте и заманчивости такого Трибунала, его невозможно создать вопреки силам, ветрам, течению истории: в отличие от нацизма — никто никогда не будет судить коммунизм, а значит, не собрать ни обвинителей, ни суда. Всё это мне было уже понятно — но имел я слабость согласиться на встречу: так трудно привыкнуть к полной свободе жизни и усвоить золотое правило всякой свободы: стараться как можно меньше пользоваться ею.

Встретились. (Флойд настоял присутствовать непременно.) Поговорили впустую. Сколько мог, я убеждал Лабедзя, что — не созрело, нековременно, сил не собрать, опозоримся. А он — горел, и хотел меня видеть в главных организаторах и приглашителях. Я не согласился.

Разъехались ни на чём. Прошло месяца полтора — вдруг в западногерманском «Шпигеле» сообщение: высланный с родины Солженицын не хочет удовлетвориться только писанием книг, а хочет — непосредственно делать политику, для этого он организует Международный Трибунал *против своей родины* (!), Советского Союза. Солженицын планирует открытый показательный процесс от Ленина и, возможно, до Брежнева. Обсуждения состава уже начаты. Нобелевский лауреат имел свою самобытную идею: предоставить судейские места только пылким противникам режима, — но оставил её не в последнюю очередь под благодетельным влиянием своей супруги Наташи Дмитриевны.

Я — как ужаленный: ну что за гадство? Ну, что такое эта пресса? Ну как можно жить среди этих чудовищ: ни слова правды! и почему такой трибунал был бы «против своей родины» (чисто советская формулировка)? и при чём тут жена, её и при беседе не было?

С меньшей вероятностью допускаю, что истекло от Лабедзя, с большей — что от Флойда. Но не с ними мне разбираться, а как раньше «Штерн» мне плюнул в лицо, так теперь «Шпигель», два сапога пара. Мне — досадно, мне — позорно: и — невыполнимая же затея, и — разве этим я сейчас занят, разве не к одному писанию лежит душа? Но теряю время, теряю спокойствие — теперь надо отмываться, оправдываться. Прошу Хееба написать в «Шпигель» протест, требовать опровержения. Он пишет что-то маловыразительное. Через день же с искровой быстротой приходит ответ ему от главного редактора Рудольфа Аугштайна: «Мы в состоянии доказать перед судом, что ваш мандант проводил такие собеседования, которые не могли остаться тайными и представляют мировой интерес. И никогда мы не сделаем опровержения тому, что считаем истинным. Спор об этом не послужил бы на пользу Вашему манданту и самому делу. Мы не видим основания для гнева Вашего манданта, тем более, что он уже совершал тяжелейшие ошибки, даже такие, которые могли быть без труда избегнуты». Не понимаю, о чём и говорит, но тон угрозы по грубости — не легче советского. «Мы не разрешим Вашему манданту диктовать нам, что правда, а что неправда».

Даже нельзя понять источник такой накопленной ненависти — что я им сделал? чем поперёк дороги? И вот что ж — хоть иди на суд! Готов. Хоть с этого начинай западную жизнь, тьфу!

Написал резкий ему ответ, доводя до самой грани столкновения. [14]

И редактор Р. Аугштайн очнулся (может — проверил своего информанта, а тот попятился) — и в следующем номере «Шпигеля», явно отступая, напечатал моё письмо — и в русской копии и в немецком переводе, — таким образом, всё было сказано моим языком и в самых сильных выражениях. (Сохранив лицо, он добавлял, что если я буду требовать опровержения — а теперь зачем? — то он «сделает соответствующие шаги».) При моей неспособности вести тяжбу, найти время — я считаю, что этот конфликт кончился очень благополучно. А мог бы ещё сколько помотать душу, совсем отрывая от работы.

Этот конфликт я выиграл, можно сказать — по неопытности: я ещё не понимал, как, от небывалой обретенной свободы, вполне можно сбиться и на суды. Вскоре за тем получив сведения, что в Италии готовится публикация моих фронтовых писем к первой жене (они все остались у неё), и даже факсимильная, и не считаясь, что я жив, — я неосторожно дёрнулся к суду, привёл в движение адвоката. Но первичный итальянский суд признал, что печатать письма без разрешения — можно! Адвокаты заманивали меня вести юридический процесс дальше — но тут я очнулся. В моём положении проще заявить вслух и не судиться. [15] (От этой публикации отказались ли все издатели, или само КГБ потом: в моих письмах слишком многое свидетельствовало и в мою пользу, а гебистам нужен был эффект односторонний.)

Когда же вышло в свет «Стремя „Тихого Дона”» — удивляюсь, почему Шолохов (Советы) не подал на меня в суд за моё откровенное предисловие к той книге. Советские — любят такой приём, западные суды открыты для любого иска, и потянулось бы, и потянулось на много лет (а у КГБ денег хватает).

Конечно, эти все мои колебания между страстью тихого писания и страстью к политическим выпадам — они в моём темпераменте, без того я не попал бы на такие разрывы. И всё же я считаю, что я на Западе справился, не поддался политическому водовороту. (Впрочем — это скорей по инстинкту, а я тогда ещё не соразмерял ясно, насколько ничтожны физические силы наши и объём времени — против всего Несделанного.)

Тем летом утверждался в Берне созданный мною Фонд, всё это шло через Хееба, я и поселе не имел времени вникнуть в его действия. Сперва — благополучно и быстро утвердили, и название: «Русский Общественный Фонд». Но вскоре, видимо, чьи-то чиновничьи души зажал страх: ведь такое название — это не вызов ли Советскому Союзу? не намёк ли здесь, что русские общественные дела текут как-то помимо советского правительства? Нет, название недопустимое. «Фонд помощи политзаключённым», предложили мы. — Ни в коем случае! Слово «политический» неприемлемо для нейтральной Швейцарии. И потянулась торговля. Кое-как убедили мы, пусть так: «Русский Общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям». (Название обрезало культурные и созидательные задачи Фонда, но в Уставе они есть. Пока сидим за границей — пусть звучит так, что поделаться?)

К осени — всё же потекла у меня работа в Штерненберге. Радость какая, я больше всего и боялся: а вдруг за границей — да не смогу писать?

Не тут-то было! В сентябре 1974 Владимир Максимов звонит мне тревожно в Цюрих. Передатный звонок Али застиг меня в Штерненберге в тихий осенний день, когда так хорошо работается, — просит моего заступничества Сахарову: Жорес в Стокгольме назвал Сахарова «едва ли не поджигателем войны» и возражал против Нобелевской премии мира ему. На свой личный бы ответ Максимов не полагается, а, мол, только мой голос может быть услышан и т. д. Как всегда в таких послепных нервных передачах и нервных просьбах отсутствует прямая достоверность, отсутствует текст, стенограмма — да где и когда их добудешь? — а вот надо протестовать! помогите! ответьте! за смысл — мы ручаемся! (А всё вздул стокгольмский член НТС, и вполне возможно, что с перекосом.)

Ах, как больно отрываться от работы! Но и — кто же защитит Сахарова, правда? Какой низкий укус! После прежних подножек Сахарову от братьев Медведевых — сразу верится, что и эта — произошла, так. В действиях этих братьев, правда, — элементы спектакля. Рой остался в Союзе как полулегальный вождь «марксистской оппозиции», более умелый в атаке на врагов режима, чем сам режим; а Жорес, только недавно столь яркий оппозиционер и преследуемый (и нами всеми защищаемый), — вдруг уехал за границу «в научную командировку» (вскоре за скандальным таким же отъездом Чалидзе, с того же высшего одобрения), вослед лишён советского паспорта — и остался тут как независимое лицо; помогает своему братцу захватывать западное внимание, западный издательский рынок, издавать с ним общий журнал и сво-

бодно проводить на Западе акции, которые вполне же угодны и советскому правительству. Да братья Медведевы действовали естественно коммунистично, в искренней верности идеологии и своему отцу-коммунисту, погибшему в НКВД: от социалистической секции советского диссидентства выдвинуть аванпост в Европу, иметь тут свой рупор и искать контактов с подходящими слоями западного коммунизма.

Роя я почти не знал, видел дважды мельком: при поразительном его внешнем сходстве с братом он, однако, был несимпатичен, а Жорес весьма симпатичен, да совсем и не такой фанатик идеологии, она если и гнездилась в нём, то оклубливалась либерализмом. Летом 1964 я прочёл самиздатские его очерки по генетике (история разгула Лысенки) и был восхищён. Тогда напечатали против него грозную газетную статью — я написал письмо ему в поддержку, убеждал и «Новый мир» отважиться печатать его очерки. При знакомстве он произвёл самое приятное впечатление; тут же он помог мне восстановить связь с Тимофеевым-Ресовским, моим бутырским сокамерником; ему — Жорес помогал достойно получить заграничную генетическую медаль; моим рязанским знакомым для их безнадежно больной девочки — с изощрённой находчивостью добыл новое редкое западное лекарство, чем расположил меня очень; он же любезно пытался помочь мне переехать в Обнинск; он же свёл меня с западными корреспондентами — сперва с норвежцем Хегге, потом с американцами Смитом и Кайзером (одалжая, впрочем, обе стороны сразу). И уже настолько я ему доверял, что давал на пересъёмку чуть ли не «Круг-96», правда, в моём присутствии. И всё же не настолько доверял, и в момент провала моего архива отклонил его горячие предложения помогать что-нибудь прятать. Ещё больше я его полюбил после того, как он ни за что пострадал в психушке*. Защищал и он меня статьёй в «Нью-Йорк таймс» по поводу моего бракоразводного процесса, заторможенного КГБ. А когда, перед отъездом за границу, он показал мне свою новонаписанную книгу «10 лет „Ивана Денисовича“», он вёз её печатать в Европу, — то, хотя книга не была ценна, кроме как ему самому, — я не имел твёрдости запретить ему её. (Вероятно, допускаю, я тут сказал ему какое-то резкое слово о Зильберберге, что знать его не знал, и не поручусь, что это за личность, — Жорес грубо вывел его в книге так, что Зильберберг будто сам навёл на мой архив и тем заработал отъезд за границу, я никогда такого не предполагал, — но затем Жоресу пришлось в Англии выдержать стычки с Зильбербергом, смягчать текст, а пожалуй всем тем — и подтолкнуть Зильберберга на его пакостное сочинение.) И наши общие фотографии Жорес спешил печатать, и мои письма к нему, и приглашенный билет на нобелевскую церемонию, с подробным планом, как найти нашу московскую квартиру, потерял голову от западной беспечности сразу.

Затем вскоре стали приходиться от Жореса новости удивительные, да прямо по русскоязычным передачам, я сам же в Рождестве-на-Истье прямыми ушами и слушал. То, по поводу сцены отобрания у него советского паспорта, ответил корреспонденту по-русски, я слышал его голос, на вопрос о *режиме*, господствующем в СССР: «У нас не *режим*, а такое же правительство, как в других странах, и оно правит нами при помощи конституции». Я у себя в Рождестве заёрзал, обомлел: чудовищно! самое прямое и открытое предательство всех нас!!! То он сравнивал Сахарова (опаснейше для последнего) с танком, ищущим помощи западных правительств. Тогда вскоре, осенью 1973, я имел оказию отправить ему письмо по «левой» в Лондон и отправил, негодующее. (Признаться, я не знал тогда, а надо бы смягчить на то: у Жореса остался в СССР сын, притом в уголовном лагере.)

Переселился я на Запад — Жорес из первых стал называться приехать в Цюрих и даже в первые дни, — продолжать внешнюю иллюзию нашей друж-

* «Публицистика», т. 2, стр. 39 — 40.

бы? она очень запутывала европейцев, смазывала все грани. Я отклонил. Личные отношения не возобновились. И вот — теперь он напал на Сахарова.

И я — ввергаюсь ещё в одну передрагу: написать газетный ответ Жоресу на не слышанное и не читанное мною выступление — а значит, осторожнее выбирая выражения*. Только потому я писал не колеблясь, что знал, в какую сторону Жорес эволюционировал все эти месяцы.

А всё тот же угодник Флloyd (ещё не заподозренный, это — до «Шпигеля») берётся поместить в «Таймс». Я пишу в Штерненберге, Аля шлёт телефонами в Лондон — проходит день, второй, третий — что-то застряло, новые волнения, новые перезвоны, вдруг заявление появляется в «Дейли телеграф» в ослабленном, искажённом виде, — значит, уже в «Таймсе» не будет, почему? «Таймс» опасается слишком прямых выражений о Ж. Медведеве, которые могут быть опротестованы через суд.

И надо сказать, что «Таймс» почувствовал верно. Жорес и через норвежскую «Афтенпостен» и прямо мне отвечал: что при его выступлении не было ни магнитной, ни стенографической записи, дословно он не говорил так, как ему приписывается, но даже и в приписываемом нет «вклада Сахарова в дело разжигания войны» — как я написал в статье на основе взбалмошной информации от Максимова. Так что, по западным правилам, Жорес вполне мог и судиться. Но правоты-то всё равно за ним не было, и он не решился. Да ведь так же он и отрицал, будто говорил для радио: «у нас в СССР не режим, а такое же правительство, и управляет нами на основе конституции», — но я-то слышал своими ушами!

Вот в таких издёргах проходит первое лето на Западе, я выкраиваю себе недели поработать в горах — и не догадываюсь, что тем временем адвокат Хееб всё безнадежнее запутывает мои дела, — мне невдомёк поинтересоваться и доспроситься. Тем временем на английском, на итальянском, на испанском, не говоря о греческом, турецком и других, неумелые переводческие перья безнадежно портят или испакощивают мои книги — а мне этой проблемой некогда заняться: п е р е в о д ы? А что ж для писателя в моём положении важнее? Настолько ещё я не осознался, не умерился, что тороплю немецкий и английский стихотворные переводы «Прусских ночей», хотя уже ясно, что ни ритма, ни рифм соблюсти в них не берутся — это будет непрочитываемая каша, неуклюжая поделка, — ну зачем бы мне спешить? Отчего не отложить на пять, на десять лет? Разгон! Не в тех темпах живу.

Ещё неожиданностью для меня было, какую бурю вызвало «Письмо вождем» в образованщине: и понимал я, и всё ещё не понимал глубину начавшегося раскола в отечественном обществе. «Письмо» моё бранили резко, страстно — и это было для меня свидетельством, что я сделал ход важнее, чем и сам думал, коснулся коренного. В самиздате составляли даже сборник критических статей, не знаю, печатали ли его когда-нибудь.

И в эмигрантской прессе шёл о «Письме» напряжённый спор, были и за, и против. Так же неожиданно для меня выступил М. Михайлов, которого я не привык и считать участником русской жизни, но — «нашим» преследуемым союзником в Югославии, издали. А вот понятие «наши» сильно менялось и дробилось — и Михайлов меня поразил просвечивающим сочувствием к марксизму (защищал от меня чистоту этой идеологии) и к эсерству. И «Письмо» моё объявлял антихристианским и антирусским (до сих пор обвиняли: слишком русское и православное). И Михайлов берётся теперь «отделить художника от идеолога» (старая советская кирпотинская песенка); и всё это выносятся из Сербии на мировую арену почти неправдоподобным тоном: «ну, так раз и навсегда надо — (Солженицыну и его читателям) — уяснить вот что», «Солженицыну не дано осмыслить собственный опыт», «ну что ж, придётся просто

* «Публицистика», т. 2, стр. 125 — 127.

повторить то, что для европейской юридической мысли давно уже стало аксиомой... И ещё более поразил *приёмами*, которыми ведётся дискуссия: неоднократно подставляется вместо меня Владимир Осипов, а затем (ленинская ухватка) все его мысли валяются на меня вместе с «прокитайскими группировками, итальянскими неонацистами, эмигрантами-монархистами», и «Солженицын повторяет грех Ленина», и «Письмо» состоит из тех же частей, что «Коммунистический Манифест». И чутко развивая намёк Сахарова: «Найдутся последователи и договорят, что Солженицын удержал про себя»...

О-го-го, какие же рогатые вырастают из главных отважных диссидентов!

А в начале октября вышел 1-й номер «Континента» — я вскипел от развязно-шегольской статьи Синявского, от его «России-Суки». Увидел в том (и верно) рождение целого направления, злобного к России, — надо вовремя ответить, не для эмиграции, для читателей в России, ещё связь не была порвана, — и вот, сохранился у меня черновик, писал:

«Реплика в Самиздат. Как сердце чувствовало, оговорился я в приветствии „Континенту“: „пожелания нередко превосходят то, что сбывается на самом деле“. Пришёл № 1. И читаем: „РОССИЯ-СУКА, ТЫ ОТВЕТИШЬ И ЗА ЭТО...“ Речь идёт о препятствиях массовому выезду евреев из СССР, и контекст не указывает на отклонение автора, Абрама Терца, от этой интонации. 10-летнее гражданское молчание прервано им вот для такого плеска. Даже у блатных, почти четвероногих по своей психологии, существует культ матери. У Терца — нет. Вся напряжённая, нервная, острая его статья посвящена разоблачению „их“, а не „нас“, — направление бесплодное, никогда в истории не дававшее положительного. Абрам Терц справедливо настаивает, что русский народ должен видеть свою долю вины (он пишет — *всю* вину) в происшедшем за 60 лет, — но для себя и своих друзей не чувствует применимости этого закона. Третьей эмиграции, уехавшей из страны в пору наименьшей личной опасности (по сравнению с Первой и Второй), уроженцам России, кто сами (комсоргами, активистами), а то отцы их и деды, достаточно вложились уничтожением и ненавистью в советский процесс, пристойней было бы думать, как мы ответим перед Россией, а не Россия перед нами. А не плескать помоями в её притерпевшееся лицо. Мне стыдно, что идея журнала Восточной Европы использована нахлынувшими советскими эмигрантами для взрыва сердитости, прежде таимой по условиям осторожности. Мы должны раскаиваться за Россию как за „нас“ — иначе мы уже не Россия».

Не помню почему, но в Самиздат, в СССР, не послал. Вероятно потому, что подобное предстояло вскоре сказать при выпуске «Из-под глыб».

Но вот так — характерно чётко, уже на первых шагах, прорисовалась пишущая часть Третьей эмиграции, — и куда ж ей хлынуть, как не в открывшийся «Континент»? В следующие два-три года он станет престижным пространством для их честолюбивого скученья, гула, размаха рук (и для такого, что невозможно тиснуть в первоэмигрантских изданиях). Впрочем, противобольшевицкую линию Максимов выдерживал вполне.

За август я преодолел опасную отвычку, отклон от «Колеса»: ведь с бурной осени 1973, в нарастающей тряске, я уже не работал с полной отдачей. В Штерненберге постепенно устоялось душевное настроение и мысли. Взял недоконченный «Октябрь», теперь так обогащённый цюрихскими ленинскими подробностями, это собралось замечательно (и детали о цюрихских социалистах, и даже метеосводки по Цюриху за любой день октября 1916 или февраля 1917, не надо придумывать погоду), — так уткнулся в новую трудность. В предыдущие годы, планируя «Колесо» по Узлам и стремясь скорей прорваться к Февральской революции, я решил пропустить весьма-таки узловый, «узельный» август 1915: с катастрофическим отступлением русской армии, созданием буйного Прогрессивного Блока, его яростной атакой на правительство, уступательной перетасовкой министров и мучительным переёмом Верховного Главнокомандования царём, да там же и Циммервальдская конференция. А теперь, в октябре 1916, допущенный мною пропуск сильно давал себя знать: требовал вставки многих ретроспекций, и настолько сильно требовал, что я

кардинально заколебался: да не вставить ли «Август Пятнадцатого»? Но стал смерять, сколько же других — исторических и личных — линий придётся перестраивать? нет, это ещё худший разлом. Остался при прежнем плане Узлов — и теперь готов был уверенно вести в «Октябре» ленинскую линию. А число возможных глав о Ленине теперь нарастало лавиной. (Увы, уже не существует тот ресторанчик «Штюсвихоф», где заседал ленинский «Кегельклуб», — ищем с Алей сходный другой ресторан, с такими же фонарями на деревянных столбах.)

Наконец осенью, после Штерненберга, мне кажется, что мы с женой заработали право четыре дня поехать по Швейцарии. Маленькая Швейцария, а для нас как огромная, мы нигде ещё не были, кроме той моей поездки с Видмером к президенту Фурглери.

По ровной части маршрута — опять на Берн, большой дорогой, затем на Лозанну и Женеву — мы поехали с Алей вдвоём, с тем, что потом, через горы, нас поведёт Видмер. Переезд во французскую Швейцарию прошёлся по сердцу мягкостью: сразу как отвалилась та нахохленная чопорность, которую в Цюрихе мы уже и не замечали. Округаерна и округа Женева — как две разные страны, трудно поверить, что они в одном государстве. Женева — чем-то умягчает сердце изгнанника, вероятно не так тяжело переживать здесь и годы. Поехали мы путешествовать, а головы были полны покинутыми заботами, и путешествие не казалось приятной реальностью, но какой-то сон. И в Лозанне, в приозёрном парке, бродили, как не понимая, будто ещё не совсем придя в себя от перелёта из Москвы, наши мысли и привычки не успевали за передвижением тел. Да все эти восемь месяцев мы как будто ещё и не жили нигде, ни к чему не прикрепясь, — а вот уже за океан собирались.

В Монтрё, на восточном берегу Женевского озера, почти на ощупь мы попали к замку Шильонского узника. Туда, после закрытия решётчатых ворот, не пустили бы нас — но немецкие экскурсанты узнали меня через ворота и стали со смехом кричать, что я — из их группы. Замок на малом островке, внутренние каменные дворики, вот и цепь для приковки узника к стене, уж и не та и в том ли месте? — но отзывает зэчское сердце: как легко устраивается тюрьма, непроницаемая для одних, легко-прогулочная для других! В детстве по многу раз читал я все свои домашние книги, так и поэму Жуковского. Как-то грезилось это всё намного мрачней, грозней, и волны не озёрные, — и вдруг невзначай вступаешь в грёзу, с комичным эпизодом непусканья. Эти жизненные повторы, всплывы, замыканья жизни самой на себя — до чего мы их не ждём, и сколько ещё встреч или посещений наградят нас в будущем. (В России бы!..)

В Монтрё же предполагалась встреча с Набоковым, но, по недоразумению (он как будто ждал нас в этот день, но не прислал условленного подтверждения, мы ещё и с дороги проверяли звонком в Цюрих), оставалось нам миновать его роскошную гостиницу. (А как странно жить постоянно в гостинице.)

Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы — необыкновенным, ни на кого не похожим. (Непохожим на предшественников. Но первое знакомство с его книгами ещё не предвещало, сколько возникнет у него последователей: во второй половине XX века эта линия оказалась весьма разработочной. Ещё тогда не видно было, насколько полное течение родится вослед ему.) Сетовал я, ещё в СССР: зачем не пошёл он по главной дороге русской истории? вот, мол, оказался на Западе — выдающийся и свободный русский писатель, тотчас после революции, — и отчего ж он — как и Бунин, как и Бунин! — не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как бесценен был бы их труд, не доступный уже нам, потомкам! Но оба они предпочли дороги частные и межвременные. Набоков покинул даже русский язык. Для тактического литературного успеха это было

верно, что могла обещать ему эмиграция на 40 лет вперёд? Он изменил не эмиграции — он уклонился от самой России.

Ещё из СССР в 1972 году я, «по левой», послал письмо в Шведскую Академию, выдвигая Набокова на Нобелевскую премию по литературе*. И самому Набокову послал копию при письме. [16] Я понимал, что Набоков уже в пожилом возрасте, что поздно ему себя переделывать, — но ведь и родился и рос он у створа событий, и у такого нерадового отца, участника тех событий, — как же быть ему к ним равнодушным?

Когда я приехал в Швейцарию — он написал мне дружественно. И в этом письме было искреннее: «Как хорошо, что дети ваши будут ходить в свободную школу». Но, по свежести боли, покорило меня. Я ответил, тоже искренне: «Какая ж это радость, если большинство оставшихся ходят в несвободную?»

Вот так бы, наверное, шёл и диалог между нами, если бы мы встретились в Монтрё. Русло жизни нашей глубеет с годами — и всё меньше нам возможностей перемениться, выбиться в иное. Окостенел на избранном пути он — да ведь и я костенею, мне бы тоже, ах, когда-нибудь испробовать руслом другим! А вряд ли когда удастся.

Дальше поехали мы долиной верхней Роны — недалеко от Рарона был ещё один домик Видмеров, где и ждали они нас. Холодоватым солнечным вечером эта старинная долина с наслоенными вековыми цивилизациями, и античной, и европейской, как бы вечно обитаемая, сколько вертится Земля, и каждый придорожный камешек, черепок, пенёк — свидетель веков и веков, — произвела величавое впечатление: неистираемая культура, не вовсе ушедшие предки, неуничтожаемая земля! (Вот, например, в это — как хотелось бы! и когда? — мне окунуться?) На скале как крепостца стоит малая церковь, и подле стены её — отдельная, одинокая могила, вся в тёплом жёлтом заливе закатного солнца. Чья же? Мы с Алей были потрясены и награждены: Райнера Рильке! (Хотя умер он подле Монтрё.)

Благоговейно стояли мы, в долгом закате. Вот где привелось... Он выбрал себе эту долину и эту скалу — можно понять! Выбор могилы...

С Видмерами пошли навестить милейшего старого пастора, который когда-то их венчал. Переночевали в их строгом каменном доме такой старобытной и несогреваемой постройки: по кладке, по дугам, по выступам — ну веков пять ему, не меньше.

А дальше вёз нас твёрдыми руками Видмер — моего автомобильного опыта тут бы не хватило. По Швейцарии не так легко проложить маршрут, не всегда прокатаешь прямо. Пришлось переваливать Симплон, там начался снег, ехать нельзя, машины скользят, все ждут. Привезли, насыпали на весь южный спуск песка, тогда поехали. Ниже снег превратился в проливной дождь. Въехали на несколько часов в Италию — всего лишь, чтобы пробраться покороче в южную часть Швейцарии. (А несколько дней оформляли визы на эти несколько часов; и итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф.) Через Домодоссолу проехали к Лаго-Маджоре, на берегу его нас пригласили в частную староитальянскую виллу. (Тучевой мрачный день, полутёмные богато убранные комнаты, и хозяйка с дочерьми, угасающий знатный род, чувствовали себя обречёнными на конфискацию коммунистическим правительством, которое вот-вот всеми тут ожидалось. От тени коммунизма всё в вечной Италии казалось временным.) В тот день уже не видели доброго, лило и грязно, а наутро опять солнце — и мелькали, путаясь, Локарно, Лугано, — как видели их, и как не видели, Морготе с возвышенным кладбищем над голубым озером, и назад на север, снова возвышаясь, Сен-Готард закрыт, машина вкатывается на поездную платформу, а на северном выходе ещё поднимаемся выше посмотреть леденящий суворовский Чёртов мост, да в погоду хо-

* «Публицистика», т. 2, стр. 43 — 44.

лодную, мрачную, — незабываемо! На скале — выбито по-русски, выпуклые крупные буквы, старым стилем:

Доблестнымъ сподвижникамъ
генералиссимуса фельдмаршала
графа Суворова-Рымникскаго князя Италийскаго,
погибшимъ при переходѣ черезъ Альпы в 1799 году

Действительно, богатыри! — что скажешь! И можно только изумляться Суворову: в горной стране, куда на зиму безголово загнал его капризный австрийский Гофкригсрат, при небрежении Павла, — в этой стране, глядя на зиму и вдали-вдали от родины, — воевать и не проиграть! (А русские косточки-то как жаль! А — зачем его гоняли сюда? — вся война лишняя.)

Всего четыре дня дома не были, а уже и новости, по радио: американский Сенат единогласно избрал меня почётным гражданином Соединённых Штатов! Позже пришла официальная бумага — и я ответил письмом*.

Я сам не знал, зачем мне это избрание, но тогда казалось важным. Во всяком случае — могло помочь моему делу и сильно перчило Советам. Однако это прекрасно понимал и Киссинджер. Процедура требовала теперь подтверждения палаты представителей, и звание будет решено. Госдепартамент задержал обсуждение в палате. (Тем временем переизбран Сенат. Потребовалось вторичное утверждение изменённым Сенатом. Оно всё же произошло весной 1975. Но тогда Киссинджер снова затормозил, известен пространный об этом документ Госдепартамента: это испортит отношения с Советским Союзом.)

Неудача с моим почётным гражданством в США — такая же закономерность (и такая же благостная), как когда-то неудача с ленинской премией в СССР: я не ко двору обеим системам, вот и находятся вовремя противодействующие силы. С ленинской премией я в тот же момент понял как дополнительное, к моей уже принятой решимости, освобождение; с американским гражданством — годами двумя позже.

Теперь пришлось выступить по швейцарскому телевидению. Придумали они, чтоб я по-немецки читал кусок «Архипелага». Затем какие-то малозначащие вопросы, а дошло до самого лакомого — почему я выбрал Швейцарию? — тут истекло время прямого эфира. (К моему, опять же, облегчению. Что говорить, когда ничего мы ещё не выбрали, нигде ещё не живём, тайно решён отъезд.)

В эти месяцы я должен был доделать важные дела, которые тянулись ещё с родины: напечатать горько-неоконченное исследование покойной И. Н. Томашевской о «Тихом Доне» — и совместно с моими соавторами, Шафаревичем, Борисовым, Барабановым, Агурским, Световым («Корсаковым»), Поливановым («А. Б.») объявить одновременно в Москве и в Европе «Из-под глыб».

Гранки ещё не вышедшей книги Томашевской были у меня в Цюрихе, когда приехал Нильс Удгорт и попросил их с собой, намереваясь подготовить рецензию. А так как ехал он снова в Москву, оканчивать свой корреспондентский срок, я попросил его показать эти гранки Рою Медведеву. Потому что предвидел грандиозную битву вокруг Шолохова, свист и вой советской литноменклатуры — и вот, не пренебрег таким уж вовсе не союзником, как Рой Медведев. (Несколько лишних месяцев он приобрёл, изучить наши аргументы и использовать их в развитие своей самиздатской книги. Но отдать ему должно: не побоялся же двигать этот остро-запретный вопрос, находясь в Союзе.)

Если бы не выслали меня в феврале, то к марту, самое позднее к апрелю, «Из-под глыб» были бы уже готовы и объявлены. Мой отъезд сильно затянул дело, усложнилась связь, последние согласования, — и растянулось это до осени. Весь октябрь и ноябрь мы ждали от друзей из Москвы сигнала: когда

* «Публицистика», т. 2, стр. 128 — 129.

назначена их пресс-конференция, чтобы нашу назначить через день. Андрей Тюрин, звоня из Москвы как бы по частному делу, условной фразой открыл нам, что они дают — 14 ноября. Тотчас стал я собирать свою пресс-конференцию на 16-е.

В то время КГБ ещё давало нам свободный телефонный перезвон с Москвой, и вечером 14-го я позвонил И. Р. Шафаревичу открыто, узнать: как прошло. Разговор я записал подробно, и сейчас освежил в памяти. Черты этой пресс-конференции при немалом событии — декларативном самообъявлении нового направления русской мысли, с острой опасностью для участников, — так характерны для «новостийно»-газетного, легкоплавающего восприятия. наших выступало четверо (не-анонимы). Из пришедших корреспондентов ни один не владел русским языком настолько, чтобы понимать теоретические положения. (Да от газетчиков — и не ожидается к ним интерес. Это была наша ошибка.) Вместо этого все два часа мучительно растолковывали им элементарные вещи — в стране, где они аккредитованы годами и должны бы понимать пронзительно и стремительно! Им говорили об основных признаках советской жизни — погубленной деревне, разоряемой природе, подавленных верующих, обширных лагерях, об ответственности самосознания, — изо всего их тревожила только нынешняя еврейская эмиграция, и не тем, что образованные люди толпами покидают страну, а: как-вы перспективы этой эмиграции развиваться свободно, без правительственных ограничений? — ведь эмиграция вполне обоснована, раз в этой стране упадок культуры, а эмигрантам будет лучше на новом месте.

Сходные ошибки допустил и я в своей цюрихской пресс-конференции. Для мощной поддержки наших ребят я размахнулся устроить её как можно шире, громче, международной. Да ведь и символ же какой виделся в том, что вот из Цюриха оглашается документ, сводка выводов, в которых группа русских людей рассказывает Западу, чем кончилось то 60-летнее злодейство, которое Ленин поехал совершать именно из этого самого Цюриха. Сперва добивался я в городе зала с оборудованием для одновременного многоязыкового перевода. Не удалось. Ладно, решили просто у себя дома, растворив дверь между двумя комнатами. Долго составляли список приглашаемых. Хотелось — побольше, но более 30 человек поместить было невозможно. Ещё я переоценил значение русской эмигрантской прессы: я придавал ей значимость соединения русских сил за рубежом — одна достойная бы для неё роль, но именно её русская пресса не несла, все группы, напротив, ожесточались в разъединении. Итальянцев я уже не приглашал, насытившись однажды, да и нельзя было в комнате рассадить слишком много языков: все переводчики должны были звучать одновременно вслух и не мешая друг другу. Ещё столкнулись с районированием корреспондентских округов: известных лично нам корреспондентов крупных газет нельзя было пригласить, так как Цюрих не входил в их округ, а надо было звать непременно местных, из Женевы, они же понимали в философском сборнике как сом по библии. И советовала мне Аля как можно короче говорить, свести к факту появления, мужеству составителей и самым ярким местам книги, — я же не мог себя подавить и отказаться от подробного обзора статей, и даже истории нашего спора со статьями «Вестника РХД» № 97, перевод шёл последовательный, час моей речи да час перевода, корреспонденты осовели, только крутились магнитофоны русскоязычных западных радиостанций, только они что-то и спасли. После перерыва перешли к вопросам. По существу проблем сборника их, конечно, не было, а тоже сбились на политику: как понимать наш сборник — как «левый» или как «правый»? — только так, в плоскости, могли они расположить и усвоить. Появление сборника — является ли частью международной разрядки? (И это спрашивает Европа — Россию! Дожили.)

Сложное петлистое развитие, которое предстоит совершить России, да и многим народам, попавшим под коммунизм, неуместимо в линейность современной западной информации. Возможно, мы в этом сборнике преувеличили «нацию как личность» сравнительно со всечеловечеством христианства, — но

мы дружно чувствовали так. Вероятно оттого, что — мучительное состояние, и нам предстоит ещё много в нём проработать: русская нация уже умирает, и вот через наше горло прокричала о своей боли. (А из приехавших на пресс-конференцию эмигрантов вожди НТС и Пирожкова, редактор «Голоса Зарубежья», ждали от нас обещания скорой революции в СССР — и никак не устраивало их всего лишь «жить не по лжи», революция нравственная. В. Максимов — просидел безучастно и потом никак не отразил в «Континенте», отчётливо не примкнул к нам.)

Но так или иначе, от дерзкой ли нашей выступки, достаточного международного отгула и потом широкого издания «Из-под глыб» в Соединённых Штатах и Франции, — никакого движения советских властей по этому сборнику не произошло, не преследовался прямо никто — хотя не обвинишь Советы в потакании русскому национальному осознанию.

Вот только теперь я мог ответить и Сахарову, на его громкую критику в апреле. Я отозвался как мог сдержанно, лишь о самом главном, в «Континенте» № 2¹. Сыграла роль и передышка, Сахаров ничего мне не ответил, дискуссия не возгорелась. Впрочем, ответ мой и мало был замечен. (Ещё годами спустя меня спрашивали, отчего же я никогда не ответил на сахаровскую критику?)

В самые напряжённые дни выпуска «Из-под глыб» — на тебе, приглашение из Оксфорда: получать степень доктора литературы, да когда? — в конце будущего июня, а ответить непременно тотчас. Да можно бы и получить, почёт, получали в Оксфорде и Чуковский, и Ахматова, да мы так напряжены со временем, и — да милые мои, разве можно вам открыть, где я буду в будущем июне? Уже за океаном.

Ещё одна неоконченность прошлых лет оставалась — получение Нобелевской премии. Подошёл и декабрь. У прекрасного старого цюрихского портного сшили фрак — на одно надевание в жизни? Чтобы больше видеть Европу глазами, мы с Алей поехали поездом. Какой прекрасной описывает Бунин свою железнодорожную поездку в Стокгольм, из тех же почти мест. А я — не нашёл лучшего расписания. Почему-то в Гамбурге утром наш спальный вагон отцепили — перетаскивайся с чемоданами в другой вагон или в другой поезд, а позже опять, и опять. Так до Швеции мы испытали пять пересадок. По Швеции ехали долгим тёмным вечером, не видя её, а спутник по купе, бывший западногерманский консул в Чили, рассказывал нам о бесстыдстве и шарлатанстве тамошних «революционеров». — «Да вам бы об этом книгу издать!» — «Что вы, разве можно? Заключают. ФРГ — уже почти коммунистическая страна».

Чтоб избежать корреспондентской суматохи, мы уговорились приехать тайно и не с главного стокгольмского вокзала (да подавливать-то могли скорей на аэродроме). Шведский писатель Ганс Бьёркегрен, он же и мой шведский переводчик, и ещё один переводчик Ларс-Эрик Блумквист вошли к нам в поезд за час до Стокгольма. А на последней перед ним станции мы сошли — и на пустынном перроне нас приветствовал маленький худощавый Карл Рагнар Гиров. Вот как закончилась наша длинная нобелианская переписка и вот где мы встретились наконец: без единого западного корреспондента, но и без единого советского чекиста, совсем было пусто. Оттуда просторным автомобилем поехали в Стокгольм и достигли того самого Грандотея, от которого меня в 1970 отговаривал напуганный Нобелевский комитет. Всё же на ступеньках уже дежурили фотографы и щёлкали, совсем тихо приехать не удалось. Стоит отель через залив от королевского дворца, фасадом к фасаду. По мере прибытия, в честь приехавших лауреатов поднимают с на отеле флаги.

В нашей советской жизни праздники редки, а в моей собственной — и вообще не помню такого понятия, таких состояний, разве только в день 50-летия,

¹ «Публицистика», т. 1, стр. 215 — 222.

а то никогда ни воскресений, ни каникул, ни одного бесцельного дня. И вот теперь несколько дней просто праздника, без действия. (Впрочем, натолкались и дела — визитами, передаваемыми письмами. Навязали мне внезапную встречу с баптистским проповедником Биллом Грэмом, исключительно популярным в Америке, а мне совсем неизвестным. Приходил эмигрант Павел Веселов, ведущий частные следствия против действий ГБ в Швеции, и со своей гипотезой об Эрике Арвиде Андерсене из «Архипелага».) Следующий день был совсем свободен от расписания — да *день ли?* даже после невыхода берегов поражает стокгольмский зимний день своею краткостью: едва рассвело — уже, смотри, вот и полдень, а чуть за полдень заваля — и темно, в 3 часа дня, наверно. В эти дневные сумерки наши дружественные переводчики повезли нас в Скансен. Это — в пределах Стокгольма чудесный национальный заповедник на открытом воздухе: свезенные с разных мест Швеции постройки, кусок деревни, ветряная и водяная мельницы (всё в действии), кузня, скотный двор, домашняя птица, лошади и катанье детей в старинных экипажах, само собой и зоологический сад. Зимой под снегом многое приглушено, но тем ярче и привлекательней старинные жилища с пылающими очагами, раскаткою и печевом лепёшек на очаге, приготовленьем старинных кушаний при свечах, старинными ремёслами — тканьем, вязаньем, вышиваньем, плетеньем, резьбой, продажей народных игрушек, стекла, — а базарные ряды гудят, и в морозной темноте снимают вам с углей свежее жаренную рыбу. Все веселятся, а дети более всех.

Вот это, пожалуй, и было самое яркое впечатление из всех стокгольмских дней. Непривычные часы праздничного веселья. И радости-зависти, что ведь у нас могли бы быть народные заповедники не хуже, без проклятого большевизма, — а всю нашу самобытность вытравили, и наверно навсегда... (А ведь и у нас затевал Семёнов Тянь-Шанский в 1922 году из стрельнинского имения великого князя Михаила Николаевича устроить «русский Скансен», — да разве в советское лихолетье такое ко времени? Пописали в «Известиях» и закинули. Не к тому шло.)

Ещё на следующий день удалось нам побродить часа два по старому городу на островах — вокруг королевского дворца старыми улочками, и по Риддархольмену с его холодными храмами. А все памятники Стокгольма едва ль не на одно лицо: все позеленевшие медные, все стоймя и все с оружием (умела когда-то эта нация воевать). Стокгольм как бы не гонится за красотой (чрезмерные водные пространства мешают создавать ансамбли через воду, как в Петербурге) — но оттого очень подлинен. И угластые площади его — не определённой формы, не подогнанные.

Затем был обед, традиционно даваемый Шведской Академией — лауреату по литературе, в данном случае нам троим, этого года лауреаты были два милых старичка-шведа — Эйвин Ёнсон и Харри Мартинсон, и третий к ним — я, на четыре года опозданный. Это происходило в ресторане «Золотой якорь», очень простой старый дом, и досчатые полы, и домашняя обстановка. Тут и собираются академики каждый четверг обедать — обмениваться литературными впечатлениями и подготавливать своё решение. Едва мы вошли в залик — и уже какой-то плечистый, здоровый, нестарый академик тряс мне руку. С опозданием мне назвали, что это — Артур Лундквист (единственный тут коммунист, который все годы и возражал против премии мне).

А всего академиков было, кажется, десять, больше (но не только) старички, были весьма симпатичные, а общего впечатления высшего литературного ареопага мира не составилось. И покойное течение шведской истории в XX веке, устоявшееся благополучие страны — может быть, мешали вовремя и верно ощутить дрожь века. В России, если не считать Толстого, который сам отклонил («какой-то керосинный торговец Нобель предлагает литературную премию», что это?), они пропустили по меньшей мере Чехова, Блока, Ахматову, Булгакова, Набокова. А в их осуществлённом литературном списке — сколько уже теперь забытых имён! Но они и присуждают всего лишь в XX веке, когда почти всюду и мировая литература упала. Ни-

кто ещё не создал объективное высшее литературное мировое судилище — и создаст ли? Остаётся благодарить счастливую идею учредителя, что создано и длится вот такое.

Но мечтается: когда наступит Россия духовно оздоровевшая (ой, когда?), да если будут у нас материальные силы, — учредить бы нам собственные литературные премии — и русские, и международные. В литературе — мы искусены. А тем более знаем теперь истинные масштабы жизни, не пропустим достойных, не наградим пустых.

Наверно, никогда за 70 лет Нобелевская литературная премия не сослужила такую динамичную службу лауреату, как мне: она была пружинным подспорьем в моей пересылке советской власти.

Накануне церемонии собирали лауреатов на потешную репетицию: как они завтра вечером будут перед королём выходить на сцену парами и куда рассаживаться. 10 декабря так мы вышли, и неопытный молодой симпатичный, довольно круглолицый король, первый год в этой роли, сидел на сцене рядом со своей родственницей, старой датской принцессой Маргрете, она — совершенно из Андерсена. Уже не было проблемы национальных флагов над креслами лауреатов, как в бунинское время, их убрали, — и не надо было мучиться, что же теперь вешать надо мною. При каждом награждении король поднимался навстречу лауреату, вручал папку диплома, коробочку медали и жал руку. После каждого награждения зал хлопал (мне — усиленно и долго), потом играл оркестр — и сыграли марш из «Руслана», так хорошо.

Господи, пошли и следующего русского лауреата не слишком нескоро сюда, и чтоб это не был советский подставной шут, но и не фальшивая фигура от новоэмигрантской извращённости, а его стопа отмеряла бы подлинное движение русской литературы. По забавному предсказанию Д. С. Лихачёва литература будет развиваться так, что крупные писатели станут приходить всё реже, но каждый следующий — всё более поражающих размеров. О, дожить бы до следующего!

Да, в этот день были же и дневные часы, короткий утро-вечер, но сегодня ведренные, без облаков, с холодным низким солнышком, резко-морозным ветерком. Нобелевская лекция моя напечатана уже два года назад, заботы нет, да и банкетное слово тогда же сказано, урезанное, но сегодня не обойтись без нового банкетного слова. Я составил его ещё накануне. Однако рассеянное состояние головы, много впечатлений, отвлечений, — и эти короткие фразы не ложились уверенно в голову, а никак не хотелось мне читать с бумажки, позор, — но и сбиться не хотелось. И я пошёл прогуливаться невдали по узкому полуострову Скепсхольмену, с видом на Кастельхольмен, с редко расположенными в парковой обстановке перемененно — домами старинными и новыми; и, по-тюремному, ходил по аллее туда-сюда, туда-сюда, туповато за поминал наизусть и поглядывал на красное, как бы всё время заходящее на юге солнце. А два полицейских дежурили тактично в стороне, наблюдая за подходами ко мне. Почти это было — как спецконвой сопровождает и охраняет избранного зэка.

В ратуше опять мы церемонийно шагали с предписанными в программках дамами и, ни позже ни раньше, в какой-то момент, вослед за королём, сидели на свои места, обозначенные табличками. (Со мною была дама из рода Нобелей, ещё говорящая по-русски. Аля сидела напротив с видным посланником.) Банкет был в этом году в самом большом зале ратуши, и столов 20 гостей уже были плотно усажены прежде нас. Где-то тут совсем близко сидели приглашённые мною Стиг Фредриксон с Ингрид, верные спутники нашей борьбы, однако они терялись в массе гостей, мне очень хотелось выделить их, подойти к их столу, — но соседка моя объяснила, что это было бы дерзчайшим и невиданным нарушением церемониала: пока король сидит, никто из гостей не смеет приподняться. Еле я удержался, насильственно. А потом подошёл и момент, когда подняться требовалось — идти к трибуне, говорить своё слово.

Все лауреаты читали по бумажкам, мне удалось прочесть на память, неплохо. (Би-Би-Си, «Свобода» донесут голос до наших.)*

А в общем, наивен я был четыре года назад, призывая их за этим чопорным банкетом думать о голодовке наших заключённых.

Но больше: продешевился бы я крепко, вот только ради одного такого церемонийного дня — уехавши бы из России добровольно, да от неё тут же и отсеченный: тут в Стокгольме и узнать о лишении гражданства: упала секира, сам уехал? Хорош бы я был? (Аля поняла это в 1970 раньше меня.) И чем бы я тогда отличался от Третьей эмиграции, погнавшей в Америку и Европу за лёгкой жизнью, подальше от русских скорбей?

Сейчас хор студентов с галереи зала пел мне, с сильным акцентом, «Вдоль по улице мятелица мятёт», — так, слава Богу, не сам я эту улицу избрал, но шёл, как каждый зэк идёт, судьбою принуждённой.

На следующий вечер, 11 декабря, был ужин у короля во дворце, и к нам с Алей приставлен ещё один русскоговорящий старичок из рода Нобелей. Дворец был мрачен и пуст, так огромен — совсем уже не по маленькой Швеции. Где-то в одном его крыле жил молодой король, ещё не женатый, — из нашего Гранд-отеля, через залив, многие окна дворца были видны тёмными. Теперь в зале нас выстроили изогнутой вереницей, попеременно дам и мужчин, впереди стал самоуверенный премьер социалист Пальме, истинный хозяин положения, и король начал обход с него. А рядом со мной была тоже дама социалистическая — госпожа Мирдаль, то ли бывший, то ли нынешний министр экономики, говорили мы с ней по-немецки, а политический диссонанс между нами был — как скрести ножом по тарелке. Обеденный зал, как галерея-коридор, с длинным столом вдоль, очень эффектные старинные стены, мебель, церемониймейстер за стулом старой королевы, — а обед был скучный, да и скудноватый, шутили мы с Алей, что Пальме совсем до ноля срезал королевский бюджет. После обеда было церемонийное стояние с кофе и напитками в предзальи; минут сорок, пока король не ушёл, — все должны были стоять. Аля не удержалась и через нашего старичка спросила короля: трудно ли быть королём в наш век? Он отвечал очень просто и серьёзно.

Ещё на следующий день я назначил пресс-конференцию, а перед тем ездил к несчастной матери Рауля Валленберга, 29 лет уже сидящего, если не умершего, в советской тюрьме. (Его я первоначально понимал как моего Арвида Андерсена, — «Архипелаг», ч. II, гл. 2, — но не сошлось.) И пресс-конференция если была чем полезна и нужна, то только тем, что я пространно говорил о Валленберге и упомянул потом Огурцова, в то время пробно сажаемого в психушку. Конференцию эту я созвал, предполагая отдать свой долг пресе за целый год пребывания на Западе, — и опять ошибся. Корреспондентов было больше половины шведских да русско-эмигрантских, со своими специфическими вопросами. А для западной прессы Стокгольм был — отдалённый угол, где ничего важного не могло быть сказано, никого серьёзного и не прислали. А для меня, для писателя, форма пресс-конференции, как, впрочем, и интервью, — совершенно ненужная, чуждая форма. У писателя есть перо — и надо выражаться самому и письменно.

Всё не находил я правильно, как же с этой прессой обращаться.

На обратном пути заехали мы на день во Франкфурт-на-Майне, познакомиться с «Посевом» и ведущими НТСовцами. Моё первое касание их было — Евгений Дивнич в Бутырках 1946 года. Он производил сильнейшее впечатление своей пламенной (и православной) убеждёностью, но никакого НТС я тогда не расчужал, даже название не уловил. Потом в СССР годами нас стращали НТСом как самым ужасным пугалом. (Отчего думать надо, что советская власть их всё-таки побаивалась: ведь единственная в мире организация против

* «Публицистика», т. 1, стр. 223 — 224.

них с открытой программой вооружённого свержения.) Из радио знал я потрясающий случай, как агент госбезопасности Хохлов отказался убить их лидера Околовича (теперь повидали мы и старичка Г. С. Околовича, уже без трагического флёра). Потом наезжали к нам в Цюрих то В. Поремский, то Р. Редлих, присылали свою программу-устав, читал я их. Душой — я вполне сочувствовал начинателям их Союза, молодёжи русской эмиграции в Европе в 20-е—30-е годы: естественный порыв переосмыслить и прошлое и будущее, искать собственные пути к освобождению России. Но вот читаю теперь — и ощущение какой-то неполномерности, недотянутости до полного уровня и полного объёма. Программа их с использованием мысли о солидаризме (а не классовой борьбе!) как главной движущей силе развития человечества составлена была настолько безнационально, без всякого даже упоминания русской истории или её особенностей, что довольно было бы вместо «наша страна» везде подставить Турцию — и равно пригодилось (не пригодилось) бы для Турции. Теперь мы наблюдали НТСовцев сутки, устроено было теоретическое заседание со всем их руководством, — и впечатление, увы, подтверждалось: не слишком живоносная ветвь поражённой, рассеянной, растерянной русской эмиграции. В революцию затмилось русское небо и не стало видно вечных звёзд, утерялась связь с уверенным ходом их — и остались мерки подручные. И для освобождения России никак бы не могли в те годы придумать НТСовцы другой формы и метода, как создать такую же централизованную заговорщицкую партию, как большевики, только с другим знаком, чистую. Однако и признаться: если кто в эмиграции ещё и держал какой-то живой обмен с кем-то в советском населении, то именно НТС. Их долгой истории я не изучал, были у них и конфликты, разрывы, отходы, были большие сложности в подгитлеровское время — однако ж вот устояли. Все они жили весьма скудно, всё отдавалось борьбе, как у прежней революционной интеллигенции, но ветер века не подхватывал их паруса, а, напротив, больно сбивал. И из атакующего брига они невольно дали большевикам превратить себя в пугало с опавшими чёрными парусами, которого наши соотечественники только боятся, сторонятся. Внушительно говорили НТСовцы о своей подрывной противобольшевицкой деятельности и агентуре в СССР — и можно было бы поверить, если б мы не были сами из той страны и не ощущали, что тут больше самовнушения, а до «подрывной деятельности» далеко. Главные мыслители их не поражали крупностью, просто непременные теоретики, нельзя же партии без них. Но и не без живых умов было их руководство — а не было под ними истой почвы, в которой бы им укрепиться, не было слияния с той народной жизнью, как она развивается под большевиками, — да ведь это искусственно как воссоздашь? При всём их идеализме, динамизме — как присоединиться к текущей, значит подсоветской, российской жизни, и как повлиять? Все они сильно дисциплинированные, централизованные, политизированные, — а какого-то вольного дыхания, жизненной простоты не могли добрать. Все они православные, построили свою церковь, все посещали службы, отличный хор, — но и это ведь скорее мысленная Россия, прошлая, будущая, а не сегодняшняя. Состарились те молодые, которые когда-то начинали Движение, потом вливалась в них часть Вторая эмиграция, затем вырастала тут своя молодёжь, — а стоит ветка как отдельная, не соединённая со стволом. Таково заклятье жизни вдали от своего народа... И это ж ещё насколько лучше тех тысяч из эмигрантской молодёжи, кто без сопротивления дал себе уплыть дорогой западного благополучия. Нет, у какого другого народа эмиграция, может быть, и сила, да не у нас. Органично для русских?.. — увы, отрицать трудно.

И с особенно тревожным чувством присматривались НТСовцы к новоприбывающим из СССР, искали единения и понимания с ними, — а далеко не всегда находили. И невольно становились перед вопросом: на что ж им надеяться?

Возвращение в Цюрих принесло мне вполне неожиданный сюрприз. За время моей поездки адвокат Хебб получил и теперь передал мне письмо от

цюрихской «полиции для иностранцев» (в многоприютной Швейцарии есть такая). Её шеф Цеентнер (Zehntner) писал, что, согласно сообщениям прессы, Александр Солженицын дал 16 ноября в Цюрихе пресс-конференцию. При этом он не только представлял эссе некоторых советских авторов, но высказал критические соображения о коммунизме вообще и о роде и способе, каким он практически осуществляется в Советском Союзе. И высказывания его, по крайней мере частично, имели политическое содержание. Так вот, согласно решению швейцарского правительства от 1948 г. касательно политических речей иностранцев, иностранцы, ещё не обладающие швейцарским подданством, могут высказываться на политические темы как на открытых, так и на закрытых собраниях — только с разрешения. Однако такое разрешение не было получено для упомянутого собрания. Просит полиция моего адвоката обстоятельно разъяснить Александру Солженицыну прилагаемое правительственное решение. А в будущем требуется, чтобы перед каждым таким собранием испрашивалось бы разрешение цюрихской полиции не позднее как за десять дней. («Десять» и в его фамилии было корнем: Десяткин? Десятник?)

Десять суток! Фью-у-у-у! Вот так приехал в свободную страну! Да неужели же в свободной стране правительство отвечает за частные высказывания жителей? Почему правительству надо брать на себя ответственность за их молчание? Да мне и КГБ таких указаний не выставляло: не высказываться на политические темы или за десять дней спрашивать у них разрешения! То есть даже так надо понять, что если я хочу у себя в доме вести политическую беседу с приятелями («закрытое собрание») — я должен предупредить полицию за десять дней?!

Как будто звук боевого рожка снова доносится до уха! Привычный позыв — да немедленно ответить им публично! грохнуть! обнажить ихние швейцарские законы! Благодетели! — приют мне предоставили! — чтобы я молчал глуше, чем в СССР?

И — не удержался бы, скорее всего так прямо, неприлично бы и грохнул! — трудно отстать от навыка. А — как же мне дальше тут жить с заткнутым ртом?

Но уже есть швейцарские друзья, наши добрые Видмеры, перед которыми неудобно сделать такой шаг, не посоветовавшись: не отвечают они за всё швейцарское, даже за всё цюрихское, хоть Видмер и главный в Цюрихе человек, а не хочется делать им больно и стыдно за свою страну. И они, конечно, в ужасе от моего проекта, отговаривают.

Потом и — радость Советам не хочется доставлять: как меня тут прижали.

А потом: отъезд из Швейцарии всё равно решён, а теперь — тем более бесповоротно. То, что длится сейчас, — это временное переходное состояние, европейская пересадка. Разве мы тут поселились, пускаем корни? мы чуть-чуть держимся. Это письмо из полиции только лишний раз толкает: да, да! здесь — не моё место.

Нет, ехать дальше.

Но ответ полиции я пишу выразительный: на указанной пресс-конференции я не только не высказывался за насильственное свержение советского режима, но всячески предостерегал от таких действий. А вот Ленин в 1916—17, живя здесь, в Цюрихе, открыто призывал к свержению всех правительств Европы, в том числе и швейцарского, — и таких предупреждений от швейцарской полиции не получал. И оговорил, что когда-нибудь, может, это письмо опубликую*.

Одновременно всё же прощупал: да неужели уж так ничего в Швейцарии не смею? В Москве вышибли с секретарей ЦК моего «приятеля» Дёмичева — и я высказался в «Нойе Цюрхер цайтунг» о новом повороте в СССР. Ничего, прошло без полиции. Письменно — можно. (А через два месяца выступил в

* «Публицистика», т. 2, стр. 202 — 203.

Цюрихском университете перед студентами-славистами*, правда, всего лишь на тему о русской литературе и языке, ни о чём другом, — тоже прошло беспоследственно.) Но вот в эти самые месяцы одна швейцарская торговая фирма уволила свою служащую, переводчицу, по протесту советского клиента: на его бранные слова о Солженицыне переводчица спросила: «Да читали ли вы его?» И — уволена!

Независимая свободная старейшая демократия Европы! Нет, я скорее понимал тот стонущий зов, который увлёк почти всю Вторую эмиграцию за океан: кто отведал советского рая — тот делает выводы до конца. Во мне наслоились тюремные потоки 1945 — 46 годов («схваченные в Европе», выловленные гебистами даже поодиночке, хоть в центре Брюсселя), я делил с ними камеры и этапы, я ощущал себя братом Второй эмиграции. Да может быть, никакого броска на Европу и не будет, но не хочу ежедневно томиться, что мои свободно разложенные архивы и рукописи могут погибнуть, — так «Красного Колеса» не написать.

Отъезд из Европы решён бесповоротно, но тем ещё напряжённей тяга к России: да чем же ускорить её освобождение? Бродило во мне такое намерение: теперь, вслед за глухими вождями — да обратиться, с другого конца, к молодёжи Советского Союза? Вот, сохранился у меня и набросанный тогда проект, хотел приурочить его к Новому году:

«Наступающий 1975 год кончает собой три четверти XX столетия. Уже окрашено оно цветами, какие заслужило: красною кровью павших, чёрной тюрьмою мучеников и жёлтым предательством большинства. И всё же четверть столетнего поля ещё остаётся свободной для остальных, лучших красок спектра, и все они — в наших грудях и в нашей воле. И если бы на 4-ю четверть мы выплеснули бы наше лучшее — ещё изменился бы весь тон картины, и ещё могла бы она получить *смысл*, которого за 75 лет не составила. XX столетие, из самых позорных и в мире, и в нашей стране, — ещё можно спасти! Первый же год этого века в России был озаменован (и, видно теперь, символически) мощным студенческим движением. Преследования тех студентов по нашей сегодняшней мерке были комичны, последствия их движения — ужасающие. Всё делалось ими от чистых сердец, но безо всякого общественного опыта, нахватавшими теориями революции и насилия. Сегодня, напротив, студенчество наше — в дремоте, немощи и старческом благоразумии: лучше жить на коленях, чем умереть стоя. Более запутанного и смиренного студенчества, чем в нашей стране, нет сейчас на земле нигде: студенты арабские, эфиопские и тайландские поражают развитием и смелостью по сравнению с нашими. Но этим сегодняшним индивидуальным благоразумием вы и на 4-ю четверть столетия копаете себе ещё одну братскую могилу коллективного рабства. Кому сегодня 20 лет — к концу столетия будет под 50, вся лучшая часть вашей жизни и пройдёт в избранном рабстве. Вы ждёте освобождающего чуда? Ниоткуда оно не спустится. Либо — сами вы это чудо добудете, либо — не будет его. И кому же менять условия в нашей стране, если не вам?..»

Не дописал.

Сомнение: ещё как будто я имею право так обращаться к ним, сам недавно из боя, а может быть, за этот неполный год безопасности, уже и потерял право? *отсюда — туда* — может быть, уже не смею так? Это уже звучит безответственно, пафосно, не тот тон?

Отъезд из Европы — бесповоротен, и даже уже намечен на эту весну. Конечно — Канада. Огромная, тихая, богатая, ещё силы своей не сознающая дремливая Канада, и такая северная, и такая похожая на Россию, да через Аляску и граничащая с ней. Вдруг что-то родное?

Батюшки, остаётся всего лишь несколько месяцев, а мы и Европы до сих пор не видели! мы даже в Париже не были ни разу! быстро собираемся, катим туда, прямым поездом 6 часов, — но сколько ж времени, о Господи, получать визы! Нам, иностранцам, неполноправным гражданам, каждый шаг — через визу.

Встретить в Париже Новый год. Аля едет в Париж больше как человек естественный: смотреть неповторимый заманный город, набережные, бульвары,

* «Публицистика», стр. 211 — 233.

картинные галереи, Нотр-Дам, живые легенды. А мне — по сжатым срокам моим и по объёму рёбер — да куда ж это всё вместить бы? Я и тут — с деловой, «революционной» целью: моё — это Париж русской эмиграции, какой он увиделся и достался нашим горьким послереволюционным эмигрантам, — не сплошь всем, не тем, кто бежал, спасаясь, а той белой эмиграции, которая билась за лучшую долю России и отступила с боями. Это тоже — часть моего «Колеса», это всё туда входит: Париж Первой эмиграции, как она выживала тут полвека и больше, как исстрадалась и умерла. Коснуться русского Парижа.

Смешно так получилось: 27 декабря, только вышли мы с Восточного вокзала (ошеломлёнными глазами боясь допустить, что вот эти серые дома и узкая улица, по которой мы поехали, и есть тот самый Париж, исчитанный с детства), как встречавшие Струве перекинули нам на заднее сиденье сегодняшнюю парижскую газету: на первой странице, словно выстроенные в ряд, сфотографировались четверо писателей новой «парижской группы»: Синявский, Максимов, В. Некрасов и А. Галич. А в интервью шла всячинка, Некрасов изумлялся обилию фруктов на Западе как самой поражающей его черте после изнурительного рабского Востока, а Галич уравнивал мои вкусы с брежневскими и предсказывал, что я *никогда* не приеду в ненавидимый мною Париж.

Поместились мы в Латинском квартале на улице Жакоб (рядом с издательством «Сэй») — в единственном изолированном мансардном номере, куда доводила крутая лестница как корабельная и с морским канатом вместо поручня. Мансарда была достойно-парижская, из окна одни крыши и каменные колодцы дворов. Погонял я по Парижу тоже немало, всё пешком, ещё сохраняя ноги и обычай юности (тут примешивается в память и второе посещение Парижа, той же весной, и ещё третьё, через год), кажется и видел всё главное, подобрал — не настолько, чтоб делиться с читателем, а чтобы хватило самому. (Лучший день тут был — прогулка с о. Александром Шмеманом, знатоком и города и истории его, — он вёл меня и, по мере встречных мест, попеременно проводил то через Париж Людовиков, то через Революцию большую, революцию малые, войну прусскую, Мировую первую, 30-е годы, немецкую оккупацию, да и те самые «русские» кварталы, к которым влёт меня главный интерес.)

Всю мою советскую юность я с большой остротой жаждал видеть и ощутить русскую эмиграцию — как второй, несостоявшийся, путь России. В духовной реальности он для меня не уступал торжествующему советскому, занимал большое место в замыслах моих книг, я просто мечтал: как бы мне прикоснуться и познать. Я всегда так понимал, что эмиграция — это другой, несостоявшийся вариант моей собственной жизни, если бы вдруг мои родители уехали. И вот теперь я приехал настигнуть эмиграцию здесь — но главная её масса, воинов, мыслителей или рассказчиков, не дождавшись меня, уже вся залегла на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И так моё опозданное знакомство с ними было — в сырое, но солнечное утро, ходить по аллеям между памятниками и читать надписи полковые, семейные, частные, знаменитые и безвестные.

Я опоздал.

Правда, ещё кто-то жил в инвалидном доме по соседству с кладбищем, даже полковник Колтышев, очень близкий к Деникину в самую гражданскую войну. Правда, в Морском собрании (особняк, ведомый старыми моряками) мне созвали двух адмиралов и трёх полковников той войны. Ещё в разных местах Парижа навещал я старичков с памятью *того* времени, даже крупных по своим бывшим постам, или ездил к бережливым монархистам посмотреть в квартирке сохранённый уникальный фильм о царской семье. И ко мне в номер приходили старики, тогдашние молодые офицеры, рассказать перед магнитофоном впечатления революционных дней, деформированные сумраком полувека. Ещё повидал я и сына Столыпина, и бывшего сталинского приближённого Бажанова, добровольно покинувшего зенитную большевицкую карьеру. (В раннем издании «Архипелага» я упомянул, что его убили, он написал мне по-твеновски: «Слухи о моей смерти преувеличены».) А портье нашей го-

стиницы вдруг отвечал по-русски и оказывался не Жаном, а Иваном Фёдоровичем, с грустной косостью улыбки при этой вымирающей речи. А Новый год мы со Струве и Шмеманами отправились встретить в так называемый (уже только называемый для экзотики) русский ресторан Доминика на Монпарнасе — и сидела там состоятельная публика, чужая России, а старый русский официант, высокий статный мужчина, наверно бывший офицер, — в полночь надел для смеха публики дурацкий колпак и пытался смешить, едва ли не кукаркая. Сердце разрывалось от такой весёлой встречи. (Но и вообразить же можно было 55 этих встреч, с пожеланиями каждый раз — чтобы скovyрнулись большевики.)

В свою очередь предполагалось, что и я представлюсь старой эмиграции, соберутся они в каком-то зале, — но схватил сильный грипп, в тот новогодний раз мы уехали больные, а в другой приезд уже не пришлось как-то, — и никогда теперь уже не придётся, увы.

Не замирала и жилка современности: в наш мансардный гостиничный номер приходили к нам «невидимки» — Степан Татищев, Анастасия Борисовна Дурова, кто так основательно нам помогла, однако даже имя её мне не называлось прежде, а теперь она весело рассказывала о подробностях своей конспирации. Пришли и новые эмигранты Эткинды, ещё сильно не в себе от здешней жизни, особенно потерянная Екатерина Фёдоровна, и вспоминали мы как некое замороженное счастье — злосчастье тех дней, когда меж нами жил тайный «Архипелаг». (Нельзя было предположить, что вскоре обречены разойтись наши дороги.) В другой вечер мы с Алей бродили со Степаном Татищевым по пляшущему световому базару Верхних бульваров, уговариваясь о подробностях будущих тайных связей с Россией.

Наконец посетил я со Струве русскую типографию Леонида Михайловича Лифаря, где печатался мой «Август», «Архипелаг», да и всё другое, — ту страшно тайную типографию, как я воображал её из Москвы, когда предупредил Никиту Алексеевича: с рукописью в руках даже не перемещаться по Парижу в одиночку, — но разорвалось бы тогда сердце моё, хорошо что не знал: типография Лифаря — это открытый двор, открытый амбар, куда может в любое время всякий свободно зайти и ходить между незаграждёнными стопами набора, того же и «Архипелага». Связь Лифаря с издательством «Имка» не могла не быть известна ГБ — и как же они проморгали подготовку «Архипелага»? почему не досмотрел сюда их глаз, не дотянулась рука, — и так моя голова уцелела? А Лифарь сам пережил 30-е годы в СССР — и вот почему всем сердцем воспринял «Архипелаг»*.

Русская «Имка» имела за плечами весьма славную историю в русском зарубежье. В десятилетия, когда торжество коммунизма в СССР казалось безграничным, всякий свет загашен и растоптан навсегда, — этот свет, ещё от религиозного ренессанса начала века, от «Вех», — издательство пронесло, сохранило и даже дало ему расцвет в малотиражных книгах лучших наших уцелевших мыслителей — концентрат русской философской, богословской и эстетической мысли. Само название ИМКА, диковатое для русского уха, досталось издательству по наследству от американской протестантской организации (YMCA, Young Men's Christian Association), питавшей его небольшими средствами, затем завещавшей своих опекунов. Издательство начало действовать с 1924 года, первой книгой издав зайцевского «Сергия Радонежского», позже федотовских «Святых древней Руси», затем издавало С. Булгакова, Франка, Бердяева, Лосского, Шестова, Вышеславцева, Карсавина, Зеньковского, Мочульского. С 60-х годов книги «Имки» помаленьку стали проникать в Советский Союз, открывая нашим читателям неведомые миры. А моя связь из Москвы была не с «Имкой», а лично с Никитой Струве. Струве и был для меня «Имка», ясно было, что он её вёл и решал, с ним мы определяли все

* И, по завету его, — «Архипелаг» его набора так и был положен ему в гроб. (Примеч. 1986.)

сроки печатанья, условия конспирации. И когда Бетта привезла в Москву, что в Париже объявился какой-то Морозов, который претендует, что имеет права на мои книги, — мы переполошились: ещё новый пират? ещё новый агент ГБ? — хотел я даже посылать гласное опровержение. Но когда по западному радио объявили о выходе «Архипелага» — то назвали Ивана Морозова как директора крохотной «Имки», до вчерашнего дня мало кому на Западе и известной. Вот тебе на, откуда взялся?

А в Цюрих приехал Струве и подтвердил: да, директором у них — Морозов. И даже пришло письмо от Морозова с настоянием срочной встречи, но и какой-то сдвиг был во фразах, вызывал удивление. Н. А. объяснил мне, что Морозов все месяцы тайного набора «Архипелага» ничего о том не знал. В день же выхода 1-го тома Н. А. лежал больной, а книги внезапно пришли из типографии — и тут Морозов дал интервью прессе, рассказал об издательстве и о себе.

А когда мы получили 1-й том в Москве — были горько изумлены большим количеством опечаток, но верно приписали это конспирации. (По конспирации, только Струве с женой и корректировали, как успевали.) В наши самые грозные московские дни — мы составляли список опечаток, и «по левой» слали их в «Имку», они на ходу, при допечатках тиража, исправлялись (а тираж «Архипелага»-I был для них невиданным — 50 тысяч, до тех пор они крупной одной тысячи редко что выпускали и всего-то по 2—3 книги в год. Была эпитаграмма в эмиграции: «Отвечает ИМКА: мы / издаём одни псалмы»). И уже в Цюрихе, как упомянуто, при нашей неустроенной жизни, при наших трёх младенцах — Аля вела и ночами вычитывала корректуры. Мы ещё тогда не охватили эмигрантской реальности. Вот мы с боем вышли из такой пещеры (из глубины её казалось — на Западе всё легко, всё просто), — теперь только рукопись протяни, её подхватят и тут же принесут готовую книгу, — нет, выходит, здешнему русскому издательству нужно сначала помочь стать на ноги. Да, так нам открывалась извечная нищета Первой эмиграции и сиротство её.

Теперь в Париже я мог ближе рассмотреть это издательство и немало подивился, на чём оно держится. Струве, профессорствуя в Парижском университете, был бесплатным сотрудником и радетелем, душой издательства, но не занимал и не хотел занимать никакого поста. Оплаченным директором состоял Морозов, при нём бухгалтер, и ещё немало сотрудников толпились избыточно в книжном магазине, которому Морозов и придавал первостепенное значение. В самом же издательстве в тот год не было *ни одного* редактора, ни постоянного корректора (а типографию, естественно, каждый раз нанимали). Морозов, выходец из русской крестьянской семьи в Эстонии, не проявлял издательского дара, линия издательская была не всегда разборчивой, и в ряду религиозно-философских изданий странно выглядели третьесортные скороспешные диссидентские репортажи, а то лихие, но не живучие новинки самиздата. (В суматохе хлынувшей новой эмиграции иногда не мог и Струве разобраться, что это за явление и что оно в советской жизни весит.) Оказалось, что и договоры со мной, заочно написанные, — находятся в безалаберном и безответственном составе, Морозов и с Флегеном заключил какое-то «джентльменское соглашение» — «делить советских авторов», ничего ещё не зная о тайных переговорах Струве со мной и о грядущей череде моих книг. Морозов и в «Собачьем сердце» Булгакова находил «неприличные места», и по советскому словарю Ушакова проверял в «Раковом корпусе» «странные слова», каких быть не может. (О словаре Даля он не знал.) В конце 60-х годов он психически заболел, пытался кончать с собою, и полгода провёл в клинике. С тех пор находился под лекарством, оглушённый, не выходил полностью из болезненного состояния, производил странное впечатление — то напряжённым усилием ширить глаза, то восторженным взглядом, то фразами без понятия дела, в чём заторможенный, а в боязни разорения очень возбуждённый. В первый же мой приезд в Париж, едва с Морозовым познакомься, я сильно удивился и спрашивал Струве, и советовал: зачем же это показное руководство,

тормозящее работу? Струве отклонял: с Морозовым долгие годы сотрудничества, в конце 30-х он приехал из Прибалтики, молодой энтузиаст, и много сделал для восстановления РСХД во Франции. Он отдавался делу целиком, бескорыстно, но неумело. А в эмиграции так узок круг работников, всякий разрыв воспринимается болезненно.

Однако несогласованность руководства и беспорядочные действия в издательстве просто в отчаяние приводили. Уже я связан был с ними прохождением всех моих книг, и со Струве и с «Вестником» был связан душевно и в работе, — однако и трудно же так дело вести. Вдруг — узнаю, что кто-то торгует моими фотографиями, и с каким-то ещё произвольным девизом. Кто же? «ИМКА-пресс»! Морозов распорядился наготовить этих фотографий и принудительно добавляет покупателям за отдельные 10 франков. Погасили, когда уже немало так разослали. То, накануне выхода «Телёнка», Морозов, не спросив и не известив, отдавал его большими кусками в «Новое русское слово», суетливую ежедневную неграмотную газету в Штатах. После всего такого — предполагаемое собрание сочинений я решил было отдавать «Посеву», гораздо крепче организованному, хотя марка «Посева» затрудняет распространение книг в СССР. (Очень сопротивлялась Аля: ни за что не уходит из «Имки»! она её почти боготворила со студенческих лет, по приходящим редким духовным книгам. Всё же часть публицистики в тот год я издал в «Посеве».)

«Телёнок», как он дописался после высылки, должен был появиться вот-вот. Есть много опасностей — и творческих, и личных (а на Западе — и судебных, как выяснилось) — в печатании слишком свежих воспоминаний, в том числе и потеря пропорций, и потеря дружб. Л. К. Чуковская отозвалась «по левой» из Москвы, что это ошибка моя была, мемуары не должны так печататься, надо всему остыть. Другие приятели из Москвы шутили, что я «оставляю своим будущим биографам выжженную землю» (и в шутке есть правда: пока вот успеваю не оставить прожитого в хламе). А я считаю: тут верный срок угадан, «Телёнку» никак было невозможно остывать, это не мемуары, а репортаж с поля боя. Вот нынешнему второму тому Очерков придётся, наверно, полежать и полежать.

Предвидя в Канаде долгие поиски места и долгую потерю рабочего времени, а ещё и по свежести цюрихских впечатлений, я спешил именно сейчас написать, кончить ленинские главы. Включая «Март Семнадцатого» их набралось теперь, по обилию материала, больше, чем ранее предположенных три, возникала самостоятельная картина, и даже гораздо самостоятельней, чем утнут они потом в Узлах, — да и когда ещё то «Красное Колесо»? За годами.

Работать мне на цюрихской квартире было по-прежнему шумно, тесно, невозможно — и я опять уехал в горы, всё в тот же Штерненберг, один раз на две недели, другой — ещё на три. Как все старые крестьянские швейцарские дома, и этот имел часть комнат неотопливаемых, с расчётом на холодный сон в слабоморозные ночи с распахнутыми окнами, нестарые люди в большинстве спят тут так. Сперва это мне казалось диковато — входить в морозную спальню, но потом я привык, и пристрастился, и стало это моей привычкой, наверно, на всю жизнь, уже и при 25-градусном морозе в Вермонте. За ночь наглотавшись свежего воздуха, днём и не нуждаешься никуда выходить гулять, сидишь и работаешь день насквозь. А напоминала мне эта одинокая зимняя работа — мою работу в Эстонии над «Архипелагом», и как там я урывал в лунную ночь выйти и ощутить мир — так и в Штерненберге, при луне, уже поздно ночью, бравивал с палкой по снежным горным тропинкам и не наглядывался суровостью этого провалистого и взнесенного пиками пустынного лунного пейзажа. На таком пейзаже — где в заливе лунного сияния, где с резкими чёрными тенями гор и деревьев — мне и запомнилась та моя исполгающая выработка над Лениным до последних сил и где-то тут, между горами, его мятущийся чёрный дух. А в рабочей комнате прикинул я к деревянной стене, чтобы зримее ощущать непрерывно, — портрет Ленина, один из самых зловещих, где он и воплощённый дьявол, и приговорённый злодей, и уже

смертельно больной. (Придумал, чтобы на всех мировых изданиях этот портрет был на обложке. В русском издании портрет сослужил дурную службу: до того ненавидели его старые эмигранты, что такую книгу даже в дом внести не хотели. У нас, советских, отношение к Ленину — одомашненно-юмористическое, у эмигрантов — зачуранье.)

Работал — совершенно весь отдавшись, ощущал себя на главном, главном стержне эпопей. В эти пять недель в Штерненберге меня работа захватила настолько, что я потерял ощущение современного момента, знать его не хотел, и как он там меня требует или вытягивает к себе. Даже обычные известия по коротковолновым станциям перестал слушать. Из горы собравшихся материалов рос и рос, вровень Ленину, прежде не задуманный Парвус, с его гениально простым же планом разломать Россию сочетанием революционных методов и национальных сепаратизмов, более всего украинского: в лагерях российских военнопленных создавать для украинцев льготные условия и поджигать в них непримиримость к России. (И План — удался! Никакая Британская Империя не могла раньше осуществить такого: не решились бы на революционный огонь.) Но возникла для меня трудность: как *встретить* Парвуса и Ленина в 1916, дать им прямой диалог? Такая встреча их была, но в 1915 в Берне, я же опусывать 1915 год отказался. А в 1916 в Цюрихе — не было личной встречи, лишь обмен письмами. Тогда — изневоли — я отступил от обычного реализма и применил фантастический приём, как бы дать переписке перетечь в диалог, ввёл чертовщину: посланец не только привёз письмо, но и самого уменьшенного Парвуса в бауле. Приёмом его распухания, вылезания, а после разговора исчезновением — фантастика и исчерпывалась, весь диалог Ленина—Парвуса и столкновение их мыслей и планов даны реально и в полном соответствии с исторической истиной.

И вот, за пять недель я кончил — завершил почти до готовности в печать — все цюрихские ленинские главы, их оказалась не одна, как написал в Москве, а десять. Ощущение было, что взял сильно укреплённую высоту.

После этого в Цюрихе хотелось поблагодарить и попрощаться с Платте-ном-младшим, Мирославом Тучеком из Социальштелле и Вилли Гаучи, автором обстоятельной книги о Ленине в Швейцарии. Я предложил пойти в один из ресторанчиков, связанных с Лениным. Пошли в «Белого лебедя», сели за свободный стол — и вдруг прямо перед собой на стене я увидел... портрет Ленина! так и заставили его быть свидетелем торжества над ним самим...

Ну, спасибо, милый Цюрих, — поработали мы славно.

Та весна была ещё тем тяжела, что кончались обманутые Вьетнам—Лаос—Камбоджа, западный мир — как никогда слаб и в отступе. А теперь, когда хорошо у меня шла работа и всё увереннее я выходил на свою твёрдую дорогу — мучило меня, что я не использовал своего особого положения, своего ещё крепкого на Западе авторитета, чтоб этот Запад очнуть и подвинуть к самосохранению. И (не по памяти, а записано у меня как удивительное): 20 марта 1975, в четверг первой недели Поста, стоял я на одинокой трогательной службе в нашей церковке и просил: «Господи! просвети меня, как помочь Западу укрепиться, он так явно и быстро рушится. Дай мне средства для этого!» Через полтора часа прихожу домой, Аля говорит: «Только что звонили из Вашингтона, *час назад* Сенат единогласно проголосовал за избрание тебя почётным гражданином США». (Это — уже второй раз, в обновлённом составе, пересиливая сменённую палату представителей, которая затормозила первое избрание.)

И я понял так: что надо действовать через Соединённые Штаты, и даже в этом году. Ну, да я ж в ту сторону и ехал.

По нашей задумке было — что я уже в Европу не вернусь: найду в Америке землю-дом, куплю, там сразу и останусь работать, чтоб не остывало. А тебе, Алюня, ещё раз одной семью перевозить. Тяжко? ещё бы не тяжко. Да главная трудность нашего переезда была: что устройство — громоздкое, долгое, и все стадии его, от поисков участка, покупки, достройки, обгородки и сам переезд,

должны пройти в тайне от КГБ: оно не должно узнать прежде поры. В стеснённом Цюрихе, где до каждого соседнего дома было 15 метров, мы ни под потолками, ни во дворике называть имена и дела не решались. Любой подозрительный приезжий подходил к заборчику, подзывал детей или приставал к нам. Да через низкий наш заборчик и перескакивали. КГБ и за пределами Союза была очень распространённая и действенная сила, доставательней, чем это казалось европейцам. А в Швейцарии они кишели гнёздами. И телефонные разговоры через океан уже многие подслушивались Советами, значит, мне из поездки и разговаривать не обо всём открыто.

И до этого моего последнего отъезда оставалось мне жить в Европе — один апрель. А ведь мы так мало ещё повидали за вечной работой! А ещё ж надо и выступить на прощанье в Европе. Решили, что это — в Париже, где в начале апреля выходит французский «Телёнок».

На этот раз во Францию мы отправились с Алей на автомобиле, чтобы лучше посмотреть страну. Языка мы не знали оба, но часть пути шла по Швейцарии и Эльзасу, выручал немецкий, а позже мы должны были встретиться с Никитой и Машей Струве. В несколько дней вместились много. Пасмурным утром побродили в устоявшейся угловатой древности Базеля. Потянулись малыми и просёлочными дорогами вдоль Рейна, смотрели доты линии Мажино, в приречной тихой долине у самого Рейна ночевали в Санде, в гостинице — крестьянском доме. Первые же часы во Франции почувствовали мы освобождение от какой-то утомительной обязательности, сковывающей в немецкой Швейцарии. И ещё — эта полупустота пространств, в заброшенном грязном леске — вдруг мусорная куча (Швейцария б такого не выдержала час!), — простота, которой не ждёшь от Европы, да незаселённость, которой из Союза вообразить нельзя: нам оттуда представляется вся Европа сгустившимся людским роем. Нарядный острый лёгкий разнообразный Страсбург, пересечение французского и германского духа (для европейского парламента вряд ли лучше и придумать место). Обаятельное игривое Нанси с дворцовой площадью лотарингских королей, королевским парком и бульваром лихих балаганов (мы попали на день ярмарки). Всего двух таких провинциальных городов уже довольно, чтобы почувствовать: только та и страна, какая не исчерпывается своею столицей, и даже Франция, о, далеко не вся — Париж. (А ведь и у нас в России сколько было независимых городов! Надеюсь — будут ещё.) С Францией я испытал ошибку, противоположную швейцарской: насколько там должно было мне всё подойти, а почему-то не подошло, настолько Францию, живя в СССР, я всегда считал себе противопоказанной, не по моему характеру, куда чужей Скандинавии, Германии, Англии, — а вот тут стало мне ласково, нежно, естественно, — если жить в Европе, то и не нашёл бы лучше страны. И даже вовсе не соборы грозные — Реймса, Шартра, Суассона, и не дворцы Версаля и Фонтенебло, но медленная жизнь крохотных безвестных городков, но благородно-мягкие рисунки полей, лесков с омелами, серый камень длинных садовых оград, да всё непридуманное французское земляно-серое каменноустройство. Близ Шантийи на Уазе мы ночевали в густо туманную ночь, совсем рядом иногда тархтели плицами баржи, — уединённое мирным охватом, отдыхало сердце совсем как на родине. И, может быть, особенно прелестна мягко-холмистая восточная Франция. (На обратном через неё пути нельзя было не заметить на холме грандиозного — как почти уже нерукотворного — креста. Мы свернули — и вскоре оказались у могилы де Голля, надо же! Охранявшие полицейские узнали меня — и потом корреспонденты дозволивались в Цюрих: что хотел я выразить посещением этой могилы?) Разделяли — скорей исторические места: в фортах Вердена или грандиозном погребалище — сердце щемило: а у нас? как легко и сколько, и совсем безнаградно. Побывали мы на кладбище русского экспедиционного корпуса под Мурманом: могилы, могилы, могилы. (Встречал нас бывший прапорщик того корпуса, теперь дьякон кладбищенской церкви Вячеслав Афанасьевич Васильев. Была при нас и вечерня там.) По какому государственному безумию, в какой

неоглядной услужливости посылали мы сюда истрачивать русскую силу, когда уже так не хватало её в самой России? зачем же наших сюда завезли погибать?

В Компьенском лесу — отказала французам ирония: сохранена обстановка капитуляции немцев в 1918 — и ни полунамёка, как обратный спектакль был повторён в 1940.

Я-то знал, что не только знакомлюсь, но и прощаюсь. Если на Новый год мы с издательством «Сей» ограничились, в их подвале, давкой корреспондентского коктейля, с безалаберными вопросами и ответами, так что с собственными переводчиками не осталось минуты познакомиться, — то теперь, не торопясь, я встретился и с ними.

Насколько несчастлив я был со многими переводами на многие языки (и многих уже не проверить при жизни) — настолько счастлив оказался с переводчиками французскими. Человек семь-восемь их оказалось, все друг со другом знакомые, все — ученики одного и того же профессора Пьера Паскаля, и близких выпусков, все — достаточно осведомлённые о советской жизни и её реалиях, не небрежные ни к какой неясной мелочи и, кажется, все — изрядные стилисты в своём родном. Единство же их обучения приводило к значительному сдружеству переводов. Французских переводов я и приблизительно не мог бы оценить, но многие знающие, и первый Н. Струве, — очень хвалили. А благодаря тому, что не через единую голову нужно было пропустить всю эту массу страниц кипучих лет — распределённые между несколькими, они появлялись быстрой чередой, без пропуска, почти вослед за русским, и так стала Франция единственная страна, где книги мои успевали и работали в полную силу. Именно Франция, закрытая мне по языку для жительства.

Руководители «Сёя» Фламан и Дюран стали теперь в Париже и главные мои гиды в общественном поведении. По их совету и устройству я дал пресс-конференцию в связи с выходом французского перевода «Телёнка» и участвовал в сложной телевизионной передаче «Апостроф», где были в диспуте человек шесть литературных критиков. Фламан разумно предостерег меня: не дать сыграть на мне внутренней французской политике, к чему и будут все тянуть, ни на минуту не забыть мировое измерение художника и положение свидетеля между двух миров.

Пресс-конференция опять мало удалась: разговор дробился, стержень — не получался*.

А день телевидения выдался у меня очень тяжёлый: днём — встречи, всё время на ногах, бродьба по Парижу, где-то протянуты часы до позднего начала передачи, голова разболелась, — пришёл я вялый в эту огромную студию, похожую на цирковые кулисы, сотни людей, гул, неразбериха. В этой же толчее усадили нас семерых за столом, настроенный социалист Жан Даниэль из «Нувель обсерватёр» против как бы рассеянного, не мобилизованного на диспут правого, Д'Ормессона, остальные тянули каждый что своё. Я сидел с опущенной головой, без воодушевления и даже с отчаянием от этой их перепалки, уже усталый от их комичных схваток, с неохотой отбивая «классовые наскоки» социалиста и обезнадёженный добраться до настоящего разговора. А прошло выступление** — поразительно удачно, по единодушным отзывам. Именно это спокойствие и безнадёжная ирония были восприняты как самое достойное представительство России. Не всегда наибольший напор даёт наилучший результат. Знакомство с Францией произошло отлично — настолько, что передачу, уже в ходе её, увеличили на 20 минут против расписания. Было много потом газетных откликов и писем.

Да уже — и уезжать. (Ещё какие-то внезапные, но обязательные дела. К каким-то крупным физикам-математикам ездили на частную встречу: ободрять в их намерении защищать советских инакомыслящих. До чего унизительна,

* «Публицистика», т. 2, стр. 234 — 260.

** Там же, стр. 261 — 281.

надоела — а до поры неизбежна — эта жалкая наша поза: «Защитите нас, свободные западные люди!» Были, нет ли от того последствия, — не знаю.)

Никогда не хватало в жизни времени — не хватало его и теперь, до отъезда за океан. Как же, быв так близко к Италии, на неё не глянуть? Аля ехать не может: только что два раза отлучалась со мной, а бабушке тяжело одной с четырьмя внуками. Виктор Банкул, наш новый друг, взялся устроить мне такую поездку: за 4 дня пронестись по части Италии и южной Франции. Сын русских эмигрантов, родившийся в Абиссинии; уже сиротой кончавший французский католический колледж в Бейруте, а потом университет; превосходно знающий пять главных европейских языков, а кроме того чёткий в действиях, осмотрительный (все ли замки автомобиля заперты — обойдёт два раза), Виктор Сергеевич подарил мне эти редчайшие для меня дни — чистого отдыха безо всякой цели, даже безо всякой задачи глазам и наблюдению, а если что и записывает перо, то механически, от вечного разгона.

Маленькая Брешиа, о которой, кажется, и не слышал никогда, — а в ней ротонда с подземной базиликой первых веков христианства, и вот диво: насколько русскому сердцу родней и ближе романская архитектура, чем готическая с её подавляющим холодом, — тоже христианство, да, понимаю, а — чудное (да ещё теперь — с динамиками в высоте колонн). В тесноте сгруженного города (губящий сизый дым на узких улицах, клубы дыма из тоннеля, прорытого в холме) — вдруг открывается высокий полуразрушенный Веспасианов храм, и вьются листочки по сохранившейся стене, в углублениях выпавших кирпичей — голуби, а на древней римской мозаике с удивлением видишь свастику, была уже тогда. И тут же — откопанный театр, откопанные римские дворы.

Веронские шекспировские обязательные места. В Вероне — памятник варварски брошенной в 1915 одной бомбе с самолёта, — того ли с тех пор навидались? А я, натерпясь от сизого дыма и грохота среди старины, мню и другую мраморную тут эпитафию, от себя: «Здесь в 1975 советский варвар застрелил свободного итальянского мотоциклиста». (А свобода их — ездить навстречу одностороннему движению, «под кирпич», двигаться при красном светофоре, — а бывает, итальянский красный светофор даёт и три зелёных стрелки: вообще — красный, ходу нет, но при этом можно: и направо, и налево, и прямо. Много мы смеёмся. Не прошёл поезд — уже подымается железнодорожный шлагбаум, мы переезжаем — и видим, что поезд на нас катит.) Ещё странно видеть взрослых мужчин, собирающихся и галдящих по-бабьему. Юноши в обнимку — как девушки. (Вспоминаю: в Ростове-на-Дону тоже была такая манера.) А девочки перед школою заходят в церковь на 10 минут, всё-таки!

Та самая Венеция волшебная, чьего не дразнившая воображения! Но большие каналы забиты (и загазованы) речными трамваями, моторками-такси, а все углы подавлены сувенирными ларьками. Сегодня, мне кажется, уже и не гондолы отличительная особенность Венеции, не обрывы запертых дверей на каналы — но заповедный и недоступный автомобилям центр Венеции, уже непредставимое счастье города, по которому не может ездить ничто гремящее, дымящее, а только ходят пешком, по солнечным плито-мощёным площадям, — даже есть где и кошкам бродить. Но, увы, от радиодинамиков не спасёшься нигде. Не туристский сезон, начало апреля, но на площади св. Марка и в залах, залах Дворца Дожей — многолюдье. О Боже, что же тут делается в сезон и в какую тяжёлую повинность обратился туризм! На Адриатическом побережье, дальше, эта повинность выросла небоскрёбами, механизированными курортами («пляж наций»). Пожалуй, на морских курортных побережьях, как нигде, ощущаем мы, как же нам тесно стало на Земле, как много нас, как не хватает уже морского песка нам, извергаемым городами.

А Равенну всего лучше смотреть рано утром, когда никого нигде ещё нет, редкие дворники метут, воркуют голуби, можно вообразить жизнь прежних веков. Мавзолей императрицы римской Галлы, розово-оранжевым проходит свет

через тонко-каменные пластины, смерть воспевается как восхождение к Богу. О, как давно мы живём, человечество. Итальянская лучшая древность везде испещрена современным процарапом, нараскою серпов-молотов да лозунгов, да угроз: «полиция — убийцы!», «христианские демократы — фашисты, смерть им!», «фашистская падаль — вон из Италии!». Между колоннами: «Да здравствует пролетарское насилие! да здравствует социализм!» (Отпробовали б вы его!) И твёрдыми словами, но без уверенности: «Абсолютно воспрещено входить в собор с велосипедами». — Могила Данте в виде часовни. — И митинг: «Португалия не станет европейским Чили».

Ещё из унылой приморской низменности задолго маячит как нарочно поднятая крутая гора с четырьмя зубчатыми замками. Сан-Марино! — горно-замковые декорации, превзошедшие меру, уже поверить нельзя, что это строилось не для туристов. — И вскоре же — совсем пустынные, безлесые, неплодородные сухо-солнечные Апеннины, и стоит на горке скромный сельский каменный запертый храм *Santuario Madonna del Soccorso* (Святылище Мадонны-помощницы) — и ни селения рядом, как храмы на Кавказе: кому надо молиться — прикарбаются, придут. Все Апеннины бедны водой, бедны почвой — но ни в одном селении ни единого лозунга, этим забавляются только города.

Вот во Флоренции мы увидим опять во множестве: «ленинский комитет», красный флаг из окна, красный серп и молот, намазанный на церковной двери (куда ещё дальше?), «наша демократия — это пролетарское насилие!», «фашистские ячейки закрывать огнём — и даже этого слишком мало!». Ещё в ресторане «У старого вертела» нам подают мясо по-флорентийски — целое зажаренное ребро под белой фасолью, но по ходу лозунгов и митингов мнится нам, что это — уже последние дни перед революцией или захватом, и скоро не будут здесь подавать мясо такими кусками. Я прощаюсь с Европой не только потому, что уезжаю, — я боюсь, что мы все прощаемся с ней, какой мы знали и любили её эти последние века. Флоренция доведена до такого мусора и смрада, что даже и ранним утром производит впечатление грязное и беспорядочное. (Да ведь это и при Блоке начиналось, он заметил: «Хрипят твои автомобили, / Твои уродливы дома, / Всеевропейской жёлтой пыли / Ты предала себя сама».) И в этом мусоре осквернённым кажется буйный разгул грандиозных скульптур перед палаццо Веккио. Одно спасение — квадратные замкнутые дворики, и тут ходят, ходят кругами в монашеской черноте, не выходя в оголтелый город. В тесноте Флоренции храмы настроены непомерной величины — и пусты.

Ещё немного спуститься по карте — Сиена, уже не так далеко и Рим, — и когда же увидеть их? Никогда. Не хватает единого лишнего дня, как не хватало во всей моей прогонной жизни. Во всё путешествие нет свободной души, чтобы наслаждаться красотами, даже вот сойти с машины и пройтись по роще пиний, под зонтиками их единого тёмно-зелёного свода. Сколько впечатлений тут можно набрать! — а мне не нужно? а меня не питает? Такое чувство, что я не имею права даже на это четырёхдневное путешествие: и по времени, и потому, что *не к этим* местам уставлен мой долг и внимание, — там, у нас, погибает всё под глыбами, и меня давят те жернова.

Мы поворачиваем на Пизу, не пропустить в наклонной башне то слишком крутых, то слишком падающих ступеней, на Рапалло — и отсюда я начинаю узнавать наш Крым. Дьявольским виадуком минуем дьявольски дымную Геную и — всё более и более пригорное побережье походит на наш Крым, только горы здесь пониже, а курорты обстроены лучше, хотя опять же коробки небоскрёбные, а о морской синеве ещё поспорить. Всё время ощущение подменённости: позволите, ведь я всё это уже видел! Высокой скалистой приморской дорогой, с перевалами и тоннелями, перетекаем на Лазурный берег.

Ментона, Монте-Карло, Ницца — кто здесь не побывал из героев счастливой дворянской литературы! — и кто не побирался из несчастной русской эмиграции потом... Ох, много, много наших стариков дотягивало здесь свои старые северные раны при южном солнышке под пальмами и в нищете. И от-

пето их здесь, в русском храме на *Avenue Nicolas II* — единственная в мире короткая улочка, которою и сегодня почтён злосчастный государь. Не придумать более для меня нелепого вечера, как вечер в казино Монте-Карло: три часа тигрино хожу по залам и записываю, записываю, записываю — лица крупье, лица и действия игроков, правила игры. Как понятно, почему писатели так охотно приходили сюда: здесь как будто содрана оболочка психики, и люди не в силах не показать откровенно каждое движение своих чувств, персонажи романов так и теснятся в блокнот при каждом движении карандаша. Мне никогда не может это ничто пригодиться — а я записываю. (Но, писатель, никогда не зарекайся, а всегда запасайся. Чудовищно вообразить, зачем бы мне пригодилось Монте-Карло? — а трёх лет не проходит, и так уместно ложится: ведь будущий убийца Богров тут-то и бродил, примериваясь к жизни!) А вот меня уже узнали, так недолго и до разгласки: вот, мол, где Солженицын прожигает дни! уж как порадуется левые, и без того меня поносящие, что я в Швейцарии поселился, в стране банков. А уеду из Швейцарии — будут поносить и за отъезд.

Мы гоним, гоним, почти не останавливаясь, где хотелось бы быть и быть. Сохраняемый в первозданности средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс (странно увидеть здесь за витриной «Архипелаги» и уже «Телёнка»), крутые переулки, мощённые морскою галькой. Грасс, где доживал Бунин. Каменистые, малоплодные холмы Прованса, уже сейчас, в апреле, сухие под солнцем, но всюду сизые пучки лаванды, ещё зальёт она лилово-синим эти поля, а душистый её настой и сейчас продаётся проезжим в одиноких придорожных ларьках. Всякому земному месту отпущен свой дар. Столица лаванды — Динь. Дорога Наполеона — как гнал он с Корсики на утраченный Париж. Стоит у дороги кусок старой каменной стены с проломами. Доломали б её и свалили? — нет: в один проём поставили древнюю амфору, и стена зажила как памятник, французский вкус! Или: крестьянский каменный арочный сарай, так и остались видны старые стропила, балки, в более разрушенной части — старые жбаны, крестьянская посуда, в каменное корытце стекает струйка родника, — а более сохранившуюся остеклили по-современному, и в одном помещении сразу — печь, ресторан, тихая классическая музыка, две скромные девушки-официантки, а меню написано в ученической тетрадке от руки. Французский уют!

И оставалось мне в Цюрихе ещё только короткобегучих несколько дней. Да давай же, Алёнь, хоть ребятишек свозим на Фирвальдштетское озеро! В солнечный позднеапрельский день взяли Ермошу с Игоней и погнали туда машиной, там — пароходиком к тому месту берега, где приносилась священная клятва, откуда вышел Швейцарский Союз. Голубой день, голубое многоизгибистое озеро между лесных кряжей. И ещё долгим фуникулёром высокомерно поднимались к Ригихофу — откуда уже и снежные вершины видны, да не в одну сторону. (Малыши мои неизбалованные целый год потом говорили: «Когда мы с папой были в путешествии...»)

Но и это не последнее европейское. Уже два месяца лежало у меня приглашение из кантона Аппенцель — присутствовать на торжественном дне их кантональных выборов, — и главный редактор «Нойе Цюрхер цайтунг» Фред Люксингер убеждал меня, что этого пропустить нельзя, он же теперь нас с Алей и повёз. Мой отлёт в Канаду был в понедельник — а выборы в воскресенье, и так я успевал. Это — маленький горный кантон на востоке Швейцарии, даже их — два Аппенцелля, два полукантона, католический и протестантский, разделились. Мы званы были в католический. Уже обгоняя по дороге пешех (на выборы ходят пешком, ехать считается неприлично), нельзя было сразу не заметить: все мужчины шли с холодным оружием — это знак права голоса, женщины и подростки его не имеют. Собирались и наискось, без дорог, через луга (правило Аппенцелля: до дня выборов можно ходить по лугам, а потом пусть растёт трава). У парней и у девушек многих — серьга в одном ухе.

Уже дослуживали католическую мессу, в храме — не протолкнуться, а вокруг алтаря стояли многоукрашенные знамёна общин. И с весёлых разноцветных шале на главной улице свешивались длинные флаги невиданных рисунков, сочетаний, изображений животных. В ратушном зале приглашённые туда складывали сперва своё оружие, а поверх кидали чёрные плащи. Затем шесть знаменосцев в старинных униформах понесли свои знамёна во главе процессии, и сопровождали их мальчики-ассистенты в униформах же. Затем должностные лица и почётные гости растянутой медленноступной процессией отправились серединою улицы, обстоенной жителями, другие вывешивались гроздьями изо всех окон. Меня встречали все с таким энтузиазмом, как будто я — их коренной, но знаменитый земляк, вот вернувшийся на родину, — а заранее б я прикинул, что глухой кантон скорей всего и имени моего не знает. (Да не только писателя они приветствовали, а война против зла, и это в речи главы правительства было.)

На площади высился невысокий временный деревянный помост, где все должностные лица, десятка полтора, выстроились в одну линию и всё собрание простояли с обнажёнными головами в чёрных плащах. А всю площадь залила плотная толпа *stimmberechtigte Männer* — мужчин, имеющих право голоса, со своим оружием и тоже обнажёнными головами, серыми, рыжеватыми, седыми, но в одеждах обычных. А женщины теснились уже где-то за краями толпы или на балконах и в окнах. Молодёжь на наклонных крышах держалась о заграждения, а один фотограф картинно оседлал конёк крыши. Глава правительства ландаман Раймонд Брогер — с пухом седины на голове, с лицом умственным и энергичным, произнёс речь, поразившую меня: о, если бы Европа могла слышать свой полукантон Аппенцель! или могли б такое себе перенять правители больших стран!

Вот уже больше полутысячелетия, говорил он, наша община не меняет существенно форм, в которых она правит сама собою. Нас ведёт убеждение, что не бывает «свободы вообще», но лишь отдельные частные свободы, каждая связанная с нашими обязательствами и нашим самосдерживанием. Насилие нашего времени доказывает почти ежедневно, что не может быть обеспеченной свободы ни у личности, ни у государства — без дисциплины и честности, и именно на этих основаниях наша община могла пронести через столетия свою невероятную жизнеспособность: она никогда не предавалась безумию тотальной свободы и никогда не присягала бесчеловечности, которые сделало бы государство всемогущим. Не может существовать разумно функционирующее государство без примеси элементов аристократического и даже монархического. Конечно, при демократии народ остаётся решающим судьёй во всех важных вопросах, но он не может ежедневно присутствовать, чтоб управлять государством. И правительство не должно спешить за колеблющимся переменчивым народным голосованием, только бы правителей переизбрали вновь, оно должно не зыбные речи произносить избирателям, но двигаться против течения. На деле и по истине задача правительства состоит — действовать так, как действовало бы разумное народное большинство, если бы оно знало всё, во всех деталях, а это становится всё невозможнее при растущих государственных перегрузках. Поэтому остаётся: избрать для совета и правления сколь можно лучших — но и подарить им всё необходимое доверие. Бесхарактерная демократия, раздающая право всем и каждому, вырождается в «демократию услужливости». Прочность государственной формы зависит не от прекрасных статей конституции, но от качества несущих сил. Худую службу окажем мы демократии, если изберём к руководству слабых людей. Напротив, именно демократическая система как раз и требует сильной руки, которая могла бы государственный руль направлять по ясному курсу. Кризис, переживаемый обществом, зависит не от народа, но от правительства.

А стоял на дворе — не рядовой апрель, но тот опасный для Запада (хоть Запад и не понимал) апрель 1975 года, когда Соединённые Штаты убегали из Индокитая. Всего за 10 дней до этого аппенцеллевского собрания сообщала

легковерная западная печать, что «население Пномпеня радостно приветствует красных кхмеров».

И сегодня поразительно было услышать на этой маленькой солнечной площади, в таком глухом уголке, но самой центральной Европы: как сильно выросла всеобщая небезопасность за самый последний год. Что мы ужасаемся тому образу поведения, каким Америка покидает своих индокитайских союзников. Мы ужасаемся судьбе южновьетнамского народа, толпами бегущего от своих коммунистических «освободителей» — и перед этой трагедией озабоченно спрашиваем себя: да сдержит ли Америка свою союзническую верность перед Европой? Перед той Европой, которая, вот, не способна в одиночку сопротивляться советской агрессии и теперь ожидает американской помощи как бесспорной. И именно во время вьетнамской войны в Европе расцвёл антиамериканизм. Надо считать, что Америка в будущем не будет защищать никакого государства, которое не хочет защитить себя само. Европа должна в короткий срок дать доказательства готовности к высоким жертвам и эффективному единению.

И потом уже — критически о Швейцарии, как она находит непомерными свои военные расходы в 1,7% от бюджета. Потом — и об экономике, в которой Швейцария перестала быть страной сказочно-блаженной.

И всё это произнеся, ещё приветствия гостям, — ландаман снял с груди крупную металлическую цепь, знак своей власти, ещё и какой-то жезл передал соседу по трибуне — и быстро круто ушёл. Всё. Он отслужил свой срок.

Но другой чиновник заступил его место — и тут же предложил избрать Брогера вновь. Предложил голосовать — и вся тесная мужская толпа единым взмахом подняла руки. Не считали, ясно и так: избран вновь. (Тут я про себя подсмехнулся: ну, демократия, *как у нас*.)

Брогер снова появился на прежнем месте и, подняв пальцы одной руки, громко вслух за чтецом повторял клятву. Снова надел цепь на грудь. И стал теперь читать клятву для толпы — и толпа повторяла хором: клялся сам народ себе!

Затем ландаман стал возглашать членов своего правительства, всякий раз спрашивая, кто *против*, но не было никого, да как будто и мало секунд он оставлял для возражений. Я про себя продолжал посмеиваться: опять *как у нас*. Но тут же я был и вразумлён. Главный первый закон, который хотел провести ландаман, — налоговый, повысить налоги, кантон не справляется с задачами. Пошёл гул по толпе, переговоры между стоящими. На трибуну взошёл и пять минут говорил один оратор — против предлагаемого закона. Затем министр финансов хотел аргументировать *за*, — загудела толпа, что слышать его не хочет, а желает голосовать. Проголосовал ландаман за закон — совсем мало рук, против — истинный лес. Мужчины энергично выбрасывали руки, было впечатление взмахнутого крыла толпы, подавительная, убедительная сила голосования, какой не бывает при тайных бюллетенях. (А на поясе-то у каждого, в толпе не видно, — кинжал или шпага.)

Ландаман был очень огорчён и, пользуясь, видимо, своим правом, аргументировал сам и потребовал второго голосования. Его почтительно выслушали — и так же подавительно проголосовали: налогов — не повышать.

Глас народа. Вопрос решён бесповоротно — без газетных статей, без телекомментаторов, без сенатских комиссий, в 10 минут и на год вперёд.

Тогда правительство выступило со вторым предложением: повысить пособия по безработице. Кричали: «А пусть работают!» С трибуны: «Не могут найти». Из толпы: «Пусть ищут!» Прений — не было. Проголосовали опять подавительно — отказать. Перевес множества был настолько ясный, что рук не считали, да и не удерживать их так долго, да наверно и никогда не считают, а на глазок всегда видно.

И ещё третье было предложение правительства: принять в члены кантона уже живущих в Аппенцелле по нескольку лет, особенно итальянцев. Кандидатов было с десяток, голосовали по каждому отдельно, и отклонили, кажется, всех. Недостойны, не хотим.

Не-ет, это было совсем не *как у нас*. Без спора переизбрав любимого ландамана, доверив ему составить правительство, как он желает, — тут же отказали ему во всех основных законопроектах. И — правь. Такую демократию я ещё никогда не видывал, не слыхивал — и такая (особенно после речи Брогера) вызывает уважение. Вот — такую-то бы нам. (Да древнее наше вече — не таким ли и было?)

Швейцарский Союз заключён в 1291 году, это, действительно, сейчас самая старая демократия Земли. Она родилась не из идей Просвещения — но прямо из древних форм общинной жизни. Однако кантоны богатые, промышленные, многолюдные, всё это утерjali, давно обстриглись под Европу (и переняли всё, до мини-юбок и сексуальных «живых картин»). А в Аппенцелле — вот, сохранялось, как встарь.

Как же разнообразна Земля, и сколько на ней вполне открытых возможностей, не известных, не видимых нам! В будущей России ещё много нам придётся подумать — если дадут подумать.

На следующее утро я улётал в Канаду. Самолётный билет был куплен заранее, но на подставную фамилию (я придумал её — *Hirt* — по портрету чудесного швейцарского старика-пастуха в кабинете штатпрезидента Видмера). Бережёного Бог бережёт. Да я охотней бы — плыл. Переброс через океан за несколько часов — неестественен, не успевают мозги перестроиться, хочется боками своими пробраться через это огромное пространство. Но — на Западе пароходное сообщение вышло из моды, и никто уже не ездит так по делу (и обыкновенная почта идёт по морю полтора месяца, дольше, чем при парусных кораблях). Через океан плавают теперь только на пароходах-увеселителях, где мне и места нет, и показаться противно. А пароходство Европа—Канада — и вовсе утеряно Западом: вытеснили их польские и советские пароходы с дешёвой прислужкой и дешёвыми услугами. Мне — чтобы переплыть в Канаду, надо было бы на несколько дней вернуться на территорию коммунизма.

Летел я в настроении расстроенном и возбуждённом. С одной стороны, я летел (и много вещей своих личных вёз и часть рукописей) — чтоб уже не возвращаться. Найти дом в канадской дикой глуши, совсем уйти, отвернуться от дёргающего мира — и только писать, писать — не куда-то на дачу отлучаясь для этого на недельки, а — дома, сидя и непрерывно. Мне было уже 56 лет, а ведь вся главная работа по «Красному Колесу» ещё даже не начиналась. Слишком динамичная моя жизнь при всех её внешних успехах как бы не сдвинулась в поражение в главном жизненном замысле.

А с другой стороны: катились огненные дни вьетнамской капитуляции, а ни Америка, ни Европа не понимали, насколько в эти дни пошатнулось их будущее. Вот и ландаман Аппенцелля по своим возможностям говорил мужественно и открыто своему континенту — но ведь его не услышат. Я провёл в Европе суматошнейший год, так нигде и не укрепясь, не упрочась, всё в перекате, — а кроме издания «Архипелага» что я, собственно, сказал? Конечно, понимающему — и того слишком довольно, но многие ли в Европе дерзают быть понимающими? И вот сейчас во Франции — много ли я успел сказать? истинный мой долг — работа, и это вовсе не самоограждение, когда я отвечаю, что я — не политик. Я не хочу дать заташить себя в непрерывные политические дискуссии, в череду ненужных мне вопросов. Но хочу сам избирать и эти вопросы, и время выступлений. Темперамент тянет меня вовсе не самоустраиваться, не только не скрываться в глушь, а напротив: войти в самое многолюдье и крикнуть самым громким голосом.

В ближайшие часы это противоречие решилось так: улётая за океан, как я думал окончательно, — я за эти семь часов перелёта написал начерно и переписал набело статью «Третья Мировая?..»*.

* «Публицистика», т. 1, стр. 225 — 228.

Как не увидеть? Сперва подарили коммунизму Восточную Европу, теперь сдают Восточную Азию, не препятствуют ему вклиниться на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, — вот так-то, всё опасаясь Большой войны, немудрено сдать и всю планету. В благополучии — как трудно быть непреклонным и готовым на жертвы.

Уже зная ненадёжность канадской, ещё и вечно бастующей, почты, отдал письмо со статьёй швейцарцу-стюарду, чтобы он вернул его в Швейцарию в эти же сутки.

А вот уже под крыльями — Америка.

Осень 1978

ПРИЛОЖЕНИЯ

[1]

ИНТЕРВЬЮ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС ФРЭНКОМ КРЕПО

Цюрих, 18 февраля 1974

Ф. К.: Как вы себя чувствуете в изгнании?

А. С.: Вероятно, человек во многом похож на растение: когда вырывают с места и забрасывают далеко — нарушаются сотни корешков и питающих жилок. Все дни и каждую минуту ощущаешь нехватку, необычность, ощущаешь себя — не собою самим. Но я не думаю, что это безнадежно. Даже старые деревья — и те ведь пересаживают, и они принимаются на новом месте.

Ф. К.: Как вас встретили на Западе?

А. С.: Исключительно тепло, дружелюбно, даже горячо — и население и власти. В Германии приходили приветствовать даже группы школьников, в Цюрихе шлют привет многочисленные прохожие, встречные. Я ошеломлён таким вниманием, никогда не испытывал подобного. Правда, в этом есть и изнурительная сторона: назойливая слежка со стороны фото- и кинорепортёров, фиксирующих каждый шаг и движение. Это — другой полюс той неотступной, но скрытой слежки, которой я постоянно подвергался у себя на родине. Тоже очень неприятно.

Ф. К.: Когда вы ожидаете приезда вашей семьи?

А. С.: Если верить заявлениям членов советского правительства, мою семью выпустят без помех. Но без моего участия двум женщинам с четырьмя детьми не легко ликвидировать многолетний быт, собраться, подняться, найти момент, когда никто из детей не болен.

Ф. К.: Как на новом месте пойдёт ваша литературная работа?

А. С.: При всех переменчивых и тяжёлых условиях я вёл литературную работу постоянно, без перерыва даже на неделю. Как ни больно, как ни горько начинать эту работу здесь — буду вести её и здесь. Но *направление* её зависит от того, насколько беспрепятственно советские власти выпустят мой литературный архив — почти уже готовый Узел 2-й «Октябрь Шестнадцатого», начатый 3-й Узел и обильные заготовки материалов, документов, рассказы очевидцев, фотографии, иллюстрации и многочисленные редкие книги с моими пометками. Архив этот я собирал с 1956 года и вложил в него огромный труд. Если советские власти конфискуют его, хотя бы даже частично, это будет духовным убийством. В этом случае мне, очевидно, придётся отказаться от главного замысла моей жизни — исторического романа времён революции. Повторить сбор такого архива я уже не в силах. Но тогда оставшиеся мои годы и силы вместо русской истории я направлю на советскую современность, для которой я не нуждаюсь ни в каких архивах.

Ф. К.: В какой стране вы предполагаете обосноваться?

А. С.: Меня весьма радушно встретила Швейцария, я получаю дружеские приглашения из скандинавских и некоторых других стран. Я сердечно благодарен всем приглашителям. Решение будет зависеть от того, где я смогу в короткое время най-

ти себе достаточно просторное, тихое жильё с землёю, удобное для работы и жизни. Все свои 55 лет я жил бездомно, тесно, не мог совместить рабочие условия и жизнь с семьёй. В наступающие годы хотя б это я хотел бы устроить.

Ф. К.: Как вы думаете, надолго ли вы обречены жить вне родины?

А. С.: Я — оптимист от природы и не ощущаю своё изгнание как окончательное. Предчувствие такое, что через несколько лет я вернусь в Россию. Как это произойдёт, какие условия изменятся — я не могу предсказать, но люди и ничего не умеют предсказывать, а чудеса неизменно чередой совершаются в нашей жизни. Последние годы жизни в России я почти уже был и лишён родины: давление и слежка КГБ, противодействия властей на всех инстанциях не давали мне возможности ни ездить по местам действия моего романа, ни опрашивать очевидцев. Однако, я уже говорил когда-то и повторяю теперь: я знаю за собой право на русскую землю несколько не меньшее, чем те, кто взял на себя смелость физически вытолкнуть меня.

[2]

РЕЧЬ СЕНАТОРА ДЖ. ХЕЛМСА В СЕНАТЕ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Вашингтон, 18 февраля 1974

Господин Председатель, 12 февраля известный русский писатель и интеллектуальный лидер Александр И. Солженицын взят был силою и уведен со своей квартиры семью агентами советской полиции, которые повезли его на допрос. Сначала его семье даже не сообщили, куда его увозят и какие обвинения выдвинуты против него. Но весь мир знал, что Солженицын шёл на эту конфронтацию и даже приветствовал её, несмотря на опасность и для семьи его и для единомышленников.

Дело это — дело свободы: свободы думать, писать и публиковать. Это также отстаивание права не соглашаться с тоталитарной идеологией, отстаивание права свободного передвижения для тех, кто пойман в ловушку тоталитарного строя. Все эти права представляют собой первоосновы свободного общества.

Несмотря на отсутствие этих прав в Советском Союзе и даже несмотря на агрессивную кампанию против него, Солженицын не хотел уезжать со своей родины. Он хотел использовать своё выдающееся дарование для того, чтобы улучшить положение своих сограждан. Он говорил как ветхозаветный пророк, избличая зло, которое он видел в больном обществе. Пророчество его приняло форму литературную, которая пробудила миллионы людей во всём мире и дала ему Нобелевскую премию. Но в тайниках он сохранил самый уничтожающий изо всех его трудов, вдохновлённый многочисленными голосами страдания, к которым он прислушивался на этапах и в тюрьмах и которые запечатлелись у него в памяти. Голоса эти были удушены: это были голоса из могил. Как ни странно, именно эти голоса умирающих и умерших заставляли Солженицына продолжать жить. Чтобы скрыть свою грязную тайну, мучители прибегли именно к тем методам, которые он распознал и высветил в их политической системе. Допросами и пытками они добыли экземпляр «Архипелага». На это Солженицын ответил публикацией книги на Западе с другого тайного её экземпляра. И тут враги стали надвигаться на него шаг за шагом, всё туже стягивая зловецкий круг.

Пророков не чтут в своём отечестве. Но этот пророк был слишком широко известен, чтобы можно было просто заставить его исчезнуть во тьме, как бесчисленные тысячи жертв до него. Сам Солженицын в своей произнесенной Нобелевской лекции сказал, что одно слово правды весь мир перетянет. И вот его книги перевесили всю ту систему. Солженицына лишили советского гражданства, посадили на самолёт и выслали в Западную Германию.

Солженицын не хотел быть свободным в Западной Германии. Он хотел быть свободным в России. Хлеб изгнанника всегда горек. Для него важнее, чем его собственная свобода — свобода миллионов людей, живущих под советским владыче-

ством. Изгнание его — дальнейший шаг в долгой кампании запугивания и угроз, которую советская власть ведёт против Солженицына за то, что он стал живым символом инакомыслия в Советском Союзе, мужественным свидетелем правды советской истории и последствий коммунистической идеологии.

Но слова его важны не только для совести народов России; они важны для совести всего мира и особенно для совести Соединённых Штатов как лидера некоммунистических наций. Его лишили гражданства, но он стал гражданином мира. Он — воплощение трепетной надежды всех тех, кто жаждет смягчения жёстких позиций в разделённом на две части мире, ослабления ограничений творческой мысли и творческой деятельности, наступления эры мира и свободы для нас и наших детей.

По этим причинам, господин Председатель, я намереваюсь завтра представить Сенату совместную резолюцию, которая позволит и обяжет Президента Соединённых Штатов объявить манифестом, что Александр И. Солженицын становится почётным гражданином Соединённых Штатов Америки.

Господин Председатель, вот текст совместной резолюции, который я предложу завтра:

«Совместная резолюция.

Постановлено Сенатом и Палатой Представителей Соединённых Штатов Америки, объединёнными в Конгрессе, что Президенту Соединённых Штатов сим дозволяется и повелевается объявить манифестом, что Александр И. Солженицын становится почётным гражданином Соединённых Штатов Америки».

Это — очень простая резолюция, не украшенная излишней риторикой и предлагающая очень высокое оказание почёта. По-моему, это — самая большая честь, какую может оказать наша Республика. Такую честь нельзя оказывать легкомысленно или по причинам преходящего момента. В то же время она не возлагает на Солженицына никаких обязательств и никак не меняет его положения по отношению к его родине. Юридически он — человек без гражданства. Он не ищет этой чести, так же, как не искал он Нобелевской премии. Он не должен ни принимать её, ни отклонять. Но Соединённые Штаты таким образом торжественно записывают в мировые анналы, что почтили его за его вклад в дело свободы человечества.

Нам необходимо срочно сделать этот жест. Солженицын на Западе, а семья его — нет. Друзья его — под властью тоталитарного строя. Миллионы людей следят за тем, что сделают Соединённые Штаты. Сам Солженицын обнажал «дух Мюнхена», который будто пронизывает отношения Соединённых Штатов с Советским Союзом, и нашу безнравственную политику закрывания глаз на репрессии, лишь бы можно было сговариваться о товарах, о торговле, о разоружении.

Он сказал: «Дух Мюнхена несколько не ушёл в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашёл ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки».

Древние пророки всегда заставляли людей неудобно себя чувствовать: это было их долгом. Солженицын говорит нам, что единственное прикрытие насилия — это ложь, а те, кто сговаривается с насильниками, — тоже лжецы. Его жёсткие суждения и его прямой тон вынуждают нас занять позицию. Сейчас мы только и можем сделать это, оказывая ему великую честь в признании его свидетельства за правду.

Господин Председатель, я хотел бы сделать ещё несколько дополнительных замечаний о предварительной истории этой инициативы. В прошлом уже принимались подобные решения, когда граждане других стран сражались рядом с нами за общую свободу. Честь эта оказана была Лафайету и Уинстону Черчиллю. Солженицын, лауреат Нобелевской премии, ценой большой опасности для себя, жертвенно и достойно служил делу свободы.

Когда честь эта была оказана Лафайету, это, конечно, не было сделано решением Конгресса, поскольку Конгресс тогда ещё не существовал. Решение было принято законодательными палатами Вирджинии и Мэриленда во времена Статей Конфедерации.

Сэр Уинстон Черчилль получил почётное гражданство манифестом Президента Кеннеди вследствие постановления Конгресса в 1963 году. Отчёт Юридического комитета представил юридические последствия — или скорее их отсутствие, — когда акт был предложен на голосование. Текст моей резолюции совпадает с резолюцией о Черчилле, и поэтому к ней применимы все те же соображения.

Из чтения этого отчёта ясно, что в таком случае неприменимы юридические обязательства гражданства и не возникает никаких налоговых осложнений. Это — чистое оказание чести.

Господин Председатель, хотя эта резолюция и не сделала бы Солженицына настоящим гражданином Соединённых Штатов, но совершенно ясно, что если бы он решил поселиться в нашей стране, это было бы для нас большой честью. Однако, становясь почётным гражданином, он ни в коей мере не обязан здесь жить и не принимает на себя никакого обязательства в этом смысле. Если бы он этого хотел, и только если бы он этого хотел, я готов предложить отдельное постановление, которое даст ему право постоянного жительства в Соединённых Штатах. Это позволило бы ему стать и постоянным гражданином США.

Завтра эта совместная резолюция будет перед Сенатом, и я настойчиво прошу моих коллег добавить свои имена к списку.

Господин Председатель, я прошу согласия на то, чтобы в конце моего выступления был напечатан текст Солженицына «Жить не по лжи», опубликованный в «Вашингтон пост» 18 февраля 1974 года.

[3]

СЕНАТОР Дж. ХЕЛМС — А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

1 марта 1974

Дорогой господин Солженицын,

Сегодня я имел удовольствие говорить с Вашим адвокатом доктором Фрицем Хеебом. Я сожалею, что не мог говорить с Вами лично, чтобы приветствовать Вас в свободном мире от своего имени, а также от имени моих друзей в Сенате Соединённых Штатов. Я поздравляю Вас на пороге нового этапа в Вашей борьбе за правду и свободу в Вашей родной стране и во всём мире.

Идеи правды, свободы и справедливости — неразделимы. Права человека одинаково действительны во всех странах и на всех континентах. Я думаю о Вас теперь как о человеке, стоящем в наших рядах, но выражаю надежду, что Вы продолжите Вашу богатую творческую жизнь и сможете вернуться когда-нибудь на вашу родину — но свободную родину.

19 февраля сего года я предложил в Сенате Соединённых Штатов резолюцию, обязывающую Президента Соединённых Штатов декларировать, что Вы являетесь почётным гражданином Соединённых Штатов Америки. Это высшая степень почёта, которым мы можем удостоить; в истории нашей страны так удостоены были только двое заслуженных иностранцев. Мы хотим таким образом выразить Вам нашу полную поддержку в Вашей борьбе за права человека на земле. Это чистый жест почёта, не обязывающий Вас ни в какой степени и не предрешающий Вашего статута. К настоящему моменту уже двадцать четыре сенатора выразили согласие поддержать меня в этой резолюции, и, я надеюсь, другие присоединятся вскоре.

Господин Солженицын, мы очень рады видеть Вас здесь с нами на Западе. Вы — гражданин всего мира. Я знаю, что вскоре Вы себя почувствуете как дома в любой стране земного шара, где миллионы людей читали Ваши прекрасные произведения, знают и уважают Вас не только как великого писателя, но — как символ свободы.

Вы сделали бы нам большую честь посещением нашей страны и встречей с сенаторами, поддерживающими мою резолюцию. С этой целью я приглашаю Вас в гости сначала в мой штат, Северную Каролину, где Вы могли бы отдохнуть несколько дней на частной вилле в горах, с тем чтобы потом посетить Вашингтон для встречи с сенаторами. В границах Соединённых Штатов проживает около двух

миллионов Ваших соотечественников. Таким образом, мы — самая большая русская страна вне России и потому Вам очень подобает посетить нас.

Жду скорого ответа и надеюсь встретиться с Вами лично. Желаю Вам счастья и полного успеха в этой новой фазе Вашей жизни.

Да хранит Вас Господь Бог!

Искренне Ваш

Джесси Хелмс.

[4]

А. СОЛЖЕНИЦЫН — СЕНАТОРУ Дж. ХЕЛМСУ

5 марта 1974

Высокоуважаемый господин Джесси Хелмс!

Я глубоко тронут Вашими действиями, Вашим предложением Сенату и Палате Представителей Соединённых Штатов декларировать присвоение мне почётно-го гражданства Вашей страны, не упуская в аргументации, что моя судьба не есть частная судьба, но остаётся навек связанной с судьбами моей родины.

Разумеется, это — высокая честь для меня и немалая поддержка в моём положении изгнанника с родины, в той не добровольно избранной борьбе, которую много лет приходится мне, выходя за пределы художественной литературы, вести за права человека, его внутреннее достоинство, его трезвое осознание грозящих нам всем опасностей.

В своей сенатской речи 19 февраля (и повторно в письме ко мне от 1 марта) Вы называете меня «гражданином мира». Это — тем более обязывающее звание, которого я ещё никак не заслужил, ибо жизненный опыт не дал мне возможности вместить задачи и нужды всего мира. Однако то здесь правда, что нынешнее тесно-связанное состояние мира не может не вести к появлению подобного уровня сознания и обязанностей — и, очевидно, будет распространяться в XX и XXI веке.

И лишь Ваше гостеприимное приглашение посетить сейчас Соединённые Штаты и лично Ваш дом, встретиться с представителями американской общественности — я, к сожалению, не смогу принять в обозримое время: именно сейчас, в непривычных новых условиях, я должен с особым усердием и вниманием сосредоточиться на моей основной литературной работе, на моём главном литературном замысле, которому может не хватить целой жизни, — и поэтому никакие вообще поездки и никакая энергичная общественная деятельность невозможны сейчас для меня.

С благодарностью и добрыми пожеланиями,

искренне Ваш

А. Солженицын.

[5]

ДЖОРДЖ МИНИ — А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

25 февраля 1974

Дорогой господин Солженицын,

Вместе со всеми свободными людьми повсюду, американское профсоюзное движение с глубоким волнением и восхищением следило за Вашей мужественной борьбой за интеллектуальную и человеческую свободу, проходившую в условиях страшного неравенства сил.

Мы глубоко отдаём себе отчёт в том, что силы, которые хотели бы задушить Ваш красноречивый голос несогласия, во всю историю человечества направлены были против усилий обыкновенных людей. Вопреки им люди пытались организовать и охранить независимые профсоюзы, которые отвечали бы их нуждам, а не директивам государства. Мы были свидетелями Ваших испытаний, которые —

дело рук именно этих сил, и это мощно напомнило нам слова из Вашей Нобелевской лекции:

«Внутренних дел вообще не осталось на нашей тесной Земле. И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего».

Действуя именно в этом духе, более чем четверть века тому назад Американская Федерация Труда документально доказала существование лагерей принудительного труда в Советском Союзе и опубликовала карту сети ГУЛАГа: темы Вашего новейшего произведения. Кроме того, по настоянию именно американского профсоюзного движения, Экономический и Социальный Совет Объединённых Наций установил особый Комитет по вопросу принудительного труда, отчёты которого подтвердили размеры и ужас этой страшной системы деградации человека.

Так как действительно не остаётся внутренних дел на нашей перенаселённой земле, я хочу сделать Вам, от имени американского профсоюзного движения, сердечное приглашение приехать в Соединённые Штаты в качестве нашего гостя.

Мы готовы устроить для Вас поездку так, чтобы Вы могли широко путешествовать по нашей разнообразной стране, и мы готовы устроить для Вас встречи и лекции, чтобы у Вас была возможность, в меру Вашего желания, свободно общаться с американским народом.

Я уверен, что выражаю искренние чувства наших членов и американского народа вообще, высказывая надежду, что Вы найдёте возможным принять наше приглашение.

Джордж Мини
Президент АФТ — КПП.

[6]

А. СОЛЖЕНИЦЫН — ДЖОРДЖУ МИНИ

5 марта 1974

Дорогой господин Джордж Мини!

Прежде всего разрешите выразить Вам моё глубокое уважение. Как это виделось и слышалось мне многие годы из Советского Союза, Вы всегда выделялись как один из самых дальновидных, трезвых и твёрдых деятелей Соединённых Штатов. С тем большей признательностью я прочёл Ваше имя под приглашением, присланным мне от Американской Федерации Труда, посетить Соединённые Штаты для дискуссий и лекций.

И вот признак, насколько велико разъединение и неосведомлённость в мире: я столько лет занимался проблемами советских лагерей принудительного труда — и понятия не имел о благородной поддержке наших страдающих со стороны Американской Федерации Труда, об издании Вами карты ГУЛАГа (я пытался самодельно мастерить её)!

Как я рад, что Вы разделяете это несомненное положение, что не осталось нигде в нашем тесно-связанном мире никаких «внутренних дел», коль скоро они не мелкого масштаба и значения. Но сколько внимания, терпения и основательности, нелегкомыслия потребуется ото всех нас, чтобы безошибочно вникнуть в суть того, что ещё вчера казалось чужими «внутренними делами»!

Именно в этом плане Ваше приглашение имеет глубокий смысл. Однако, увы, есть ещё и ограниченность индивидуальных возможностей, которую я сейчас и испытываю: принудительно вырванный из родной почвы, я вынужден потратить теперь немало духовных и физических усилий, чтобы на новом месте восстановить и наладить свою работу на прежнем уровне и в прежнем темпе. И я никак не имею права покинуть свою литературную деятельность для политической или даже публицистической, ибо считаю художественное исследование более доказательным, чем публицистическое. Если я и высказываюсь иногда публицистически, то только по крайней необходимости и лишь по самым жизненным вопросам моей родной страны. Её неосвещённая история понуждает меня не покидать моего главного литературного замысла.

Вот почему, вместе с большой благодарностью, я вынужден отказаться на обозримое время от Вашего дружеского приглашения.

С лучшими пожеланиями,

искренне Ваш

А. Солженицын.

[7]

СЕНАТОР Дж. ХЕЛМС — А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

15 марта 1974

Дорогой господин Солженицын,

Ваше прекрасное письмо от 5 марта было тепло принято Вашими многочисленными друзьями в Сенате США. Оно действительно представляет собой свидетельство того нового уровня понимания и ответственности, который сейчас начал выходить на поверхность и о котором Вы упоминаете. Тем, что Вы пишете историю в категориях человеческих страданий, Вы заставляете многих людей переоценить непродуманную политику наших мировых правителей.

Поэтому я и назвал Вас «гражданином мира». До сих пор Вы останавливали Ваше внимание на положении у Вас на родине. Но недостаток понимания духовного и человеческого измерений — это симметричная проблема в обеих наших странах. Лидеры Востока и лидеры Запада действуют рука об руку для того, чтобы опрокинуть вехи западной цивилизации и самобытных национальных традиций. Вот почему уместно, чтобы Вы протянули руку и объединились с теми из нас, кто старается оживить коренные традиции, до сих пор нас поддерживающие.

С тех пор как я писал Вам последний раз, Ваше сентябрьское письмо вождям Советского Союза стало нам доступно по-английски. Оно подверглось широкой критике за отсутствие реализма людьми с поверхностным мышлением. Но я понимаю, что Вы писали его в контексте попытки убедить советское руководство, что для них нет опасности в ослаблении железной хватки власти. Кроме того, Вы поступаете мудро, ища в Ваших исконных традициях мирный переход к свободе и строя эту свободу на освобождающем опыте христианства.

Хотя уравнивать эти два опыта было бы передёргиванием, всё же я хочу сказать, что сам я исхожу из культурной традиции, которая прошла через горнило страдания, смерти и лишений, и поэтому располагает тем сочувствием, которое необходимо, чтобы правильно оценить мучительную историю России. Я имею в виду людей Юга, южные штаты, которые около ста лет тому назад потерпели уничтожение цвета своей молодёжи в одной из самых кровавых войн, которые когда-либо были в истории человечества. Однако связь людей, претерпевших общие лишения, — лишения, след которых лишь сейчас исчезает, — создала духовное единство, которое и поныне удивляет наших сограждан из других областей.

Обо всём этом я упоминаю потому, что пригласил Вас приехать в Северную Каролину не только по причинам светского характера. Я надеялся, что, познакомившись с моими соотечественниками, Вы почувствовали бы единство целей с ними. Ведь Юг и поныне остаётся по настроениям и характеру земледельческим, там сильны семейные связи и историческая преемственность от одного поколения к другому. Но главное — южане остаются христианами, которые воспринимают как оскорбление безрассудное вырождение современной цивилизации. В таких вот традициях и надо искать нравственные ресурсы, необходимые для духовного пробуждения, которое всех нас может спасти.

Не может быть мира в мире до тех пор, пока руководящие принципы Вашей и нашей стран не вернуться к своей исконной традиции. Только тогда можно будет разоружиться и обратить всё внимание на развитие национального наследия наших стран. Никакое международное соглашение не может дать безопасности, если оно построено на непризнании прав и обязанностей человечества. Поэтому я счи-

таю, что лидеры моей страны совершают серьёзную ошибку, заключая технические соглашения с Советским Союзом безо всякого основного соглашения о правах человека.

Труд Вашей жизни обратил внимание Западного мира на эти проблемы; Вы стали живым символом, и поэтому одно Ваше имя привлекает внимание всех желающих стать лидерами. Я рад сообщить Вам, что Резолюцию 188 Сената США поддерживали уже 37 сенаторов, и число поддерживающих ежедневно растёт. Когда их станет больше пятидесяти (полпути), настанет пора действовать, хотя и тогда будут люди, которые будут сопротивляться признанию нашей общей точки зрения. Но значение этой акции не только в том, что ею отдаётся честь Вашим великим заслугам, а и в том, что таким образом возникает широкая коалиция, объединяющая различные течения политического мышления.

...Я сожалею, что Вы не можете приехать, но понимаю причины, заставляющие Вас остаться. Ещё раз я возобновляю приглашение Вам посетить нас, когда время Вам это позволит.

Джессу Хелмс.

[8]

А. СОЛЖЕНИЦЫН — СЕНАТОРУ Дж. ХЕЛМСУ

22 марта 1974

Многоуважаемый господин Джессу Хелмс!

Я с большим интересом прочёл Ваше письмо. Оно напомнило мне о той упрощённой неоднородной Америке со множественностью традиций и тенденций, которые мы издали по слабости человеческого зрения и слуха чаще всего упускаем, воспринимая вашу страну в формулировках примитивных, заимствованных быть может всего лишь от нескольких ваших и наших журналистов. И я сокрушаюсь, что ограниченность времени и сил ещё долго будет мешать мне лично хорошо представить сложность, объём и фактическое состояние ваших проблем.

Но соответственно так же трудно и американцам понять суть проблем, как они стоят в нашей стране, и те пути будущего, которые перед нами развёртываются. Примером может послужить хотя бы программа, изложенная мной в «Письме вождям Советского Союза», которое Вы упоминаете как понятое у вас неверно. Да, это удивительно: «Письмо» ещё, кажется, и не напечатано в Вашей стране, но уже подверглось поверхностному ложному истолкованию. Эта программа, истекающая из того общего положения, что целые нации, как и отдельные люди, могут достичь своих высших духовных результатов лишь ценой добровольного самоограничения во внешней области и пристального сосредоточения на развитии *внутреннем*, программа, предлагающая поэтому моей стране односторонне отказаться от всех внешних завоеваний, от насилия над всеми соседствующими нациями, от всех мировых претензий, от всякого мирового соперничества и в частности — от гонки вооружений, по масштабам и решительности отказа далеко превосходя то, что сегодня мечтается как умеренная обоюдная «разрядка напряжённости», — эта программа пристрастно истолкована комментаторами как *национализм* — то есть воинствующая противоположность её!

Такая грубизна современной ежедневной прессы, такая журналистская поспешность дать минутную оценку тому, что зреет десятилетиями, ещё более осложняет вам и нам взаимное честное понимание из такой дали и из таких разных условий.

Мне кажется весьма тревожным нынешнее состояние и направление развития обеих наших стран. Во всяком случае моя страна, что плохо видно со стороны, при всём своём внешнем физическом могуществе, стоит перед дилеммой либо физической и (ещё ранее того) духовной катастрофы, либо нравственного бескровного ненасильственного преобразования. Я и мои единомышленники на родине, откуда я временно удалён, но удалён фиктивно, — мы пришли к убеждению, что не физическим сотрясением власти можно открыть путь в человеческое будущее: вот чело-

вечество прожило целую эру победоносных физических революций — и подошло к хаосу и гибели. И если суждены нам и вам впереди революции не губительные, но спасительные, то они должны быть *революциями нравственными*, то есть неким новым феноменом, который мы ещё не способны никто провидеть в чётких и ясных формах. Но будем надеяться, что человечество найдёт эти формы, тоньше и выше прежних грубых, и сумеет использовать их ко благу, а не к новой крови.

С самыми добрыми пожеланиями,

А. Солженицын.

[9]

СЕНАТОР ДЖЕКсон — А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

22 февраля 1974

Дорогой Александр Исаевич,

Я хорошо могу себе представить Ваши мысли и переживания после всего, что пришлось Вам испытать в эти дни; после многих лет поношений — арест, угроза суда «за измену», жестокая игра скрывания от Вас Вашего изгнания, а затем, на Западе, вмешательство прессы в Вашу личную жизнь. Я знаю, как ужасно должно быть для Вас изгнание с родины, но позвольте мне тем не менее сказать Вам «добро пожаловать» в этот мир, который — несмотря на все его недостатки — всё же остаётся свободным миром. Вы сможете продолжать здесь Вашу литературную работу, выражая Ваше искусство и Ваши мысли без непрерывного преследования от машины репрессии. Для художника лишение родной почвы — ужасное наказание, но некоторые из самых великих произведений литературы написаны были писателями, жившими за границей: Овидий, Данте, Мицкевич, Тургенев, Манн и Бунин — чтобы ограничиться только крупнейшими. Все мы считаем, что Вы достаточно сильны, чтобы устоять в этом последнем по счёту испытании Вашей жизни после всех тех, которые Вы так ярко описали в Ваших книгах. Я очень надеюсь, что Вам и Вашей семье удастся пережить это испытание с минимальными затруднениями и горем.

Я уверен, Вы уже почувствовали, что за всей гласностью на Западе и неприятным аспектом некоторых журналистских выражений её стоит подлинное волнение, вызванное восхищением Вашим мужеством. Вы должны были это заметить в простых проявлениях симпатии со стороны чужих людей. Не падайте духом из-за агрессивного соревнования западных масс-медиа: это — подчас неприятное — явление, сопровождающее нашу свободу. Мы часто путаем суть с формой, и Ваше достижение в том, что вы заставляете нас понимать эту существеннейшую разницу. Ваша преданность свободе подействовала не только на всё лучшее, что есть у Вас на родине и в Восточной Европе, она также заставила ярче проявиться благородные движения за права человека, которые представляют собой лучшее, что можно найти на Западе. Все мы Вам обязаны.

Если бы по ходу Ваших путешествий Вы оказались в Вашингтоне, для меня было бы радостью и великой честью приветствовать Вас у себя дома. Мои дети приблизительно одного возраста с Вашим старшим сыном, и я всей душой молюсь, чтобы Ваша семья как можно скорее была с Вами. Мой дом небольшой, но находится в мирном и спокойном районе; мы бы сделали всё, чтобы Ваше пребывание у нас было как можно более приятным.

Если есть что-либо, в чём я могу Вам помочь, а также содействовать в более широком плане делу индивидуальной свободы, которое Вами так красноречиво выражено, пожалуйста, сообщите мне, что я могу сделать, и я приложу к этому все усилия.

С наилучшими пожеланиями,

Генри М. Джексон.

[10]

А. СОЛЖЕНИЦЫН — СЕНАТОРУ ДЖЕКСОНУ

7 апреля 1974

Дорогой господин Генри Джексон!

Удивительным и непонятым образом Ваше дружественное письмо ко мне от 22 февраля получено мною только *вчера*, 6 апреля!.. — и притом безо всякого почтового штемпеля. Каким путём оно шло, где задержалось — я так и не мог выяснить. Несколько же дней назад я послал Вам копию своего ответа двум подкомиссиям Палаты Представителей — и, я думаю, из сопроводительной записки Вам стало ясно, что в своё время я не пренебрег ответом, а просто не получил Вашего письма.

Вы обнадеживаете меня, что и в изгнании писатели не погибали, не прекращали своего труда, и я особо благодарю Вас за эти слова. Сам я тоже уверен в этом.

Ещё раз могу с благодарностью повторить, что мощная поддержка в сентябре прошлого года, оказанная нашему свободолобию свободолобием Соединённых Штатов (а в этом движении Вы играли столь ведущую роль), спасла многих из нас и даже изменила ход событий в нашей стране. И чем дальше, тем всё более будет важно сохранять и углублять взаимопонимание и сочувствие между общественными силами наших двух стран, оказавшихся (необлегчительно для себя) столь влиятельными для судеб всего мира. Тут будут неизбежны ошибки дальнего зрения: издали так трудно разглядеть суть проблем и пути развития — нам у вас, вам — у нас. Но мы всеми силами должны устранять искажения оценок, взглядов и намерений, которые могут быть между нами внесены по небрежности, по поспешности или злоумышленно. В документе, который я послал Вам 3 апреля, я касаюсь отчасти и этого вопроса.

Увы, не могу воспользоваться Вашим любезным приглашением, так как не имею возможности сейчас совершать далёкие поездки. Но Ваша готовность гостеприимства очень тронула меня.

Глубоко сочувствуя той неизменной принципиальности, которой Вы подчиняете решения повседневных вопросов,

с лучшими пожеланиями, жму руку

Ваш

А. Солженицын.

[11]

В ШВЕЙЦАРСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

8 апреля 1974

За два месяца, что я на Западе, я засыпан лавиною писем из разных стран Европы, из Соединённых Штатов, Японии, Австралии, и лавина эта ещё усилилась после приезда моей семьи. Здесь — телеграммы, письма, пакеты и подарки людей одиночных, семейных пар, целых школьных классов, студенческих групп, университетских преподавателей и самих университетов, уже не говорю о письмах, предложениях и приглашениях многочисленных общественных организаций, международных и национальных. Однако даже если б я сейчас прекратил свою литературную работу и все другие занятия — я не успел бы ответить своим корреспондентам ранее, как за полгода. И поэтому я прибегаю к единственно возможному для меня ответу — через печать.

Всех писавших мне я благодарю сердечно и прошу понять и извинить меня за физическую невозможность ответить каждому. Этим широким дружелюбием, одобрением, поддержкой, тем более ощутимым в моём самом близком окружении в Цюрихе — ото всего города, от смежных кварталов, от детей соседней школы, я и моя семья взволнованы и растроганы самым глубоким образом.

Я не знаю, были ли изгнанники прежде меня, окружённые таким сочувственным теплом на чужбине, как будто это совсем не чужбина, а самая родная страна. Может быть, просвечивает здесь уже наступающее живое единство человечества. Я хотел бы правильно понять свою задачу и литературным делом отблагодарить своих бесчисленных новых друзей.

А. Солженицын.

[12]

ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ НЕ УНИМАЕТСЯ*

Цюрих, 3 мая 1974

В 1972 году Госбезопасность затеяла переписку с руководителем «Русского Национального Объединения» Василием Ореховым, редактором журнала «Часовой» (Брюссель), — переписку от моего имени, то есть сочиняла письма к нему, подделывая мой почерк. Сперва с невинными просьбами прислать материалы и воспоминания о 1-й Мировой войне, потом и с приглашениями приехать самому или прислать представителя «для связи» в Прагу. Поначалу эти фальшивые письма пересылались из Праги с обратным адресом известного писателя и психиатра Йозефа Несвадбы, затем — на конвертах появилось подставное лицо Отакар Горский, с «домашним» адресом на учреждение (Прага, ул. Революции, 1, где помещаются Чехословацкие аэролинии и туристические конторы), а телефоном — из того района (ул. Подкаштани и Маяковского), где расположены советское посольство и чешское ГБ. Как далеко зашла бы эта провокация, если бы меня не выслали, — не знаю. Вероятно, хотели арестовать в Праге приехавшего русского эмигранта и затем вокруг него сплести для уголовного суда мои «связи» с эмигрантскими организациями. (Связи с Зарубеьем — любимый конёк советской пропаганды.)

Именно потому, что этот случай строится на графической подделке моих писем и такой приём может повторяться в будущем, я и прошу «Тайм» оповестить о нём читателей, сопроводив фотоиллюстрациями.

Подделка КГБ (слева) и моя подлинная подпись.

Разумеется, в распоряжении ГБ было много образцов моего почерка и моих подписей, все подцензурные письма, в том числе и постоянный обратный адрес, который они и воспроизвели в точности:

*Москва, К-9
ул Горького 12 кв 169 Солженицын А.И.*

*Москва, К-9
ул Горького 12 кв 169 Солженицын А.И.*

Подделка (наверху) и подлинная рука (внизу).

* Опубликовано в журнале «Таймс», 27 мая 1974.

Сам почерк не то чтоб очень хорошо удался их графологам, но что-то схвачено, похожесть есть, и она обманывает.

*переправил письмо мне. Так вот
и воровки, более успешно, да, по
какой, надежде.*

*то за два года я не имел бы возможности воз-
разить Вам публично в случае Вашей неадекватности
или неадекватности.*

Подделка (наверху) и подлинная рука (внизу).

Любопытно, что жулики из ГБ подделывали не только почерк, но и — из разных других моих писем, прошедших их цензуру, — вылавливали отдельные мои выражения, фразы, синтагмы и вставляли их в свою подделку.

Вполне можно ожидать, что все эти приёмы уже и в других случаях применялись против меня, и ещё будут применяться советской пропагандой в её нынешней кампании подделать моё прошлое и дискредитировать меня.

Хотя после моей высылки объявлено, что я вообще *перестал существовать*, Госбезопасность ничуть не ослабила действий против меня и моих друзей. Бессильные уничтожить меня самого, в день моей высылки устроили себе ведьмовский праздник — ритуальное сожжение моей одежды, в которой я был арестован (меня выслали во всём кагебистском). На другой день издали (Управление по Охране Государственных Тайн и Печати) приказ сжигать из всех библиотек мои немногочисленные сохранившиеся издания и даже целиком те номера журнала «Новый мир», где печатались мои рассказы. Со дня же высылки начались обыски у моих знакомых — в Рязани (Наталья Радугина, на обыск пришло 14 гебистов!) и в других городах, у кого рассчитывали найти или самиздатские мои издания, или что-либо написанное моей рукой, — и всё это тоже отбиралось. У Неонилы Снесарёвой (Москва) вместо обыска инсценировали «воровской налёт» (любимый маскарад гебистов), изъяли всё относящееся ко мне и оставили о том издевательскую записку. Начата систематическая расправа с лицами, подозреваемыми в дружбе или хотя бы в знакомстве со мной (недавний случай: профессора Ефима Эткинды в Ленинграде в один день выбросили из института, из Союза писателей и отняли профессорское звание).

Уже и в Цюрихе провокаторы КГБ (советские граждане, и этого не скрывают) звонят мне и непрошенно навешают. Те угрозы целости моих детей, которые год назад в СССР подавались как анонимные письма мифических советских «гангстеров», прошлой зимой — «советских патриотов», — теперь повторяются этими посетителями, но уже как «сочувственное предупреждение» против гангстеров западных. Мой жизненный опыт достаточно мне прояснил, что все «гангстеры» моей жизни, и прошлые и будущие, — из одного и того же учреждения.

[13]

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ «НАША СТРАНА» И «JERUSALEM POST»

30 августа 1974

Для того, чтобы «Архипелаг ГУЛАГ» могли беспрепятственно читать самые широкие круги и не было бы затруднений приобрести его, я установил для всех издательств, что продажная цена книги не должна быть обычной для книг такого объёма, но в 2, 3 и даже 4 раза дешевле. При этом все гонорары автора идут на общественные цели.

Эти условия большинством издательств выполнены. Издательству «Харпер энд Роу» в США удалось установить цену даже ниже 2 долларов. Однако книготорговцы-перекупщики в некоторых странах сводят на нет этот замысел, спешат нажиться на необычно низкой цене, *добрав* разницу в свой карман. Сейчас мне пишут из Израиля, что Ваши книготорговцы продают два тома русского издания «Архипелага» за 25 долларов (тогда как маломощное издательство «ИМКА-пресс» продало им по 5-6 долларов за том)!

Я хочу публично заявить, что такая бессовестная спекуляция на этой книге оскорбляет самую память погибших, она есть попытка нажиться на крови и страданиях их. Я призываю израильских читателей подвергнуть этих книготорговцев моральному осуждению и общественными методами заставить их отказаться от постыдной наживы.

А. Солженицын.

[14]

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ШПИГЕЛЬ»

6 ноября 1974

Господин Аугштайн!

В Вашем приватном возбуждённом ответе (1.11.74) на публичное опровержение моего адвоката (29.10.74) Вы *подменяете* дерзкие выражения Вашего журнала (28.10.74) на другие, более удобные к защите.

Обсуждения (Erwägungen) возможного трибунала по материалам 50-летних злодейств Архипелага носят интернациональный характер и начались с «Московского Обращения» 13 февраля 1974 года. Они могут много помочь прояснению западного сознания. Но не об *обсуждениях* пишет Ваш журнал, лживо приписывая мне:

- 1) что я *планирую* создание такого Трибунала, из «ярких противников режима», и это — моя самобытная (ursprünglich) идея;
- 2) что такой Трибунал был бы направлен *против моей родины* (то есть, по аналогии, Нюрнберг — процесс против Германии, так?);
- 3) что от этого всего меня отговорила моя жена;
- 4) что я «не хочу удовлетворяться только писанием книг», но «обдумываю, как бы прямо делать политику».

Предлагаю Вам публично отказаться от Вашей клеветы и напечатать это моё письмо. Это будет благоразумнее для Вас, чем защищать четыре указанных пункта в суде.

А. Солженицын.

[15]

ОТВЕТ НА ВОПРОС ГАЗЕТЫ «КОРРЬЕРА ДЕЛЛА СЕРА»

(Корреспондент — Гвидо Тонелла)

21 февраля 1975

Речь идёт о подготовленной КГБ публикации с использованием полученных от моей бывшей жены моих личных писем. Публикаторы имеют возможность создать любую тенденциозную подборку, нежелательные им письма утаить, другие монтировать, эта техника их по отношению ко мне уже была применена.

Я до сих пор полагал, что по общечеловеческому закону никакие частные письма никакого человека вообще не могут публиковаться при его жизни без его согласия. Если итальянский закон, как это выяснилось из решения судьи, г-на Де Фалько, допускает публикацию столь низкого рода — такой закон вызывает презрение, и я не считал бы возможным апеллировать к нему.

А. Солженицын.

[16]

ПИСЬМО В. В. НАБОКОВУ

16 мая 1972

Высокоуважаемый Владимир Владимирович!

Посылаю Вам копию своего письма в Шведскую Академию с надеждой, что оно не будет безрезультатно. Давно считаю несправедливостью, что Вам до сих пор не присуждена Нобелевская премия. (Эту копию посылаю Вам, однако, лишь для личного сведения: по особенности моего и Вашего положения публикация этих писем могла бы принести лишь вред начинанию.)

Пользуюсь случаем выразить Вам и своё восхищение огромностью и тонкостью Вашего таланта, несравненного даже по масштабам русской литературы, и своё глубокое огорчение, даже укоризну, что этот великий талант Вы не поставили на служение нашей горькой несчастной судьбе, нашей затемнённой и исковерканной истории. А может быть, Вы ещё найдёте в себе и склонность к этому, и силы, и время? От души хочу Вам этого пожелать. Простите, но: переходя в английскую литературу, Вы совершили языковой подвиг, однако это не был самый трудный из путей, которые лежали перед Вами в 30-е годы.

Совсем недавно я был в Ленинграде и зашёл в оригинальный вестибюль Вашего милого дома по Большой Морской, 47 — главным образом, правда, с воспоминанием о роковом земском совещании 8 ноября 1904 года на квартире Вашего отца.

Желаю Вам ещё долгой творческой жизни!

А. Солженицын.

(Публикация глав будет продолжена.)



ИЗ НАСЛЕДИЯ

ЕЛИЗАВЕТА КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА



ТИШИНА, ОГОНЬ И СЛОВО

Мать Мария, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (1891 — 1945), достаточно хорошо сегодня известна соотечественникам — уже не только как деятельная участница французского Сопротивления и «странная» монахиня, но как поэт, публицист, философ, художник, о чем сказано ныне немало. И все же сколько бы ни писали о ней, образ матери Марии остается для нас загадочным.

Остается загадочным ее путь, пройденный от поры увлечения символизмом до газетной камеры в концлагере Равенсбрюк, — путь, лежащий через сотрудничество с партией эсеров, лишения эмиграции, постриг и столь необычное монашество — открытое боли и скорби мира, направленное на деятельное его преображение. Ее «конеч огнепальный», предсказанный задолго до мученической смерти.

Ключ к пониманию можно отыскать в многообразных делах ее любви, которые свидетельствуют сами за себя. И, безусловно, в ее творчестве, особо — поэзии, как обнаженном свидетельстве души. Стихи матери Марии также полны тайны и, быть может, непривычны для современного читателя. Хотя русская поэзия испокон веков была религиозна, нечасто этот подземный источник так откровенно прорывался наружу. Стихи матери Марии прямо обращены к Богу, «торжественному и страшному Ты».

Вместе с тем это очень разные стихи. Есть стихи дневниковые, импрессионистические, написанные по впечатлениям поездок (а путешествовала мать Мария много, многообразно описав «русскую географию Франции»), стихи «мнемотехнические» — дабы удержать в памяти какую-то важную деталь... И есть стихи, проникнутые тревогой о «наступлении срока», свидетельства души, наделенной особым видением («Глаза средь этой темноты кромешной / Привыкли в небе знаки различать»), убежденной в том, что Божий мир прекрасен, и бесконечно страдающей от его несовершенства («Только мир Твой Богозданный ад / В язвах, пьянстве, нищете, заботе»). Мать Мария обладала способностью различать в каждом Божественный лик («Вот пьяный нищий встречный, / а за спиной, — широких крыл размах»), ей было ведомо «широкое, всеобъемлющее материнство». Это стихи-молитвы — но не о себе, а всегда за других, за «Православную Церковь Соборную», за Россию.

На протяжении всей жизни мать Мария чувствовала себя «ведомой», призванной к свершению великой миссии, — то, что прочитывается уже в первых пророческих строках книги «Руфь», изданной в России в 1916 году, и чему последующее творчество, и более того — жизнь, становится подтверждением.

«Неузнанной вернусь еще я к вам», — пишет нам Елизавета Юрьевна в «Руфи», и действительно возвращается в русскую культуру — в том числе и в новых находках и открытиях, продолжающихся и поныне. Так, недавно в Париже, в архиве Софьи Вениаминовны Медведевой, ближайшей сподвижницы матери Марии по объединению «Православное Дело», были найдены тетради ее стихотворений, значительная часть которых нигде не печаталась ранее. Частично мы публикуем их здесь. Несколько стихотворений из архива были опубликованы Б. В. Плюхановым, хранителем Рижского списка стихотворений матери Марии в 1989 году в «Ученых записках Гартуского университета». Мы включаем их также, имея в виду малый тираж этого выпуска и безусловную художественную и духовную значимость стихотворений.

Таким образом, мы снова можем слышать пророческий голос матери Марии. Это стихи 30-х годов, написанные незадолго до пострига и в первые годы ее монашеского служения миру. Они дают нам уникальное свидетельство ее духовной биографии.

Выражаем глубокую признательность Е. Д. Клепининой-Аржаковской, благодаря которой эта публикация стала возможна.

Текст печатается по тетрадям, переписанным рукой матери автора — Софьи Борисовны Пиленко.

* *
*

Моего смиренного Востока
Нищая и мудрая звезда.
Нивы спят. Зерно лежит глубоко.
Влагу пьет спокойно борозда.

Сеяли мы только звезды с неба,
Мы пахали, сами впрягшись в плуг..
И какого ожидать нам хлеба?
Где для молотьбы наметить круг?

Много нас, смиренных, несвободных
И отрекшихся от всех гордынь,
Хлеб растивших среди песков бесплодных
И пахавших среди глухих пустынь.

Мудрость наша в деле терпелива,
Неподвижен и ленив Восток,
Как земля, как звездной жатвы нива, —
Спят и ждут, когда настанет срок.

* *
*

Обетовал нам землю. Мы идем.
Обетовал нам землю Ханаана.
И вел нас ночью пламенным огнем.
И вел нас днем
Ты облаком сгущенного тумана.
Господь, — идем.

И только наш лазутчик
Нам говорит, — не млеко там и мед, —
Пустыня, и пески, и кручи,
И небо — мрак. И реки — лед.
И в душах — гнет.

Святая Русь, мой Нищий Ханаан,
С любовной мукой облик твой приемлю.
Обетовал Господь нам эту землю —
И путь в нее — огонь или туман,
Земля земель, страна всех стран,
И щебень и песок, и лед и мрак, —
Было и будет — колыбель — могила.
Так, Господи, суровый Боже, так.

Таков наш путь, таков наш знак.
 О нищенстве душа молила.
 Какой уж нам небесный сад...
 Но будет снежно, будет — тихо,
 И выйдет старая волчиха
 И поведет своих волчат.
 И небо низкое придавит,
 И слезы душу отягчат, —
 О, Господи, душа прославит
 Облезлых, маленьких волчат.
 Идем, Господь, Ты нам обетовал
 Бездолье нищее и крылья огневые,
 Восторг и муку нам в наследье дал.
 О Ханаан родной, земля, Россия¹.

* *
 *

Знаю я, — на скором повороте
 Неожиданное стережет.
 И забота лепится к заботе, —
 Тяжки мне вериги из забот.
 Вот катаю тачку я натужась,
 Полную обиды и тревог;
 Знаю, развернет грядущий ужас
 Пропасть серую у самых ног.
 Господи, Ты с неба только нитку,
 Тоненькую ниточку спустил,
 Чтоб не покорила я избытку
 Темных, чуждых, непонятных сил.
 Я по вере стану невесомой
 И себя сумею побороть,
 И пойду я в тайный², незнакомый,
 Непрерывный Твой покой, Господь.
 Не прошусь я за порог далекий,
 Где раскинулись Твои сады, —
 Мне бы только кончить путь жестокий,
 Путь обиды, боли и беды.
 Мне бы в сером воздухе носиться,
 В непрерывной и прохладной мгле,
 Чтоб забылись образа³ и лица,
 Брошенные мною на земле.
 Чтоб себя я в холоде забыла,
 Расплескала б душу в вышине,
 Чтобы не было того, что было, —
 Памяти о боли и вине.

¹ Черновой вариант последней строфы:

О, Русь Святая, Ханаан родной
 И мука о тебе как радость
 Твоя полна как сердца сладость
 Как пение твой вой
 Всегда с тобой!

² Вариант: пыльный.

³ Вариант: образы.

* *
*

Недра земли, океаны, пещеры,
Звезды, что в небе хрустальном повисли,
Солнечный свет и эфирные сферы —
Все угадай, все познай, все исчисли.
Не отрекайся от срока и меры.
Не вопрошай лишь о пламенном Смысле.

Смысл — он в вулкане, смысл — он в кометах,
В бешено мчащихся вдаль антилопах,
В пламенных вихрях, в слепительных светах,
Что наше сердце в безумии топят.
Смысл — он в стихах никогда не допетых,
Смысл — он на неисхоженных тропах.

Смысл — он крестом осененный погост.
Смысл — как крест, он прост.

* *
*

Глуше гремит труба,
Громче Архангела голос.
С треском разверсты гроба,
Небесная сдвинулась полость.

Облако, — нет, — костер,
Золото — огненный слиток.
Ангел сосуд простер,
Пролил свой терпкий напиток.

Высохли сразу моря,
Уголь — деревья и травы.
Золото — пламя, заря —
Это грядет к нам Царь Славы.

Вот я... один на один
С ним я... без друга, без брата...
Ищу среди многих долин
Долину одну — Иосафата.

Из цикла «Странствия. Поездки»

* *
*

Будет день, в который с поездом
Унесусь я в заревые страны...
Слышу — вечно бьется воинство,
Слышу возглас бранный.

Шелковистым шелестом там, в воздухе,
Запевают песнь о вечном.
Песнь о земле чаемой, об отдыхе,
На пути небесном, звездном, млечном.

* *
*

Ты ли, милосердный Пастырь,
Этой ночью, на рассвете
Сквозь туман и дождик частый
Вновь предрек о Параклете?

Вот и день. А сердцу нежно,
Сердцу тихо в Отчей длани,
Как звезде в пути безбрежном
Иль в лазурном океане.

Среди города чужого,
Средь камней и плит звенящих
Тишина, огонь и Слово
На воскресных парящих.

И к земле зеленой — платю
Припадаю. Горы — ребра.
Параклета благодатью
Все пронзил Ты, Пастырь Добрый.

Монпелье.

* *
*

Номер сто пятидесятый,
В городе Марселе, в морге.
От судьбы не спас проклятой
Воин воинов Георгий.

Только мой свободный постриг
Мертвых мне усыновляет.
Меч он обоюдоострый
Прямо в сердце направляет.

Марсель, 1931 г.

* *
*

Гостиничные номера...
Я не в гостях и я не дома.
Без родины огня и грома —
Везде мне дома быть пора.

Я вглядываюсь вам в глаза
И вижу тишь природы доброй,
Христов нерукотворный образ,
Которого вы образа.

И знаю, что в последний миг,
Который и не так уж долог,
Последний я найду осколок,
Восстановлю единый Лик.

По городам, по номерам
Ищу я вас всегда сегодня, —
Носители Лица Господня,
Вот кланяюсь я низко вам.

Страсбург, 1931 г.

* *
*

Ночью камня не согреешь телом,
Не накликаешь скорей рассвет.
Господи, наверно, в мире целом
Никого меня бездомней нет.

Жметса по соседству кот бездомный, —
Будем вместе ночку коротать.
Мир ночной, — пустой, глухой, огромный, —
Добрым надо двери запирать.

Потому что нет иной защиты
Добрым, кроме крепкого ключа...
Холодеют каменные плиты,
Утро возвестил петух, крича.

Господи, детей растящий нищих,
Охраняющий зверей, траву,
Неужели же в земных жилищах
Тебе негде преклонить главу?

Если так, то буду я бродяга,
Пасынок среди родных сынов.
В подворотнях на ступеньках лягу
У дверей людских глухих домов.

Ницца, 1931 г.

<Стихотворения, опубликованные в «Ученых записках
Тартуского университета»>

* *
*

И в эту ляжку радостно впрягусь, —
Желай лишь, сердце, тяжести и боли.
Хмельная, нищая, святая Русь,
С тобою я средь пьяниц и средь голи.

О, Господи, Тебе даю обет, —
Я о себе не помолюсь веки, —
Молюсь Тебе, чтоб воссиял Твой свет
В унылом этом, пьяном человеке.

В безумце этом или в чуде,
 В том, что в одежде драной и рабочей,
 Иль в том, что учится на чердаке
 Или еще о гибели пророчит.

Европы фабрики и города,
 Европы фермы, шахты и заводы, —
 Их обрести Господь привел сюда
 Необретаемой свободы.

И средь полей и городов молюсь
 За тех, кто в этой жизни вечно голы, —
 Хмельную, нищую, святую Русь
 Ты помяни у Твоего престола!

Ницца, 1931 г.

* *
 *

Нашу русскую затерянность
 Все равно не потерять.
 Господи, дай мне уверенность,
 Что целебна благодать.

Задержалась я у проруби,
 У смертельной у воды, —
 Только вижу — крылья Голубя
 Серебристы и седы.

И бездонное убожество
 Осеняет Параклет,
 Шлет он ангельское множество,
 Льет холодный горний свет.

Други, воинство крылатое,
 За потерянный народ
 С князем тьмы над бездной ратую,
 Будьте крепкий нам оплот.

Гренобль.

* *
 *

Господи, Господи, Господи,
 Ни о чем я просить не хочу.
 Мне ли видеть оконные росписи
 И собора чужого свечу?
 Не хочу я ответом быть заданным,
 Выше туч в небеса вырастать,

Лишь куриться туманом и ладаном,
Лишь средь поля себя расплстать.
Оттого, что душа беспризорная,
Оттого не ко мне этот зов.
Боже, Господи, даль чудотворная,
Православная Церковь Соборная,
Божьей Матери синий Покров!

Страсбург, 1931 г.



ПУБЛИЦИСТИКА

МАРК ФЕЙГИН

*

ЗАКАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ

Распад советской империи сопровождался кровопролитием на ее окраинах. Одним из первых взорвался Нагорный Карабах — населенная в основном армянами автономная область в Азербайджане. Уже десять лет кровавый конфликт терзает карабахскую землю, в него вовлечены десятки государств, а политические деятели самого высокого ранга и международные организации пытаются его разрешить — пока безуспешно.

В настоящей работе, наряду с перипетиями трагической карабахской истории, нас будет интересовать не менее важный аспект конфликта: вовлеченность в него России и российские интересы в Закавказье в целом.

Истоки и причины

При межнациональных конфликтах воюющие стороны всегда оперируют одинаковыми понятиями. Когда воюют из-за территории, на первый план выходит древняя принадлежность земель той или иной вовлеченной в конфликт стороне. Почти всегда аргументы сторон более чем сомнительны. Второй незыблемый тезис — утверждение каждой из сторон своего культурного превосходства. Третий — кто кого первым «обидел». Наиболее оголтелые, а таковые находятся обязательно, отказывают противоположной стороне в праве вообще называться людьми. То же было и в Карабахе.

Спорить об автохтонности карабахского населения с исторической точки зрения не имеет смысла. Именно предки армян появились на этой земле между VIII и IV веками до н. э., а к IV веку нашей эры армяне были вполне сформировавшимся народом, населявшим большие территории в Закавказье и Передней Азии, включая и Карабах. Тогда же, в IV веке, в регион проникли первые тюрки — в составе гуннских отрядов. Но постоянное тюркоязычное население на территории Азербайджана появилось не раньше IX века, а сложение азербайджанского народа приходится отнести к значительно более поздним временам, примерно к XVII — XVIII векам.

Армения почти две тысячи лет находится на стыке цивилизаций и великих империй. Для небольшого народа такое геополитическое положение нужно признать крайне неблагоприятным. Еще до нашей эры эллинистические династии боролись за господство над Арменией с потомками Ахеменидов, а на рубеже нашей эры Армению делят Рим и Персия. Непрерывная борьба, изнурившая обе империи, продолжалась шестьсот лет, и велась она на землях, населенных армянами. В VII веке арабы-мусульмане захватывают Закавказье, через несколько веков эти территории оказываются в руках тюркских эмиров, также мусульман. Вплоть до начала XIX века Закавказье является ареной борьбы двух

Фейгин Марк Захарович родился в 1971 году. Заместитель главы администрации города Самары. В 1993 — 1995 годах был депутатом Государственной Думы, состоял во фракции «Выбор России». Автор ряда опубликованных, в том числе и на страницах нашего издания («Вторая Кавказская война» — 1995, № 12; «Чужая война» — 1998, № 3), публицистических работ по национально-политическим проблемам государств бывшего СССР.

мусульманских сверхдержав — суннитской Турции и шиитской Персии. И та и другая пытаются обратить в ислам христианские народы — армян, грузин, осетин. Персидские шахи заселяли равнины Восточного Закавказья туркменами для контроля над непокорным христианским населением и его ассимиляции. Близкий армянам христианский этнос — кавказские албанцы, большинство небольших персоязычных и кавказоязычных этнических групп на территории современного Азербайджана постепенно перешли в ислам, слились с туркменами и составили ядро азербайджанского народа. Турки обратили в ислам и сильно ассимилировали многие грузинские племена — многочисленных лазов, аджарцев, большинство месхов, ингилойцев, часть гурийцев, но большинство грузин остались православными. Сохранили православие и две трети осетин. Народы Северного Кавказа — абхазы, черкесы, чеченцы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, аварцы, лезгины и другие — отчасти добровольно, отчасти под давлением турецких войск и экспедиций крымско-татарских ханов перешли в ислам, причем этот процесс затянулся до середины XIX века.

Армяне сопротивлялись исламизации с чрезвычайным упорством. Сохранив христианскую веру в очень архаической монофизитской форме, имея развитую оригинальную культуру и собственный алфавит, армяне использовали любую возможность для освобождения от турецкого и персидского господства. В средние века армяне сотрудничали с Византией, крестоносцами и монгольскими военачальниками, с грузинскими и осетинскими феодалами. Результатом были лишь огромные людские и материальные потери — мир ислама был тогда неизмеримо сильнее.

К началу XIX века в Закавказье в качестве великой державы приходит Россия. Армяне однозначно принимают ее сторону — сторону христианской страны, способной защитить их от мусульманских армий и не покушающейся на их самобытность. В результате череды войн — с 1801 до 1878 года — часть Армении отходит от Ирана и Турции к России. Однако большинство населенных армянами земель остается в составе Османской Турции.

В течение XIX — начале XX века Турция переживает медленную, но глубокую внутреннюю трансформацию. Многонациональная, относительно веротерпимая исламская империя постепенно превращается в национальное государство анатолийских турок. Национальные и религиозные меньшинства подвергаются все более жесткому давлению, насильственной ассимиляции, а со времен Греческого восстания 1821 года и открытому террору. Турецкие армяне во всех русско-турецких войнах активно поддерживают русскую армию, а с 1870-х годов создают собственные национально-освободительные организации, отвечающие партизанскими рейдами и террором на вспышки исламской нетерпимости. Рост турецкого и армянского национализма создал к концу прошлого века в Восточной Анатолии обстановку непрерывной войны и погромов.

Настоящая трагедия разразилась в годы Первой мировой войны. Русская армия, опираясь на помощь восставших армян, ассирийцев и части курдских племен, заняла все Армянское нагорье и часть Курдистана, проникнув даже в Месопотамию. В «ответ» турецкое правительство Энвера, Талаата и Джемала в 1915 году устроило силами армии и нанятых курдских отрядов чудовищную резню: свыше полутора миллионов армян и более полумиллиона ассирийцев погибло, уцелели лишь те, кто бежал под защиту русских или английских войск. Эта трагедия разделила турок и армян стеной ненависти.

В 1917 году рухнула Российская империя. Деморализованная русская армия хлынула с Кавказского фронта, оставляя сотни тысяч единиц оружия национальным отрядам — курдам, черкесам, чеченцам, грузинам, армянам, азербайджанцам и просто бандитам. Весной 1918 года в грузинских портах высадились немецкие войска, а в сентябре турецкие части, сломив сопротивление грузино-армянских войск, захватили Баку. Крушение Османской Турции осенью 1918 года дало грузинам и армянам передышку; армянские части смогли занять часть территории Турецкой Армении. В 1919 году в Турции образуется

национальное республиканское правительство Мустафы Кемалья, сразу получившее поддержку Москвы и начавшее военные действия против английских, французских, итальянских и греческих интервентов, а также против грузинской и армянской армий. Одновременно независимый Азербайджан вел военные действия с Арменией за Нагорный Карабах и Нахичевань. Два христианских государства — Грузия и Армения — не смогли объединить военно-политические усилия перед лицом турецкой угрозы. Политики из Тбилиси и Еревана мелочно ссорились из-за Джавахети, района со смешанным армяно-грузинским населением. Грузинская армия, ослабленная конфликтами в Абхазии и Южной Осетии, сравнительно быстро потерпела поражение. Армянские армии упорно сопротивлялись более года, но время работало против них: весной 1920 года Азербайджан был захвачен 11-й Красной Армией, причем мусаватистское правительство согласилось передать власть большевистскому ревкому на условиях помощи в возвращении Карабаха и Нахичевани. Большевики согласились. В разгар тяжелейших боев между армянской и турецкой армиями под Карсом и Александрополем Армения оказалась в кольце блокады — Москва и Баку открыто помогали кемалистским войскам. Армения была вынуждена пойти на заключение тяжелейшего мира с Турцией ценой огромных территориальных потерь; именно тогда определилась современная армяно-турецкая граница, за которой осталась не только Турецкая Армения, отвоёванная русской армией и армянскими партизанами-«маузеристами» в 1915 — 1917 годах, но и Карская область, с 1878 года находившаяся в составе России.

В ноябре 1920 года группа ереванских коммунистов объявила себя ревкомом и провозгласила в республике советскую власть. 11-я Красная Армия тут же ворвалась в Армению, но дальше произошло непредвиденное: уже через месяц закаленные в боях армянские части взяли Ереван штурмом, выкинув из республики не только советские оккупационные войска, но и коллаборантов-«ревкомовцев». Попытка лобовой атаки провалилась, и началась голодная блокада разоренной страны. Все пути подвоза продовольствия через Азербайджан, где стояли советские части, были прерваны, на севере Ирана, граничащем с Арменией, орудовали банды курдских племенных вождей и отряды «Персидской Красной Армии» — промосковской военно-политической группировки во главе с бывшим грабителем Кучек-Ханом; отсюда тоже независимости Армении угрожала опасность. Турция, несмотря на мирный договор, продолжала военное давление с Запада, а свободная Грузия, опасаясь репрессий со стороны как Турции, так и Москвы, соблюдала нейтралитет и не оказывала Еревану никакой помощи.

Зима 1920 — 1921 годов в Армении была страшной: почти треть населения погибла от голода и холода. В феврале 1921 года Красная Армия захватила Грузию по той же апробированной схеме, что и Азербайджан. Теперь ее пытались претворить в жизнь в Армении: группа коммунистов создавала «ревком» и провозглашала власть советов, а появлявшаяся немедленно Красная Армия эту власть устанавливала «в порядке пролетарской помощи восставшему рабочему классу Грузии». Кольцо вокруг Армении замкнулось. Тем не менее страх красноармейских командиров перед армянскими частями был так велик, что на самостоятельный штурм республики 11-я армия не решилась, пригласив к операции турецкие части. Прежде чем согласиться, командующий турецкими войсками на армянском фронте Кязым Карабекир потребовал подтвердить передачу Азербайджану Карабаха и Нахичевани. Получив в очередной раз согласие, турецкие дивизии вошли на территорию советского Азербайджана. В конце февраля 1921 года под напором советско-турецких войск армянские части оставили Ереван. Но, как это ни кажется невероятным, разгромлены они не были: закрепившись на юге страны, в Мегринском, Кафанском и Горисском районах, они более года успешно отбивали все атаки Красной Армии. Боевые действия на юге Армении прекратились в апреле 1922 года, когда советское правительство подписало с командованием армянской армии соглашение о прекращении огня. По тексту соглашения Карабах, Нахичевань, Лачинский,

Кельбаджарский и Зангеланский уезды передавались в состав Армении, армянская армия должна была сложить оружие и отойти на территорию Ирана. На следующий день (!) марионеточное правительство так называемой Закавказской советской республики (Грузия, Армения и Азербайджан) заключило секретное соглашение с Турцией, подтверждавшее передачу Карабаха, Нахичевани, Лачина, Кельбаджара и Зангелана Азербайджану, причем официально закреплялись турецкие гарантии нахождения Нахичевани в составе Азербайджана. Отметим, что это соглашение так и не было денонсировано вплоть до распада СССР. Естественно, о судьбе населенных армянами районов официально объявили только после того, как армянские отряды сложили оружие и ушли на территорию Ирана.

Тлеющий конфликт

После того как вследствие грубого обмана армянская армия прекратила сопротивление, в республике установилась большевистская диктатура. Армянская ССР оказалась во «втором эшелоне» среди прочих республик: Грузия (родина «великого вождя и учителя»), Азербайджан, Узбекистан, с 60-х годов — Латвия, Белоруссия, Украина, Казахстан были в привилегированном положении. Армения разделила судьбу Молдавии, Литвы, Эстонии, Туркмении, Киргизии и Таджикистана, оказавшись в числе «нелюбимых» детей.

До конца 80-х армянам в Баку и Гяндже (Кировабаде) жилось спокойно: хотя путь наверх, в азербайджанскую номенклатуру, армянам был категорически заказан, их высокая грамотность и трудолюбие давали возможность не чувствовать себя чужими в больших многонациональных городах с европеизированным и сильно смешанным населением. В других районах было хуже: автономная Нахичевань изгнала армянское население еще в 20 — 30-х годах; после окончания Гражданской войны там скрывались последние отряды армянской армии, преимущественно члены партии Армянский революционный союз («Дашнакцутюн»). Под предлогом помощи им со стороны азербайджанско-нахичеванцев армяне изгонялись из автономии, и в середине 30-х годов их практически там не осталось. В районах, прилегающих к Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), армян также постепенно выдавливали. Особенно это было заметно в Лачинском районе Азербайджана: этот район расположен между Арменией и НКАО и был населен в основном курдами. В 1928 году там был создан национальный район — Красный Курдистан, очевидно, для демонстрации сочувствия турецким, иранским и иракским курдам, борющимся за независимость. В 1930 году национальные районы в СССР были упразднены, и Азербайджан взял курс на насильственную ассимиляцию курдов. Дело в том, что курды, представители древнейшего арийского населения в Передней Азии, затронуты исламизацией в наименьшей степени: среди них есть большая езидская община, христиане и иудаисты. В период Первой мировой войны и курдских восстаний в Турции, Ираке и Иране часть курдских племен сотрудничала с армянами. Азербайджанские власти сообразили, что курдская автономия может при определенных условиях образовать своего рода коридор из Армении в НКАО. Армяне выселялись из Лачинского, Кельбаджарского, Зангеланского, Истисуйского районов для того, чтобы разделить армянские территории мусульманским клином.

Само существование армянской автономии в Азербайджане сильно раздражало бакинские власти. Бюджет НКАО выделялся по остаточному принципу, промышленность и сельское хозяйство не получали развития, высших учебных заведений не было. Армянам создавались комфортные условия только для одного: выезда из области. Особенно жестоко велась борьба с армянами-христианами: в Карабахе были уничтожены *все храмы*.

В этих условиях война между армянами и азербайджанцами не могла прекратиться, скорее она перешла в «холодную» фазу. Армяне не забыли свою историю: в каждой деревне любой мальчишка, тщательно подбирая русские сло-

ва, расскажет вам, когда и кем построена местная церковь. Память о турецком геноциде жива, причем азербайджанцы в армянском сознании полностью идентичны туркам. С начала 60-х годов в Армении в День памяти жертв геноцида сотни тысяч людей в молчании выходили на улицы городов. В 1965 году, когда демонстрация приняла особенно массовый характер, в Ереван были введены войска, получившие приказ стрелять. Однако генерал-полковник Д. Драгунский, командарм дислоцированной в Армении 7-й армии, категорически отказался выполнять преступный приказ, такую же позицию заняли все подчиненные ему офицеры. Кровапролития удалось избежать ценой отставки и опалы нескольких старших офицеров...

Вообще Кавказ и Закавказье занимали в советской социально-политической и экономической системе уникальное место: коммунисты не смогли искоренить ни массовые антисоветские настроения, ни экономику с сильными элементами рынка, ни нивелировать культуру. В то время как не приемлющие советской власти Прибалтика и Средняя Азия закуклились в собственных микромирах, грузины, армяне, чеченцы непрерывно совершали акции гражданского неповиновения и вооруженного сопротивления. Ни репрессии и террор, ни даже массовые депортации не переломили этих тенденций. Известно, что чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы сотрудничали с немецкими оккупантами, что вовсе не означает какой-либо симпатии их к нацизму; просто они увидели в этом возможность освободиться от абсолютной чуждой им диктатуры. Менее известно, что часть бывших армянских офицеров и солдат, ушедших из захваченного красными Закавказья в 1922 году, и грузинские эмигранты создали национальные «легионы», входившие в СС. Хотя основная часть призванных в Красную Армию армян и грузин героически сражалась с немецкими частями, в этих республиках появились сильные отряды антисоветски настроенных вооруженных дезертиров, с которыми части НКВД справились лишь к концу 40-х годов.

Со времен оттепели власти стали перемежать селективные преследования со страусиной политикой: что говорилось в Москве за стаканом на кухне, в Кутаиси или Ереване можно было просто орать на улицах — милиция и чекисты вежливо отворачивались. Но зато на реальные подпольные организации обрушивались безжалостные репрессии. Тем не менее уже в 1969 году в Ереване создается нелегальная Партия национального самоопределения. Ее активистов арестовывали, иногда даже к ним применяли смертную казнь, но партия просуществовала до падения советской власти. Еще раньше возобновили свою деятельность ячейки партии «Дашнакцутюн», причем с зарубежными ветвями этой организации советские власти вели тайные переговоры о сотрудничестве, в частности в ливанском конфликте.

Никак не удавалось органам выкорчевать и грузинскую оппозицию. Грузинская интеллигенция с 1956 года вела себя по отношению к режиму независимо и зачастую конфронтационно. Однако в отличие от армянской она была далеко не едина: до сих пор сильно чувствуется разделенность грузин на племена и кланы. Внутри самой Грузии были сильны сепаратистские настроения у осетин и особенно абхазов: каждые десять лет (в 1948, 1957, 1968, 1978 и 1988 годах) по Абхазии прокатывались митинги с требованием отделения от Грузии.

История СССР с начала 60-х и до распада в 1991 году — непрерывное ослабление центристских и усиление центробежных сил в красной империи. Республиканские элиты постепенно концентрировали в своих руках все большую власть, дистанцируясь от Москвы. Экономические перекосы, национализм, подогреваемый нивелирующей советской идеологией, все большая безнаказанность новых «князей», «баев» и «ханов» разрывали СССР. К концу 80-х годов Литва и Туркмения, Грузия и Эстония, Таджикистан и Армения разительно отличались друг от друга по всем социальным, экономическим, языковым, культурным и структурным параметрам. Практически это были разные государства, и это четко осознавали их руководители (Э. Шеварднадзе еще в

1981 году (!) в беседе с американцами грузинского происхождения открыто сказал, что к концу века Грузия станет независимой и от коммунизма не останется и воспоминаний). Только общность интересов, таких, как получение дотаций из центра и сохранение общими усилиями своих народов в повиновении, удерживали республики от открытого сепаратизма. Однако исподволь они готовились к независимости, и, естественно, все чаще вспоминались старые территориальные споры, взаимные претензии и исторические обиды. Среди них было и армяно-азербайджанское противостояние.

Взрыв

Физики знают, что жесткая система, отлично сохраняющая свою структуру в статичном состоянии, ломается при сильном напряжении, если отсутствуют компенсационные, амортизирующие механизмы. Как ни странно, первый открытый конфликт вспыхнул в спокойном Казахстане. Грубые и оскорбительные действия горбачевского руководства по отстранению местной традиционной элиты и замене ее своими прямыми ставленниками вызвали в декабре 1986 года беспорядки в Алма-Ате. Следующим в начале февраля 1988 года взорвался Карабах. За два месяца до того хлеботорговля в НКАО была передана некоему кооперативу, во главе которого, естественно, стояли местные начальники. Цены на хлеб взлетели в пять раз, а ничего другого в магазинах автономии не было, наверное, с момента ее создания. Возможно, то была не случайность, а провокация: вызвать открытые выступления и затем подавить упрямых карабахских армян. Не был учтен специфический менталитет армянского народа, особенно карабахцев: веками это были самые упорные, закаленные и неприхотливые воины. Армяне, не имеющие племенного, языкового или религиозного деления, привыкли действовать единой общиной. Подавить кампанию гражданского неповиновения, мгновенно перекинувшуюся на собственно Армению, оказалось невозможно. Центр традиционно принял сторону Азербайджана, обвинив армян во всех смертных грехах, но ненасильственный протест подавить танками нельзя. Армян подталкивали к вооруженному восстанию. 21 февраля 1988 года сельские безработные из Агдамского района, доставленные на автобусах в Сумгаит, устроили резню армян. По официальным данным, погибло 32 человека, по неофициальным, но вполне достоверным — 1800; десятки тысяч армян бежали в Армению (невозможно обойти и героизм многих азербайджанцев, которые, рискуя жизнью, спасали армянские семьи).

Армения забастовала: сотни тысяч людей ежедневно заполняли городские площади, требуя свободы для Карабаха и наказания виновников сумгаитского погрома. Созданный в те дни комитет «Карабах», включивший ряд видных оппозиционеров и интеллигентов, смог предотвратить стихийный взрыв: кровь в Армении не пролилась, правда, проживавшие в республике азербайджанцы начали покидать свои дома — обстановка ненависти и страха делала свое дело. И все же комитет «Карабах» удержал армян от ответных погромов.

Москва, в крайне скупых выражениях осудив сумгаитскую резню, в целом возложила ответственность за кровавые события на «армянских провокаторов». Карабах наводнялся азербайджанской милицией и всевозможными ОМОНами, советская власть еще достаточно прочно контролировала все республики СССР, и противостояние двух закавказских народов приняло затяжной, полускрытый характер. Война не вспыхнула в 1988 году потому, что ни в Армении и Карабахе, ни в Азербайджане не было вооруженных формирований (как и самого оружия), а национальные политические организации находились в стадии формирования. Тем не менее «процесс пошел»: под спудом слабеющей, опостылевшей власти копился опыт борьбы, росла ненависть, ширились ряды оппозиционеров-националистов, постепенно вооружавшихся.

Страшное землетрясение в Армении в декабре 1988 года дало повод Москве ввести в республике военное положение, которое распространилось и на НКАО с прилегающими районами. Члены комитета «Карабах» оказались в

тюрьмах. Однако вопреки всем усилиям ЦК КПСС национальное движение армян не только не прекратилось, а продолжало усиливаться. В Азербайджане национальное движение структурировалось в Народный фронт, дистанцировавшийся от коммунистов и занимавший крайне жесткую антиармянскую позицию. Чрезвычайное положение в НКАО, осуществлявшееся силами армии и МВД под руководством А. Вольского и В. Поляничко, не приводило к успокоению: уже в сентябре 1989 года в горных лесах Карабаха появились первые группы армянских партизан. В самой Армении военное положение не принесло вообще никаких результатов и к началу 1990 года было отменено.

В январе 1990 года набравшая силу азербайджанская оппозиция — Народный фронт — попыталась отстранить коммунистов от власти «армянским» способом, устраивая мощные митинги и демонстрации. В городах и поселках оппозиционеры создавали параллельные органы власти, хотели взять под свой контроль правоохранительные органы — возникла реальная угроза падения советской власти в республике. К тому времени — после событий в Армении и Грузии — Азербайджан все еще оставался мощным оплотом диктатуры КПСС, во всяком случае, так считали в Кремле. Для удержания Азербайджана в своей орбите был использован проверенный сценарий: в Баку и Гяндже (Кировабаде) вновь начались армянские погромы. Народный фронт республики пытался им противодействовать, но Москва обвинила в беспорядках именно его активистов. 20 января 1990 года Советская Армия заняла Баку. Отряды Народного фронта оказали отчаянное сопротивление. Армянское население Азербайджана окончательно покинуло республику, в Баку осталось лишь несколько тысяч армянок, бывших замужем за азербайджанцами. Через год их насильно разлучили с мужьями и депортировали в Армению.

Первые свободные выборы в Армении в апреле 1990 года привели к победе партию Армянское общенациональное движение (АОД), созданную только что выпущенными из тюрем деятелями комитета «Карабах». В Азербайджане оппозиционеры не представляли, однако, собой столь мощную силу, как в Армении, к тому же республика еще не оправилась от кровавой январской реставрации советской власти — там победили коммунисты. Армения же, избавившаяся от коммунистической власти, подвергалась все более жесткому давлению Москвы и ее оплота — Азербайджана. Практически республика оказалась в энергетической, продовольственной и военной блокаде. Зимой люди жили без отопления, горячей воды, все чаще отключалось электричество, не было бензина. 700 тыс. человек — одна пятая всего населения — не имели жилья. Положение в Карабахе было еще тяжелее, так как там бесчинствовал азербайджанский ОМОН при полном попустительстве Временного комитета по чрезвычайному положению, своего рода предшественника и предвестника ГКЧП.

Война

С начала 1991 года московские силовые ведомства, законодательная и исполнительная власти своими действиями лишь в еще большей степени дестабилизировали положение в СССР, очевидно надеясь, что измученное население взмолится об установлении диктатуры. Однако стрельба в Вильнюсе и Риге, запугивание москвичей не смогли изменить ситуацию: авторитет КПСС падал, страна разваливалась. Но режим не хотел сдаваться.

В мае — июне 1991 года смешанные отряды азербайджанской милиции и ОМОНа, спецотряды МВД и КГБ, группы офицеров и солдат Советской Армии начали нападать на армянские села в Карабахе, Шаумяновском районе Азербайджана и в армяно-азербайджанском пограничье. По мирным домам стреляли танки и артиллерия. В ответ резко активизировались армянские «федайны». В июле — августе азербайджанцы при поддержке «краповых беретов» и групп военнослужащих из 104-й Кировабадской воздушно-десантной дивизии провели невиданные по размаху операции в Шаумяновском, Горисском и

Кафанском районах. Несколько крупных армянских поселков были сожжены и разграблены, их жители — армяне, русские и греки — бежали в Степанакерт и Ереван. Армянские отряды оказали энергичное сопротивление: впервые армянская сторона пустила в ход артиллерию и минометы. Однако ни одна из сторон не объявляла о начале войны. Азербайджан и стоящий за ним Кремль надеялись на военную силу, армяне, оказывая вооруженное сопротивление, активно апеллировали к мировому сообществу и в особенности к демократическим силам в России, которые в свою очередь оказывали все более активную поддержку армянскому освободительному движению, возрастало и давление группировки Ельцина на Кремль. Население и власти НКАО неоднократно требовали установить в области либо прямое союзное, либо российское правление. Это означало возвращение традиционной политики российско-армянского союза; хотя наши демократы демонстрировали свои симпатии азербайджанским оппозиционерам и надеялись, что отстранение от власти КПСС позволит прекратить разгорающуюся в Закавказье войну. Это было время иллюзий, когда падение коммунистов казалось избавлением от всех бед сразу.

Август 1991 года коренным образом изменил ситуацию. Азербайджанская власть дискредитировала себя сотрудничеством с ГКЧП, и Ельцин, ставший фактическим главой распадающегося Советского Союза, отказал бакинскому главе А. Муталибову в поддержке. В сентябре армянские партизаны выбили азербайджанцев из ранее потерянных сел Шаумяновского района. Советские части в Закавказье стремительно распались: в 7-й армии служило много армян, и они начали переходить на сторону карабахских партизан, прихватывая боевую технику. Надо сказать, что с самого начала на стороне карабахских армян дрались и русские офицеры и солдаты. 104-я Кировабадская ВДД, части МВД и КГБ СССР постепенно переставали оказывать поддержку азербайджанцам. К концу сентября боевые действия почти затихли: армяне освободили часть своих земель и надеялись на установление мира. Для народа Армении и НКАО это означало прекращение мучительной блокады, возможность восстановить разрушенные землетрясением города и селения.

Для того чтобы узаконить воссоединение армянских земель, 10 ноября 1991 года Верховный совет НКАО объявил о присоединении области к Армении. В ответ Азербайджан начал против автономии регулярные военные действия. Возникли фронты; азербайджанские добровольцы в больших количествах отправлялись в Карабах, армянское население НКАО поголовно вооружилось и при помощи отрядов из Армении (впоследствии их стали именовать Армянским экспедиционным корпусом) оказывало отчаянное сопротивление.

Описывать все перипетии войны нет нужды — это занятие для военных специалистов. Обозначим только основные этапы борьбы, разгоревшейся в Карабахе в 1991 — 1994 годах. Сначала азербайджанцы, в руках которых на карабахской территории находилась Шуша — город на скале, нависающей над столицей автономии Степанакертом, и единственный аэропорт Ходжалы, а также Лачинский район между НКАО и Арменией, нисколько не сомневались в победе. Несколько недель столица армянской автономии непрерывно обстреливалась из орудий, подвергалась авианалетам. Жизнь в полуразрушенном, голодном городе переместилась в подвалы. Артиллерии у армян было в несколько раз меньше, чем у противника, а боевой авиации не было вовсе. Тем не менее в середине января 1992 года армянские отряды внезапно перешли в наступление и заняли поселок Дашалты между Степанакертом и аэропортом, а затем овладели Ходжалы, захватив таким образом центр автономии. Азербайджан был в шоке, разгром крупной группировки в Карабахе получил название «Ходжалинской трагедии». Затем армянам удалось занять важнейшую в стратегическом отношении позицию — город-скалу Шуша. В руки победителей перешли десятки танков, орудий и снаряжения. В апреле положение азербайджанских сил стало катастрофическим: армяне заняли Лачинский район, со-

единив НКАО и Армению. На всех остальных фронтах азербайджанцы несли тяжелые потери и не могли продвинуться вперед.

Катастрофическое поражение привело к перевороту в Баку: первый секретарь ЦК Азербайджана А. Муталибов оказался в Москве, а его место занял диссидент, лидер оппозиционного Народного фронта А. Эльчибей. Новое руководство подошло к карабахской войне очень энергично: началась мобилизация призывников; протурецкая и исламская ориентация Баку позволила получать массивную помощь из Турции и ряда мусульманских стран. Турецкие офицеры-отставники, афганские моджахеды, сотни наемников из Украины, чеченский батальон Ш. Басаева — такое пополнение получила потрепанная азербайджанская армия весной — летом 1992 года. Техника и вооружение покупались у офицеров вконец разложившейся Закавказской группы войск России, не отставала и Турция, отправляя в Баку эшелоны с оружием бывшей армии ГДР, которое скупалось Анкарой в огромных количествах. В течение лета 1992 года азербайджанская армия, используя громадный перевес в живой силе и технике, заняла Шаумяновский и часть Мардакертского районов НКАО, объявившей себя к тому времени республикой. Однако к осени стало ясно, что азербайджанская армия выдохлась: ее потери были в среднем в двадцать пять раз больше, чем у армян, значительное количество техники не могло быть использовано из-за нехватки специалистов и технического персонала, успех оказался, в конце концов, иллюзорен.

Весной 1993 года армянские силы нанесли ответный удар: был взят Агdam, важнейший город, укрепленный лагерь и центр складирования военных ресурсов Азербайджана. Вновь, как и за год до этого, военное поражение привело к смене власти в республике: режим Народного фронта пал под ударом горстки боевиков гянджинского авантюриста С. Гусейнова, на плечах которого президентом стал старейший политик страны Г. Алиев. Война продолжалась, но победа оставалась недостижимой: удары азербайджанских войск отражались армянами на всех фронтах. Экономика Азербайджана скатывалась к коллапсу, тальши на юге и лезгины на севере страны волновались, часть курдов сочувствовала армянам, свергнутый Народный фронт и сторонники А. Муталибова удерживали в стране напряженную ситуацию.

В марте 1994 года армяне начали самое мощное наступление за все время войны. Один за другим в их руки переходили Физулинский, Джебраильский, Зангеланский, Истисуйский и Кельбаджарский районы Азербайджана, чьи войска к началу лета были совершенно разгромлены и прекратили организованное сопротивление. В руки армянских сил попали богатые трофеи. Боевые действия прекратились, пришло время дипломатов.

К тому времени в карабахский конфликт оказались вовлеченными самые разные страны, политические союзы и группы интересов.

Расстановка сил

...Армения занимает территорию в 29 тыс. кв. километров, НКР — 4 тыс., в то время как Азербайджан без Карабаха — 82 тыс. кв. километров. Население Армении — реальное, без тех, кто проживает в России и других странах, — около 3 млн. человек, а НКР — 150 тыс. В Азербайджане проживает более 7 млн. человек. Армения уже девять лет страдает от последствий землетрясения, семь лет находится в блокаде. Собственные минеральные ресурсы и сельскохозяйственные площади недостаточны для нормального развития экономики. Особенно остро не хватает топлива: ни нефти, ни газа, ни угля в республике не обнаружено. Армения находится вдали от морей, что также приводит к зависимости от соседей. Абхазский конфликт, тянувшийся с июля 1992 года, перерезал единственную железную дорогу, связывающую республику с Россией и внешним миром вообще. Все транспортные коммуникации проходят через нестабильную Грузию, это делает любые перевозки опасными и дорогими. Турецкая граница закрыта наглухо, не говоря об азербайджан-

ской — это фактически линия фронта, называемая «линией прекращения огня». Население Армении бедствовало. Мизерный бюджет расходовался на войну, помощь сотням тысяч беженцев и жертвам землетрясения, а также карабахцам, положение которых было еще хуже.

Армения выжила. Денежная единица — драм — относительно стабильна, рост экономики после окончания войны — в 1995 и 1996 годах — держался на очень высоком уровне, порядка 10 процентов в год. Эти достижения во многом вынужденные: не умаляя способностей и энергии армянских властей и экономистов, следует отметить, что полный коллапс экономики в 1991 — 1992 годах привел к возникновению тысяч мелких предприятий, заставил армян работать в совершенно экстремальных условиях. Надеяться им было не на кого, и в рынок они вошли быстрее всех остальных постсоветских стран. Естественная смерть колхозов из-за отсутствия горючего, электричества, семян и запчастей при одновременном проведении аграрной реформы привела к положительным результатам: новоявленные фермеры не только выжили сами, но и кормят всю страну. Особую важность для Армении имеет торговля с Ираном: оттуда поступает бензин, с его помощью восстанавливается газопровод, на очереди — железная дорога. Пограничный с Ираном Мегринский район превратился в огромный рынок — там торгуют всем, чем угодно. Работают заводы и в Карабахе: но там, по понятным причинам, полноценная рыночная экономика невозможна. Некоторые наблюдатели называют то, что делается в НКР, военным коммунизмом, но ничего другого, вероятно, там просто не может быть — горстка армян на крошечной территории, в кольце фронтов не могла жить по принципам демократии и либерализма.

Тем не менее объективные условия не дают возможности Армении и тем более НКР поддерживать высокие темпы развития экономики. В 1997 году, похоже, нынешняя модель развития себя исчерпала. Темпы экономического роста резко снизились, не достигли и 3 процентов в год. Для осуществления другой, более перспективной экономической модели необходим мир и прекращение блокады.

Действуют и другие факторы, мешающие Армении встать в один ряд с европейскими правовыми государствами. В 1988 — 1992 годах из Армении и Карабаха было изгнано все азербайджанское население. Хотя таких кровавых эксцессов, как бакинский или сумгаитский, не возникало, своей нетерпимостью армяне как бы уравновесили насилие со стороны азербайджанцев. В 1992 — 1994 годах поголовно изгонялось азербайджанское население из занятых армянскими отрядами собственно азербайджанских районов. Это, возможно, объяснимо с точки зрения военного контроля над занятой территорией, но недопустимо в глазах цивилизованного общества. Не прибавляет международных симпатий армянам и оголтелая националистическая кампания, развернутая в армянских средствах массовой информации. Прокатившиеся в 1995 — 1996 годах погромы неармянских религиозных общин восстановили против Армении верующих самых разных вероисповеданий. Власть же позорно безмолвствовала. Если Армения не сможет преодолеть разгул шовинизма, националистических страстей, не пресечет деятельность крайне экстремистских организаций типа Республиканской партии или террористов из АСАЛА, рассчитывать на симпатии мирового сообщества будет трудно, а России станет сложнее заступаться за своего исторического и стратегического союзника.

Азербайджан имеет относительно развитую промышленность, оставшуюся в наследство от СССР, большие площади плодородных земель, порты на Каспии, железные дороги в Россию и Грузию, шоссейные дороги связывают его с дружественной и союзной Турцией. Огромные запасы нефти делают республику очень привлекательной для инвесторов. Баку рассчитывает в течение нескольких лет привлечь не менее 20 млрд. долларов иностранного капитала. Инвестиции уже идут, а идея транспортного коридора из Центральной Азии через Каспий, Азербайджан и Грузию в Турцию и далее в Европу делает Азербайджан чрезвычайно важным звеном в мировой экономике и политике.

При таком раскладе сил ясно, что оба армянских государства, выигравшие войну, не могут долго сохранять перевес сил над Азербайджаном. Уже сегодня Баку, невзирая на ограничения вооружений, принятые в рамках ОБСЕ, обладает абсолютным перевесом по всем видам боевой техники и имеет неограниченные возможности для новых массовых закупок. Также усиленное рекрутирование военных специалистов и инструкторов в Турции, Украине, Великобритании и ряде исламских стран неизбежно рано или поздно сделает азербайджанские вооруженные силы в достаточной степени эффективными для ведения полномасштабной войны. У Армении и НКР такой возможности нет.

Впрочем, уход — под давлением военных и оппозиции — с поста президента Армении Л. Тер-Петросяна, из-за его согласия с международным планом урегулирования конфликта, который предполагает сохранение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, лишний раз доказывает, что перспективы мира в этом регионе призрачны не только с военной, но и с политической точки зрения. Армянская сторона в еще меньшей степени готова к уступкам, и победа на досрочных выборах президента Р. Кочаряна, в прошлом, до своего назначения премьером правительства Армении, руководителя Карабаха, наглядно свидетельствует об этом.

Турецкий фактор

Националистическое правительство Турции с начала 20-х годов взяло курс на ускоренную европеизацию страны. Религия жестко отделялась от государства, изгонялась из школ и университетов, все экономическое, политическое и культурное развитие страны было повернуто на европейские рельсы. По этому пути страна идет уже больше семидесяти лет.

Поскольку Турция — одна из ключевых стран для российской внешней и внутренней политики, ибо роль этой крупнейшей державы Передней Азии и для Кавказа и Закавказья, и для государств Центральной Азии и Ближнего Востока невозможно переоценить, придется, не боясь отступить от основной нашей темы, внимательно всмотреться в развитие турецкого культурно-экономического феномена.

Сегодняшняя Турция — член НАТО, ассоциированный член Европейского сообщества, население ее свыше 60 млн. человек — больше, чем во Франции, Англии или Италии. Имеет мощную армию (630 тыс. солдат и офицеров). Экономика страны в последние полвека развивалась медленно, но достаточно стабильно. Радикальные рыночные реформы 1982 — 1993 годов еще более ускорили развитие, а в начале 90-х годов на Турцию обрушился неожиданный золотой дождь. Распад СССР, войны в Закавказье, экономический хаос на всем постсоветском пространстве привели к невиданному нашествию мелких торговцев из бывших республик Советского Союза на турецкие рынки. Затем на пляжи быстро растущих анатолийских курортов хлынул окрепший российский и украинский «средний класс»: Канары и Лазурный берег этим людям еще не по карману, а Крым, Сочи и Гагры стали неинтересны. Для грузин, отрезанных от мира войной, Турция сделалась практически единственным торговым партнером. Ежегодно Турция накачивается сотнями миллионов долларов, что позволяет ей успешно решать социальные проблемы и энергично развивать экономику.

...Россия в последние годы все теснее сближается с Турцией. Газовый «голубой поток» по дну Черного моря — дело взаимовыгодное, и это можно только приветствовать. Удивляет другое: намечающееся военно-политическое сближение России, остающейся мировой державой, и Турции, уже сегодня перешедшей из положения третеразрядной слаборазвитой страны в разряд держав, правда, пока еще региональных.

Выше уже упоминалось о националистическом терроре в Турции в первой половине XX века. В те мрачные десятилетия много стран в той или иной

мере отдали дань национализму, расизму и ксенофобии. Турция с тех пор прошла большой путь; но в отличие от европейских стран националистическая, пантюркистская, экспансионистская суть турецкого государства изменилась мало. В основании внутренней политики страны официально лежит доктрина единства нации; по Конституции гражданином республики является «турецкий гражданин». Дискриминирован не только статус, но и само существование национальных, языковых и религиозных меньшинств. Впрочем, вся национальная, языковая и конфессиональная статистика, помещаемая в зарубежных справочниках, основана на приблизительных и чисто гипотетических расчетах — в самой Турции такие изыскания запрещены. Между тем проблема меньшинств в этой стране стоит более чем остро. Не прекращается партизанская война курдов на востоке страны. Считается, что их в стране около 12 — 14 млн., или 20 — 25 процентов. Сами курды считают, что их не менее 20 млн. человек, а это уже примерно треть населения. Другие меньшинства не составляют столь крупных массивов, но и они — значительная часть населения страны. Арабов, по оценкам западных экспертов, чуть более миллиона, грузин — 150 тыс., но по мнению самих представителей этой группы — не менее 5 млн. человек (8,5 процента населения страны). Выходцы с Северного Кавказа — потомки черкесов, чеченцев, дагестанских народов, осетин, убыхов — 100 — 150 тыс. по мнению западных экспертов и 3 — 4 млн. по их собственному мнению. Лидеры крымских татар, живущих в Турции, считают, что эта группа насчитывает не менее 5 млн. человек. Из менее крупных общин стоит отметить туркмен-юрюков (500 тыс.), азербайджанцев (несколько сотен тысяч), карапахов (100 тыс.), армян (150 тыс.), абхазов (100 — 120 тыс.), ассирийцев (менее 100 тыс.), евреев (25 тыс.), левантинцев (потомки испанцев, французов и итальянцев), болгар, греков, сербов, боснийцев, албанцев. В любом случае те, кто не является этническими турками, составляют 40 — 50 процентов населения страны. Если учесть, что дискриминации подвергаются и этнические турки — сторонники шиитских сект (от 10 до 17 процентов всех турок), становится понятно, какая фантастически огромная часть населения в той или иной мере подвергается дискриминации. Стоит упомянуть, что в партизанских отрядах Фронта национального освобождения Курдистана (ФНОК) и других подпольных военизированных организациях сражается большое число ассирийцев, армян, арабов, азербайджанцев, есть грузины, греки и болгары. За четырнадцать лет непрерывной войны уничтожено 2500 курдских и ассирийских сел, свыше 2,5 млн. человек депортировано из зон военных действий. В 1991 году под сильнейшим давлением мировой общественности турецкое правительство формально разрешило разговаривать (!) на курдском языке. Ранее, в 1982 году, тогдашний президент страны генерал Улуссу признал наличие в Турции... курдского народа. Курдам, живущим в Восточной Анатолии со времен Митридата, наверное, было интересно узнать, что они вообще есть. Впрочем, «либерализм» Анкары в отношении курдского языка тут же оказался уравновешен арестом курдов — депутатов турецкого парламента. Им вменялась в вину пропаганда «курдизма» — есть такая статья в турецком уголовном кодексе. Все они попали за решетку на длительные сроки.

Казалось бы, все это относится к внутренним делам Турции. Но это не так: крайний национализм во внутренней политике — часть общей стратегии развития страны. Обратная сторона и естественное дополнение ассимиляторской политики — внешняя экспансия. Еще в 1918 — 1925 годах турецкие агенты и целые воинские части действовали в горах Северного Кавказа, в Иранском Азербайджане, Иракском Курдистане и Таджикистане. Они не скрывали своей цели: создания «Великого Туркестана». Кстати, главный виновник армянского геноцида 1915 года, Энвер-паша, погиб в бою с Красной Армией на юге Таджикистана. Он не сомневался в реальности создания тюркского националистического государства от Босфора до Алтая (некоторые современные турецкие националисты хотят видеть в составе своей империи не только эти земли, но и Поволжье, Крым с Новороссией, Западную Сибирь, Туву, Ха-

касию и Якутию). До 1925 года Турция оспаривала у Ирака Мосульский вилайет, населенный курдами, а в 1939 году отспорила у Сирии еще одну населенную курдами и арабами территорию — Александреттский санджак (сейчас — Хатайский иль). До настоящего времени оттуда в Сирию бегут курды и арабы.

После Второй мировой войны Сталин открыто выдвинул территориальные претензии на бывшие грузинские и армянские земли в составе Турции. Советская разведка активно вербовала курдских вождей, советские дипломаты напоминали об «исторических правах» на Босфор и Дарданеллы. К чему приводят советские претензии, турецкие власти прекрасно видели: соседняя Греция в 1946 — 1949 годах подверглась мощным ударам партизан-коммунистов («Война генерала Маркоса»), в Иране в 1945 — 1946 годах существовали просоветские режимы в Иранском Курдистане и Азербайджане, в 1951 году СССР поддержал премьера-националиста Мосаддыка. В Ираке курдский вождь М. Барзани, получивший чин генерал-майора Советской Армии, вел затяжную войну с Багдадом. Турции ничего не оставалось, как обратиться за помощью к США и НАТО: страх перед вполне возможным советским вторжением и неизбежной советизацией был очень велик. После падения правительства кемалистов и прихода к власти Демократической партии Турции (1950 год) началось сближение с европейскими и атлантическими структурами — в 1952 году Турция вступает в НАТО, позже становится ассоциированным членом ЕС. Экономика, культура, уровень жизни и образованность населения постепенно растут; кажется, еще десять, двадцать лет — и одна из ведущих мусульманских стран вольется в семью европейских народов.

Увы, почему-то именно этого и не случилось. Вступление в СЕНТО в 1955 году ознаменовалось кровавым греческим погромом в Стамбуле. Росли исламистские настроения, а в 1960 году традиционно антиисламистски настроенные генералы-националисты свергли правительство Демократической партии. Сама партия была запрещена, президент Д. Баяр и премьер А. Мендерес были приговорены к смерти. Их обвинили в исламизме (небеспочвенно) и совершенно безосновательно в... «курдизме». Многопартийность и демократия в Турции развивались по неожиданному сценарию: растущие левые силы в 1966 — 1968 годах создали партизанские и террористические организации («Революционные левые», Революционная народная армия и др.). «Запрещенные» курды создавали свои подпольные группировки типа Рабочей партии, Фронта национального освобождения. Левые (в турецких условиях в основном левоэкстремисты) действовали совместно с курдскими партизанами и с некоторыми алевитскими (ответвление шиизма) организациями. Крайне правые — пронационалистская Партия националистического движения (ПНД) и исламо-фундаменталистская Партия благоденствия (ПБ) периодически участвовали в правительствах; одновременно боевики ПНД («Серые волки» и «Очаги идеала») вели непрерывные боевые действия с левыми, терроризировали демократически настроенную интеллигенцию, убивали представителей национальных и религиозных меньшинств. А центр политического спектра постепенно размывался, уступая влияние экстремистам. На рубеже 70-х годов Турция оказалась на пороге гражданской войны. В 1971 году армия совершила новый военный переворот, разгромив левые и правые экстремистские организации. Но самый жестокий удар был нанесен по курдскому освободительному движению и проевропейски настроенной интеллигенции. Еще десять лет Турция опять пыталась двигаться по европейскому пути. Результат оказался тем же, что и в предыдущем десятилетии: быстро воскресшие ультраправые и ультралевые организации начали настоящую войну на улицах городов, в ряде сельских местностей Курдистана. В сентябре 1980 года армия опять взяла власть в свои руки и на сей раз не выпускала ее в течение нескольких лет. Затем была восстановлена весьма ограниченная демократия, сопровождавшаяся радикальными рыночными преобразованиями. И все началось снова: в 1984 году отдель-

ные выступления курдов превратились в ожесточенную партизанскую войну, в конце 80-х годов активизировались забытые было левацкие и нацистские группировки.

Как уже говорилось, 90-е годы стали для Турции буквально золотыми: экономика росла небывалыми темпами. Тем не менее война в Турецком Курдистане не утихает, на выборах 1996 года исламисты и правые экстремисты получили почти половину голосов избирателей, премьером стал исламист Н. Эрбакан. Вновь свое слово сказала армия: под угрозой переворота и репрессий исламисты ушли из правительства, а в начале 1998 года Партия благоденствия была запрещена и Н. Эрбакану в судебном порядке, в который уже раз, запретили заниматься политической деятельностью. Таким образом, даже националистическая псевдodemократия в Турции не может продержаться больше десяти — одиннадцати лет, и это не зависит ни от уровня жизни и образовательного уровня населения, ни от темпов экономического развития. В 1997 году ЕС в очередной раз отверг турецкие претензии на членство в этой организации. Мотив остался прежним: грубейшие нарушения прав и свобод человека, истребление и насильственная ассимиляция нацменьшинств, агрессивная внешняя политика. Не стоит, однако, думать, что подобная европейская «педагогика» заставит турецкого избирателя броситься в объятия умеренных и центристских партий. Все может произойти точно наоборот: исламские, правые и левые экстремисты резко усилят свое влияние в массах. Возможно, оскорбленная Турция пойдет на сближение с арабскими странами и Ираном и не сможет интегрироваться в европейское сообщество.

По мере экономического роста и усиления военной мощи растет и агрессивность внешней политики Турции. С 50-х годов турецкая армия периодически оказывает давление на Сирию, Ирак и Иран. В 1974 году турецкие войска захватили север Кипра, расколов единую двухобщинную республику. Впрочем, и греческие националисты на Кипре вели себя не лучше — они начали террор против мирного турецкого населения, греческие фашисты подняли мятеж, свергли законного президента Макариоса. И все же Греция и греческая часть Кипра успешно избегают от этнократических фантомов и давно выступают за независимость и единство Кипра при равноправии обеих национальных общин. Греция неоднократно заявляла о готовности вывести войска с Кипра, если на это готова пойти Турция. Однако последняя заняла непримиримую позицию. Созданная Анкарой сепаратистская «Турецкая республика Северного Кипра», признанная только самой Турцией и Чечней, не собирается идти на урегулирование конфликта. На Кипр переселены десятки тысяч турок из Анатолии, чтобы сделать объединение с греческой частью острова невозможным в принципе. В 1983 году турецкая армия впервые вторглась в курдские районы Ирака для разгрома партизанских баз. С тех пор турецкая армия неоднократно повторяла подобные операции, а в последние четыре года турецкие воинские части не покидают иракскую территорию. В настоящее время турецкие спецслужбы активно вооружают действующую в Иракском Курдистане организацию «Великий Туран», состоящую из местных турок и туркмен. Туранисты в 1997 году приступили к вытеснению из Мосульского района курдов, ассирийцев, армян и арабов-христиан. После завершения этнической чистки восстановленный Мосульский вилайет, скорее всего, пусть и не официально, снова отойдет к Турции. Вряд ли Запад или расколотый арабский мир решатся противостоять экспансии растущей турецкой державы.

Конечно, военные операции в Ираке напрямую связаны с курдским восстанием в самой Турции. Но не следует думать, что турецкая военная, политическая, экономическая и культурная активность ограничивается соседними странами. Турция оказывает мощную военную помощь Азербайджану, активно вмешивается во внутренние дела этой страны. Так, в 1996 году бакинские спецслужбы раскрыли очередной заговор с целью восстановления А. Эльчибея на посту президента страны. В этой связи был арестован ряд граждан Турции, в том числе действующие сотрудники военной разведки.

Особенно активна в Азербайджане уже упоминавшаяся ПНД и ее военная структура — «Серые волки» («Боз курт»). Эта партия создана в 1948 году полковником А. Тюркешем под влиянием нацистских и фашистских идей. Не делая упора на ислам, ПНД сосредоточивает внимание своих последователей на тотальном превосходстве турецкой нации и турецкой культуры, проповедует национальное единство и ратует за корпоративное общество по типу Германии и Италии 30-х годов. И. Гусейнов, министр внутренних дел Азербайджана при президенте А. Эльчибее, был активистом движения «Серые волки». Это движение направляло в Баку сотни добровольцев для войны на карабахском фронте, вербовало военных инструкторов из числа турецких офицеров. Турецкая агентура всячески помогала и помогает чеченским сепаратистам, и это невозможно списать на самодеятельность турецких чеченцев и правых экстремистов. Кстати, Дудаев поддерживал тесные контакты с ПНД и «Серыми волками», и даже герб Ичкерии — волк — был предложен ему представителями этой организации во время визита покойного чеченского лидера на Северный Кипр. Турецкая агентура действует и в дестабилизированном Дагестане, в Абхазии, интенсивное проникновение ведется в татарские общины, а в республиках Центральной Азии можно говорить о турецкой культурной и экономической экспансии.

Отношение Турции к Армении за последние десятилетия отнюдь не улучшилось. Никаких официальных извинений или хотя бы честной оценки геноцида 1915 года со стороны Анкары не прозвучало, упоминать о нем официально запрещено. Но турецкие власти сражаются не только с прошлым: лицам армянской национальности — вне зависимости от гражданства — запрещено появляться на территории турецкой Армении. Иначе как откровенным расизмом такой подход назвать нельзя. С момента обретения Арменией независимости турецко-армянская граница наглухо закрыта. В первые месяцы после страшного землетрясения 1988 года Турция позволяла рейсы самолетов с гуманитарными грузами, но им не оказывалась помощь наземными службами. Эта иезуитская политика привела к трагедии: самолет с югославским экипажем разбился в горах. Вскоре после этого граница вновь была закрыта. Все попытки армянского руководства наладить диалог с Анкарой упираются в глухую стену враждебности. Время от времени с турецкой территории обстреливаются армянские и российские пограничники, причем последние подвергаются нападениям и на территории Грузии. Вновь звучат старые призывы турецких националистов ликвидировать «армянский клин», отделяющий Турцию от Азербайджана, то есть, собственно говоря, Армению.

В свою очередь в странах, противостоящих Турции, в Армении в первую очередь, бытуют совершенно нелепые антитурецкие мифы. Турки объявляются недочеловеками, дикими варварами, пришельцами из азиатских глубин, неспособными к творчеству, генетическими извергами и т. д. Это такая же нелепость, как нацистские расовые теории. Турецкая культура и искусство вполне оригинальны, а о генетической неполноценности любого народа может рассуждать либо абсолютный глупец, либо очень злонамеренный человек...

Иран

Роль этой страны в закавказском узле неоднозначна. Иран воспринимается в мире как оплот воинствующего исламизма в самой крайней форме. Тем не менее Иран сотрудничает с Арменией в торговой и военной областях, а дипломатические отношения двух стран доброжелательны. Подавляющую часть товаров народного потребления, большую часть топлива Армения получает из Ирана или через его территорию. Если бы Тегеран закрыл границу, в Армении разразилась бы катастрофа.

В этой связи часто упоминают влияние армянской общины в Иране, якобы очень многочисленной и богатой. Однако трудно поверить, что 250 тыс. армян могут направлять политику шестидесятимиллионной исламской страны.

Дело скорее в другом: сколько бы ни рассуждали иранские духовные лица о единстве исламских народов, о недопустимости национализма, национальное самосознание и традиционные симпатии персов искоренить невозможно. Более того, в последние годы, когда эйфория исламской революции позади, иранцы понемногу забывают об идейных установках радикального исламизма. В Иране помнят о том, что персы и армяне — народы-родственники. На то же работает и политический прагматизм Ирана.

При этом более 20 процентов населения Ирана — этнические азербайджанцы, компактно проживающие на северо-востоке страны. Пантюркистское, протурецкое движение в трех провинциях, граничащих с Турцией и Азербайджаном, существует несколько десятилетий. Сейчас в Иранском Азербайджане действует подпольный Комитет освобождения Южного Азербайджана, поддерживавшийся бывшим президентом Азербайджана А. Эльчибеем и, естественно, Анкарой. Сепаратизм иранских азербайджанцев сегодня достаточно слаб, но в перспективе может быть очень опасным, тем более, что свыше 40 процентов предпринимателей и торговцев Ирана — азербайджанцы. Значит, именно в их руках сосредоточены мощные финансовые рычаги. Если к турецкой поддержке добавится влияние окрепшего Азербайджана, Иран получит тяжелейший конфликт на своей территории.

Кроме того, иранцам небезразлично, что ираноязычные народы Азербайджана — талыши (600 — 800 тыс. человек) и курды (200 тыс. человек) — подвергаются дискриминации в Азербайджане. Они точно так же, как и в Турции, лишены возможности развивать свои языки и культуру, их существование не признается бакинскими властями. В 1993 году талыши пытались объявить автономию, но были жестоко подавлены армейскими частями. Реакция Тегерана была острой: населенные талышами территории были отделены от Иранской провинции Восточный Азербайджан.

Иран вполне заинтересован и в развитии сотрудничества с Россией. Это также дает основание надеяться, что в Закавказье российско-армянско-иранское сотрудничество позволит уравновесить турецкое влияние и установить прочный мир.

Запад

В первые годы карабахского конфликта армянские политики всех направлений и просто обыватели нисколько не сомневались в сочувствии со стороны Запада. На это имелись веские основания: мощные армянские общины в таких странах, как США, Великобритания, Франция, Греция, ФРГ, Аргентина, Австралия, Бразилия, достаточно влиятельны и богаты, а противостояние коммунистическому режиму не могло не вызвать сочувствия на Западе. Однако надежды на автоматическую поддержку Западом любого демократического государства в его борьбе с воинствующими националистами, коммунистами и религиозными фанатиками — непростительная наивность. Да, в принципе, подобная поддержка часто оказывается, но только тогда, когда это не противоречит финансовым и экономическим интересам крупных компаний. Закавказские конфликты — наглядный тому пример.

Еще в конце 80-х годов получил известность американский план урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе территориального компромисса. Согласно этому плану Лачинский, Кельбаджарский и Истисуйский районы Азербайджана и часть НКАО должны были войти в состав Армении, а Мегринский район Армении, Мардакертский и Гадрутский районы НКАО подлежали передаче Азербайджану. Несмотря на кажущуюся справедливость и компромиссность этого плана, фактически он не соблюдает равновесия интересов. Армения, согласно этому проекту, теряет выход к иранской границе, а также единственный перспективный на нефть и газ Мардакертский район НКАО. Очевидно, недаром азербайджанские части, терпя одно поражение за другим, все же смогли удержать большую часть именно этого района.

Если бы данный план осуществился, Армения была бы на 70 процентов окружена турецкой и азербайджанской территориями, что фактически низвело бы эту страну до уровня бесправного и безгласного протектората наподобие Лесото в центре ЮАР.

Начало крупномасштабной добычи нефти в Азербайджане, строительство нефтепроводов из этой страны в сторону Запада, заинтересованность западных компаний и финансовых кругов сделали Запад стратегическим союзником Азербайджана. А Армения превратилась в страну-аутсайдера, которой грозят международные санкции.

Не секрет, что Запад бросил на растерзание мусульманским и марксистским террористам общину ливанских христиан, разгромленную в 1990 году после пятнадцатилетнего героического сопротивления.

В 1948 — 1967 годах страны Запада, казалось, были готовы «сдать» демократический Израиль арабским националистам, и только эффективная дипломатия, мощная армия и спецслужбы страны предотвратили новый исход евреев с Ближнего Востока.

США бросили своих союзников в Индокитае, нарушив взятые на себя обязательства; вполне боееспособная сайгонская армия сдалась коммунистам в первую очередь потому, что сенат США после вывода американских войск запретил поставки оружия, боеприпасов, запчастей и даже бензина своим союзникам.

Запад бросился спасать богатый Кувейт, ссылаясь на принципы международного права, но никак не отреагировал на захват Индонезией Восточного Тимора и истребление трети его жителей. Жаль, что на Тиморе нет нефти...

Стоит упомянуть и о том, что права Великобритании на Фолклендские (Мальвинские) острова вовсе не бесспорны, что бы ни утверждалось западными правительствами. Но бесспорны огромные природные (прежде всего нефтегазовые) богатства этих клочков земли в Южной Атлантике, и это перевешивает те непреложные факты, что острова были захвачены англичанами, а аргентинское население насильственно изгнано, что Совет Безопасности ООН еще в 1969 году предписал деколонизировать Фолкленды, проще говоря, вернуть их Аргентине, что, согласно международному праву, острова, расположенные на шельфе, должны принадлежать стране, к которой относится и сам шельф.

Даже события в Боснии, где страны НАТО четко заняли антисербскую позицию, поддержав хорватов и боснийцев, имеют экономическую подоплеку: в 1979 году на севере Боснии были обнаружены крупные, легкодоступные запасы нефти. Зверства хорватских усташей, изгнание сербов из Хорватии и многих районов Боснии, присутствие в Боснии исламских экстремистов отошли на второй план, когда западная цивилизация почуяла запах нефти.

Все эти примеры приходится приводить потому, что слишком многие в России считают, что в политике Запада доминируют принципы морали, нравственности и поддержки свободы. Да, но только в тех случаях, когда это не противоречит его интересам. Сегодня Россия должна сама защищать свои интересы в мире. Но для этого нужно сначала определить, в чем они состоят.

«Камень преткновения» в нормализации отношений Армении и Азербайджана, Нагорный Карабах оказался одной из многих жертв путаницы в самих *основах* международного права, которое в нашем веке зиждется на двух китах: один из них — так называемое право наций на самоопределение. Версальская конференция 1919 года по инициативе президента США Вильсона официально провозгласила это право основой нового мирового порядка. Двумя годами раньше большевики то же провозгласили в России.

Второй основной принцип современного миропорядка — нерушимость границ и территориальная целостность государств.

Каким образом можно сохранить стабильность в мире, если два основополагающих принципа мироустройства противоречат один другому?

Сложилась парадоксальная ситуация: согласно первому принципу, каждая национальная группа или сепаратистское движение получили формальное право добиваться самостоятельности, в то время как — согласно второму — государства, естественно, стремились уберечь свою целостность и удержать собственные колонии и другие зависимые территории. При этом каждая держава при необходимости получала возможность использовать национальные движения против своих противников. Эти противоречия обрекли в свое время Версальскую систему на гибель, а мир — на Вторую мировую войну. Есть ли основания считать, что Потсдамская система надежнее? Таких оснований нет, так как международное право остается безнадежно противоречивым, а две его концептуальные основы являются двумя дубинами в руках сильных.

А те в свою очередь в соответствии со своей выгодой вытаскивают то одну, то другую карту, бьют то одной, то другой из этих дубин, как того требует каждый раз конкретный политический интерес. Трагедия посткоммунистической Югославии — лучший тому пример¹.

Карабахский конфликт — драма, развязка которой не просматривается. Верней, просматривается только в том случае, если обе стороны проявят добрую взаимную волю к уступкам. Альтернатива этому — или постоянный тлеющий конфликт, дающий метастазы болезни по всему государственному организму как Армении, так и Азербайджана, или, не дай Бог, большая война и насильственное разрешение проблемы по праву победителя. Но такое «разрешение» чаще всего бывает недолговечно.

Исламская карта

Симпатии советских правителей очевидны: христианским народам они предпочитали мусульман. Армяно-азербайджанская коллизия, показанная выше, тому свидетельство, но есть и другие примеры: воззвания Ленина то к мусульманским народам, то просто к «народам Востока», выделение аджарской мусульманской и абхазской «полумусульманской» автономий в православной Грузии, передача осетинских и казачьих земель в состав Горской республики, затем — Дагестану, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Земли уральских, оренбургских, сибирских и семиреченских казаков были переданы Казахстану, невзирая на явную нелепость этого решения. Правда, происламская ориентация не помешала коммунистам истреблять непокорных чеченцев, туркмен, казахов и таджиков. Но тем не менее факт налицо: все семьдесят четыре года существования советского государства именно мусульмане считались естественными союзниками «руководящей и направляющей» во всем мире.

Историческая Россия была не столько европейской империей, сколько православным царством, не удивительно, что в старых паспортах россиян указывалось вероисповедание, которое имело большее значение, чем национальная принадлежность. Православное миссионерство со времен крещения Руси играло важную роль: десятки языческих племен, принимая православие, постепенно интегрировались в состав русской нации, усложняя этносоциальную систему и укрепляя ее. Так, древние меря, мещера, мурома, коstroma, голыдь, чудь заволоцкая, вoдь, весь, торки, берендеи, значительная часть печенегов и особенно половцев, многочисленные роды победоносных монголов, православные литовцы, ряд сибирских племен стали частью русского народа, умножив его военные силы и культурный потенциал. Покорение Новороссии и Крыма в 1783 году сопровождалось массовым заселением территории быв-

¹ Другой пример — знаменитые Хельсинкские соглашения. В брежневщину они освятили существование СССР. Когда же советская империя раскололась, ими же стали подкреплять «парад суверенитетов» и незыблемость границ новообразовавшихся государств, границ, в своих целях прочерченных во времена коммунизма его вождями вне конкретной исторической логики. (Примеч. отдела публицистики.)

шего мусульманского государства не только русскими и украинцами, но и болгарами, греками, сербами, черногорцами, албанцами и армянами. Крымские татары и ногайцы, в свою очередь, массами уходили в единоверную Турцию. Своеобразный «обмен» населением происходил и при покорении Кавказа и Закавказья: десятки тысяч армян и греков селились на оставленных мусульманами землях, а полмиллиона покоренных черкесов, чеченцев, ингушей, кабардинцев и абхазов ушли в Турцию.

Армяне в России, невзирая на особенности армяно-григорианской веры, пользовались всеми правами православных. Армянин Лорис-Меликов, как известно, был главой русского реформаторского правительства при Александре Освободителе. Россия оказывала помощь турецким армянам в борьбе за свободу. Балканские христиане со времен Петра I пользовались особым покровительством российской короны, оказывалась помощь и христианам восточного обряда в Ливане, Сирии, Египте и даже Абиссинии (Эфиопии).

Коммунисты в корне изменили вектор политики. Конечно, никаких тайных исламских симпатий у них не было, но некоторые имманентно присущие исламским консерваторам черты были весьма выгодны коммунистам. Во-первых, иррациональная ненависть к западной цивилизации во всех ее проявлениях; тут большевики действительно могли посоревноваться с самыми крайними исламскими течениями. На территории бывшей Российской империи в годы Гражданской войны красные, спекулируя на бывшем до февраля 1917 года неравенстве мусульман, использовали мусульманские части. Семидесятитысячная «Исламская армия» Н. Гоцинского и Узун-Хаджи, состоящая из чеченцев, ингушей, черкесов и дагестанцев, сражалась против Деникина вместе с Красной Армией, в Казахстане тургайские партизаны Амангельды Иманова и Джангильдина, воевавшие против власти «белого царя» с 1916 года, влились в ряды красных войск и продолжали вырезать казачьи станицы уже не как степные разбойники, а как вооруженная рука «пролетарского государства».

Во время ожесточенной борьбы большевиков за мировое господство единственным их «стратегическим» союзником была кемалистская Турция. Малоизвестный факт: с 1920 по 1925 год правительство Мустафы Кемалья много, хотя и невнятно, рассуждало об «исламском социализме» и создало полуправительственную Коммунистическую партию «золотого яблока». Большевики поставляли кемалистам оружие, а кемалистский флот нападал на корабли Белой гвардии в Черном море. О сотрудничестве турецких войск и Красной Армии в борьбе с Арменией уже сказано выше. В 1925 году М. Кемаль укрепил власть настолько, что смог отказаться от подмигиваний и экивоков в сторону коммунизма — турецкий национализм открыто стал знаменем только что объявленной республики. Интересно, что Москва мгновенно попыталась сбросить власть националистов в Анкаре, причем апеллируя отнюдь не к марксистско-ленинским идеям, а к ортодоксальному исламу. Используя старые, наработанные еще царской разведкой и дипломатией связи с курдскими вождями и шейхами, советская агентура в апреле 1925 года спровоцировала мощное восстание в Курдистане во главе с шейхом Саидом. Сам он был образованным и гуманным человеком, достаточно равнодушным к исламу, как и многие курды. Он выступал за независимый Курдистан, как того требовали условия Севрского договора стран Антанты и Турции. Но знаменем он выбрал именно ислам, и не без подсказки с Севера: такие лозунги привлекли к восстанию не только курдов, но и реакционные силы в собственно турецкой среде. Восстание было подавлено, но альянс красной Москвы с курдскими сепаратистами сохранился на многие десятилетия. Стоит вспомнить и другие эпизоды инфильтрации коммунистов в исламские движения: персидские «дженгелийцы» — буквально «лесные братья», терроризировавшие население Северной Персии в 1913 — 1918 годах, составили ядро так называемой Персидской Красной армии. Их знаменем, как и у кемалистов, был ислам в соединении с максимально вульгаризованным марксизмом. Разгром этой «армии» в 1921 году отнюдь не поставил точку в сотрудничестве Кремля с различными политическими группировками Персии (с 1935 года — Ирана), которые абсолютно все, включая и ком-

мунистическую («Народную») партию, апеллировали к исламу. Даже так называемую «исламскую революцию» 1979 года в Москве восприняли с восторгом, хотя это была самая дикая и оголтелая реакция наиболее обскурантистских сил на умеренно либеральные прогрессивные преобразования. Все левые силы этой страны — полтора десятка коммунистических и социалистических партий, движений и вооруженных группировок — поддержали эту «революцию» и впоследствии долго торговались с исламским правительством о своем участии в нем.

Практически во всех конфликтах мусульман с христианами Москва подерживала первых: в ливанской междоусобице (советская пресса упорно именовала христиан «правохристианскими силами», чтобы хоть как-то объяснить свою политику), в суданской войне, где уже тридцать четыре года мусульманские правительства проводят геноцид христиан. Из Москвы ни разу не раздался окрик в адрес «дружественных» мусульманских стран, всячески третирующих христианское, в частности православное, население Египта, Сирии, Ирака. Это было продолжение той же политики, когда Москва спокойно смотрела на изгнание в 1923 году 2,5 млн. греков из Турции (20 процентов населения!), на избиение последних остатков турецких армян и ассирийцев, скрывавшихся после резни 1915 года среди курдских племен, — последние армяне на востоке Анатолии были перебиты примерно к 1930 году (исключение составила лишь небольшая — примерно 50 тыс. человек — группа так называемых хемшинов, то есть армян, принявших ислам и перешедших на турецкий язык. Но и они даже в сегодняшней Турции — неравноправная группа населения). Можно вспомнить и другие эпизоды: сотрудничество коммунистов с исламскими повстанцами в Индии в 30-х годах, аналогичные действия в китайском Синьцзяне, в Марокко в период войн 1921 — 1936 годов, в период Сирийского национального восстания 1925 — 1927 годов, восстаний в Ираке в 1930, 1936 и 1940 годах, в Палестине в 1929, 1933, 1936 — 1939 годах. Показательно, что и в Сирии, Палестине, Египте и Ираке повстанцы-мусульмане избивали не только и не столько «колонизаторов» — англичан и французов (в Палестине в основном евреев), но и своих сограждан христианского вероисповедания, в частности представителей армянских общин.

Сотрудничество коммунистов и исламских фундаменталистов имеет, на мой взгляд, не только конъюнктурные причины. Есть тут особая глубинная связь, вряд ли понятная самим носителям этих разрушительных идей. Она лежит в области социальной психологии и не может иметь никакого рационального объяснения, причем зачастую даже вредит всем участникам этого противоестественного альянса. Об общей для тех и других неприязни к европейской цивилизации и христианским ценностям уже говорилось — это основа взаимных симпатий. Если прибавить неприятие духовной и экономической свободы как естественного состояния человека, отрицание свободы воли, ценности человеческой жизни, подозрительность к материальному достатку (кроме «заслуженных товарищей», разумеется), мечту о «золотом веке», крайний иррационализм мышления, неизбежную для любого крайнего течения ксенофобию, мы получаем питательную среду для экстремистских движений самого различного толка, но в первую очередь для коммунистов, исламских фундаменталистов, фашистов и нацистов.

О внутренней близости этих течений говорит очень многое. В годы Второй мировой войны в арабских странах существовало очень сильное нацистское движение; так, Гитлер был кумиром египетских, сирийских, палестинских и иракских исламских националистов. Ирак в мае 1941 года даже воевал с Англией и на короткое время стал союзником Германии и Италии. Многочисленные пронацистские группы, созданные в арабских странах, в конце 40-х годов качнулись в сторону Москвы: так, «свободные офицеры» в Египте, Судане, Ираке, Ливии и Йемене объединились с местными марксистскими группами, сохраняя, впрочем, нацистскую идеологию и неприкрытые симпатии к гитлеровцам. Общеарабская Партия арабского социалистического возрождения

(БААС), находящаяся у власти в Сирии и Ираке и представляющая немалую силу в Судане, Йемене, Иордании и Ливане, возникла в 1954 году путем механического слияния исламско-экстремистских, нацистских и марксистских групп. «Свободные офицеры» в Египте, сотрудничавшие с Роммелем, к числу которых, к слову сказать, принадлежал и будущий премьер Египта, Герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер, захватили власть в стране в 1954 году, ассимилировав коммунистические группы, создали Арабский национальный Союз (с 1962 года — Арабский Социалистический Союз) и сделали ближайшими союзниками Москвы. Интересно, что даже лишенный всякой информации, одурманенный КПСС советский народ крайне болезненно воспринимал дружбу с «социалистическим» Египтом. «Отберите орден у Насера, не подходит к ордену Насер!» — хрипел Высоцкий. Малоэффективная помощь нацистско-марксистским режимам в Алжире, Ливии, Египте, Сирии, Ираке, Судане, Йемене продолжалась до крушения СССР.

В итоге левосоциалистический Израиль, в котором симпатии к СССР были очень велики, оказался союзником США и НАТО, поскольку поддержкой Москвы пользовались арабские национал-исламистские режимы, воевавшие с Израилем. Кстати, малоизвестный факт: кроме Испании, Парагвая и Аргентины нацистские преступники в большом количестве обосновались в Дамаске и Каире, где работали на местные национал-социалистические режимы. Некоторые из них до сих пор доживают свой век в уютных особняках элитных пригородов Дамаска.

Стоит вспомнить и о том, что в Иране с 60-х годов возникли военно-политические движения, совмещающие исламизм и коммунизм, при этом яростно враждебные западной культуре. Эти течения — «моджахеддины» и «федаины» — с 1969 года партизанили против реформатского режима шаха Мохаммеда Резы, чем немало способствовали приходу к власти хомейнистов, а затем, в 1981 году, подняли восстание против вчерашних союзников. «Федаины» постепенно были истреблены армией и полицией, а «моджахеддины» до сих пор время от времени совершают вооруженные вылазки против тегеранского режима. Не удивительно, что их покровителем давно стал Саддам Хусейн, иракский лидер партии БААС.

Разумеется, все изложенное выше не имеет цели ставить под сомнение историческое величие исламской религии и мировую ценность исламской цивилизации. В IX — XIII веках мусульманские страны значительно превосходили христианскую Европу по уровню развития науки и культуры. Мавританская Кордова была настоящим центром высшего образования, равного которому не было ни в одной христианской стране. Более того, Кордовский халифат и сельджукские султанаты в Анатолии демонстрировали тогда веротерпимость, невероятную для католических стран того времени. Да, в рамках ислама всегда действовали и существуют сейчас традиции веротерпимости, приоритета высших духовных и культурных ценностей над культом силы. Например, такие секты, выросшие из шиизма, как друзы, исмаилиты и особенно бахаиты, основной упор делают на создание светского государства, терпимость, свободу выбора. На позициях толерантности стоит и большинство деятелей суннизма. Но здесь речь о другом: о проникновении и ассимиляции исламом ряда агрессивных, экстремистских концепций отчасти европейского происхождения. Именно в результате процессов такого рода, обусловленных конкретно-историческими причинами, возник так называемый исламский фундаментализм, отличающийся непримиримой воинственностью.

Россия на границе исламского мира

...Независимая Россия существует уже семь лет — без всякой твердой внешнеполитической концепции. Все союзы, соглашения и договоры с зарубежными странами определяются сиюминутными, а не долгосрочными интересами узких политических и финансовых кругов.

Например, Россия собирается строить в Турции заводы по выпуску новейшей бронетехники, суперсовременных самолетов и вертолетов. Если турецкая армия заменит старые «Фантомы» на Су-37, получит, как планируется, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», танки типа Т-90, уникальные артиллерийские системы «Мста-С» и «Тунгуска», зенитно-ракетные комплексы «Фаворит» и прочие подобные системы вооружений, турецкое доминирование в Закавказье, на Ближнем и Среднем Востоке станет абсолютным. Если сегодня российские погранзаставы в Грузии и Армении обстреливаются из старых американских пулеметов «Браунинг», то вскоре их смогут громить при помощи нашего же современного оружия. Чеченские сепаратисты, дагестанские экстремисты, все, работающие на вытеснение нас из этого региона, получают новейшее вооружение, которое может быть использовано против России и ее союзников.

В Армению поступает кое-какая помощь из России, но, похоже, наши политики больше волнуются за судьбу российских акций в азербайджанских нефтяных компаниях. В Армении стоит российская 7-я армия и погранвойска, и Армения крайне заинтересована в российском присутствии, тем более что других созников у нее нет.

Азербайджан, добившийся вывода всех российских войск, игнорирует российские экономические интересы по вопросу раздела каспийского шельфа, демонтировал жизненно необходимую для российской армии станцию космического слежения. Тем не менее Баку получил огромные склады оружия и боеприпасов, что по меньшей мере странно, учитывая не особенно дружелюбное отношение всех бакинских режимов к России².

Россия, безусловно, является неотъемлемой, хотя и очень своеобразной частью европейской цивилизации, вопреки мнениям как наших евразийцев, так и ряда западных политологов. Последние выдумали некую «славяно-православную» цивилизацию, помещаемую ими где-то рядом с исламской. Сейчас России выгоднее всего акцентировать внимание на своей принадлежности к Европе, не забывая, впрочем, о своих собственных интересах. А интересы подразумевают наличие традиционных союзников, готовых их поддержать — себе на пользу. В Закавказье и Передней Азии таким союзником, без сомнения, является Армения, потенциально — Грузия и в определенной степени Иран. При наличии асимметричных союзов такого рода, где Россия в силу экономической, военной и научной мощи неизбежно будет играть руководящую роль, наши интересы на Юге будут неплохо защищены.

В противном случае границам нашей страны грозит откат к Пятигорску и Ессентукам, и тогда о каком-либо российском влиянии в Закавказье и Передней Азии — а в перспективе и в Центральной Азии — можно будет забыть.

² В рамках данного разговора следует обратить внимание и на иную точку зрения, сформулированную, например, уже в заглавии статьи кандидата исторических наук Григория Волынского «Продолжаем делить на своих и чужих. Геноциду подвергались и азербайджанцы» («Общая газета», 1998, № 17). (Примеч. отдела публицистики.)



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ЖМУ ВАШУ РУКУ, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ»

Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина

Предлагаем вниманию читателей продолжение переписки М. Горького и И. Сталина (1932 — 1933 годов), хранящейся в Архиве Президента Российской Федерации (АПРФ), ф. 45, оп. 1, д. 718, 719, 720 и ф. 3, оп. 34, д. 67. Начало см.: «Новый мир», 1997, № 9. Окончание публикации планируется в 1999 году.

По ксерокопиям, переданным из АПРФ в Архив А. М. Горького, письма № 3 — 5 опубликованы в книге «М. Горький. Неизданная переписка с Богдановым, Лениным, Сталиным, Зиновьевым, Каменевым, Короленко». Серия «М. Горький. Материалы и исследования». Вып. 5. М., «Наследие», 1998, стр. 291 — 295.

АГ — Архив А. М. Горького при Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

Арх. Г. — «Архив А. М. Горького». М., 1939 — 1976.

1

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<25 января 1932 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович —

Прилагая копию письма моего Илье Ионову¹, я очень прошу Вас обратить внимание на вреднейшую склоку, затеянную этим ненормальным человеком и способную совершенно разрушить издательство «Академия». Ионов любит книгу, это, на мой взгляд, единственное его достоинство, но он недостаточно грамотен для того, чтоб руководить таким культурным делом. Я знаю его с 18-го года, наблюдал в течение трех лет, он и тогда вызывал у меня впечатление человека психически неуравновешенного, крайне — «барски» — грубого в отношениях с людьми и не способного к большой ответственной работе. Затем мне показалось, что поездка в Америку несколько излечила его, но я ошибся, — Америка только развила в нем заносчивость, самомнение и мешанскую — «хозяйскую» — грубость. Он совершенно не выносит людей умнее и грамотнее его и по натуре своей — неизлечимый индивидуалист в самом плохом смысле этого слова.

Мне кажется, что его следовало бы заменить в «Академии» другим человеком, и — не одним даже. Не пригодятся ли на эту работу: Лев Каменев², Сутырин³, П. С. Коган⁴ или кто-нибудь другой? Дело очень крупное, требует больших знаний.

Тихонов⁵ и Виноградов⁶ защищаются мною отнюдь не по личным симпатиям, а именно потому, что это люди знающие. Сейчас я составляю планы изданий для молодежи — «История женщины от первобытных времен до наших дней»⁷, «Историю всемирного купца»⁸, «Историю русского быта»⁹, т. е. историю средней буржуазии, — мешанства. Работа над этими изданиями требует серьезных культурных сил.

Публикация, подготовка текста, комментарии Т. ДУБИНСКОЙ-ДЖАЛИЛОВОЙ и А. ЧЕРНЕВА.

Прилагаю также письмо некоего Иринина¹⁰. Я не знаю — кто он, но слышал, что служит в одном из наших берлинских учреждений. Письмо — сумбурное, как видите.

За три недели, которые прожил у меня Авербах¹¹, я присмотрелся к нему и считаю, что это весьма умный, хорошо одаренный человек, который еще не развернулся как следует и которому надо учиться. Его нужно бы поберечь. Он очень перегружен работой, у него невроз сердца и отчаянная неврастения на почве переутомления. Здесь его немножко лечили, но этого мало. Нельзя ли ему дать отпуск месяца на два, до Мая? В Мае у него начинается большая работа, большая работа по съезду писателей¹² и подготовке к празднованию 15 Октября.

Очень прошу Вас: распорядитесь, чтоб выпустили сюда литератора Мих. Слонимского¹³, он едет для работы над новым романом. Слышу много отрядного о произведениях Шолохова, Фадеева, Ставского, Горбунова¹⁴, кажется, 32-й будет урожайным годом по литературе.

Завтра в Неаполе спускают на воду второй траллер «Амурец», недавно спущен и ушел на Дальвосток — «Уссуриец». Очень хороши ребята — командный состав — на этих судах. Третье судно будет спущено в феврале.

Огорчен я тем, что развернутый план «Истории гр<ажданской> войны» все еще не проверен¹⁵. Так хотелось бы выпустить первый том ее к 15 году!

О намерениях италианцев не буду писать, наверное, Вы знаете это лучше меня.

Имею к Вам просьбу: не пора ли восстановить в партии Владимира Зазубрина¹⁶, сибирского писателя? Человек он прекрасно настроенный, написал очень хороший роман «Горы»¹⁷, а наказан — достаточно крепко. И едва ли заслуженно в такой мере. Очень ценный человек.

Будьте здоровы, крепко жму руку.

А. Пешков.

25.I.32.

Авторизованная машинопись с правкой Горького (лл. 134 — 135). Последняя фраза, подпись и дата — автографы. По поручению Сталина зав. секретным отделом ЦК ВКП(б) А. Н. Поскребышев 3 февраля 1932 года направил письмо «для ознакомления» секретарям ЦК ВКП(б) Л. М. Кагановичу и П. П. Постышеву.

¹ Ионов Илья Ионович (1887 — 1942) — поэт, издательский деятель; первый председатель правления издательства Петросовета (впоследствии Ленгиз), в 1928 — 1929 годах заведовал издательством «Земля и фабрика», затем издательством «Academia», был председателем акционерного общества «Международная книга». В 1937 году репрессирован, погиб в Севлаге. Реабилитирован.

В 1918 году обратился к Горькому за разрешением издавать его рассказы отдельными брошюрами — первая из них, «На плотях», в двадцать страниц, вышла тогда же, остальные семь, в частности «Коновалов», «Скуки ради», «Челкаш», — в 1919-м. С 1926 года до начала 1928-го работал в Америке, в «All Russian textile syndicate»; 28 января 1927 года сообщил в Сорренто: «...закупаю в Соединенных Штатах хлопок» (АГ, КГ-п 31-8-7).

К данному письму Горький приложил копию своего письма Ионову от 23 января 1932 года (авторизованная машинопись с авторской правкой — АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 718, лл. 136 — 137; опубликовано по машинописной копии, заверенной П. П. Крючковым: *Арх. Г.*, т. 10, кн. 1, М., 1964, стр. 80 — 81). Писатель «защищал» А. Н. Тихонова и А. К. Виноградова от обвинений Иопова (см. также примеч. 5 и 6). Конфликт возник в связи с предполагающимся одновременным изданием серии романов «История молодого человека XIX столетия» в издательствах «Academia» и «Журнально-газетное объединение». Горький настаивал именно на двух изданиях, Ионов — категорически возражал (24 выпуска серии под редакцией Горького и Виноградова вышли в «Жургаз-объединении» в 1932 году).

5 февраля 1932 года Ионов писал Горькому: «Вы считаете меня ненормальным. Я знаю случаи, за время моего долголетнего сидения в царской каторге, когда совершенно здоровых товарищей упрятывали в сумасшедшие дома. <...> Со мной проделывали то же самое <...> я и там не изменился. <...> Я убежден, что совершенно здорового рабо-

тоспособного коммуниста. 28 лет работающего в партии, имеющего заслуги на фронте гражданской войны и в области культурной и хозяйственной работы, — чтобы такого товарища Партия позволила бы кому бы то ни было объявлять ненормальным... Но если надо, чтобы при Вашем содействии торжествовал здравый рассудок рвачей и халтурщиков, тогда я, конечно, предпочту оставаться с тем определением, которым Вы заканчиваете свое „дружеское” письмо к товарищу, которого Вы считали когда-то лучшим работником. <...>» (АГ, КГ-п 31-8-13). В исходе спора с Горьким Ионов не сомневался: «...я знаю, что после Вашего письма работа над книгой для меня закрыта...» (из письма Горькому от 3 марта 1932 года — АГ, КГ-п 31-8-15). О решении Сталина см. постскриптум к письму от 28 января 1932 года; письмо 2.

В апреле 1932 года Ионов был назначен председателем акционерного общества «Международная книга».

² Каменев Лев Борисович (1883 — 1936) — государственный и партийный деятель, публицист, литературный критик. Принимая активное участие во внутрипартийной борьбе 20 — 30-х годов, с 1925-го все чаще оказывался в оппозиции к сталинской линии (трижды исключался из партии: в 1927, 1932, 1934 годах), вследствие чего постепенно терял политическое влияние. В 1927 — 1928 годах полпред СССР в Италии, навещал Горького в Сорренто. В 1932 году назначен директором издательства «Academia», в начале мая 1934-го — директором Института литературы им. Горького при ЦИК СССР (ныне ИМЛИ им. А. М. Горького РАН) и Института русской литературы (Пушкинский дом). 16 января 1935 года приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу «Московского центра» за идеологическое и политическое пособничество убийцам тов. С. М. Кирова («Правда», 1935, 18 января). 27 июля того же года осужден еще на десять лет тюрьмы по «Кремлевскому делу» за участие в подготовке террористического акта против Сталина. На процессе «Троцкистско-зиновьевского объединенного террористического центра», проходившего в августе 1936 года, признан одним из «прямых организаторов» убийства Кирова, терактов «против руководителей ВКП(б) и советского правительства» («Правда», 1936, 20 августа). Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован в июне 1988 года.

Переписка Горького и Каменева 1919 — 1935 годов, хранящаяся в АГ, свидетельствует о теплых личных отношениях. Последнее большое письмо Каменев написал Горькому 17 января 1935 года, то есть на следующий день после первого приговора.

Версия, будто вследствие заступничества Горького за Каменева вождь перестал с 1935 года посещать дом писателя, документами не подтверждается. Они пока не дают оснований говорить о том, было ли вообще заступничество или его не было. 13 апреля 1935 года Горький сообщил Постышеву, что «третьего дня» у него гостил Сталин и положительно отозвался на просьбу помочь молодому журналисту: «И. В. написал на письмо: „Принять в комсомол, дать работу в местной прессе” ...» (АГ, ПГ-рл 31-27-6).

³ Сутырин Владимир Андреевич (1902 — 1985) — литературный критик, кинодраматург. В 1928 — 1932 годах генеральный секретарь Всесоюзного объединения ассоциации пролетарских писателей. После роспуска рапповских организаций уехал летом 1933 года на строительство Беломорско-Балтийского канала, работал начальником Туломской ГЭС. В письмах обещал Горькому рассказывать «о лагерных буднях и о мыслях по поводу них новоиспеченного чекиста (произношу это слово с мальчишеской гордостью)» (АГ, КГ-ди 10-7-5). Однако касался преимущественно проблем советской кинематографии, в этой области впоследствии и работал.

⁴ Коган Петр Семенович (1872 — 1932) — историк русской и западноевропейской литературы, критик, переводчик. В 1911 — 1918 годах приват-доцент Петербургского университета, затем профессор МГУ, Всесоюзного литературно-художественного института, Исследовательского института археологии и искусствоведения; с 1921 года президент основанной им Государственной академии художественных наук. О пометах Сталина на одной из основных работ Когана — двенадцать раз переиздававшихся до Октября «Очерках по истории западноевропейских литератур» (т. 1 — 3, М., 1909) — см.: Громов Е. Сталин: власть и искусство. М., 1998, стр. 32 — 33.

В мае 1927 года посетил Горького в Сорренто (см.: Коган П. Встречи и впечатления. У Горького. — «Вечерняя Москва», 1927, 1 и 3 июня). В 1928 году издал книгу «Горький». Переписку Горького и Когана 1924 — 1929 годов см.: «Литературное наследство», т. 70. М., 1963, стр. 199 — 219. Ко времени данного письма их объединяла совместная работа над сериями «Библиотека классики», «Современная иностранная библиотечка», над изданием сочинений Романа Роллана (см.: Роллан Р. Собр. соч. С предисловием автора, М. Горького, А. Луначарского и С. Цвейга. Под общей редакцией П. С. Когана и С. Ф. Ольденбурга. Т. 1 — 20. Л., 1930 — 1935).

⁵ Тихонов Александр Николаевич (1880 — 1956) — писатель, друг Горького, принимал активное участие во многих его редакционно-издательских начинаниях: 1-й и 2-й сборники пролетарских писателей, журнал «Летопись», издательство «Парус», га-

зета «Новая жизнь»; после Октябрьских событий: журнал «Русский современник», издательства «Всемирная литература», «Круг», «Федерация», «Academia», «История фабрик и заводов», серии книг «Жизнь замечательных людей», «Исторические романы» и др. (см. письма Горького Тихонову в кн.: «Горьковские чтения. 1953 — 1957». М., 1959, стр. 8 — 98). О встречах с Горьким рассказал в книге: Серебров Александр [А. Н. Тихонов]. *Время и люди. Воспоминания 1898 — 1905*. М., 1949.

Ионов обвинял председателя правления Госиздата А. Б. Халатова в том, что «он держит на службе „Академии“ двух „контрреволюционеров и белогвардейцев“ (имеются в виду Тихонов и Виноградов. — *Публ.*)» (*Арх. Г.*, т. 10, кн. 1, стр. 81). В письме Ионову от 23 января 1932 года Горький, отрицая «это серьезное обвинение», активно их защищал (там же, стр. 81 — 82). Тихонов работал в издательстве «Academia» до 1936 года.

⁶ Виноградов Анатолий Корнелиевич (1888 — 1946) — писатель, литературовед, переводчик. Директор Румянцевского музея, после его реорганизации — Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (1921 — 1925). Автор историко-биографических книг; некоторые рукописи Виноградова с правкой Горького хранятся *АГ*, в частности, с многочисленной правкой — машинопись романа «Три цвета времени», изданного в 1931 году с предисловием Горького. Редактор изданий классиков иностранной литературы в Гослитиздате, издательстве «Academia», откуда был уволен Ионовым в декабре 1931 года. В этом же году подготовил к печати сборник писем «Ромен Роллан — корреспондент М. Горького» (не издан). Впечатлениями о Горьком-редакторе в период совместной работы над серией «История молодого человека XIX столетия» поделился в очерке: Виноградов А. Ответственный редактор М. Горький. История молодого человека. — «Литературная газета», 1932, 23 сентября; расширенный вариант в кн.: Балзак О. Шагреневая кожа. В серии романов под ред. М. Горького и А. Виноградова «История молодого человека XIX столетия». Вып. 20 — 21. М., 1932, стр. 5 — 8. Переписку Горького и Виноградова 1928 — 1936 годов см.: «Знамя», 1968, № 3, стр. 175 — 207.

⁷ В конце 1931 года Горький задумал издание книг «История женщины в XIX веке», предполагал опереться в работе на Виноградова и М. Кольцова, но тогда серия не вышла. В 1933 году Горький привлек к изданию Институт истории материальной культуры АН СССР; сотрудники института составили проспект книги «История женщины», писатель дополнил его и опубликовал (см.: Горький М. О женщине. — «Большевик», 1934, № 7; а также: «[Ответ А. Г. Пригожину на его замечания к статье М. Горького „О женщине“]». — *Арх. Г.*, т. 12. М., 1969, стр. 173 — 174). Издание не осуществлено.

⁸ Замысел Горького не реализован.

⁹ Серию книг «История городов как история русского быта» планировали выпустить в издательстве «Academia» историк В. И. Невский и А. Н. Тихонов. По просьбе последнего Горький в декабре 1931 года написал план серии (см.: «Литературное наследство». Т. 70, стр. 393 — 395), а в 1934-м — план одного из очерков для издания — «Нижний Новгород» (см.: *АГ*, Пл-Г 1-14-2). Однако ни одна из книг серии в свет не вышла.

¹⁰ Настоящую фамилию Иринина установить не удалось. В письме Горькому есть авторская приписка: «Иринин — мое политическое имя» — и указан парижский адрес. Иринин писал о «необходимости двухпартийного построения авангарда пролетариата. Конкретно говоря: целесообразно создание в СССР параллельно ВКП(б) Всесоюзной Рабоче-Крестьянской партии (большевиков) с теоретическим фундаментом Маркс — Ленин, с программой от ВКП(б) при незначительном ее изменении». Подчеркнуто красным карандашом Сталиным, рядом на полях он поставил знаки «?» и «!», имеются другие его пометы (см.: АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 718, лл. 138 — 140).

¹¹ Авербах Леопольд Леонидович (1909 — 1937) — литературный критик, журналист. Сын богатого нижегородского купца, воспитавшего сироту Генриха Ягоду, который женился на сестре Авербаха; по материнской линии — племянник братьев Свердловых, старший из них, З. М. Свердлов (З. А. Пешков), — крестник Горького, считавшего его своим приемным сыном (см.: Пархомовский М. А. Сын России, генерал Франции. Об удивительной жизни З. А. Пешкова и необыкновенных людей, с которыми он встречался. М., 1989). С 1918 года на комсомольской работе: член ЦК КСМ первого состава, один из руководителей Коминтерна молодежи. Ответственный редактор первой комсомольской газеты «Юношеская правда» (1920), журналов «Молодая гвардия» (1922), «Уральский рабочий» (1923 — 1925), «На литературном посту» (1926 — 1932). В эти последние годы — ответственный секретарь правления РАПП. В октябре 1932 года по настоянию Горького был введен в Оргкомитет Союза советских писателей; незадолго до этого Сталин выполнил другую просьбу Горького относительно Авербаха — утвердил его секретарем издания «История фабрик и заводов».

В рамках этой серии по инициативе Авербаха «коллективом литераторов, которым он руководил», как писал Горький Сталину 9 марта 1934 года (АПРФ, ф. 45, оп. 1,

д. 720, л. 8), была создана книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. Под ред. М. Горького, Л. Л. Авербаха, С. Г. Фирина» (М., 1934). Входил в редколлегия первых томов «Литературного наследства». В начале 1934 года был отправлен на партийную работу на «Уралмаш» (Свердловск). В 1937 году в прессе возобновилась критика «ютившихся в РАПП троцкистских последышей вроде Авербаха» (передовая статья «Художественная литература победившего социализма». — «Правда», 1937, 23 апреля) за попытку «создать второй, параллельный центр в литературе в противовес тому, который создан ЦК» (Юдин П. Почему РАПП надо ликвидировать. — Там же); Авербах обвинялся еще в том, что «спайвал» сына Горького Максима (см.: Кирпотин В. Троцкистская агентура в литературе. — «Правда», 1937, 17 мая). 14 августа 1937 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован.

Авербах приехал в Сорренто в самом начале (до 7-го числа) января после поражения в литературных дебатах осени — зимы 1931 года с комсомолом и новыми членами руководства Ассоциации («Группой Панферова»). «Правда» — поддержала его оппонентов: критиковала «систему руководства РАПП», оповестила, что «партия ставит вопрос о перестройке всей организации» («Отчет V пленума правления РАПП». — «Правда», 1931, 8 и 9 декабря; подробно см.: Шешуков С. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов. М., 1970, стр. 259 — 336; Примочкина Н. Писатель и власть. М., 1996, стр. 114 — 137).

¹² Запланированный на май 1932 года съезд пролетарских писателей СССР не состоялся.

¹³ Писатель Михаил Леонидович Слонимский (1897 — 1972) 7 января 1932 года обратился к Горькому с просьбой «ускорить в Москве» оформление его документов для поездки на полтора месяца за границу «для собирания материалов по „Повести о Левинэ“» (АГ, КГ-п 72-3-24; впервые напечатана: «Знамя», 1935, № 1).

¹⁴ Незадолго до этого Халатов извещил Горького, что в портфеле Госиздата — «две новые вещи Шолохова» (Арх. Г., т. 10, кн. 1, стр. 258): третья часть «Тихого Дона» (впервые: «Октябрь», 1929, № 1 — 3; 1932, № 1 — 8 и 10) и первая часть «Поднятой целины» (впервые: «Новый мир», 1932, № 1 — 9). Кроме того, имеются в виду: вторая часть романа А. А. Фадеева «Последний из удэге» (впервые: «Красная новь», 1932, № 3 — 6 и 8 — 9), рассказы В. П. Ставского (сборники «Сильнее смерти», «Колхозные записки», оба — 1932) и К. Я. Горбунова, составившие сборник «Жалость» (1932).

¹⁵ Неоднократно излагая в письмах Сталину план издания «История гражданской войны в СССР», в дальнейшем ИГВ (см., в частности: «„Жму Вашу руку, дорогой товарищ“». Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина». — «Новый мир», 1997, № 9, стр. 190, примеч. 16), писатель в развитие темы отправил примерно 7 сентября 1930 года письмо «Товарищам И. В. Сталину, А. И. Рыкову, М. Н. Покровскому, К. Е. Ворошилову, А. С. Бубнову, Гамарнику, Менжинскому» (АГ, ПГ-рл 41-27-1; без даты, датируется по письму Горького Крючкову от 7 сентября 1930 года — там же, 21^а-1-326, 327), в котором «представил их критике план этой работы, составленный 6 августа <1930 года> на совещании работников Госиздата...» и свои «соображения как редактора» (там же). Подробный план напечатан на машинке, большое письмо Горький написал от руки, разделив его на темы: «Общие соображения», «Редакция», «О сроках работы»; в последнем сказано: «Первого Сен. 31 г. открывается подписка на Историю. Последний срок сдачи рукописи Август 31 г.» (там же). Сталин отклонил некоторые предложения писателя (см. письмо 2), в течение почти двух лет план ИГВ дорабатывался. Возможно, данное письмо Горького ускорило выход брошюры «История гражданской войны. План издания, утвержденный Главной редакцией 27 мая 1932 года» (М., 1932).

Первый том ИГВ появился в 1936 году (тираж начали печатать в октябре 1935-го).

¹⁶ В партии В. Я. Зазубрин восстановлен не был.

¹⁷ Первую часть романа Зазубрина «Горы» Горький читал в рукописи (конец лета 1931 — зима 1932 года), редактировал, помогал автору советами, содействовал публикации в «Новом мире» (1933, № 6 — 12; см.: Арх. Г., т. 10, кн. 2. М., 1965, стр. 367 — 382).

2

И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<28 января 1932 года. Москва.>

Дорогой Алексей Максимович!

Наконец-то вырвался из цепи и могу написать Вам ответ.

Молчать целых 2 месяца — это, конечно, свинство. Но посудите сами: а) работа по подготовке хозяйств<енного> плана на 32 год¹; б) одновременно

работа по подготовке директивы для составления пятилетнего плана²; в) одно-временно работа по организации обороны на Дальнем Востоке³; г) одновременно тысячи текущих вопросов, не терпящих отлагательства... А я ведь только человек и к тому же далеко не совершенный.

Подготовительную работу по XVII партконференции⁴ можно считать законченной, и теперь я более или менее свободен.

1) Загвоздка с делом об «Истории гражданской войны» состоит не в том, в чем Вы ее усматриваете⁵. Не хотите художников-литераторов, — ну и не надо, — не будем спорить с Вами. Загвоздка в том, что: а) «программа» не подходит и ее надо изменить (нам нужна не узко-военная история⁶, а гражданская история); б) подбор работников не подходит и состав их требует изменения (пришлось устранить Кина⁷, Минца⁸ и их хвосты; опираться на Эйдемана, как на главного организатора дела⁹, не разумно; Гамарнику пришлось уехать по военным делам на Дальний Восток, и он может вернуться в Москву лишь в начале марта¹⁰).

Вот почему задержалось дело с «Историей гражданской войны». — Теперь дело пойдет быстрее.

2) Ваше предложение насчет издания «К чему все это»¹¹ (нечто вроде истории России с первых дней капитализма до наших дней), конечно, правильное. Но едва ли удастся нам организовать это дело к 15 годовщине Октябрьской революции. Все мы страшно заняты, и текущие вопросы поглощают почти все наше рабочее время. Это не мое личное время. Это мнение всех наших друзей.

3) То же самое нужно сказать о популярной книжке «Как в Союзе Советов законы создаются»¹², если Вы считаете ее издание срочным.

4) Если пришлете главу из книги Росселя, обязательно издадим¹³.

5) Отобрать книги для Англо-Американского издательства обязательно следует, и мы это сделаем незамедлительно, о чем сообщим Вам (и Крючкову)¹⁴.

Чубарь¹⁵ рассказывает, что был у Вас и нашел Вас в «полном здравьи». Это очень хорошо. Берегите здоровье ради всего святого.

Я здоров. Одно время (недели на две) лишился было сна (переутомление!), но потом дело у меня выправилось, и теперь чувствую себя превосходно.

Дела идут у нас хорошо. Напираем всюду на металлургию¹⁶, — наиболее трудное звено нашей промышленности в данный момент. Не сомневаюсь, что в каких-нибудь 5 — 6 месяцев преодолеем и эту трудность.

Ну, кажется, пока все.

Крепко жму руку.

Ваш И. Сталин.

28.I.32.

Р. С. 31-го января получил Ваше последнее письмо¹⁷ насчет «Академии» и Ионова. Последнего придется снять с «Академии».

И. Ст.

Автограф (лл. 144 — 149). Письмо написано фиолетовыми чернилами, постскрип-тум — синим карандашом. Подчеркивания принадлежат Сталину.

¹ «Народнохозяйственный план Союза ССР (контрольные цифры) на 1932 год» утвержден на Второй сессии ЦИК СССР VI созыва (1931, 23 — 28 декабря). В докладе Председателя СНК СССР В. М. Молотова называлась одна из основных задач 1932 года: «завершить пятилетний план» («Правда», 1931, 25 декабря) — таким образом, впервые был выдвинут лозунг всех последующих лет: «Пятилетка в четыре года».

² 22 января 1932 года «Правда» опубликовала «Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного хозяйства СССР (1933 — 1937 гг.). Тезисы по докладам т.т. Молотова и Куйбышева на XVII конференции ВКП(б), одобренные в основном Политбюро ЦК ВКП(б)».

³ Советское руководство увеличивало контингент Особой Дальневосточной армии под командованием В. К. Блюхера в связи с военным «инцидентом» в Маньчжурии, закончившимся в январе 1932 года захватом Японией северо-восточной части Китая.

⁴ XVII конференция ВКП(б) проходила в Москве 30 января — 4 февраля 1932 года.

⁵ См. письмо Горького Сталину от 12 ноября 1931 года («Новый мир», 1997, № 9, стр. 186 и стр. 190, примеч. 16).

⁶ В одном из писем писатель сформулировал свое мнение: «...изучение военной (подчеркнуто Горьким. — *Лубл.*) истории гражданской войны» (*АГ*, ПГ-рл 41-21-16). В связи с этим он отводил приоритетную роль в работе над ИГВ «военным редакторам», которые должны были «просматривать и редактировать рукописи под углом зрения военной истории» (*АГ*, ПГ-рл 41-27-1); о задачах «художников-литераторов» см. следующее письмо).

⁷ Кин Виктор Павлович (1903 — 1937) — журналист, писатель; известность принес роман «По ту сторону» (1928). До 1924 года — на партийно-комсомольской работе на Дальнем Востоке, Урале; затем — в Москве: редактор газеты «На смену», фельетонист «Комсомольской правды», «Правды». В 1931 — 1936 годах корреспондент ТАСС в Италии и во Франции, в 1937-м — редактор журнала «Le Journal de Moscou». 3 ноября того же года был арестован и погиб. Реабилитирован.

До июня 1931 года Кин входил в редколлегия ИГВ, в дальнейшем его участие в этом издании по документу не прослеживается.

⁸ Минц Исаак Израилевич (1896 — 1991) — историк, академик АН СССР. Во время Гражданской войны — на политической работе в Красной Армии. С 1932 года заведовал кафедрами истории в МИФЛИ, МГУ, Высшей партийной школе при ЦК КПСС; профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС. В горьковской Главной редакции ИГВ — ответственный секретарь, принимал активное участие в подготовке двух первых томов издания; 21 января 1936 года писал Горькому: «...приступил к перделке II-го тома <...>, надеюсь в течение пяти недель закончить работу и сдать том в набор» (*АГ*, КГ-уч 8-6-2. Второй том ИГВ вышел в 1942 году). Работа Минца над первым и вторым томами ИГВ отмечена Государственной премией СССР (1943).

⁹ Р. П. Эйдеман возглавлял в это время комиссию, разрабатывающую план ИГВ; Горький предлагал назначить его «военредактором» «...IV и V томов — Махно, VI тома — Крым» (*АГ*, ПГ-рл 41-27-1; см. также: «Новый мир», 1997, № 9, стр. 190, примеч. 18 и 19).

¹⁰ См.: «Новый мир», 1997, № 9, стр. 190, примеч. 19.

^{11, 12} Ответ на письмо Горького от 12 ноября 1931 года (см.: «Новый мир», 1997, № 9, стр. 187 — 188 и стр. 190, примеч. 20). Позднее писатель отправил Сталину «Набросок плана книги „К чему все это? Рассказ о буржуазном и социалистическом хозяйстве“» (см.: *Арх. Г.*, т. 3. М., 1951, стр. 198 — 203, а также письмо 9 и примеч. к нему).

¹³ Речь идет о переводе главы из книги английского философа Бертрانا Рассела «Научная перспектива», которую Горький, видимо, так и не прислал (см.: «Новый мир», 1997, № 9, стр. 188 и стр. 190, примеч. 23, 24), хотя выдержки из нее цитировал в статье «Ответ гражданину» (см.: *Арх. Г.*, т. 12, стр. 162).

¹⁴ Ответ на письмо Горького от 1 декабря 1931 года (см.: «Новый мир», 1997, № 9, стр. 191 и стр. 192, примеч. 2).

¹⁵ Чубарь Влас Яковлевич (1891 — 1939) — государственный и партийный деятель. С 1923 года председатель Совнаркома Украины; член Политбюро ЦК КП(б) Украины. В 1934 году стал зам. председателя Совнаркома и Совета труда и обороны СССР, в 1937-м — наркомом финансов СССР. Работал начальником Соликамского строительства ГУЛага НКВД СССР, когда в июле 1938 года был арестован; 28 февраля следующего года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован.

Уточнить время посещения Чубарем Сорренто не удалось. Кроме письма ему Горького от 3 августа 1932 года касательно серии «История фабрик и заводов» (опубликовано в сб.: «А. М. Горький и создание истории фабрик и заводов». М., 1957, стр. 210 — 212) в *АГ* хранятся две телеграммы Чубаря: по случаю смерти М. А. Пешкова и извещающая писателя, что «проверка не подтвердила факта голодания» на Украине: «Жалоб, претензий никому не заявлено (КГ-од 2-18-1). Видимо, это ответ на какое-то ходатайство Горького, который получал письма, например, от И. И. Иванова, с просьбой: «...спасите Украину, умирает от голода: мрут люди всех возрастов» (КГ-рл П-77-1).

¹⁶ 1932 год был объявлен «годом решительного подъема черной металлургии» («Правда», 1932, 16 января).

¹⁷ Имеется в виду предыдущее письмо Горького.

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<Между 4 и 9 февраля 1932 года¹. Сорренто.>

Спасибо за письмо, дорогой Иосиф Виссарионович. Зная, как много Вы работаете, я, разумеется, не претендую на частую переписку с Вами, но — живу я письмами из Москвы, это главное мое «духовное» питание, и оно всего лучше действует на здоровье. Письма и газеты из Союза отлично рассеивают тот подлый бытовой и политический туман, в котором живешь здесь.

Отвечаю на Ваше письмо. Вы пишете: «Не хотите художников-литераторов» — в работе по «Истории гражд<анской> войны» — «ну и не надо». Но я вовсе не отвергаю, не исключаю художников из этой работы, а только отвожу им скромную роль шлифовальщиков стиля. С этой ролью они — согласны и понимают ее хорошо, что выражено ими в заседании 9-го декабря².

По поводу книжки: «К чему все это?» Мне кажется, Вы чрезмерно расширительно поняли тему книжки, я не представляю ее «историей России с первых дней капитализма», а чем-то вроде итога всего, что сделано партией и рабочим классом Союза Советов за 15 лет. Для такой цели партконференция³ дает отличнейший материал, и в таком объеме книжку мог бы написать Маршак-Ильин, автор «Рассказа о Великом плане», — кстати: англичане и американцы все время переиздают этот «Рассказ»⁴. А в объеме, который Вы наметили, сделать книгу мог бы — мне кажется — Н. И. Бухарин; его речь на конференции весьма обязывает его к работе по генеральной линии⁵. Так что эту тему можно бы разработать и для детей-пионеров — и для взрослых. Время до октября — много.

Брошюру «Как создаются в СССР законы» я не считаю срочной, но, мне думается, она необходима, как книга для массового читателя. Вообще, мне кажется, что теоретическое воспитание масс отстает от социалистической практики, и вот зачем нужна книжка «К чему все это?».

Перевод книги Росселя на днях будет готов и выслан в Москву. Сейчас у меня живет Георгий Шмит⁶, эмбриолог, один из молодых наших ученых, командированный за границу для работы по своей специальности во Фрейбурге, у знаменитого биолога Шпимона⁷. Несмотря на свою молодость, Шмит уже известность среди ученых Европы и даже получил за одну из своих работ премию Рокфеллера. По воззрениям своим он марксист, по научной деятельности — революционер. Значение идеи эксперимента с человеком он сразу понял. У него своя и — кажется — правильная теория лечения рака. Требуются опытные проверки на животных — на мышцах. Затем у него чрезвычайно важные соображения по животноводству, имеющие несомненно крупное хозяйственное значение. Отсюда он едет в Лондон, куда вызван английскими учеными, в августе я Вас обязательно познакомлю с ним; соберем где-нибудь десятка два товарищей, и он сделает нам доклад о своих работах. Это — настоящий наш, Советский ученый, мыслящий, как материалист-диалектик.

Очень жаль, что отбор книг для издания в Америке задерживается⁸, Барков из Парижа — полпредства телеграфировал мне, что Рей приедет 10-го⁹. Французы тоже хотят издать серию наших книг по разным вопросам¹⁰. Общее впечатление всех людей, которые, посетив Англию, Францию и Америку, побывали у меня за это время: среди технической, научной и служащей интеллигенции этих стран интерес к Союзу Советов быстро растет и становится все серьезней. Я, со своей стороны, то же могу сказать об интеллигенции итальянской. Вы, в последней беседе со мной, в Кремле¹¹, очень правильно указали на необходимость поддерживать или подогревать настроение американцев. Они все-таки черти четвероногие, им, чертям, как раз теперь выгодно бы «признать» Союз Советов, а затем дать бы нам хоть какой-нибудь миллиард.

Ну, кажется, достаточно написал я. Будьте здоровы, дорогой И. В.¹², и бергите себя. Сердечно приветствую всех товарищей. Накапливаю здоровье, очень хочу приехать непременно к 1-му мая¹³.

Крепко жму руку.

А. Пешков.

Прилагаю копию записки, посланной мною т. Бубнову¹⁴. Если Вы найдете смысл этой записки правильным, — было бы хорошо распространить ее — от имени ЦК? — по всем наркоматам, в ведении которых Вузы и Втузы.

До свидания.

А. Пешков.

Автограф (лл. 1 — 2 об.). Здесь и далее — д. 719. В конце второго листа письма помета Горького красным карандашом: «На обороте». На обороте — приписка писателя после первой подписи.

¹ Датируется по сопоставлению с воспоминаниями о Горьком В. С. Познера («Москва», 1958, № 3, стр. 198), сообщениями в прессе о пожарах в Чапее (см.: «Правда», 1932, 4 — 8 февраля) и письмами Горького Сталину.

² Речь идет о заседании редколлегии ИГВ 9 декабря 1931 года, проведенном совместно с писателями Вс. Ивановым, К. Горбуновым, Л. Леоновым, Н. Огневым, Л. Сейфуллиной, А. Фадеевым; обсуждался вопрос «о характере тома и роли автора-литератора» (АГ, КГ-изд 19-29-1). На стенограмме совещания пометы Горького — в частности, отчерчены на полях красным карандашом высказывания Леонова: «Наша работа рисуется мне в таком виде: автор получает более или менее готовый материал; его дело — литературная орнаментика...» — и Сейфуллиной: «Писатель является подсобной силой, поскольку пишется не беллетристика. <...> Товарищ, имеющий точные знания, — дает их, художник освещает то, что нужно, но его работа не господствующая, а часть одного целого. <...> главное значение здесь имеет не творчество отдельного человека, а истина» (там же).

³ Имеется в виду XVII конференция ВКП(б).

⁴ Книга М. Ильина «Рассказ о великом плане» издавалась под двумя названиями: «Азбука новой России» (1931) — в Америке и Англии и «Новый русский букварь. История пятилетнего плана» (1931) — в Америке. В мае 1931 года «члены жюри нью-йоркского „Клуба лучшей книги за месяц“ остановили свой выбор на „Рассказе о великом плане“ М. Ильина. В течение трех месяцев книга вышла несколькими изданиями в Америке и Англии» (Р а з и н И. Азбука новой России. — «Правда», 1931, 5 ноября).

⁵ Имеется в виду речь Н. И. Бухарина «Научно-исследовательскую работу на службу социализма» на XVII конференции ВКП(б). Оратор «счел необходимым подчеркнуть со всей силой», что «партия оказалась целиком права», твердо проводя политику «борьбы с уклонами, в первую очередь — с правым уклоном», к которому он «в свое время принадлежал» и «ошибочность которого признал» («Правда», 1932, 3 февраля).

⁶ Ш м и т — Шмидт Георгий Александрович (1896 — 1975?), эмбриолог, профессор Московского государственного университета; в 1927 — 1928 годах секретарь биологического факультета МГУ. Осенью 1928 года уехал в Неаполь на зоологическую станцию, в 1930-м получил персональную стипендию от Рокфеллеровской комиссии для работ в мировой лаборатории по механике развития проф. Г. Шпемана. С помощью Горького продолжил научные изыскания в лаборатории Шпемана во Фрейбурге (Германия), где работал до конца 1932 года. Навещал писателя в Сорренто, здесь они составили план серии популярных книг «История науки» (замысел не осуществился). Проектировали организацию в России «Института механики движения», что вызвало «большой интерес Шпемана», который «очень хотел познакомиться» с Горьким (см. письмо Шмидта от 29 мая 1932 года — АГ, КГ-уч 13-13-14); институт не был создан, знакомство Горького со Шпеманом не состоялось.

⁷ Ш п и м о н — Шпеман Ганс (1869 — 1941), один из основоположников экспериментальной эмбриологии. Директор Института эмбриологии во Фрейбурге.

⁸ Горький ответил на предыдущее письмо Сталина.

⁹ О пребывании в Сорренто американского издателя Рея Лонга см. следующее письмо.

¹⁰ В это время у Горького гостил просоветски настроенный французский писатель Владимир Соломонович Познер (1905 — 1992), эмигрировавший из России в 1921 году. Судя по письму Познера от 5 марта 1932 года, в Сорренто обсуждалось издание во

Франции книги очерков советских писателей (см.: *АГ*, КГ-п 57-18-32). Вскоре вышел сборник: *Рознер VI*, USSR. Paris, 1932), где был напечатан очерк автора и фотографии из различных советских журналов, которые «документировали» его повествование о «благоденствии» советского народа.

¹¹ Согласно записям посетителей кремлевского кабинета Сталина, Горький бывал здесь дважды: 9 августа 1933 года и 3 марта 1935 года. Других посещений писателем вождя в журнале посетителей не зарегистрировано (см.: «Исторический архив», 1995, № 2, стр. 188 и № 3, стр. 155).

¹² Инициалы надписаны вместо зачеркнутого слова «товарищ».

¹³ Горький приехал в Москву 25 апреля 1932 года.

¹⁴ Бубнов Андрей Сергеевич (1884 — 1938) — государственный и партийный деятель. Избирался делегатом всех съездов большевиков, с IV по XVII включительно. В 1929 — 1937 годах нарком просвещения РСФСР. 1 августа 1938 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован.

Копия записки Бубнову (авторизованная машинопись), приложенная Горьким к письму, хранится в АПРФ (ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 3 — 5; опубликована по автографу в кн.: *Арх. Г.*, т. 3, стр. 214 — 216). В письме от 31 марта 1932 года Бубнов известил писателя, что разослал в наркоматы его «предложения» о создании для студенчества популярных брошюр об основных научных дисциплинах, а для «ускорения» дела — «заинтересовал» Постышева (см.: *Арх. Г.*, т. 14. М., 1976, стр. 183; а также письмо Горького от 25 мая 1932 года, письмо 6).

4

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<Между 11 и 25 февраля 1932 года¹. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Крючков передает Вам три документа²:

1) Соображения американца Рея Лонга о книге, которая должна быть написана как бы в форме предисловия к целому ряду книг о Союзе Советов, которые он хотел бы издать.

2) Письмо Лонга ко мне.

3) Проект договора, составленный им.

Рей — человек вполне «приличный», насколько вообще может быть приличен американец-буржуа, который хорошо чувствует, что его страна в опасности и что опасность эту могло бы устранить решительное изменение политики группы Гувера³, т. е. прежде всего признание Вашингтоном Союза Советов, затем — все остальное, логически вытекающее из признания. По всему, что говорилось им, мне кажется, что он действует не совсем за «свой страх», а как будто от лица группы. Он был компаньоном крупной издательской фирмы «Ричард Смит и Рей Лонг», но теперь вышел и организует свое дело на «русском материале». Из Нью-Йорка в Сорренто он приехал специально для переговоров об этом предприятии; я думаю, что для небольшого и личного дела это слишком большой «накладной расход». Материальные условия, предлагаемые им, тоже не в нравах обычных, даже и крупных издателей Америки. Характер вопросов, которые он предлагает осветить, тоже воспринимаются мною как инициатива группы, настроенной в пользу признания Союза. Лично мне это дело кажется серьезным и заслуживающим того, чтобы оно было сделано хорошо. Затем: по моему мнению, дело это отвечает Вашему предложению — «обратить внимание на интеллигенцию С.Ш.А.».

Итак: если Вы принципиально не против предложения Лонга, я просил бы Вас немедленно распорядиться о практическом его осуществлении⁴ и телеграфировать через Крючкова Ваше решение⁵. Может быть, удобнее через Д. П. Курского?

Я начал было писать статью по адресу американской интеллигенции⁶ в резком тоне. Откладываю эту работу, не считая ее тактичной ввиду предложе-

ния Лонга. Затем очень прошу Вас прочитать мое письмо рабочим по вопросам «Истории фабзаводов», может быть, оно нуждается в поправках⁷.

Крепко жму руку, дорогой товарищ.

А. Пешков.

Р. С. Личное Ваше участие в создании книги Р. Лонг считает обязательным и необходимым, как основной и самый серьезный удар по американским мозгам. Я нахожу, что он в этом совершенно прав: Ваше участие действительно необходимо. Окончательная редакция всех статей — тоже Ваша.

Тему: «Положение среднего русского человека до революции» я могу взять на себя, но необходимо, чтобы мне прислали тезисы⁸.

Книга не должна быть более 10-ти листов. Тираж, видимо, предполагается массовый.

А. П.

Автограф (лл. 20 — 21).

¹ Датируется по сопоставлению с письмами Горького Сталину и сопроводительной записке к данному письму: «Т.т. Молотову, Ворошилову, Кагановичу. По поручению т. Сталина посылается Вам письмо т. М. Горького с приложениями. Зав. секретным отделом ЦК ВКП(б) Поскребышев. 26 февраля 1932 г.» (АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, л. 17).

² На приложенных к письму документах (авторизованная машинопись) имеются подчеркивания и пометы Горького, в конце последней страницы «Проекта договора» — приписка Р. Лонга: «Писано американцем». В письме Горькому в сжатой форме повторено содержание «Записки Рея Лонга» (заголовок написан Горьким).

[Письмо Р. Лонга Горькому]

Дорогой м-р Горький

Я в восторге, что нам удалось договориться в смысле напечатания книги. Я думаю, что мы сделали нечто весьма ценное для обеих стран. С моей стороны, я надеюсь, что появление такой книжки вызовет непреодолимые требования пред Конгрессом о признании Советского правительства правительством С.Ш.

Нам надо, понятно, постараться сделать эту книгу единственной авторитетной книгой об СССР. Вот, мне кажется, как этого можно достичь:

Ваше предисловье.

Введение И. В. Сталина.

Главы, излагающие различные достижения, в том виде, в каком мы этот вопрос обсудили.

Таким образом, получится ответ на все вопросы, волнующие американцев. Эти вопросы таковы:

Кто такой Сталин.

Причины его власти.

Каково его отношение и отношение Совправительства к остальному миру, в частности к С.Ш. Современное положение гражданина СССР. Сравнение с его положением до революции. Каково оно будет лет через десять, если все планы будут выполнены. Будет ли у него автомобиль и радио, что составляет идеал рабочего класса в Америке, или же его представления о комфорте и счастье отличаются от представления американца. Были ли необходимы трудности, которые пришлось пережить населению в первые годы после революции. Как их удалось превзойти. <...>

Огромное впечатление произвело бы, если б Вы взяли, например, место своего рождения и показали бы его при царизме, во время войны, революции и в современном положении. Важно бы знать роль Ленина, Ваше мнение о нем. Вы, вероятно, знаете, что большинство людей считало, что с его смертью умрет Советская власть. Надо бы пояснить, почему это не произошло и почему ничья смерть не могла бы быть причиной ее конца. Желательно было бы, чтоб Вы объяснили термины большевизма, коммунизма, Советского строя, взаимоотношение их и отношение к марксизму.

Затем то, что Вы знаете о Сталине, то, что Вы видите в нем. Его скромность и движущая сила. Его умение выбирать людей на ответственные посты. Какова его награда за дело хорошо выполненное, порицание за плохо сделанное дело. Не забудьте, что личность его вызывает большое любопытство и что вы единственный человек, способ-

ный изобразить его людям Америки таким, каков он есть. Нечто, что повергает американцев в недоумение, это: каким образом он может управлять страной, не занимая государственного поста? Надо объяснить, каким образом положение Секретаря партии дает ему это полномочие.

Вы поймете, конечно, что я не имею намерения научить Вас, как написать книгу или составить ее. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Я говорю только о тех вопросах, важность которых ясна для меня как американца. И Вы и Сталин должны помнить, что обращаетесь к читателю, невежественность которого в этой области жалка. И я повторяю то, что сказал при первой встрече с вами, а именно: если нам удастся рассеять это невежество и заставить американцев понять Россию, я думаю, что сделаем шаг вперед для достижения общего мира и счастья.

(АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 25 — 26.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор, заключенный между Максимом Горьким и Рей Лонгом (изд. Рей Лонг и Ричард Р. Смит, Инк. Нью-Йорк), для издания книги под названием «Правда о СССР», авторизованная и снабженная введением И. В. Сталина, редактированная и собранная Максимом Горьким.

Книга эта будет состоять из прибл. 70 000 слов. Введение Сталина составит не менее 8000 слов, предисловие М. Горького — по его усмотрению. Материал — источники и прочее — предоставляется на решение Горького и должен представить людям других стран картину СССР по плану, разработанному в Сорренто М. Горьким и издателем.

Издатель сохраняет за собою право дать указания для изменений и дополнений рукописи, в зависимости от условий С.Ш., но М. Горький является окончательным судьей, поскольку предложения эти окажутся приемлемыми.

Рукопись (на русском языке) должна быть послана издателю не позднее 15 апр. 1932 г.

Условия следующие: 5000 долларов аванса за первые 15 000 экз. (при 10% с продажной цены и 15% за все в дальнейшем проданные экз.), причем оплата перевода не сдается издателем. Деньги поступают в распоряжение М. Горького для дальнейшего препровождения. За права, проданные в другие страны, М. Горький тоже для дальнейшего препровождения получает 50% дохода. Книга эта не должна появиться в СССР до появления в С.Ш. ввиду затруднений с защитой прав.

(Там же, л. 27.)

³ Губер Герберт Кларк (1874 — 1964) — президент США в 1929 — 1933 годах от Республиканской партии, пребывание которого на посту совпало с тяжелейшим мировым экономическим кризисом; во внешней политике придерживался линии международной изоляции СССР. Дипломатические отношения с Советским Союзом были установлены 16 ноября 1933 года правительством президента США Франклина Рузвельта.

⁴ 3 марта 1932 года Политбюро ЦК ВКП(б) постановило: «а) Принять предложение М. Горького насчет подготовки сборника статей о достижениях СССР для американского издательства Лонга с той, однако, поправкой, чтобы срок был передвинут на середину мая. б) Никаких тезисов для статьи т. Горького не писать, предложив т. Горькому написать статью по своему усмотрению. в) Поручить организацию этого дела т. Стецкому с тем, чтобы он представил к следующему заседанию Политбюро план статей, сроки их представления и список авторов» (АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, л. 16).

Стецкий Александр Иванович (1896 — 1938) — зав. отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б); с 1934 года одновременно главный редактор журнала «Большевик».

О причине разрыва с издательством «Рей Лонг и Ричард Р. Смит» см.: «Новый мир», 1997, № 9, стр. 192, примеч. 3.

⁵ 3 марта 1932 года Крючков отправил в Сорренто сообщение о том, что «лично» Сталин «согласен» принять предложение американского издательства. 9-го числа того же месяца он написал Горькому подробнее: «План книги составляется и в ближайшие дни будет утвержден. Для написания книги будут привлечены ряд ответственных товарищей. Срок сдачи рукописей — к 15 мая; сделать скорее нет сил, слишком заняты чрезвычайно важными и серьезными вопросами» (АГ, КГ-п 41а-1-139).

⁶ По всей видимости, Горький имел в виду статью «С кем вы, „мастера культуры“? Ответ американским корреспондентам»; опубликована в «Правде» и «Известиях» 22 марта 1932 года, вскоре после того, как отношения с Р. Лонгом были прерваны.

⁷ Горький отправил статью «О работе по „Истории фабрик и заводов“». Авторизованный машинописный экземпляр хранится в АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 28 — 37. Редакторской правки и пометок Сталина в тексте нет. Статья опубликована в «Правде» и «Известиях» 1 апреля 1932 года.

Инициатива Горького создать «биографию наших фабрик и заводов» была поддержана Постановлением ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 года «Об издании „Истории заводов“» (см.: «Правда», 1931, 11 октября).

⁸ Материал Горького под таким названием не обнаружен. Как свидетельствует документ, Политбюро ЦК ВКП(б) постановило «никаких тезисов для статьи т. Горького не писать» (см. примеч. 4 к данному письму).

5

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<24 марта 1932 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович — телеграмму Вашу получил¹ и принял соответствующие меры². Сожалею, что бестактность Р. Лонга разрушила серьезное дело³, но думаю, что — через некоторое время дело это следует возобновить, разумеется, не по нашей инициативе и в форме несколько иной.

Пользуясь случаем, разрешаю себе поделиться с Вами впечатлением, которое вызывает у меня полемика группы Панферова — Серафимовича с ведущей группой Раппа⁴. Идеологические мотивы первой группы для меня не совсем ясны, но насколько я понимаю, она стремится к примитивизму и опрощению в области литературы, желает сузить рамки тем, однако не указывает с достаточной ясностью: почему и зачем это нужно? Если я не ошибаюсь, тогда — это стремление вредно и в нем чувствуется присутствие элемента угодничества начинающим писателям и желания группы Панферова занять командную позицию.

Начинающих писателей нужно убеждать: учитеесь! И вовсе не следует угождать их слишком легкому отношению к литературной работе. В массу Рапповцев эта полемика вносит смущение, раздоры и вызывает в ней бесплодную трату времени на исследование вопроса не — «кто прав», а «за кем идти?». Именно так формулируют свое настроение молодые писатели в их письмах ко мне. Как видите — формулировка, за которую не похвалишь.

Бесконечные групповые споры и склоки в среде Раппа, на мой взгляд, крайне вредны, тем более, что мне кажется: в основе их лежат не идеологические, а главным образом личные мотивы. Вот что я думаю. Затем, кажется мне, что замена руководящей группы Раппа, — в которой объединены наиболее грамотные и культурные из литераторов-партийцев, — группой Серафимовича — Ставского, Панферова пользы дальнейшему росту Раппа — не принесет⁵.

Здесь, в Неаполе и Венеции, строятся траллера для Мурманска и Владивостока. Выстроят траллер, и он стоит месяца полтора до того, как приедет из Союза команда.

Прилагаю перевод статейки из газеты «Рома»⁶, м. б., она проскользнула мимо внимания товарищей, для которых такие заметки небезынтересны.

Жду с нетерпением, когда можно будет ехать в Москву. Здоров.

Крепко жму Вашу руку.

А. Пешков.

Сейчас приехал Афиногенов⁷.

24.III.32.

Авторизованная машинопись (лл. 38 — 38 об.). Подпись, последняя фраза и дата — автографы.

¹ Телеграмма Сталина не обнаружена.

² Горький расторг контракт с издательством «Рей Лонг и Ричард Р. Смит» и вернул Лонгу чек на 2500 долларов (см. об этом: Спиридонова Л. М. Горький: диалог с историей. М., 1994, стр. 248 — 249).

³ Имеется в виду рекламное сообщение Р. Лонга в «Ивнинг стандарт» о «будущей книге Сталина» с его «разъяснением» отношений с Лениным и Троцким и «причины падения Троцкого» (см.: «Новый мир», 1997, № 9, стр. 192, примеч. 3).

⁴ Полемику вели «ведущие» налитпостовцы — Л. Авербах, В. Киршон, Ю. Либендинский, А. Фадеев и другие с новыми членами руководства РАПП — В. Ильенковым, Ф. Панферовым, В. Ставским, писателями, объединившимися вокруг журнала «Октябрь» (главный редактор Панферов); их поддерживал А. Серафимович. Панферовская группа объявила роман Панферова «Бруски» «примером для советского писательства», налитпостовцы ответили резкой критикой его как «чисто середняцкого». Литературные споры переросли в обсуждение правомерности претензий «старых рапповцев» на идеологический, политический контроль над всей советской литературой. С осени 1932 года «Правда» стала почти регулярно печатать материалы с негативной оценкой деятельности «ведущей группы РАПП».

⁵ Имея в виду данное письмо Сталину, Горький сообщил Авербаху 30 марта 1932 года: «Я писал хозяину (Сталину. — *Публ.*): нельзя ли несколько угасить страсти? Дело в том, что существует огромное количество крайне важной работы, и сражаться с Серафимовичем — я не знаю, насколько сие полезно» (*АГ*, ПГ-рл 1-38-1).

Горький поддержал «ведущую группу РАПП» в статье «По поводу одной анкеты» («Известия», 1932, 26 апреля). Однако 23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», признав необходимым ликвидировать Ассоциации пролетарских писателей.

⁶ Приложенный к письму перевод статьи «„Белая полиция” русских эмигрантов для защиты от Чека» перепечатан на машинке тем же шрифтом, что и большинство писем Горького. Подписи нет (см.: АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, л. 39). В статье сообщается о создании русскими эмигрантами организации «Белая полиция охраны» для защиты «белых» от «преследований и нападений „красных”»: «Это подобие контр-Чека было официально признано префектурой французской полиции и зарегистрировано в „Официальной газете»» («Рома», 1932, 18 марта).

⁷ Драматург Афиногенов Александр Николаевич (1904 — 1941) гостил у Горького до 13 апреля 1932 года. Своими впечатлениями поделился в воспоминаниях «В Сорренто» («Красная новь», 1932, № 9, стр. 152 — 156).

6

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<25 мая 1932 года. Москва.>

Дорогой Иосиф Виссарионович

позвольте ознакомить Вас с моими соображениями о необходимости добавления к программам университетов, институтов и ВТУЗов¹.

В. М. Молотову я тоже послал такую бумажку².

Сердечный привет.

А. Пешков.

25.V.32.

Автограф (л. 51). На письме резолюция синим карандашом: «Членам ПБ, Ст<а-лин>». Подчеркивание в тексте письма красным карандашом принадлежит, вероятно, Поскребышеву.

Документы сопровождаются запиской: «Разослано членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК ВКП(б), секретарю ЦК П. П. Постышеву, председателю ЦКК ВКП(б), наркому РКИ СССР Я. Э. Рудзутаку. 29 мая 1932 г.» (л. 50).

¹ К письму приложен машинописный экземпляр записки Горького (лл. 52 — 54). Писатель обратил внимание на то, что имеющиеся программы высших учебных заведений страны «не дают студенту достаточно четкого и ясного представления о роли науки», на отсутствие «ясного» плана «в области воспитания кадров научных работников». Он предлагал выработать с помощью «наиболее крупных специалистов» краткие «объяснения практического, культурно-революционного значения каждой научной дисциплины в ее применении к текущей работе всех сил Союза Советов».

² По поручению Молотова записка Горького 6 июня 1932 года была направлена «для ознакомления» членом Комиссии по вопросу о программах школ и о школьном режиме (см.: *АГ*, ПЛ-Г 1-49-2).

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<7 сентября 1932 года. Москва.>

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Простите: забыл вчера показать Вам копию письма т. Хинчука¹ — М. Владимировскому, а в передаче содержания этого письма мною были допущены две ошибки: количество экземпляров приложения 200 т., а не 500, стоимость 38 т., а не 36; 500 и 36 относятся к первому опыту.

Очень прошу Вас позвонить Владимировскому, чтоб он ускорил это дело елико возможно.

Прилагаю письмо Маркова², одного из режиссеров 1-го МХАТа, и на основании этого письма прошу: разрешите МХАТу продолжать репетиции «Самоубийцы», ибо из письма явствует, что Мейерхольд пьесу скомкал.

И, наконец, посылаю книжку со статьей Святополка-Мирского о Маяковском³. В связи с организацией Литвуза⁴ мне очень важно — и даже необходимо — знать Ваше мнение о правильности оценки Мирским Маяковского⁵.

Желаю Вам доброго здоровья, крепко жму руку.

А. Пешков.

7.IX.32.

Прилагаю № «Берлинер Тагеблатта» с нашим материалом, «медицинский» будет сделан так же.

А. П.

Автограф (л. 56).

¹ Хинчук Лев Михайлович (1868 — 1939) — государственный деятель, дипломат. В 1926 — 1927 годах торгпред СССР в Великобритании, в 1930 — 1934 годах полпред страны в Германии; затем народный комиссар внутренней торговли РСФСР, главный арбитр Госарбитража СНК РСФСР. 7 февраля 1939 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован.

Машинописная копия письма Хинчука наркому здравоохранения М. Ф. Владимировскому от 27 августа 1932 года с записью на первой странице: «Копия Кагановичу Л. М., Стецкому, Уманскому» хранится в АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 57 — 58. Уманский Константин Александрович (1902 — 1945) — заведующий отделом печати и информации НКВД СССР.

В письме идет речь о подготовке «Недели советской медицины в Германии», намеченной на октябрь, и освещении этого мероприятия в газете «Berliner Tageblatt».

«Неделя советской медицины в Германии» проходила 3 — 9 декабря 1932 года. Газета «Berliner Tageblatt» посвятила событию специальное приложение «Soviet-Medizin» (1932, 6 декабря), где напечатала и статью Горького «Забота о здравоохранении в стране» — отрывок из его речи на VII Всесоюзной конференции ВЛКСМ (см.: «Прекрасным, героическим трудом вы удивляете весь мир». — «Комсомольская правда», 1932, 5 июля).

24 октября 1932 года секретарь посольства СССР в Германии Б. Виноградов написал Горькому: «Большое спасибо за Ваше содействие изданию нового специального номера „Берлинер Тагеблатт“! Помогло, деньги отпущены...» (АГ, КГ-п 16-2-2).

² Марков Павел Александрович (1897 — 1980) — театральный деятель, критик, режиссер; с 1925 по 1949 год заведовал литературной частью МХАТа.

Марков писал Горькому 7 сентября 1932 года:

«Дорогой и глубокоуважаемый Алексей Максимович.

Только настоятельная необходимость заставляет меня беспокоить Вас так экстренно от имени Театра. Как Вы знаете, мы при Вашем содействии получили разрешение работать пьесу Эрдмана «САМОУБИЙЦА». Эти работы мы начали вести, из-за задержки «МЕРТВЫХ ДУШ», довольно медленным темпом, и потому пьеса оказалась у нас не готовой к предполагаемому сроку: в настоящее время она у нас только черне разобрана.

Между тем параллельно с нашим Театром такую же работу начал вести и Театр Мейерхольда, несмотря на запрещение, полученное им от Наркомпроса. 15-го августа состоялся просмотр «САМОУБИЙЦЫ» в этом Театре, на который были приглашены Каганович, Постышев, Стецкий и ряд других ответственных, партийных товарищей.

Спектакль был показан в черновом виде и притом начиная только с 3-го акта. Результат этого просмотра вылился в резко отрицательную оценку самой пьесы смотревшими товарищами и в запрещении Мейерхольду дальнейшей работы над пьесой.

Совершенно естественно, слух об этом показе и о его печальных результатах донесся и до МХАТ. По дошедшим до нас сведениям, результат нашего показа, в свою очередь, предрешен в отрицательном смысле. Перед Театром стоит вопрос — продолжать ли дальнейшую работу над пьесой. Сложность вопроса заключена в том, что отмена нашей работы над пьесой означает окончательную невозможность появления «САМОУБИЙЦЫ» на какой-либо сцене вообще. С другой стороны, невозможно затрачивать работу и силу актеров на заведомо бесплодное предприятие. Мы решились увидеться со Стецким для того, чтобы обсудить с ним создавшееся положение, но до этого мы обращаемся с просьбой к Вам помочь нам разобраться в создавшемся положении и в свою очередь или переговорить со Стецким, или организовать совместное совещание, в котором приняли бы участие Вы, он и представители Театра. С нашей точки зрения, вопрос судьбы «САМОУБИЙЦЫ» очень важен, и потому мы очень надеемся на Вашу обычную к нашему Театру отзывчивость».

(АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 60 — 60 об. Авторизованная машинопись.)

Постановка пьесы Н. Р. Эрдмана «Самоубийца» во МХАТе не осуществилась (см. подробно: Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М., 1990). Впервые в СССР показана в 1982 году в Театре сатиры (режиссер В. Н. Плучек).

³ Речь идет о сборнике «Смерть Владимира Маяковского» (Берлин, 1931; репринт), куда вошли две статьи: Роман Якобсон, «О поколении, растратившем своих героев»; Святополк-Мирский, «Две смерти: 1837 — 1930».

Для Святополка-Мирского «объективный смысл смерти Маяковского ясен» — это признание, что закончился индивидуалистический период русской литературы. На смену ему пришла пролетарская литература, она — «единственно восходящая сила» (стр. 58). Автор доказывал, что поэзия Маяковского никак не укладывалась в рамки казенного марксистского мировоззрения. Самоубийство «отметило» поэта «как сильнее-шего из старых, сделавшего все, что в его власти, чтобы войти в новое, но не сумевшего войти» (стр. 66).

⁴ 7 сентября 1932 года «Правда» напечатала информацию «40-летие литературной деятельности М. Горького», в которой сообщила, что ЦК ВКП(б), ЦИК и СНК СССР для проведения юбилея создали комиссию; на заседании было решено организовать в числе других мероприятий Литературный институт (высшее учебное заведение) им. А. М. Горького.

Литературный институт им. А. М. Горького Союза писателей СССР открыт в Москве в декабре 1933 года.

⁵ На эту просьбу Сталин Горькому ничего не ответил.

8

И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<14 сентября 1932 года. Москва.>

Дорогой Алексей Максимович.

Посылаю Вам для ознакомления отчет т. Стасовой¹ об Амстерд<амском> конгрессе². Просьба по использованию вернуть.

Привет!

И. Сталин.

14/IX — 32.

Автограф, исполненный зелеными чернилами (л. 62). Подчеркивание принадлежит Сталину.

¹ Стасова Елена Дмитриевна (1873 — 1966) — государственный и партийный деятель. С 1921 года работала в Коминтерне, в 1935 — 1942 годах член Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. С 1927 по 1938 год председатель ЦК Международной организации помощи борцам революции СССР.

² Международным антивоенный конгресс состоялся в Амстердаме 27 — 29 августа 1932 года. Советская делегация на конгрессе отсутствовала, так как не получила виз на

въезд в страну от голландского правительства. Возглавляли делегацию Горький и Н. М. Шверник, первый секретарь ВЦСПС. Предполагаемое выступление Горького на конгрессе было прочтено на митинге в Париже (2 сентября 1932 года) и опубликовано под заглавием «Делегатам антивоенного конгресса. (Речь, которая не была произнесена)» («Правда», 1932, 5 сентября). Конгресс принял решение о создании Всемирного антивоенного комитета, от СССР в него избрали Горького, Стасову, Шверника.

«Отчет об антивоенном конгрессе в Амстердаме», составленный Стасовой, хранится в АГ, КГ-од 2-6-12 (авторизованная машинопись, на полях отчеркивания Горького красным карандашом; дата: «1932 13/IX»). Стасова сопроводила отчет двумя записками: 1) «Посылаю Вам, Алексей Максимович, по указанию т. Сталина этот отчет-доклад, который я сделала по его поручению для него и для Вас. Привет. Елена Стасова» (там же; автограф); 2) «Прилагаемый отчет составлен на основании газетного материала и разговоров с двумя участниками конгресса и с тов. Мюнценбергом, так что претендовать на полную оценку конгресса не может» (там же; авторизованная машинопись).

Мюнценберг Вильгельм (1889 — 1940) — член ЦК Коммунистической партии Германии, с 1924 года член рейхстага.

9

И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<15 сентября 1932 года. Москва.>

Дорогой Алексей Максимович!

Возвращаю Ваш «Набросок плана» со своими замечаниями¹. При встрече поговорим подробно.

Привет!

И. Сталин.

15/IX — 32 г.

Автограф (л. 64). Письмо написано синим карандашом.

¹ Речь идет о наброске плана книги «К чему все это? Рассказ о буржуазном и социалистическом хозяйстве». Сталин предложил другое название, написав сверху первой страницы: «Лучше будет так: „Что такое СССР и чем он отличается от стран капитализма?“».

На полях первой страницы Сталин написал: «Не те слова, не та цепь мыслей, хотя общая идея правильна».

На полях третьей страницы рядом с первым абзацем второй главы его запись: «С этого и начинать, может быть?»

На последней, девятой, странице внизу листа приписка: «Может быть, главу I сделать главой II (а II-ю I-й), сделав во II главе осью контраста и (сравнения) двух систем явления нынешнего мирового кризиса (и подъема у нас)? Так будет, пожалуй, лучше. И. Сталин» (АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 66 — 74). Подчеркивания принадлежат Сталину; его замечания выполнены зелеными чернилами.

10

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<28 октября 1932 года. Москва.>

Дорогой Иосиф Виссарионович —

уезжая сегодня¹ — последний раз в этом году надоедаю Вам.

Прошу внимания Вашего и одобрения затее, организуемой комсомольцами и изложенной в прилагаемом черновике записки², уже поданной т. Троицким в ЦК³. Лично я тоже считаю, что «Библиотека молодого рабочего» — дело нужное. Подробный список книг, предполагаемых к изданию, тоже своевременно представлен будет⁴ на просмотр и утверждение ЦК.

С чувством глубокого уважения и крепкой симпатии обнимаю Вас, дорогой товарищ. Будьте здоровы, берегите себя!

Искренний привет Надежде Сергеевне⁵.

А. Пешков.

28.X.32.

Извините, что посылаю черновик с помарками и вставками, которые сделал т. Троицкий.

Автограф (л. 77). Подчеркивания принадлежат Сталину.

¹ Горький выехал из Москвы в Италию 29 октября 1932 года.

² Приложен машинописный экземпляр записки Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ А. В. Косарева и председателя правления издательства «Молодая гвардия» А. Н. Троицкого в ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить издание серии книг для внешкольного чтения молодежи. Записка также подписана Горьким (см.: АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 78 — 79 об.).

³ Троицкий сообщил Горькому в письме от 16 октября 1932 года, что «ЦК ВЛКСМ вынес решение, одобряющее целиком затею библиотеки [молодого рабочего]» (АГ, КГ-изд 38-11-136).

⁴ В составленном Горьким плане серии книг «Библиотека молодого рабочего» к публикации предлагались «очерки по истории развития наук», истории России, о «быте русского крестьянства, его художественное творчество — эпос, сказки, песни, обряды, церковные воззрения, сектантство, причины сектантства», произведения классиков русской и зарубежной литературы: «Грибоедов. Пушкин, „Евгений Онегин“. Тургенев, „Отцы и дети“. Герцен, „С того берега“. Достоевский, „Братья Карамазовы“. Толстой, „Война и мир“. Бунин, „Деревня“. Шекспир, „Гамлет“, „Лир“, „Отелло“, „12-я ночь“. Стендаль, Гёте, Бальзак (1 — 2 тома)...» (см.: ПЛГ 1-4-1).

Издание не было осуществлено, видимо, потому, что вскоре Троицкого перевели в сельхозотдел ЦК ВКП(б); он писал Горькому 7 апреля 1933 года: «Хочу Вам выразить благодарность за помощь, которую Вы мне оказали за время четырехмесячной моей издательской работы...» (там же, КГ-п 79-2-3).

⁵ Речь идет об Аллилуевой Надежде Сергеевне (1901 — 1932), жене Сталина.

Незадолго до этого Н. Аллилуева отправила Горькому небольшое письмо: «Уважаемый Алексей Максимович! Летом в разговоре о детской литературе мы с Вами говорили о Ломовой, и Вы изъявили желание с ней повидаться. Возможно, что эта необходимость уже отпала, но я считаю своим долгом, на случай необходимости, сообщить, что Наталья Григорьевна теперь в Москве, найти ее можно по телефону 735 <...>. Н. Аллилуева. Кремль. 23.X.32 г.» (АГ, КГ-рл 1-19-1).

11

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<26 ноября 1932 года. Сорренто.>

Уверен, что Вы, Иосиф Виссарионович, не нуждаетесь в словесном изъявлении моей глубокой симпатии и чувства уважения моего к Вам, человеку исключительного мужества и большой духовной силы. Скажу, однако, что мне очень хотелось бы жить в Москве, в эти дни, вероятно — очень тяжелые для Вас¹. Вот и все. А затем «Довлеет дневи злоба его».

Одной из таких «злюб» является положение детей советских и партийных работников. Прилагаемая записка и табличка² составлена матерью Артема Халатова, она очень давно работает с ребятами, и ее наблюдениям можно верить. Я тоже осведомлен о многих весьма печальных фактах, которые говорят о росте количества правонарушителей, создаваемых неустроенным семейным бытом и отсутствием ответственного воспитания в той широте, в какой его следовало бы организовать у нас. Мне кажется, что Халатова правильно указывает на необходимость создания у нас трудовых школ, в коих особенное внимание следует обратить на ознакомление ребят с производственной техникой. Я посылаю эту записку Вам, будучи уверен, что только Вы можете толкнуть это дело³ и поставить его сразу на правильные рельсы. Дело серьезное

и — конфузное, ибо недопустимо, чтобы дети коммунистов воспитывались как правонарушители в обществе, которое организуется социалистически.

Жить здесь — тоскливо. Уехал я из Москвы с неохотой гораздо более сильной, чем раньше уезжал. Весною переезжаю окончательно и до конца дней в Союз. Это — решено⁴. Приехал сюда больным, но сейчас чувствую себя отлично и работаю много.

Читал о пленуме Оргкомитета литераторов⁵. Крайне огорчен тем, как распалась, раздробилась группа рапповцев⁶. Все-таки они, несмотря на их ошибки, хорошие, даровитые ребята. Но вот оказалось, что ни идеологического, ни личного единства не было у них и что они — индивидуалисты. Печально. Распутная область — область литературы!

Вчера, в старых бумагах, нашел маленькую вырезку, которую и вклеиваю в это письмо⁷, к сведению Вашему. Хотя Вы, наверное, знаете это суждение о Вас одного из старых мерзавцев.

Крепко обнимаю Вас. Будьте здоровы. Берегите себя.

А. Пешков.

26.XI.32.

Автограф (лл. 80 — 80 об.). Подчеркивания красным карандашом принадлежат Сталину.

¹ Имеется в виду недавняя — 8 ноября — смерть Н. С. Аллилуевой.

Горький послал Сталину телеграмму: «Крепко жму руку Вашу, дорогой друг и товарищ. Горький. Сорренто (Италия)» («Правда», 1932, 17 ноября).

² В записке и таблице (документы не подписаны), адресованные Горькому Е. Г. Халатовой, приводятся данные Комиссии по делам несовершеннолетних о детских правонарушениях по Москве и предлагается создать трудовые коммуны для обучения и воспитания безнадзорных детей и подростков (см.: АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 81 — 92).

Халатова Екатерина Герасимовна — сотрудница сектора массовой работы Наркомпроса РСФСР.

³ По указанию правительства РСФСР 28 — 30 декабря 1932 года состоялся расширенный пленум Комиссии по улучшению жизни детей (Деткомиссии) при ВЦИК, обсудивший «вопрос о борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью» в связи «с тяжелым положением», созданным «на этом участке» (см.: «Сборник по вопросам охраны детства Комиссии по улучшению жизни детей (Деткомиссии) при ВЦИК», 1933, № 1-2, стр. 8).

29 января 1933 года СНК РСФСР принял постановление «О мерах борьбы с детской безнадзорностью и ликвидации уличной беспризорности детей», одно из решений которого было «организовать в 1933 году в Горьковском, Северо-Кавказском и Западно-Сибирском краях специальные детские учреждения» (там же, стр. 39; см. также: «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. Постановление ЦИК и СНК СССР», [Б. м.], 1933).

⁴ Горький окончательно переехал в Советский Союз в мае 1933 года.

⁵ Материалы первого расширенного пленума Оргкомитета Союза советских писателей СССР (1932, 29 октября — 3 ноября) печатала «Литературная газета» 5, 11, 17, 23, 29 ноября, 5, 11 декабря 1932 года (см. также: «Советская литература на новом этапе. Стенограмма первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей (29 октября — 3 ноября 1932 года)». М., 1933).

⁶ На пленуме Оргкомитета некоторые бывшие руководители РАППа, как В. Ермилов, Ю. Либединский, А. Фадеев, М. Чумандрин, не только усердно каялись в ошибках Ассоциации, но также «сваливали всю вину» на В. Киришона, А. Афиногенова, особенно на Л. Авербаха.

Ко времени данного письма Горький мог прочитать в «Литературной газете» лишь выступление Чумандрина (напечатано в номере от 11 ноября) да статью Фадеева «Старое и новое» с резкой критикой РАППа (номера от 29 октября и 11 ноября 1932 года). Вероятно, Горький опирался еще и на сведения, сообщенные ему в письмах Афиногеновым 16 ноября (см. в кн.: Примочкина Н. Писатель и власть, стр. 131 — 132) и Авербахом до 20 ноября, который, в частности, писал: «Пленум оргкомитета. (Подчеркнуто Авербахом. — Лубл.) Вы, вероятно, за газетной информацией следили. Она дает, однако, весьма приблизительное представление о действительном происходившем. К примеру: я посылаю Вам стенограмму моей речи — сравните с тем, что о ней писалось!

Самое главное о пленуме: это была внушительная демонстрация массы писателей за политические лозунги партии к пятнадцатой годовщине — во-первых; <...> это была демонстрация действительной ликвидации старой рапповской группы (полемика Макарьева с Либединским — единственным, кроме Клычкова, выступившим персонально против Авербаха, полемика Киршона с Чумандриным, произнесшим речь еще глупее и решительнее, чем у Вас на заседании) — в-третьих. Отношение ко мне лично и к моим друзьям: говорили на эту тему все ораторы. Прорабатывали — дико злобно. (АГ, КГ-п 1-31-25).

⁷ К письму подклеена вырезка из газеты: «Исчезновение личности Сталина сыграло бы в истории освобождения России от коммунистического ига крупную, может быть, решающую роль. Н. С. Тимашев».

Тимашев Николай Сергеевич (1886 — 1970) — социолог, экономист, общественный деятель; с 1918 года профессор права. В 1921 году эмигрировал, преподавал во Франко-русском институте, в Сорбонне. С 1928 по 1936 год помощник редактора газеты «Возрождение». Затем читал курс лекций по социологии в Гарвардском, Фордемском и других американских университетах.

12

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<28 февраля 1933 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович —

разрешите ознакомить Вас с письмом моим И. М. Гронскому¹.

Серьезнейшее дело организации Литвуза требует Вашего в нем участия, ибо дело это совершенно новое², а ставить его нужно образцово, без лишней словесной игры, на строгом изучении материала истории.

Затем я бы сердечно просил Вас подумать об идее организации «Клуба мастеров культуры»³. Мне кажется, что учреждение такого типа сыграло бы весьма значительную роль в развитии нашей культуры.

«Городок писателей» — как видите — возбуждает у меня скептическое к нему отношение⁴.

Читаю отчеты о съезде ударников-колхозников⁵ с глубочайшей радостью. Отличнейшая идея и должна дать отличные результаты.

Крепко жму Вашу руку. Будьте здоровы, дорогой, могучий человек.

А. Пешков.

28.II.33.

Автограф (л. 104). В АПРФ хранится также машинописная копия письма с отмеченными в тексте подчеркиваниями Сталина и резолюциями: 1) «Кагановичу, Стецкому (для постановки вопроса в Сек<ретария>те ЦК. И. Сталин»; 2) «В мой архив. И. Ст<алин>» (ф. 45, оп. 1, д. 719, л. 105).

¹ Горький послал Сталину авторизованный машинописный экземпляр письма И. М. Гронскому от 28 февраля 1933 года со своей правкой и добавлениями; на нем имеются подчеркивания карандашом и резолюция: «Членам ПБ, Стецкому. Ст<алин>». Письмо направлялось Постышеву и Рудзутак (см.: АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 106 — 109). Напечатано по автографу в сб.: Горький И. М. Письма о литературе. М., 1957, стр. 446 — 449.

Гронский Иван Михайлович (1894 — 1985) — литературный критик, общественный деятель. С 1928 по 1934 год главный редактор газеты «Известия», в 1932 — 1937 годах главный редактор журнала «Новый мир». Первый председатель Оргкомитета Союза Советских писателей СССР (15 августа 1933 года избран Горький). В 1937 году был репрессирован, шестнадцать лет провел в тюрьмах и лагерях Воркуты. В последние годы жизни — старший научный сотрудник ИМЛИ.

² В письме Гронскому от 28 февраля 1933 года Горький изложил план организации литературного вуза (см.: Горький И. М. Письма о литературе, стр. 448 — 449).

³ О «Клубе мастеров культуры» см. указанное выше письмо Гронскому, а также следующее письмо Сталина.

⁴ Решительно возражая против идеи построить «Городок писателей», Горький писал Гронскому, что такой «Городок» неизбежно «превратится в деревню индивидуалистическую».

тов», взаимно неприятных друг другу, с перспективой «искусственного создания касты» и «обывательского истребления времени на творчество пустяков» (Горький М. Письма о литературе, стр. 446 — 447; см. также следующее письмо Сталина).

⁵ Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников проходил в Москве 15 — 19 февраля 1933 года. Горький послал съезду приветствие (см.: «Правда», 1933, 16 февраля).

13

И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<Между 1 — 22 марта 1933 года¹. Москва.>

Здравствуйте, дорогой Алексей Максимович!

Письмо (второе)² получил.

1. Насчет «городка для писателей». Я совершенно с Вами согласен³. Это — дело надуманное, которое к тому же может отдалить писателей от живой среды и развить в них самомнение.

2. Клуб литераторов (готовых и уже пишущих) — дело нужное и полезное. Хорошо бы иметь конкретный план организации клуба⁴. С Вашим приездом обязательно двинем это дело вперед⁵.

3. Как думаете — не следует ли организовать литературный вуз Вашего имени при клубе литераторов или около него?⁶

Дела идут у нас не плохо.

Привет!

И. Сталин.

Автограф (л. 112). Подчеркивания принадлежат Сталину.

¹ Датируется по содержанию и сопоставлению с письмами Горького Сталину.

² Под первым, вероятно, подразумевалось письмо Горького вождю от 16 января 1933 года (см.: «Источник», 1994, № 6, стр. 91 — 92).

³ 19 июля 1933 года было принято постановление СНК РСФСР «О строительстве „Городка писателей“» (см.: «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925 — 1938 г. Документы. М., 1997, стр. 162 — 163).

⁴ Такой план Горького не обнаружен.

⁵ Центральный Дом литераторов, московский клуб писателей, открыт в 1934 году.

⁶ 22 марта 1933 года Отдел культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) утвердил проект «Положения о Литературном институте имени Максима Горького» (см.: «Летопись жизни и творчества А. М. Горького». Вып. 4. М., 1960, стр. 283).

Литературный институт им. А. М. Горького (писатель предлагал, чтобы институт был имени Ленина) организован при Союзе писателей СССР (см. также письмо 7, примеч. 4).

14

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<7 июня 1933 года. Москва.>

Дорогой Иосиф Виссарионович

прилагая проект протокола главной редакции «Истории гражданской войны»¹, убедительно прошу Вас созвать главную редакцию и, обсудив протокол, утвердить его². Работа по истории совершенно неоправданно задерживается редакторами томов, нужно дать делу энергичный толчок³.

Крепко жму руку.

А. Пешков.

7.VI.33.

Автограф (ф. 3, оп. 34, д. 67, л. 81).

¹ В АПРФ хранится приложенный к письму машинописный экземпляр «Протокола заседания Главной редакции „Истории гражданской войны“», в котором «в целях

обеспечения сроков сдачи томов» предложено «приступить к редактированию 1-го тома с 20 июня» и завершить в течение месяца, авторам 2-го тома — «представить статьи крайне к 1 августа» 1933 года (см.: ф. 3, оп. 34, д. 67, лл. 82 — 82 об.).

² «Протокол заседания Главной редакции „Истории гражданской войны“» был утвержден «Главной редакцией: М. Горький, И. Сталин, В. Молотов. 16 июня 1933 г.» (там же, л. 82 об.).

³ См. письмо Горького вождю от 3 августа 1933 года и примеч. 3 к нему.

15

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<29 июня 1933 года. Горки.>

Разрешите, дорогой Иосиф Виссарионович, ознакомить Вас с письмом¹, адресованным мною т. Минц, одному из лучших и — может быть — самому энергичному работнику по «Истории гражданской войны». Весьма важно было бы знать Ваше мнение по этому поводу². Очень хочется видеть Вас, но хорошо представляю, как Вы заняты в эти дни.

Крепко жму руку.

А. Пешков.

29.VI.33.

Сейчас — 11 ч. 25 м. утра — получил газеты. Горячо поздравляю Вас с открытием Белобалтийского канала! Какая радость! А. П.

Автограф (л. 124). На документе помета: «Мой архив. И. Ст<алин>».

¹ В письме (авторизованная машинопись с правкой Горького) говорится об «основных пороках рукописей» четырех глав первого тома ИГВ: многословии, преобладании публицистического и газетно-полемического отношения к фактам, «тусклом» тоне и «вялости» текста. «Общий вывод» Горького таков: «Статьи первого тома настойчиво требуют сокращений обильной, революционной фразы и замены ее деловыми фактами, характеристиками партии и партвождей <...> статьи не могут дать той силы, связанности и ясности изложения <...> посредством которых только и можно придать ИГВ значение боевого руководства для пролетариата всех стран. Поэтому: каждый том истории необходимо обработать одному лицу» (АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, лл. 125 — 129).

² См. следующее письмо.

16

И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<2 июля 1933 года. Москва.>

2/VI 33

Дорогой Алексей Мак<симови>ч!

Письмо — правильное. Согласен со всеми положениями письма. Наши писатели (авторы статей по «Истории гражд<анской> войны») не понимают, на какой большой вышке они стоят, не сознают, какое великое дело поручено им. Их отношение к делу нередко такое же, как известного крыловского петуха к жемчужному зерну. Ваше письмо должно отрезвить их.

Жму руку.

Если разрешите, на днях буду у Вас².

Ваш И. Сталин.

Автограф (л. 144). Подчеркивание принадлежит Сталину.

¹ Так в письме; видимо, описка. Датируется по содержанию и сопоставлению с письмами Горького Сталину.

² Судя по письму Горького Г. П. Шторму от 25 августа 1933 года, Сталин навещал писателя: «Но вот, напр., И В. Сталин недавно, когда мы перечисляли „исторические“»

книги, созданные в Союзе, вспомнил о Болотникове в таких словах: „Есть еще хорошая „Повесть о Болотникове”. Я послал ему книгу о Ломоносове. (Шторм Г. Труды и дни Михаила Ломоносова, обзорение в 9 главах и 6 иллюминациях. М., 1932. — Лубл.)”» (АГ, ПГ-рл 54-9-3; письмо напечатано: «Литературное наследство». Т. 70, стр. 700 — 702 с изъятием текста, здесь цитируемого).

17

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<3 августа 1933 года¹. Горки.>

Тов. Сталину.

Дорогой товарищ!

Хочу еще до Вашего отъезда² разрешить ряд вопросов «Истории». Вчера (2/VIII) были у меня секретари Главной Редакции с докладом о проделанной работе. Видимо, продвинулись за последнее время далеко вперед, но к концу подойти все же не могут: срывают т. т. Радек, Мануильский и Стецкий, так и не сдавшие своих глав³. А между тем время уходит. Недавно исполнилось 2 года нашему постановлению об издании «Истории»⁴. Народ ждет выхода в свет обещанных томов. Пора подумать об иллюстрациях, об оформлении, о тираже. Мне кажется, Секретариат Редакции своевременно поднял эти вопросы, которые нашли свое разрешение в протоколе нашего заседания.

Общий вывод из наших решений в проекте постановления Главной Редакции, который очень прошу подписать⁵.

Сердечный привет!

М. Горький.

Машинопись (ф. 3, оп. 34, д. 67, л. 83). Последняя фраза и подпись — автографы. В левом верхнем углу документа резолюция карандашом: «Членам Главной редакции „Истории гражданской войны”. И. Сталин». В правом верхнем углу: «Т.т. Молотову, Ворошилову, Бубнову»; ниже по тексту документа подписи В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, А. С. Бубнова. После текста письма запись: «Послано Крючкову 9/VIII.1933 г.». Подчеркивания в письме и в резолюции Сталина, неподписанные записи на документе, видимо, принадлежат Поскребышеву.

¹ Датируется по содержанию.

² Опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) Сталину был предоставлен отпуск с 20 августа 1933 года на полтора месяца.

³ По инициативе Сталина 20 февраля 1934 года Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О непредставлении т. т. Стецким и Радеком статей для „Истории гражданской войны”» и приняло решение: «Обязать т. т. Стецкого и Радека сдать не позже конца февраля числящиеся за ними статьи для 1-го тома „Истории гражданской войны”, предупредив, что невыполнение настоящего постановления к сроку повлечет за собой репрессию» (АПРФ, ф. 3, оп. 34, д. 67, л. 84).

Мануильский Дмитрий Захарович (1883 — 1959) — секретарь Исполкома Коминтерна, занимал этот пост с 1928 по 1943 год. В начале августа представил для первого тома ИГВ свою статью «Международное значение Октября», которую Горький оценил положительно, однако она была отправлена автору на доработку, чтобы «превратиться в блестящую», как писал Горький Минцу 9 августа 1933 года (см.: АГ, ПГ-рл 25-35-3).

⁴ Имеется в виду постановление ЦК ВКП(б) от 30 июля 1931 года «Об издании „Истории гражданской войны”».

⁵ Документ в деле отсутствует; машинописный экземпляр «Проекта постановления Секретариата „Истории гражданской войны”, никем не подписанный, хранится в АГ, КГ-изд 19-18-1).

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЛА МАРЧЕНКО

*

«С НЕЙ УХОДИЛ Я В МОРЕ...»

Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования

Часть вторая

ТАЙНА ТАЙН

Установка на *расследование* предполагает, что «определение» будет оглашено в конце, но я все-таки начну вторую часть статьи с итогового вывода — чтобы облегчить читателю слежение за сцеплением фактов.

Знаменитый ахматовский триптих 40 — 60-х годов («Пора забыть верблужий этот гам...», «И в памяти черной пошарив, найдешь...», «Он прав — опять фонарь, аптека...») — это и три жизни Блока, и три эпохи воспоминаний Ахматовой об их не встрече.

С молодым Блоком, периода «Осенней воли» («И помнит Рогачевское шоссе / разбойный посвист молодого Блока»), А. А. увидеться не пришлось; в него гимназистка Аня Горенко была, судя по всему, слегка, воздушно, влюблена, «как сто тысяч таких в России».

К подножию памятника («Как памятник началу века / там этот человек стоит») положила вышеназванный триптих: дар восхищения.

Что же касается отношений с «трагическим тенором эпохи», то есть с тем Блоком, который осенью 1911 года на учредительном собрании «Цеха поэтов» попросил Гумилева представить его своей жене, то они настолько причудливы, что можно только подивиться изобретательности Ахматовой; после многих попыток подобрать похожие слова А. А. сказала так: книга, которая могла бы называться «Как у меня не было романа с Блоком» (ЗКА, стр. 670).

Припомним: Анна Ахматова отрицала, что в «Вечере» и «Четках» есть любовные стихи, тайно обращенные к Блоку, а ей не верили. Даже люди ближайшего окружения. С. Волков в диалогах с Иосифом Бродским («Вспоминая Ахматову») утверждает: к сотворению романтической легенды Ахматова сама «приложила руку», для того, чтобы убедиться, «достаточно перечитать ее стихи», — ну а Иосиф Бродский, хотя и слышал от А. А., что легенда эта — «народные чаяния», Волкову не возражает. По всей вероятности, и В. М. Жирмунский не на «народные чаяния» ориентировался, когда властью своего авторитета к ахматовской «блокиане» присоединил две любовные миниатюры: «Безвольно пощады просят...» и «Покорно мне воображенье...». Словом, впечатление такое, будто А. А. опять лукавила. Думается, однако, что и в данном случае все было намного сложнее.

Ахматова строго отличала стихи узкобиографически обращенные к тому или иному лицу от вещей, написанных хотя и *по личным мотивам*, но *об общем быте*. (К примеру, составляя для П. Лукницкого список стихов, посвященных

Гумилеву, назвала всего шесть, хотя их фактически гораздо больше.) Характеризуя свой способ *выращивания* стиха из пестрого мусора общежития, она писала: «Я не даю сказать ни слова никому (в моих стихах, разумеется). Я говорю от себя, за себя все, что можно и чего нельзя. Иногда в каком-то беспамятстве вспоминаю чью-то чужую фразу и превращаю ее в стих» (ЗКА, стр. 476).

Из-за желания говорить *от себя* бог знает что возникали и продолжают возникать недоразумения. М. Л. Лозинский, редактировавший «Белую стаю», отказался включать в сборник стихотворение «Земная слава как дым...». Можно представить себе доводы редактора. Стихи датированы 1914 годом, автору нет и двадцати пяти. Как тогда прикажете понимать такое: «Любовникам всем моим / Я счастье приносила. / Один и сейчас живой... И бронзовым стал другой / На площади оснеженной...»? В минувшем, 1913 году в России поставлен лишь один памятник — адмиралу Макарову. Вы что же, хотите, чтобы славного флотоводца заподозрили в совращении малолеток?¹

Это во-первых. Во-вторых: от стихов Блока *в те баснословные года* и впрямь «теряли голову»; головокружение было не только массовым, но еще и обоюдодополым. Старших современников безумие «блокослужения» и «блококружения» шокировало. И. Анненский, которого Ахматова считала своим Учителем, оставил в бумагах уничтожительную реплику:

Под беломраморным обличем андрогина
Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез.
Стихи его горят — на солнце георгина,
Горят, но холодом невыстраданных слез.

Наблюдение «Учителя»: «обличе андрогина» — не памятью, а в *каком-то беспамятстве* превращено в двуликий образ Блока в «Поэме без героя»: «Демон сам с улыбкой Тамары». Наисокосок учтено оно («радость давних грез») и в «Четках», где «трагический тенор» — один из героев времени, условный театральный «король», образ которого играет свита его «незнакомок», «астральный» шлейф из «звезд десятой величины с неопределенной орбитой», по хлесткому определению самого Блока. Для того чтобы разыграть мистерию блокослужения, Ахматовой не нужен был обыкновенный роман с Блоком. Наоборот. Нужно, чтобы такого романа как раз и не было. «Есть в близости людей заветная черта, / ее не перейти влюбленности и страсти» — А. А. в отношениях с людьми шагнуть за эту «заветную» — запретную! — черту как раз и тянуло...

В-третьих. Узкобиографический сюжет: «Как у меня не было романа с Блоком» — для Ахматовой, «отстаивающей себя», род плацдарма («поле моего сраженья»), на котором давался бой тем, кто наряжал ее Музу в лиловеющие шелка женской любви и в кружева любовной печали, поэтому и утверждала, что *сплетня* возникла в воображении неосведомленных людей, пришедших в литературу из провинции в 20-х годах; не зная реалий миновавшего века, они строили заключения на «основании» стихов, а главное, «хотели видеть» их посвященными Блоку (подчеркнуто Ахматовой).

Доля истины тут есть. Напомню, что даже Э. Герштейн, филолог, архивист, свой человек в семье А. А., признается, что не понимает «тогдашнего характера любовных отношений» и что 10-е годы для нее «отдаленней, чем Пушкин». И тем не менее раздражающая А. А. «людская молвь» зародилась не в 20-е годы, и Ахматова не могла этого не знать, ибо ей было известно письмо матери Блока, она пересказывает его в «Записных книжках» (стр. 671).

Вот полный текст этого письма:

«Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть, и нежную... И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахмато-

¹ Комментаторы шеститомного собрания сочинений Ахматовой, опасаясь, видимо, подобных подозрений, сыскали-таки другой памятник и другого кандидата в бессмертные любовники: «И бронзовым стал другой... — А. С. Пушкин, второй памятник которому был установлен в Царском Селе в 1913 году» (т. 1. М., 1998, стр. 793).

ва, которая к нему протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только две строки первых:

Слава тебе, безысходная боль, —
Умер он — сероглазый король.

Вот можете судить, какой склон души у этой юной и несчастной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок. А Саша опять полюбил Кармен».

Ахматова, похоже, была убеждена, что Александра Андреевна, лично с ней не знакомая, излагает историю печальной девушки, которая «протягивает руки» к ее жестокосердному сыну, а он от нее «отвертывается», со слов самого Блока (не исключено, что именно по данной причине эта версия ее и раздражала). Между тем у источника романтической легенды стоял не герой мнимого романа, а, судя по всему, А. В. Тыркова-Вильямс. В те месяцы Ариадна Владимировна часто бывала в семье Блоков (она занималась издательской деятельностью). Госпожа Тыркова язык за зубами держать умела, и А. А. это знала. В автобиографических набросках зафиксирован такой эпизод: «Ариадна Владимировна Тыркова... Ей Блок сказал что-то обо мне, а когда я ему позвонила, он сказал по телефону (дословно): „Вы, наверное, звоните, потому что от Ариадны Владимировны узнали, что я сказал ей о вас“. Сгорая от любопытства, я поехала к Ар. Вл. (в какой-то ее день) и спросила: „Что сказал Блок обо мне?“ АВ ответила: „Аничка, я никогда не передаю моим гостям, что о них сказали другие”».

Но одно дело — сплетни и совсем другое — душевный разговор в семейном кругу... Ариадна Владимировна, одна из многочисленных симпатий А. А. Горенко (отец Ахматовой, плененный эlegantностью госпожи Тырковой, нарек ее «Ариадной Великолепной»), знала Анну с детства, восхищалась и внешностью А. А., и стихами, и ей, видимо, было досадно, что Блок не обращает должного внимания на девочку ее выбора. Во всяком случае, ее рассказ об отношении Блока к А. А. почти дословно совпадает с версией А. А. Кублицкой-Пиоттух: «Из поэтесс, читавших свои стихи в Башне, ярче всего запомнилась Анна Ахматова. Тоненькая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану... темные волосы... на затылке подхвачены высоким испанским гребнем... Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с величавой уверенностью художницы, знающей себе цену. А перед Блоком Анна Ахматова робела. Не как поэт, как женщина. В Башне ее стихами упивались, как крепким вином. Но ее... глаза искали Блока. А он держался в стороне. Не подходил к ней, не смотрел на нее, вряд ли даже слушал. Сидел в соседней, полутемной комнате».

На самом деле отношения и Блока к Ахматовой, и Ахматовой к Блоку не укладываются в простенькую и банальную схему, какою две интеллигентнейшие дамы, соотнеся непонятную им ситуацию с нравами своей юности, их себе объяснили (Тыркова была старше А. А. на двадцать лет, то есть на целую эпоху).

Во-первых, Блок слушал выступления Ахматовой нельзя прилежней, о чем свидетельствует уже известная нам запись в его «Дневнике» (1911, 7 ноября): «Анна Ахматова читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше». Во-вторых, живого Блока А. А. увидела еще весной 1911 года, в редакции «Аполлона», однако на предложение сотрудников журнала познакомиться ее с поэтом ответила отказом. И это понять можно: Лермонтов тоже не хотел знакомиться с Пушкиным, хотя тот запросто бывал в доме его родственников. Вторая встреча произошла осенью. Ахматова и на сей раз горячего желания обратить на себя внимание знаменитого современника не обнаруживала. Да,

робела, но не только перед Блоком. К. Чуковский, наблюдавший А. А. в ту осень, запомнил ее тоненькой и робкой девочкой, ни на шаг не отходящей от своего мужа. И тогда Блок, привыкший к тому, что молодые поэтессы, а их в 10-е годы расплодилось несметное множество, только и делали, что пытались с ним познакомиться, сам подошел к Гумилеву и попросил представить его Анне Андреевне...

Новобрачная Гумилева скоро научилась скрывать и застенчивость, и «провинциальную необразованность», взяв за правило «хранить молчанье в важном споре», прикрываясь, как веером, улыбкой, почти «джокондовской»: «У меня есть улыбка одна: / Так, движенье чуть видное губ». Тогда же выбрала и пару эффектных статичных поз («в позе, выбранной ею давно»). В одной из затверженных поз увековечили Ахматову, независимо друг от друга, но по занятному совпадению чуть ли не одновременно, и Мандельштам: «Вполоборота — о печаль!..» (6 января 1914-го) — явно-открыто, в «Бродячей собаке», и «скрытой камерой» Блок: «Вполоборота ты встала ко мне» (2 января 1914 года). Ту же поэтофотку, как самый удачный свой портрет тринадцатого года, Ахматова вклеит в «Поэму без героя»: «И как будто припомнив что-то, / Повернувшись *вполоборота*, / Тихим голосом говорю...»

Декоративные «укрепления» духа — позы, улыбки, шали, испанские гребни и африканские браслеты — хорошо смотрелись издали, условно, с эстрады. А вот при общении с глазу на глаз становились слегка смешными, хуже того — провинциальными. От провинциальных выходов Ахматова долго не могла избавиться; ее легендарное комильфо далось ей не сразу. М. Н. Остроумова не без удивления вспоминает первую встречу с женой Гумилева: «Через пять минут после нашего знакомства она сказала мне: „Посмотрите, какая я гибкая“. Я была поражена, когда мгновенно ноги ее соприкоснулись с головой. Непосредственно после этого она прочла свое стихотворение „Змея“». Подобные фокусы А. А. проделывала и в «Бродячей собаке», и в Башне, восхищая поклонников и раздражая недоброжелателей. Л. С. Ильяшенко-Панкратова, исполнительница роли Незнакомки в блоковском спектакле В. Мейерхольда, вспоминает: «С Ахматовой я встречалась только в „Бродячей собаке“... Разойдясь, Ахматова показывала свой необыкновенный цирковой номер. Садилась на стул и, не касаясь ни руками, ни ногами пола, пролезала под стулом и снова садилась. Она была очень гибкой». Не исключено, что и в «Собаке» «непосредственно после этого» читалась все та же «Змея»:

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.

Блок в «Бродячей собаке» не бывал из принципа, считал ее чем-то вроде «игорного дома в Париже сто лет назад». Но Любовь Дмитриевна захаживала, так что о том, что происходило в подвальчике, со слов жены знал, с ее слов и мнение составил. А уж про змеиные проделки примадонны «собачьего» кабака и тем паче.

Открытие «Бродячей собаки» приурочили к новогодним праздникам 1912 года. 13 января Ахматова читала там стихи. В феврале Блок окончил начатое еще осенью 1911-го «О, нет! Я не хочу...», обращенное, видимо, к Н. Н. Скворцовой. В письме к матери (март 1911 года), сообщив, что к нему приехала из Москвы Скворцова, Блок так описывает двадцатилетнюю претендентку на его сердце: «Во всем до мелочей, даже в костюме — совершенно похожа на Гильду и говорит все, как должна говорить Гильда» (Гильда — главный женский персонаж пьесы Ибсена «Строитель Сольнес»). Так вот, в этом стихотворении есть не связанная ни с сюжетным движением, ни с образом героини фраза: «Но твой змеиный рай — бездонной скуки ад». Естественно, я не утверждаю, что брезгливая сентенция напрямую связана со змеиными упражнениями Ахматовой. Блок, как и она, был мастер делать несколько

снимков на одну пластинку. Не думаю, что и она была настолько наивна, чтобы прочитывать подобные сообщения как именно к ней, персонально, обращенные. Но то, что Александр Александрович и к ее стихам, и к ней лично относится со скрытым и напряженным раздражением, очень даже чувствовала, и не умом-разумом, а кожей, женским инстинктом, оттого, видимо, и тушевалась в его присутствии.

Впрочем, для некоторого смущения в присутствии Блока осенью 1911 года у А. А. были причины. В 1927 году, специально для Лукницкого, чтобы уточнить дошедшие до него слухи, Ахматова, поразив откровенностью юного своего «эккермана», перечислила имена мужчин, с которыми была близка. Ни Модильяни, ни Блока в этом «донжуанском списке» нет. (Модильяни упомянут в числе тех, с которыми у А. А. «ничего не было».) Зато есть Георгий Чулков. Согласитесь: для улучшения биографии это отнюдь не самая удачная фигура. Одно дело — молодой, безрассудный, в богемном стиле парижский роман с почти нищим художником и совсем другое — связь с маститым литератором, живущим по соседству в Царском Селе, с волокитой, известным всему Петербургу, а главное, постоянным спутником Блока в «жизни безытной, уличной и хмельной». Чулков, кстати, ни от кого не скрывал, что поэт ценил его за то, что с ним единственным мог говорить «не по-интеллигентски», то есть по-мужски грубо, «за красным стаканом в таверне». К тому же Чулков был первым, кто обратил внимание на Анну Гумилеву не как на подающую надежды поэтессу, а как на интересную незнакомку. Произошло это, судя по климатическим деталям, ранней осенью 1910-го, вскоре после отъезда Гумилева в Африку. «Однажды на вернисаже выставки „Мира Искусства“, — с удовольствием вспоминал Чулков, — я заметил высокую стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками „Аполлона“, которая стояла перед картинами Судейкина. Меня познакомили... Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишевского зала. Моросил дождь... У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она была похожа на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло... Я предложил этой молодой даме довести ее до вокзала: нам было по дороге... Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда... Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год».

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что стихотворение «Мне с тобою пьяным весело...», которое комментаторы считают посвященным Модильяни, написано в связи с парижской встречей с Георгием Ивановичем за стаканом красного вина в таверне. Кстати, Ахматова решительно отводила кандидатуру Модильяни, утверждая: а) что пьяным его не видела, в кафе или ресторане с ним никогда не была; б) что стихов ему не писала (какой смысл писать русские стихи иностранцу, по-русски не разумеющему?); в) что отношения были церемонными и обращение на «ты» исключающими; г) что хотя стихи об амурных беседах «через столик» с неким беспутным господином записаны в Париже, ранним летом, ей почему-то представлялись царскосельские осенние вязы. Добавим: «мука жалящая вместо счастья безмятежного» — мотив из репертуара Блока — Чулкова. Да, в Париже Чулков был не один, а с женой, но Надежда Григорьевна смотрела на перманентные любовные связи мужа со спокойной снисходительностью: дескать, ничего не поделаешь — это у Чулковых фамильное².

² О своем кратком романе с Чулковым Любовь Дмитриевна Блок вспоминала с нежной иронией: «Мой партнер этой зимы, первая моя фантастическая „измена“ в общепринятом смысле слова, наверно, вспоминает с не меньшим удовольствием, чем я, нашу нетягостную любовную игру. О, все было, и слезы, и театральный мой приход к его жене... Но из этого ничего не получилось, так как трезвая жена в нашу игру не входила и с удивлением переживала, когда мы проснемся, когда ее верный, по существу, муж бросит маскарадную маску. Но мы безудержно летели в общем хороводе: „бег саней“, „медвежья полость“, „дого-

Вдобавок ко всему Чулков славился тем, что с «неистовым энтузиазмом» продвигал новые дарования в печать. Все это в совокупности явно «не украшало» биографию начинающей поэтессы... И тем не менее А. А. не скрывает связь с ним от Лукницкого, а значит, и от «поздней оценки». Она вообще не терпела, когда из нее пытались сделать даму безупречную во всех отношениях:

Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,
И пряталась в чужом овсе,
В чужой траве спала.

Короче, на какой бы стадии отношений с Чулковым ни застало А. А. знакомство с Блоком осенью 1911 года, она не могла быть уверена, что Георгий Иванович не говорил о ней с напарником по приключениям с «незнакомками». И думается, была права. Вот что рассказала Ахматова Лукницкому: «В то время была мода на платье с разрезом сбоку, ниже колена. У нее платье по шву распоролось выше. Она этого не заметила. Но это заметил Блок» (ПНЛ, т. 1, стр. 59). Вряд ли бы Блок позволил себе «заметить» непозволительно смелый разрез, если бы не был наслышан о парижских приключениях «косящей» под робкую девочку мадам Гумилевой. Не исключено, что тем же мужским экспериментаторским любопытством объясняется и его предложение А. А. прочитать на вечере на Бестужевских курсах довольно рискованное (для первого выступления в большой женской аудитории) «Все мы бражники здесь, блудницы...». В автобиографических набросках Ахматова к этому стихотворению сделала примечание: дескать, это стихи капризной и скучающей девочки, а вовсе не заматеревшей в бражничестве «блудницы». Догадывался ли об этом Александр Александрович? По всей вероятности, вопрос, хотя и «праздный», и после намеков Чулкова, и после испытания эстрадой оставался, как говорится, открытым... Ахматова «начала волновать» Блока, но вовсе не так, как волновали роковые женщины его эротического выбора или прекрасные дамы его мечты, а так, как художника волнует не поддающаяся ему модель — материал, сопротивление которого он не в состоянии преодолеть. К тому же к осени 1913-го Блок, и, может быть, на том самом вечере на Бестужевских курсах (эстрада обнажает!), инстинктом охотника («за молодыми, едва распустившимися душами») почуял: в хорошенькой провинциалке появилось нечто новое — несвойственный ей прежде «задор свободы и разлуки».

Ахматова и впрямь к этому времени эмансипировалась. Во-первых — от тайного страха, что успех «Вечера» случаен, что второй, главной, книги не будет, что замужество, беременность, роды, беспокойство за младенца изменят самый состав ее существа и стихи пропадут, внезапно и непонятно, — пришли ниоткуда и уйдут в никуда. Страх оказался напрасным: меньше чем за год она собрала новую книгу. Во-вторых, как мать «наследного принца», она, странная, худая и горбоносая, случайная невестка, перестала быть безнадежно «чуждым элементом» в глазах умной и властной свекрови. А главное, выпуталась из ловушки, в которую угодила отчасти по неопытности, отчасти по ложному расчету. Гумилев, так долго — без малого семь лет! — и так красиво игравший роль влюбленного *рыцаря бедного*, оказался элементарным «юбочником». До официального развода (в 1918 году) это щекотливое обстоятельство по взаимному договору чета Гумилевых тщательно скрывала, да и потом А. А. на этот счет помалкивала, но Лукницкому все-таки призналась, что «НС никогда физически верен не был никому, что он не мог этого и не считал нужным». Вдобавок супруг заделался еще и оголтелым бродягой: не успели вер-

ревшие хрустали», какой-то излюбленный всеми нами ресторанчик на островах с его немислимыми, вульгарными „отдельными кабинетами“ (это-то и было заманчиво) и легкость, легкость...»

нуться из свадебного путешествия — удрал в Африку; первый замужний Новый год новоженка Гумилева встречала соломенной вдовушкой. Впрочем, молодую свою «полуброшенность» Ахматова вспоминала с удовольствием: она обязана была ей «Вечером», на котором в начале «плодоносной осени» сделала такую надпись: «Он не траурный, он не мрачный, / Он почти как сквозной дымок, / Полуброшенной новобрачной / Черно-белый легкий венок. / А под ним тот профиль горбатый / И парижской челки атлас, / И зеленый продолговатый / Очень зорко видящий глаз».

За «Вечер», с лихвой окупивший все ее женские утраты, и простила блудного мужа. *Телесность* в отношениях между мужчиной и женщиной ей никогда не представлялась самым главным. Вот как про это записано у Лукницкого: «Не любит телесности. Телесность — проклятье земли. Проклятье — с первого грехопадения, с Адама и Евы... Телесность всегда груба, усложняет отношения, лишает их простоты, вносит в них ложь, лишает отношения их святости... Чистую, невинную, высокую дружбу портит...» (ПНЛ, т. 2, стр. 287). Увы, и в отношении высокой, чистой и невинной дружбы Гумилев оказался не тем: бестелесно, свято, высоко, без надежды на взаимность влюбился в смертельно больную кузину, засыпал ее романтическими цветами и даже, как донесла семейная служба новостей, сделал официальное предложение. При живой жене, на глазах у родственников, через год после их свадьбы. И чем бы все это кончилось, неизвестно, если бы Машенька Кузьмина-Караваева не сгорела от скоротечной чахотки... Это кончилось — началось другое. Весной неугомонный Николай Степанович вновь укатил в свою Африку. Воспользовавшись его отсутствием, Анна Ивановна взялась за генеральную уборку, а невестку попросила разобраться в мужниных бумагах. А. А. просьбу свекрови исполнила и, наводя порядок на *Колином* письменном столе, выудила из вороха рукописей увесистую связку женских любовных писем.

То ли эти чуть ли не демонстративно брошенные письма, то ли появление на свет той же осенью Левушкиного единокровного братца, то ли все вместе взятое — нет худа без добра — и освободило внутренне до болезненности *совестливую* (тонкое наблюдение Лукницкого) А. А. И от смущавшего душу чувства вины перед Колей: за то, что без страстной любви под венец шла и что невинность для него, единственного, не хранила... И от брачных уз, и от опрометчиво данных клятв. Потом все это вернется, но потом... после всего... А пока она вновь, как в диком своем детстве, «была дерзкой, злой и веселой».

Словом, Ахматовой в осень 1913-го было хорошо, потому что чем хуже ей было, тем лучше становились стихи. А Блоку было плохо, и чем хуже было ему, тем хуже, мертвее и суше, делались его «песни». Он даже перестал пытаться их писать. Стал дотягивать старые, застрявшие в черновиках. А так как к осени 1913 года уже решил (после летних эстрадно-испанских очарований): ежели распишется, то писать будет только про испано-цыганское, — то и расписываться начал с переделки набросков, сделанных пару лет назад с цыганской своей зазнобы Ксюши. И хотя делать это, по собственному выражению, *слишком умел*, из умения выходили лишь рифмованные и нерифмованные строчки. Чтобы получились стихи, надо было *оживить* «законсервированные» в черновиках переживания. «Искусство, — писал Блок 6 марта 1914 года, — радий (очень малые количества). Оно способно радиоактивировать все — самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции, „переживания“, чувства, быт. Радиоактивированию поддается именно *живое*, следовательно — грубое, *мертвого просветить нельзя*».

Позапрошлогондья цыганщина «радиоактивированию» не поддавалась. И тогда он сместил «видоискатель» и на старую пластинку от 3 июля 1911 года («На Приморском вокзале цыганка дала мне поцеловать свои длинные пальцы, покрытые кольцами») сделал еще один снимок: откиннутые назад плечи и невероятные мавританские браслеты, которые вез и вез своей похожей то ли на испанку, то ли на испанскую гитану жене «африканец» Гумилев...

Про автомобиль, на котором Блок провожал ее, после их совместного, с участием Игоря Северянина, второго (в 1914 году) вечера на Бестужевских курсах, А. А. охотно рассказывала, а вот о том, как и на чем добирались они до дома после вечера первого, верхарновского, 25 ноября 1913 года, промолчала. Не думаю, однако, чтобы Блок отпустил молодую женщину — в ночь, темноту, непогоду, да еще и зная, что это ради него она не пошла с Гумилевым в модный и дорогой ресторан, где столичный бомонд угощал осчастливившего литературный Петербург Верхарна глухарями да рябчиками... Во всяком случае, написано «Седое утро» всего через три дня после их позднего прощания под позднеосенним мокрым снегом. При первой публикации в «Седом утре» было еще одно четверостишие, оставшееся от первоначального, конкретно-цыганского варианта: «Любила, барин, я тебя... Цыганки мы — народ рабочий...» Но потом Блок его вымарал — уж очень не вязалось с характером и даже типом изображенной здесь женщины, вполне светской и только играющей под цыганку:

Как мальчик, шаркнула; поклон
Отвешивает... «До свиданья...»
И звякнул о браслет жетон
(Какое-то воспоминанье)...

Что-что, а уникальные — во всем Петербурге таких не было — браслеты А. А. были сплошь с «воспоминаньями»: при каждой размолвке с Гумилевым она их ему возвращала, а он пугался: «Не отдавайте мне браслеты...»

По всей вероятности, в тот ненастный ноябрьский вечер Анна Андреевна и была приглашена «к поэту в гости».

Блок, как правило, педантично отмечал, кто, когда и по какой надобности появлялся в его крайне замкнутом доме. В случае с А. А. ее биографам крупно не повезло: все дневниковые записи, относящиеся к осени и началу зимы 1913 года, поэт уничтожил. Сама же Ахматова, когда ее расспрашивали о подробностях, говорила (а потом и писала), что ей запомнилось лишь одно любопытное для «оценки поздней» высказывание: «Я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что он, Блок... мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: „Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой“».

И эта криптограмма до сих пор не расшифрована... А между тем она крайне важна для понимания сущности отношений Поэта и Поэтессы. Поставив себя в один ряд с Толстым, и не в шутку, а вполне серьезно, Блок сразу же установил дистанцию, что начисто исключало возможность не только диалога на равных, но и вообще дружеского общения: А. А. думала, что приглашена в гости пусть и к знаменитому, но современнику, а ее встретил чуть ли не «паятник».

О морозном воскресенье 15 декабря 1913 года, и тоже только со слов Ахматовой, известно еще и то, что уходя она оставила Блоку его сборники — «чтобы он их надписал». На каждом поэт написал просто: «Ахматовой — Блок». А вот в свой третий том лирики вписал сразу после ее ухода сочиненный мадригал: «„Красота страшна“, — Вам скажут...»³.

Л. К. Чуковская как-то призналась Ахматовой, что не понимала раньше, до ее рассказов о не-романе с Блоком, стихотворения «„Красота страшна“...». А. А. ее утешила: «„А я и сейчас не понимаю. И никто не понимает. Одно

³ «Красота страшна», — Вам скажут —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.

«Красота проста», — Вам скажут —
Пестрой шалью неумело

ясно, что оно написано вот так”, — она сделала ладонями отстраняющее движение: „не тронь меня”».

А. А. несправедлива. В стиле «не тронь меня» написан отзыв Блока на «Четки», об этом ниже. Портрет же Ахматовой в испанской шали, хотя и смахивает на эскиз театрального костюма, особенность ее поведения — сочетание внешней декоративности облика и внутренней простоты — все-таки фиксирует...

Впрочем, ничего нового «романсеро» ей не открыло. Александр Александрович по-прежнему воспринимал ее как красивую женщину, которая, притягивая, не притягивала достаточно сильно, а вовсе не как «крупного поэта». Этот ракурс осенью — зимой 1913/14 года Ахматову решительно не устраивал. Ахматова знала, что *после смерти им стоять почти что рядом*, она все про себя знала наперед, а Блок и мысли такой не допускал. Так и ушел в уверенности: жена акмеиста Гумилева — всего лишь одна из претенденток на открывшуюся на театре русской поэзии вакансию: лирическое сопрано (голос несильный, тембр приятный, школы никакой, для большой сцены не годится, для эстрады сойдет и даже будет иметь успех — при нынешней желтой, вульгарной моде на раздушенные перчатки и шляпы с перьями).

Надо также принять во внимание, что минимум три грации из окружения Анны Ахматовой могли похвастаться тем, что удостоились особого внимания Блока⁴, и в том же кругу не было ни одного человека, кого бы Блок отметил своей дружбой. Вл. Пяст свидетельствует: «Многие мои друзья... очень интересные и достойные во всех отношениях люди, с трудом, по большей части даже с полной безуспешностью добивались разрешения на общение с ним».

Короче, в ситуации 1913 года добиваться (и соблазнять!) Александра Александровича как «аматера на час» было уже достаточно вульгарным. Иное дело — оказаться в числе немногих избранных, кто был допущен к общению! При таких больших ожиданиях явление тени графа Толстого было для А. А. обескураживающим. Однако ж и Блок в явившейся точно в назначенный срок визитерше не узнал облюбованную модель: капризная, не без вульгарности змейка, работавшая под гитану, осталась где-то там, внизу, на углу Мойки, и Пряжки. А эта — в дверном проеме — была слишком проста («красота проста — вам скажут»), а если и сквозило в ней что-то не петербургское, южное, то опять-таки в слишком уж простом, балаклавском варианте, что-то от прямых, высоких, длинноносых причерноморских гречанок, так трогательно похожих на византийских мадонн. Но этот тип, пленявший Куприна, «голландцу» Блоку был чужд и даже неприятен; как художнику ему нечего с ним было делать.

Короче, разочарование и вызванное им замешательство было обоюдным, и Блок воспользовался давно отработанным для проходящих с улицы либо *по записке* начинающих поэтов сценарием. Ритуал подобного приема известен нам по воспоминаниям и Р. Ивнева и Н. Павлович и по рассказам Есенина.

Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу.

Но, рассеянно внимаю
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

16 декабря 1913.

⁴ «Свой роман с Блоком мне подробно рассказывала Валентина Андреевна Щеголева. Он звал ее в Испанию, когда муж сидел в Крестах. Были со мной откровенны еще две дамы: О. Судейкина и Нимфа Городецкая» (ЗКА, стр. 671).

Не умеющий и не любивший проявлять себя в разговоре, Блок сначала предлагал визитерам что-нибудь почитать, затем следовало предложение рассказать о себе, и так как хозяин молчал и только смотрел ясно и просто, юные дарования переставали смущаться.

Ивнев: «Мы прошли через две комнаты в третью... Блок не задал мне ни одного трафаретного вопроса... и вышло как-то естественно, что я без всякого прямого вопроса... рассказал *почти всю свою биографию...*»

Павлович: «Блок позвал меня в свой маленький кабинет... увидел, что я побледнела, подошел и спросил, что со мной. Внимательно посмотрел на меня, понял и тихонько сказал: „Отдыхайте! Не торопитесь никуда и рассказывайте мне о себе“. *И я рассказала ему все самое главное, внутреннее, важнейшее, как можно рассказывать только самому близкому человеку.* Сидела я у него до часу ночи».

Ивнев был на приеме у Блока в 1909 году, Павлович — одиннадцать лет спустя, но сценарий приема не изменился, и у нас нет оснований предполагать, что он был изменен 15 декабря 1913 года: сначала стихи, немного, потом — «Рассказывайте о себе...». Что А. А. могла рассказать о себе, чего бы Блок и о ней, и вообще не знал? Была, впрочем, одна тема, которую и он и она могли обсуждать хоть «до часу ночи»: Блок, как и Ахматова, по-детски страстно-застенчиво любил море. Когда дочери его друга Евгения Иванова исполнилось два года, он подарил крестнице игрушку — большой корабль. Павлович, приводя этот факт, добавляет: «Надо знать все пристрастие Блока к морю и кораблям, чтобы оценить выбор именно этого подарка — вот уж от полноты сердца» («Блоковский сборник». Тарту, 1964, стр. 465; кстати, эту книгу Ахматова успела прочесть, и не в награду ли за морское воспоминание и была вручена этой вовсе не симпатичной ей персоне заветная реликвия — портсигар Блока?⁵).

Павлович принадлежит и следующее наблюдение: «Сам Блок почти по-детски любил все, связанное с морем. Он часто рисовал корабли. У него был альбом, куда он наклеивал различные картинки, снимки, заметки. Больше всего там было кораблей» (там же, стр. 480).

Но: по-детски любя море вообще, Блок никогда не видел моря Черного; вот уж где А. А. могла развернуться и выложить все-все: и про свое второе, дикое, языческое херсонесское детство, и про приморскую юность, и про дружбу с лихими балаклавскими листригонами, и про камень в версте от берега, до которого восьмилетней пацанкой доплывала, и наверняка про шесть верещагинских миноносцев не забыла вернуть — ведь этот эпизод так поразительно красиво рифмовался с его, Блока, воспоминаниями о миноносцах французских: один миноносец и четыре миноноски в сонной курортной бухте Бретонского побережья, — но блоковские военные корабли ни с чем для сердца русского не сливались, а за ее *кильватерной колонной* желто и страшно взрывался броненосец «Петропавловск»!

Прикинувшись солдаткой, выло горе,
Как конь, вставал дредноут⁶ на дыбы,
И ледяные пенные столбы
Взбешенное выбрасывало море
До звезд нетленных из груди своей,
И не считали умерших людей...

Словом, несмотря на тень великого старца, чуть было не омрачившего малиновое воскресенье, беседа и состоялась, и запомнилась, о чем А. А. и уведомила Блока⁷, едва до нее дошли подписанные ей сборники (5 или 6 января 1914 года).

⁵ «Портсигар Блока. Отдала Н. Павлович» (ЗКА, стр. 223).

⁶ Дредноут — в данном контексте: броненосец.

⁷ Получив книги и стихи, Ахматова не без труда (с эпистолярной прозой у нее были весьма натянутые отношения) подобрала приличные случаю слова искренней благодарнос-

А кроме того, в ходе «беседы», видимо, прояснилось, что имел в виду Блок: в декабре 1913 года, когда он попробовал вернуться к отложенному «Возмездию», стал составлять планы нового варианта огромной поэмы — о судьбе одного дворянского рода — и начал, как и Толстой при работе над «Войной и миром», «уточнять» семейные предания, изучая и конспектируя исторические документы, Толстой действительно очень сильно ему мешал. Зашел, похоже, и разговор о поэме как жанре, о том, какой должна быть современная поэма.

Во всяком случае, 15 января А. А. возвращалась от «морских ворот Невы» явно в воодушевлении и с твердым намерением попробовать свои силы в эпическом жанре. Может быть, тогда же, в то же воскресенье, зазвучал один из самых ранних в ее поэзии эпических мотивов: «Смеркается, и в небе темно-синем...» Уж очень, и по деталям, и по эмоциональному настрою, этот отрывок совпадает с «Я пришла к поэту в гости...». Это как бы описание ее пути (туда — в полдень: от Тучкова переулка к строгому и высокому дому на углу Мойки и Пряжки — и обратно, на закате!).

*Смеркается, и в небе темно-синем,
Где так недавно храм Ерусалимский
Таинственным сиял великолепьем,
Лишь две звезды над путаницей веток...*

Прогулка («мне странно в тот день была прогулка») — с Офицерской улицы до Васильевского острова — минимум сорок минут спорным шагом; так что выйдя «из гостей» еще засветло, на закате «малинового солнца», А. А. добралась до «Тучки» уже в сумерках. Чтобы отважиться на такое путешествие в мороз («а на улице мороз»), ей, мерзлячке, надо было находиться в особо приподнятом настроении. Но так, похоже, и было:

*И я подумала: не может быть,
Чтоб я когда-нибудь забыла это.
И если трудный путь мне предстоит,
Вот легкий груз, который мне под силу
С собою взять, чтоб в старости, в болезни,
Быть может, в нищете — припоминать
Закат неистовый, и полноту
Душевных сил, и прелесть милой жизни.*

(Концовка дописана в 1940-м, то есть уже на «пороге старости», в «нищете» и «болезни».)

ти, а в письмо вложила следующий как бы «пустячок» (вы мне мадригал в полуиспанском стиле, а я вам комплимент почти великосветский):

*Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз*

*И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!*

*У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.*

*Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.*

А через несколько дней А. А. получила бесценный — «что другие все дары» — новогодний подарок. Блок, как выяснилось из его письма от 18 января 1914 года, не через рассыльного, а сам, лично, принес ей подписанные книги, но, сообразив, что время позднее, передал пакет дворнику и при этом неверно назвал номер квартиры. Но не это было нечаянной радостью, а то, что Александр Александрович просил позволения: «Позвольте просить Вас позволить (именно так: «Позвольте позволить!» — А. М.) поместить в первом номере этого журнала (речь идет о журнале Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам». — А. М.) — Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам».

В. А. Черных («Переписка Блока с А. А. Ахматовой» — «Литературное наследие». Т. 92, кн. 4, стр. 572) называет это церемонное послание «сухо-официальным» и «подчеркнуто деловым» и противопоставляет ему письмо от 26 марта того же года, написанное по получении «Четок»: «Письмо Блока Ахматовой от 26 марта значительно мягче и душевнее, чем его письмо к ней от 18 января». Смею предположить, что реакция Ахматовой была прямо противоположной. На январское, церемонное и торжественное, как и следует меж поэтами (своего рода договор о сотрудничестве), предложение А. А. отозвалась удивительной открытостью, обмолвась, заменила, в автографе, полагающееся по церемониалу «*Вы*» на дружеское и братское «*ты*»: «*От тебя* приходила ко мне тревога и умение писать стихи». А вот в отместку за отзыв на «Четки» при первом же удобном случае поставила Блока на место, о чем в свое время и сообщила К. И. Чуковскому: «Как-то мы с ним выступали на Бестужевских курсах... И вот, в артистической — Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и начал: „Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах“. А я дерзкая была и говорю ему: „Ваше мнение я знаю, а скажите мне мнение барышни...”»

И «окаянство» Ахматовой, и смущение Блока станут понятнее, если прочитать отзыв Блока на «Четки» так, как могла и должна была воспринять его А. А. Тут нам придется задержаться и заняться арифметикой. Прочитированное выше письмо матери Блока, Кублицкой-Пиотгух, датировано 29 марта 1914 года. Следовательно, если ввести в «меню» записку Блока к Ахматовой от 26 марта того же года, в которой он сообщает, что, получив 25 марта «Четки», тут же, не читая, а только разрезав, передал их своей матери, а утром Александры Андреевны «взяла книгу и читала не отрываясь» (26 марта), следы неотрывного чтения в письме (от 29 марта) должны отпечататься. А их нет! Почему, якобы внимательно прочитав «Четки», мать поэта цитирует стихи, датированные 1910 годом, тогда как могла бы отметить в только что прочитанной книге куда более веские доказательства того, что интересная поэтесса *готова любить ее сына?* По всей вероятности, письмо Александры Андреевны все-таки написано до чтения «Четок». Заподозрить прямодушного Блока в дипломатической увертке как-то неловко, и тем не менее... отзыв, приписанный матери: «не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски подлинно», — на самом деле — личное мнение Блока⁸, точнее, его первое, беглым взглядом зафиксированное впечатление (разрезать тонюсенькую, в 52 лирические пьесы, поэтическую книгу и сделать это аккуратно, а Блок был аккуратист, не «сфотографировав» в краткий миг ее образ, профессионалу невозможно, и захочешь — не получится).

Принято считать, что «охлаждение» Блока к Ахматовой (или, как иногда выражаются, к «образу Ахматовой») связано с увлечением Л. А. Дельмас (так полагала и мать Блока — «А Саша опять полюбил Кармен», — а может быть, и сама Анна Андреевна). Думаю, дело все-таки в другом. «Четки» как целое,

⁸ Того, что Блок выдал свое мнение за мнение матери, А. А., разумеется, не знала, но о том, что он и думает, и чувствует с матушкой ровно, догадывалась. То же самое, хотя и другими словами, Александр Александрович говорил Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (Елизавета Юрьевна в ту пору была, можно сказать, подругой Ахматовой, и Блоку это было известно).

как дамский любовный роман — до деталей (перчатки, экипажи, скомканные письма незнакомки и т. д.) совпали с тем типом отношений, какие упорно навязывала Блоку Наталья Николаевна Скворцова и от которых он действительно «отвергивался»⁹.

Впрочем, кислый отзыв Блока на «Четки» был воспринят, как уже отмечалось, весело и дерзко. А в июне Ахматова отправилась в Киев, куда по договоренности должен был приехать и Николай Недоброво. По всей вероятности, именно он и привез А. А. весенние номера «Русской мысли» с морскими стихами Блока¹⁰.

Недоброво, разумеется, ничего не заметил, но А. А. — услышала, не могла не услышать прямой отзвук, казалось бы, напрочь забытой Блоком «беседы» о море и кораблях, об их, одной на двоих, детской ко всему этому страсти: «Ты помнишь? В нашей бухте сонной / Спала зеленая вода, / Когда кильватерной колонной / Вошли военные суда». И дальше, самое главное, искупающее и «безумный» портрет в стиле «не тронь меня», и все прочее в том же духе: «Как мало в этой жизни надо / Нам, детям, — и тебе и мне!» В четвертом номере «Русской мысли» за 1914 год это — единственное стихотворение Блока, к тому же оно открывает номер; итальянский цикл появился в следующей книжке. Значит, *радиоактивировать* полузадохнувшиеся морские сюжеты Блок начал именно с этого ее страстью к морю оживленного воспоминания?

Дождливый июнь 1914 года, от которого А. А. убежала в киевскую благодать, обернулся дикой июльской жарой. В начале того же июля в Кронштадт прибыла французская эскадра с президентом Франции Пуанкаре. Петербург вмиг офранцузился: лоточники нарасхват торговали французскими флажками, студенты, в обнимку с подвыпившими гостями, распевали «Марсельезу», мастеровые меняли картузы на военные береты с помпоном, и все чем-то размахивали — флажками, платками, шляпами, солнечными зонтиками... Газетчики сквозь платок, накинутый на роток, проговаривались: дескать, братаемся и с французами и с англичанами неспроста, но обыватели газетчикам не очень-то верили. Какая тебе война? Орали, надрывая связки: «Ура! Вив ля Франс!»

Никаких дурных предчувствий не было и у А. А. Наоборот! Было ощущение полноты душевных сил, доверие к жизни и вера в то, что жизнь сама выберет тропу и даст знак. Так и случилось. «Летом 1914 г., — вспоминала Ахматова незадолго до смерти, — я была у мамы в Дарнице, в сосновом лесу, рас-

⁹ Вот что писал Блок — мнимой — Гильде вскоре после знакомства с Ахматовой: «Есть связи между людьми совершенно невысказываемые, по крайней мере, до времени не находящие внешних форм. Такой я считал нашу связь с Вами... по всем „знакам“, под которыми мы с Вами встретились... Если это действительно так... то что значат такие письма, как Ваше последнее?... Вы становитесь не собой, одной из многих, уходите куда-то в толпу, становитесь подобной каждому ее атому... Демон самолюбия и праздности соблазняет Вас воплотиться в случайную звезду 10-й величины с неопределенной орбитой... В нашем веке возможность таких воплощений особенно заманчива и легка, потому что существует некая „астральная мода“ на шлейфы, на перчатки, пахнущие духами, на пустое очарование. ...Вам угодно встретиться со мной так, как встречаются „незнакомки“ с „поэтами“. Вы — не „незнакомка“, т. е. я требую от Вас, чтобы Вы были больше „незнакомки“, так же как требую от себя, чтобы я был не только „поэтом“. Милый ребенок, зачем Вы зовете меня в астральные дебри, в „звездные бездны“ — целовать Ваши раздушенные перчатки...»

О существовании этого письма А. А. узнала, видимо, в начале 60-х, когда стал выходить восьмитомник Блока. Иначе вряд ли бы появилась странноватая деталь во втором стихотворении ее блоковского триптиха — она сильно смущала даже такого преданного ахматовца, как В. Я. Виленкин: «И в памяти черной пошарив, найдешь / До самого локтя перчатки...», да еще и раздушенные: «...в сумраке лож / Тот запах и душный и сладкий». Не исключено также, что внимательно прочитанное послание к Скворцовой стало тем «проректором», который, осветив «подвал памяти», добавил в план расширенных воспоминаний Ахматовой о Блоке, в главе «Вечер на Бестужевских курсах», совсем, казалось бы, позабытую подробность: «Разговор о „Незнакомке“».

¹⁰ За этим журналом Недоброво следил с не меньшим вниманием, чем Ахматова, ожидая опубликования своей статьи о «Четках». Впрочем, судя по письму Ахматовой к Гумилеву из Слепнева летом 1914 года, где она сообщает мужу, что ждет с нетерпением июльскую «Русскую мысль», можно предположить, что в 1914-м этот журнал выписывали или Гумилевы, или кто-то из их деревенских соседей.

каленная жара... и про то, что через несколько недель мимо домика в Дарнице ночью с факелами пойдет конная артиллерия, еще никто не думал... В начале июля поехала к себе домой, в Слепнево. Путь через Москву... Курю на открытой площадке. Где-то у какой-то пустой платформы паровоз тормозит — бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором вырастает Блок. Я от неожиданности вскрикиваю: „Александр Александрович!“ Он оглядывается и, так как он вообще был мастер тактичных вопросов, спрашивает: „С кем вы едете?“ Я успеваю ответить: „Одна“. И еду дальше... Сегодня через 51 год открываю „Записную книжку“ Блока, которую мне подарил В. М. Жирмунский, и под 9 июля 1914 года читаю: „Мы с мамой ездили осматривать санаторию на Подсолнечной. — Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде“. (Станция называлась Подсолнечная)».

В 1914 году А. А. конечно же и мысли не могла допустить, что Александр Александрович, увидев ее в тамбуре почтового поезда, заподозрит заговор «нечистой силы», однако сама восприняла встречу на станции Подсолнечная как некий вещий знак.

Летняя благодать. Золотой Киев. Софийские и московские колокольные звоны. Дни, полные гармонии. И эта чудесная встреча. Нет, Блок совсем не понял слова, которые она, не смея произнести вслух, написала на подаренных ему «Четках»: «От тебя приходила ко мне тревога и умение писать стихи»... Пока ехала, сами собой, словно их кто-то и впрямь диктовал, сложились стихи, нет, не стихи, а моление. Молитвословие — как перед Богом!

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога.
Где бы она ни вилась.

То слышали ангелы золотые
И в белом гробу Ярослав.
Как голуби, вьются слова простые
И ныне у солнечных глав.

И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.

(8 июля 1914 г.)¹¹

¹¹ Вероятно, по причине того, что в ближайшем окружении Ахматовой слишком понятно было, к кому обращено стихотворение, Ахматова его при жизни не публиковала. Хотела напечатать в 1917-м, в «Белой стае», но после обсуждения состава сборника с М. Л. Лозинским раздумала. К сказанному выше надо добавить, что рассказ о том, как возникло стихотворение «И в Киевском храме Премудрости Бога...», находится внутри цельного повествования, герой которого — Блок (ЗКА, стр. 669 — 673):

«III-е киевское стихотворение в 1914. М. б., оно и не в 14 г., но относится к этим дням:

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Упав на колени, тебе я клялась,
Что будет твоею моя дорога,
Где бы она ни вилась.

.....
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышался голос тревоги твоей.

Когда мы шли в театр, кто-то из знакомых на улице крикнул: „На блокослужение идете?“»

И далее, через абзац, про испанскую шаль и интервью с «Литературной газетой» — «лучше не надо: Тайна тайн». (Тайна тайн — чисто ахматовская метонимия, обозначающая не просто поэзию, а то особое состояние, когда стихи кто-то — диктует.)

«И в Киевском храме Премудрости Бога...» комментаторская традиция, на основании того, что на автографе, подаренном Ахматовой Лукницкому, стоят инициалы Недоброво «НВН», упорно с ним и связывает. «Речь идет о встрече в июне 1914 г. в Киеве с Н. В. Не-

10 июля Ахматова была уже в Слепневе. Вот теперь она уже точно напишет о своем Херсонесе, о дикой девочке, которая знает о море все, и напишет так, как хочет... Завтра! Но завтра уже была ВОЙНА.

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.

Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня...
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозových вестей.

Как груз отныне лишний отодвинулся и замысел морской поэмы. Гумилев, проявив чудеса изобретательности (в первые дни войны освобожденных медкомиссией еще браковали), поступил добровольцем и именно туда, куда хотел: рядовым в лейб-гвардии уланский полк. И в эти же дни А. А. был дан еще один вещий знак — как бы указание, что она неправильно истолковала «приказ Всевышнего»: война не отменила *ни песен, ни страстей*.

В августе 1914 года Ахматова и Гумилев обедали на Царскосельском вокзале. И вдруг так же неожиданно, как и месяц назад на платформе Подсолнечная, над их столиком навис Блок. И хотя на этот раз ничего сверхъестественного в его появлении в неожиданном месте не было: Александр Александрович вместе с другом Евгением Ивановым обходил семьи мобилизованных для оказания им помощи, — Ахматова была потрясена. Наскоро перекусив, Блок попрощался. Проводив взглядом его прямую, в любой толпе одинокую и отдельную фигуру, Гумилев сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

Снарядив мужа в поход, пока еще не на передовую, а в Новгород, где стояли уланы, Анна Андреевна вернулась в деревню и почти набело, на одном дыхании, написала первые сто пятьдесят строк «У самого моря». Она очень спешила, предчувствуя, что вернется не только в столицу другого государства, но и в другой век.

Поэма была отчаянной попыткой остановить «мгновенье». А. А. хотела верить, что прощается только со своей херсонесской юностью! На самом деле она провожала полным парадом чувств целый мир...

доброво и о клятве, данной ему» (Ахматова Анна. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. 1, стр. 785). Между тем Ахматова неоднократно говорила тому же Лукницкому, что и поставленные ею даты, и посвящения — сплошь и рядом мнимые. По разным соображениям нарочно неверные. Это во-первых. Во-вторых, хотя Ахматова ехала в Киев, чтобы встретиться с Недоброво, в ее отношении к нему, как явствует из написанного через несколько дней другого стихотворения (уже именно к нему конкретно обращенного, а не подаренного, как, очевидно, было с третьей частью киевского триптиха), нет и намека на почти религиозный клятвенный экстаз. Грустная благодарная нежность — не более того:

Целый год ты со мной неразлучен,
А как прежде и весел и юн!
Неужели же ты не измучен
Смутной песней затравленных струн, —

Тех, что прежде, тугие, звенели,
А теперь только стонут слегка,
И моя их терзает без цели
Восковая сухая рука.

И далее в том же духе: «Тихий, тихий, и ласки не просит...», «Верно, мало для счастья надо...».

27 апреля 1915 года Блок был отослан оттиск поэмы «У самого моря»... Ну а дальше случилось то, что случилось. Получив весной 1916-го полуположительную рецензию на поэму «У самого моря» в форме письма к подающему надежды автору, А. А. решила, что Блок все забыл. Намертво. «Я сегодня не помню, что было вчера, / По утрам забываю свои вечера»... Но ей, *задуманной так надолго* («Кто бы мог подумать, что я задумана так надолго?»), Бог дал долгую память. Долгую память и позднюю мудрость: не в том сила, что прошло, а что прошло, да было. Так ведь было? *«С ней уходил я в море, с ней покидал я берег»?*

Или все это было сном?

Л. К. Чуковская сумела сделать себе имя безукоризненной репутацией. В силу этого внушения все, что сказано ею в трехтомных «Записках об Ахматовой», автоматически возводится в безусловность. А. Найман, правда, попробовал намекнуть: дескать, сходство копии, сделанной Чуковской, с оригиналом весьма отдаленное, Лукницкий, мол, работал тоньше. Но как-то уж очень мягко, расшаркиваясь и извиняясь, намекал. Между тем «Записки...» — как раз тот случай, когда нельзя принять ни одно суждение А. А. без поправки на художественные возможности Лидии Корнеевны. Летучие, наискосок, крылатые, легкокасательные, со множеством смысловых и интонационных полутонов, реплики А. А. она, увы, обводила старательно-грузной, ровно-нажимной линией. Лукницкий, тот понимал, как много в его передаче теряет речь Ахматовой и в красоте, и в точности¹².

Лидия Корнеевна подобных оговорок почти не делала. Конечно, и она чувствовала «перепад высот», но разность между ней и Ахматовой не представлялась такой уж значительной: «Как я боюсь, что я — Есенин относительно Блока. Лобовое и упрощенное раскрытие того, что у нее сложно». Впрочем, не исключено, что, беседуя с Чуковской, А. А. слегка адаптировала самое себя, чего в разговорах с Лукницким не было. Все это я говорю вовсе не для того, чтобы умалить подвижнический труд, а для того, чтобы объяснить, почему не считаю корректным пользоваться без психологической экспертизы приведенными в «Записках...» суждениями Ахматовой о Блоке, кроме, разумеется, нейтральных фактов (вроде рассказа о том, как гимназистка Горенко принесла в класс «Стихи о Прекрасной Даме», а первая ученица сказала: «И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца!»). Взять хотя бы такой фрагмент: «Этот человек очень не импонировал мне. Презирал, ненавидел людей. Как у него в «Дневнике» сказано про соседку: кобыла! Уровень коммунальной квартиры. Единственными людьми были для него мама, тетя, Люба. Безвкусовые, мещанские... Если уж ты Лара, Манфред — сиди в башне, дохни, гори и не возись с людьми...»

О том, что смерть Блока А. А. пережила как личную утрату, свидетельствует Лукницкий: «Говорила о том ужасе, который она пережила в 1921 году, когда погибли три самых близких ей духовно человека — А. Блок, Н. С. и Андрей Андреевич Горенко». Но был и другой Блок: покорный сын, племянник и муж, и этот второй Блок ей действительно *не очень-то импонировал*. А что получилось в передаче Чуковской? Блок-Поэт выпал в осадок, в результате и все соображение в целом спустилось «на уровень» выяснения отношений в «коммунальной квартире».

И все-таки дыма без огня не бывает: и «Дневник» Блока, и его «Записные книжки» поразили многих блокопоклонников. Сошлюсь на эссе Б. Алперса (впервые опубликовано в «Исканиях новой сцены» — М., «Искусство», 1985): «Люди, связанные в жизни давними отношениями с Блоком, наверное, были

¹² «Когда АА говорит о ком-нибудь — говорит всегда глубоко понимая человека... И если в таком разговоре по свойственной АА тонкости ума и способности к иронии („озорство мое“, „мое окаянство“) попадает сатирическая фраза, то она способна вызвать в собеседнике веселый смех, как всякая остроумная шутка» (ПНЛ, т. 1, стр. 86 — 87).

уязвлены тем, что они прочитали о себе в его интимных записях. В этих записях нет ничего оскорбительного. Но от них веет таким глубоким равнодушием, таким ледяным холодом, словно поэт пишет о букашках». В сравнении со многими униженными и оскорбленными Ахматова могла чувствовать себя и избранной, и отмеченной. Но она, как явствует из записей Чуковской, все-таки уязвилась, хотя все, что открылось Алперсу только после прочтения дневников, ей было известно и раньше. «У него глаза такие, / Что запомнить каждый должен; / Мне же лучше, осторожной, / В них и вовсе не глядеть...» Не глядеть... чтобы не увидеть что? Однако не остереглась, заглянула: «Ты первый, ставший у источника / С улыбкой мертвой и сухой, / Как нас измучил взор пустой, / Твой взор тяжелый — полуночника» (датируется между 1912-м и 1914-м; вероятнее, 1914 год, не до, а после воскресного собеседования). Испугавшись, должно быть, того, что нечаянно увидела, Ахматова страшные стихи от самой себя скрыла — при жизни Блока не печатала.

Но и Блок, должно быть, что-то неладное все-таки заподозрил. Через два дня после визита «ведьмы с Лысой горы» написаны более чем странные стихи:

.....
 Тем и страшен невидимый взгляд,
 Что его невозможно поймать;
 Чуешь ты, но не можешь понять,
 Чьи глаза за тобою следят.

Не корысть — не влюбленность, не месть;
 Так — игра, как игра у детей:
 И в собрании каждом людей
 Эти тайные сыщики есть.

Ты и сам иногда не поймешь,
 Отчего так бывает порой,
 Что собою ты к людям придешь,
 А уйдешь от людей — не собой.

Короче, «мотив поднятых и опущенных глаз» (как заметил В. А. Черных) и в самом деле «повторяется» в поэтическом диалоге Блока и Ахматовой в декабре — январе 1913 — 1914 годов, но только диалог сей — не любовный роман «вприглядку». Не серый бархат очей примадонны «Бродячей собаки» волнует Блока, а опасно-«зорко» «видящий глаз» Дианы-Охотницы... Не думаю, что поэт еще в то малиновое воскресенье заподозрил, что за ним следят и что у воскресной визитерши есть какая-то тайная цель... Насторожился он уже потом, после ее ухода, после того, как написал портрет «гитаны гибкой» и поиграл со стеклярусом пестрой ее шали в «Итальянских стихах» (которые, кстати, как свидетельствует Чуковская, Ахматова называла «гениальными»). А какой гений сыска вмиг догадался бы, что смущающаяся, скромная до застенчивости, вмиг оробевшая дама-девочка — тайная сыщица? И вошла осторожно, и взгляды уклоняла, а сама, усыпив его напряженное, всегда начеку — не подходи ко мне так близко, «не тронь меня!» — внимание, следила за ним? «Есть игра: осторожно войти, / Чтоб вниманье людей усыпить: / И глазами добычу найти; / И за ней незаметно следить».

Только тогда, похоже, и сообразил, когда заметил: каждый раз при столкновении с этой женщиной, к которой ничего и близко похожего на влюбленность не испытывал, стихов которой он не любил, хотя и отмечал с «тайным холодом», что они «чем дальше, тем лучше», начинает вести себя как сбитый с панталыку: задает дурацкие, бестактные вопросы («Вы одна едете?», «Вы, верно, потому звоните, что...», «А где испанская шаль?»...). Словом, становится «не собой». Но все это, повторяю, стало замечаться меж ними после 15 декабря 1913 года, а в тот морозный и солнечный день А. А. и сама наверняка не догадывалась, что явилась в строгий дом у морских ворот Невы с «нехорошей» целью: хищно надыхаться закрытой на семь ключей душой Блока, похитить тайну его «чары» — словом, сделать эскиз, по которому несколько

десятилетий спустя будет написан его *полный*, врубелевского размаха, портрет в «Поэме без героя»:

На стене его твердый профиль.
 Гавриил или Мефистофель
 Твой, красавица, паладин?
 Демон сам с улыбкой Тamarы,
 Но такие таятся чары
 В этом страшном дымном лице:
 Плоть, почти что ставшая духом,
 И античный локон над ухом —
 Все — таинственно в прищелце.
 Это он в переполненном зале
 Слал ту черную розу в бокале,
 Или все это было сном?
 С мертвым сердцем и мертвым взором...

Но это уже совсем другая история, а та, морская, которую они: он — уже почти мертвый, и она — живая, — разыграли и спели почти дуэтом, на шарманочный приморский мотив, кончилась еще при жизни молчаливого хозяина тихой и просторной комнаты. Точку в ее конце, игрою все того же случая, зафиксировал Корней Чуковский: «Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из „Всемирной“. Первый раз вижу их обоих (Ахматову и Блока. — А. М.) вместе... Замечательно — у Блока лицо непроницаемое, и только движется, все время зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но *там* было сказано много».

Поставив точку, я прочитала рукопись уже не своими, а читательскими глазами и увидела, что как бы и не ответила на неизбежно вытекающий из нее вопрос: если все вышеизложенное, пусть на уровне гипотезы, правдоподобно, почему Ахматова никогда «не проговорилась», что границы ее херсонесских владений простирались так далеко — до местности около Георгиевского монастыря? И тогда еще раз перечитала ее «Записные книжки». И нашла, и не намека, а прямое указание. В отрывке, который цитировали не раз и не пять, но без одной фразы. Эту-то фразу, ключ к смыслу шифра, как раз и купировали публикаторы. Не по небрежности, а потому, видимо, что сообщение, в ней заключенное, не поддавалось комментированию. Вот этот фрагмент и эта фраза: «Я как Птишоз с его женским монастырем, в который превратился его рай, его бумажная фабрика. *Херсонес, куда я всю жизнь возвращалась, — запретная зона*» (ЗКА, стр. 86).

Логика публикаторов понятна: исторический Херсонес никогда не был «запретной зоной», уже в конце 20-х там открыли музей, в силу чего и предполагалось, что А. А. ошиблась или имела в виду что-то совсем другое, например, то, что Севастополь стал закрытым городом. Однако хищная память и в данном случае ее не подвела: накануне Отечественной войны хозяевами бывшего Георгиевского монастыря стали военные, официально — школа по подготовке «младших политруков». *Запретной* эта зона оставалась и после войны: здесь до конца 70-х располагалась воинская часть *особого назначения*. Поэтому-то и Лукницкий в 1925 году, чтобы увидеть ахматовский Херсонес, берет напрокат моторную лодку, а не извозчика! «В Севастополе на моторной лодке ходил в Херсонес. В море был хороший ветер и сильная волна. В Херсонесе — торжественная тишина. Я нашел чудный глиняный черепок, привезу его Вам. Вернулся в Севастополь до ниточки мокрый и довольный прогулкой».

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР СЛАВЕЦКИЙ

*

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

«Амелинский сезон» в поэзии конца века

— Я болен прошлым, ибо у будущего будущего нет!

Максим Амелин.

Скорее речь пойдет не о периоде, потому что все нынче скоротечно, а как бы о *сезоне*, отмеченном аж двумя поэтическими подборками Максима Амелина в «Новом мире» (1997, № 11 и 1998, № 6), его же переводами из Катуллы и запомнившимися выступлениями на публике, но если права Татьяна Бек, что впервые за многие десятилетия новая поэзия не больна «заведомо исчисленным логосом», исторгнутым «под дирижерскую палочку» звуком, а также не является «спекулятивным *наростом* большого стиля», «рабской пародией или зависимой репликой на социалистический амфир» и «*противоположным общим местом*» («Литературная газета», 1998, № 17), то и в самом деле можно было бы, хотелось бы надеяться на начало нового периода в развитии отечественной поэзии.

Хотя вряд ли уж когда-нибудь принципиально изменится ситуация, остроумно описанная Мандельштамом в 1924 году, но характерная и для наших дней: «Ничто так не способствует укреплению снобизма, как частая смена поэтических поколений — при одном и том же поколении читателей. Читатель приучается чувствовать себя зрителем в партере: перед ним дефилируют сменяющиеся школы. Он морщится, гримасничает. Наконец, у него появляется совсем уже необоснованное сознание превосходства — постоянного перед переменным, неподвижного перед движущимся». По-другому говоря, вряд ли может приостановиться разветвление, «разлитие» (Леонтьев), дробление искусства.

За последние примерно двадцать с лишним лет мы были свидетелями существования и смены нескольких стилевых течений, которые на-какое-то время становились заметными настолько, что можно условно выделить несколько коротких периодов, если не вдаваться в оттенки, до поры не касаться андерграунда, который в свое время вышел «на свет», и опираться только на творчество поэтов, что «в пятидесятых рождены» (Николай Дмитриев). С некоторыми, естественно, отступлениями, ведь анкетный возраст — далеко не единственный аргумент.

Еще в 1981 году Олег Хлебников опубликовал стихотворение «Конец века»: «Уже не быть любимцами России, / уже прошла младенчества пора. / Венков лавровых не совьют витии / при помощи бумаги и пера». Но в этом же году Николай Дмитриев был увенчан премией Ленинского комсомола, а неутомимый Николай Старшинов выпустил в «Худлите» антологию «Молодые голоса», куда вошли стихи ста двадцати поэтов, в основном «детей» Постановления 1976 года «О работе с творческой молодежью» (говорю об этом не ради иронии, а ради констатации). Это была вершина «дмитриевского» периода, поэзии которого присущи трогательность, задушевность, припадание к исто-

кам, верность заветам, открытый исповедальный лиризм, восходящий к традициям XIX века, а если ближе — к Рубцову и Евтушенко.

«Ждановский» период начинается примерно со времени выхода книги Ивана Жданова «Портрет» в 1982 году во вполне официальном «Современнике», а пик его приходится на середину 80-х, когда наиболее бурными были споры о «сложности», «метаметафоризме» (К. Кедров), «метареализме» (М. Эпштейн), Language School (Майкл Молнар).

На волне перестроечного интереса к «задержанной литературе», переоценке ценностей, смене вех, нонконформизму и социальности привлекли к себе внимание концептуалисты, дебютировавшие на «Испытательном стенде» «Юности» (1988, № 1). Хотя в подполье и тамиздате они были известны раньше, но для читателей «приговско-кибировский период» приходится на конец 80-х. К читателям добавим и ныне развлекаемых поэтами зрителей, среди которых, сдастся, могло бы возникнуть что-нибудь вроде:

Веселых тройка есть друзей
Кибиров, Пригов, Рубинштейн(н)

(Кибиров рифмует лучше: «Рубинштейн — портвейн»). Концептуализм, по мнению Эпштейна, выполняет роль канализации, выводит отходы, мусор культуры. Не удивительно, что в цикле «Двадцать сонетов к Саше Запоевой», адресованном дочери, Тимур Кибиров, отталкиваясь от «фекальной» лексики Вл. Сорокина, пытается освободиться от концептуалистских ценностей. В интервью тиражным «Известиям» (1997, 14 ноября), где Кибиров, кстати, назвал свое поколение неповзрослвшим, инфантильным, помещен, скажем, не фрагмент поэмы «Сортиры» или что-нибудь столь же репрезентативное из концептуалистских «ароматов», но стихотворение, в сущности, серьезное, своей сентиментальностью напоминающее о вполне официальной поэзии 70 — 80-х: «Щекою прижавшись к шинели отца — / вот так бы и жить... Прижавшись щекою, заплакаться властью / и встать до конца». Стихи о припадании со слезами к отцовской шинели писали его сверстники двадцать лет назад. Ср.: «Конечно, мы смотрим иными глазами — / Такими же, полными слез» (Юрий Поляков, «Ответ фронтовику»). Круг, таким образом, замкнулся на апробированной тематике и поэтике — хотя с новой, евангельской, подсветкой.

90-е годы — это небывалое жанрово-стилевое «разлитие», эклектизм, пестрота; разные манеры так сильно разбегаются, что забывают о своей несовместимости и где-то «за горизонтом» пристрастий и «партий» сходятся, синтезируются. Известное взросление — когда жареный-то петух клюнул — наблюдается как в тематике (трагические мотивы «голошения» в лирике Геннадия Русакова, оплакавшего вместе со многими и многими другими авторами современные катаклизмы), так и в поэтике, синтезирующей и классические, и авангардные традиции («Гибель певня» и другие баллады Владислава Артемова, испытавшего влияние раннего, обэриутского, Заболоцкого). Удачно сошлись разные линии, наглядно доказывая, что — на уровне художественности, на уровне таланта — русская поэзия XX века не состояла и, слава Богу, не состоит из параллельных, не пересекающихся миров, герметических отсеков. 90-е годы (отсчитывая с появления надрывного цикла Русакова «Имя муки» в 1991 году) можно было бы назвать «русаковско-артемовским» периодом, если бы этих авторов мало-мальски «раскручивали» и шла бы о них молва.

И вот Олег Хлебников недавно выступил со стихотворением «На краю века» в «Новой газете», явно переключаясь с собой молодым (см. выше) и словно завершая существенную тему своего поколения и своего времени, отграничивая их от дальнейшего бытия. Из чего мы могли бы заключить, что и впрямь освобождается дорога для нового поколения, которое, впрочем, скорее всего об этом не спрашивает.

А что же новая генерация? Что отличает ее от предыдущего поколения, кроме того, что она, как утверждают, свободна от заведомо навязанного логоса? И возможно ли такое вообще — ведь у каждого времени свой цинизм, свой пресс и свои способы этому давлению противостоять, уходить от него или идти с ним на компромисс. Надеюсь, новые поэты не вообще свободны от идеологии, совокупности идей и взглядов, от смысла и всего того, что можно обозначить понятием «логос». Но предвзительно можно сказать, что сейчас в качестве структурирующего начала могут манифестироваться не идеология и даже не эстетика, стиль в их идеологическом аспекте, а какие-то иные факторы, например литературный быт (о чем пишет Дм. Кузьмин в «Арионе» — 1998, № 1), личные симпатии (как говорит Алексей Корецкий, представляя поэтическое содружество «Между-речь» в «Литературной учебе» — 1998, № 3).

Сфера эстетизированного быта (не только в литературном, но и в более широком смысле), дружеский круг и как бы декларируемая ориентация на этот круг придают известную альбомность стихам Дмитрия Воденникова, адресующимся, как, например, и в баснословные батюшковские времена, непосредственно к друзьям лирического героя («Баранов, Долин, я, Шагабутдинов», «тогда Барановым и Долиным клянусь»), к родителям его («Но так меня родители любили, / так вдоволь молоком меня кормили...»), многократно варьирующим — пусть и иронически — семейные, родственные связи и в относительно давнем цикле «Сны Пелагеи Ивановны», опубликованном в «Знамени» в 1996 году. Это особенно очевидно потому, что стихи повествовательны и даже имитируют фрагменты романа. При всей версификационной легкости поэт сознательно и изящно небрежен, имитирует графоманию («Строчи меня, строчи, безумный графоман»): он то в косноязычие впадает («когда мы все когда-нибудь умрем»), то демонстративно ленится рифму подыскивать («шадабиду — уйду», «медведёй — людёй»), то он слова спрессовывает ради стихотворного размера («в конце трагедии, из прочих выбьесь сил», «все варьянты стихтворений»), то у него среди преобладающего пятистопного ямба вдруг вылезет шестистопная строка, или наоборот. Он обезоруживает читателей признанием, что «всем надоел» не ямба, как у Пушкина, а он сам, но тут же готов упрекнуть и безвинный ямба, обозвав его «ледащим», то есть ленивым (сознательно не замечая неблагозвучия строки):

Кто б раскусил меня, когда б не ямба ледащий,
уж всем я надоел и опостылел им.

Экзерсисы на темы пушкинских образов и метров, особенно пятистопного ямба «Осени», подбросившей вкупе с гоголевскими «Записками сумасшедшего» идею бесконечного абсурдистского месяцеслова, напоминают, пожалуй, кибиловскую жанровую установку на *письмо в длину*, но эти новейшие перепевы гораздо мягче, великодушнее, они совершенно лишены злобы дня и вообще лишены злобы (чем и хороши), социальной заостренности, лирический герой словно и знать ничего и никого не хочет, кроме друзей, любящих его, балующих и потакающих капризам. Да, когда говорят о сюрреалистичности его образов, то уместно вспоминают Обэриутов и Вагинова, но все-таки Воденников для такого сравнения, если угодно, недостаточно абсурден, недостаточно сложен. Я не призываю поэта делать стихи поабсурднее: во-первых, этого уже слишком много было, а нам скорее ясности не хватает и в поэзии и в жизни, а во-вторых, он просто другой поэт. Его своеобразный абсурдизм, кажется, наиболее определенно соотносимый — сколько ни шути, ни избегай прямой метафизики — с темой жизни и смерти, связан именно с образом лирического героя — очаровательно эгоистичного, капризного и, должно быть, беззащитного перед судьбой баловня дружеской тусовки:

Но почему ж тогда себя так жалко, жалко —
и стыдно, что при всех средь бела дня

однажды над Стромынкoй и над парком,
как воробья, репейник и скакалку,
ты из кармана вытряхнешь — меня?

Если говорить об истоках поэтики новых авторов, то они весьма разнообразны, пестры, так сказать, эклектикообразующи, однако чувствуется все же, как общая черта, попытка найти опору в еще относительно малоиспользованных авторитетных стилях или как-то актуализировать их воздействие, а то и поискать в сферах более или менее маргинальных, пошарить по углам, поскрести по сусекам, зарыться вглубь веков и культур. Школьная программа освоена, шкала ценностей вроде бы известна, хорошо бы они (программа и шкала) не были забыты, то есть чтобы Державин все же не был вытеснен Хвостовым, который и так уж, по постмодернистскому обыкновению, занял равное с великими положение.

Думаю, Максим Амелин обратился к наследию приснопамятного графа Хвостова не потому, что не помнит слов Пушкина о «кукише похабном» (они как раз приводятся среди прочих изречений о знаменитом графомане, помещенных в книге сочинений Хвостова, любовно составленной и изданной Амелиным). Но современный поэт влюблен в старину, вообще поэтичную, по определению, в архаику, в грубоватый, наивный и мощный XVIII век, который, верно, стал для него своеобразной русской античностью. Да и в самом деле, скоро уже девятнадцатое столетие будет не прошлым, а позапрошлым, а восемнадцатое — чем не античность?

Ключевые для Амелина, возможно, следующие слова: «В этой неразберихе, в сущности, невозможно / что-то понять, — *чем дальше, тем труднее назад*, / воздух руками роя (курсив мой. — В. С.)». Заметим, что интонационный жест — «воздух роя» — здесь какой-то вполне «маяковский». Да ведь и Маяковский, не чуждый, кстати, XVIII веку, — тоже изрядная старина.

Почему бы, однако, не погрузиться в поэзию Державина? Да потому, что державинская аура более или менее привычна, уже, возможно, не воспринимается с должной остротой и свежестью. Ведь еще в послепушкинскую пору к XVIII веку обращались ради того, чтобы стряхнуть с поэзии чрезмерный, как представлялось, артистизм, для нынешнего же «архаиста-новатора» (Т. Бек) и Державин, верно, чересчур привычен, легок и изящен. И если уж искать в XVIII веке первозданных простодушия, примитивности и грубости, то искать их там, где они неотразимей. То ли дело — Хвостов. То ли дело — малоизвестный Княжнин. Или Херасков, строки и полустиишия из «Россияды» коего составили амелинский «Эротический центон... в подражании Дециму Магнусу Авсония». (Вот, кстати, и соединил современный поэт русский XVIII век и античность.) А если, скажем, искать в XIX веке, то — архаичного и малочитаемого в наше время консервативного Языкова (еще в 40-е годы XIX века державшегося, к примеру, за старинные формы кратких прилагательных). Все это не оттого, что Амелин выискивает авторов повторостепеннее ради самой второстепенности, а потому, что у него в поэтическое вдохновение переплавляются исследовательский азарт, любознательность, стремление заполнить лакуны. Кроме того, с дистанции второстепенность воспринимается как новизна и редкость, а неуклюжесть — как носительница обаяния условного XVIII века, вообще старины, вообще поэтической архаики, неизбитых приемов, слов, деталей, которые так необходимы для обновления стиля, заострения его выразительности.

Творческая логика, верно, такова: заострять, игриво заострять и подчас даже доводить до упора!

Если переводить, то древнего Катулла (см.: Катулл. Избранная лирика. Перевод с латинского и примечания Максима Амелина. СПб., «Алетейя», 1997), причем расшифровывать метафоры, лишая стих стыдливой иносказательности: «...угощает яичками / господином отставленный / от любви наложник» (у Катулла было *puces* — орехами).

Если памятник возводить нерукотворный, то — дразня публику — тому самому *кукишу похабному*:

Я памятник тебе... В земной юдоли
нет больше смерти, воскресать пора
и снова жить безудержно, доколе
жив будет хоть один, хоть полтора...

Если центон составлять, то наконец-то полный чистый центон, целиком составленный из цитат, и блеск-де в том, что героическая поэма послужила материалом для эротической темы.

Если лексику творить, то не только архаизированную («восславить лепо серебро потока, / волос любимой ночную ткань...»), но и пародийно усложненную («меж древлезвонкопрекрасных», «пропеснопой») или шуточно усеченную («о каждом чтожном случае»).

Если синтаксис, то из старины — инверсированный, «латинский». А вернее — как бы из старины, потому что в те поры переносы, а тем более межстрофические переносы, были большущей редкостью:

— Скажи,

что связывает кроме посторонних
рифм, синтаксиса вьющегося, метра
единого строф этих этажи? —
Все на соплях, — в России связи крепче
не будет, нет и не было, а зря.

Если рифма, то из лихо, «прикольно» разорванных на переносе слов («Перй- / кла — замрй», «за тó — по стó- / ронам», «брáни — нá Не- / го», «а тó по- / гибну — от потóпа») или построенная на семантически второстепенных, периферийных служебных словах («онй-де — снйди», «ни урónа — никогó на / улицах», «Давйда — спáси да / выручи», «врáжий — дáже») или просто составная, но зато — из многих слов («Да ктó б он — подóбен»). Да, Амелин, принявший на себя маску старобытной наивности, явно неравнодушен к прелестям рифмы. Амелин любит ярко, выразительно рифмовать, но и в этой сфере он отыскивает некую диковинку, некое — от обратного — выделение-заострение, потому что просто насыщенной рифмой не удивишь.

Вообще у рифмы сейчас новые осложнения возникли. Не успела она отбиться, оправиться после экспансии верлибра, как тут плоская реклама рифмованная нахально напирает («порá — договорá»), компрометируя благородную старушку. Держитесь, сударыня, держитесь! А поэты вот-вот придут на подмогу, игру какую-нибудь придумают, чтобы в нескудной и занимательной форме напомнить: здесь должна быть рифма (или, не дай Бог: Остановись, прохожий, здесь была рифма!). Внимание к ней может быть привлечено, как в загадке-шараде, даже с помощью отсутствия рифмующейся строки, полустушия. Как вот в этом новом стихотворении, где не сразу догадаешься, что третья строка («...но как») должна рифмоваться со словосочетанием «восклицательный знак» (оно, во всяком случае, звучит при устном исполнении автора) после выделенного *О!* Но поскольку и следующее четверостишие зарифмовано, то, с о о б р а ж а я н а з а д, можно догадаться, что рифма там подразумевается:

Эти бездонные ночи в июле,
О!
Ты вопрошаешь: — Меня обманули?
— Да, — отвечаю, — но как!

Лучше не спрашивай. Долго во власти
сам обаяния их
я находился, и на тебе, здрасьте, —
проза испортила стих.

Тем самым существует, как видим, два принципиально разных «варьянта стихворенья»: для чтения глазами и для произнесения вслух.

Амелинская рифма не только акустическая, но и графическая в том смысле, что ее нужно по первости порассматривать, чтобы не только сообразить, где ударение, но догадаться, какое слово составит из разорванных фрагментов (хотя и это не всегда гарантирует внятность написанного): «мне не стать ни певцом, ни писцом, ибо не́, / ибо гордые поприща не́ по- / окунаться в свинец, утопать в желтизне, / что ломиться в открытое небо».

Есть известная острота в том, что большинство из вышеприведенных изобретательных рифмопар, своей игривостью обмирщающих предмет разговора, употреблены автором в переложении 143-го псалма, того самого, что некогда, соревнуясь между собой, перелагали амелинские небесные патроны Триаковский, Ломоносов и Сумароков:

Руку с высот мне подай, а то по-
гибну, спаси меня от потопа,
выручи, от чужеземцев скрой,
коих о суетном щебет вражий,
коих десница — не шуйца даже:
этой дают, отбирая той.

Выходит, не так все просто с этой архаикой. На самом-то деле происходит, как видим, не аккуратная «мирискусническая» стилизация, а художественно выстраиваемая «неразбериха», артистическое столкновение, смешение — без различения иерархии — стилевых пластов, культурных знаков, которое лет десять с лишним назад называли полистилистикой (сейчас это обобщенно называют постмодернизмом), но если тогда, у предыдущего поколения, это было формой несогласия с гладкописью, причем несогласие имело идеологический оттенок, то теперь это праздничная игра, не лишаящая, между прочим, стихов открытого лиризма:

Мне душно в Петербурге, — со звездой
звезда не разговаривает, — обе
безмолвны на воде и над водой,
но мне не спится в каменной утробе.
Пусти меня, Петрополь, не тяни, —
моя душа с твоей, увы, в раздоре:
пускай горят и предвещают горе
другим твои прогорклые огни.

Словно и впрямь поход к нашим наивным началам освободил от тяготеющего над современными поэтами запрета на «лирические констатации» (Ольга Иванова), помог вернуть и исповедальность, которую лишь подчеркнули великолепные «прогорклые огни», и мысль о буквально высоком предназначении (кто бы мог подумать, что все так серьезно обернется!): «Авось небесная контора / и примет этот взнос на счет, — / до слуха Божьего и взора / хоть отзвук, отблеск донесет».

Если Дмитрий Воденников прививает вагиновские и обэриутские поэтические несуразности к пятистопному ямбу пушкинской «Осени», если у Максима Амелина мощному звучанию века осьмнадцатого не противоречат дольники Кузмина (еще бы, ведь они просто вспоминают о своем прадедушке гексаметре: «Двенадцать / звонкой форелью бьется — только все толще лед»), то Дмитрий Полишук из времени серебряно-авангардного забрался аж в XVII век и докопался до силлабики, которую он относит не иначе как к «сладостному старому вкусу».

Он, во всяком случае, считает, что пишет силлабические стихи. Помню, когда в 1995 году печатались в «Литературной учебе» (№ 1) его «Семисложники», у нас с ним был там же диалог-спор «А если это дольник?». Я, признать, пытался сбить автора. Основным моим сомнением-возражением было:

если следовать ритмической инерции, то такие короткие стихи на слух воспринимаются как трехиктный дольник, реже — как разновидность тактовика. Основным же контраргументом поэта было то, что нужно читать все произведение так, как звучит естественная речь, и тогда все станет ясно. То есть, скажем, в семисложниковом тексте:

Выше тропки, где кочки
да ямки, шла налегке,
и порхали цветочки —
в такт — в той, что ближе, руке.
А дорожкой мошеной —
ближе лик истонченный
и вен учащенный тик —
так — стайка диких гвоздик, —

мы не должны обращать внимания на трехиктную дольниковую инерцию двух первых строк и прощсть стихотворение «естественно». И тогда обнаружится как бы полная произвольность в распределении ударений, то есть будет искомая силлабика. (Замечу, что для убедительности аргументов автора я подобрал текст с наименьшей зависимостью от дольниковой инерции.)

Да, при разговоре о силлабике приходит на ум что-нибудь вроде «Уме незрелый...», звучащее совсем по-особому. На восприятие же современных опытов в этой сфере сильно влияет фон тонической традиции, даже когда речь идет о более характерных для силлабики 11- или 13-сложниках, как в великолепном по мелодике, чистом «по звуку» (хоть горшком назови!) стихотворении Дм. Полищука «Плач по деревянам» («Октябрь», 1997, № 6). Какая же тут, спросят, силлабика, если, например, в первых двух строфах ударения распределяются отнюдь не произвольно: четкие четырехиктные ритморяды распадаются на в основном двухиктные полустипишия, передавая раскачивающуюся интонацию плача, причитания, подчеркиваемую симметричным синтаксическим строением?

Плачьте по деревянам, по щепке, летящей
славы для вящей, для непреходящей.
По кричащей пламенной воробьиной почте...
Вести зловещей торжество отсрочьте.

Плачу по деревянам, по скошенной чаще.
Плачу не прячась, чтобы плакать слаще,
по цели величайшей, по срезам, что мнози...
Плачу по малой молящей занозе.

Третья строфа все же отличается большей произвольностью распределения ударений, потому что подударных слов там больше, ритм словоразделов другой, более «дробный», синтаксис далеко не столь симметричен:

Муж, кто дань дважды сбирал, не добил, не догребил,
по хрупким слезам злым жеребцом правил,
плачешь ли по древлянам, птенцам, старцам, женам,
намертво затоптанным, заживо сожженным?

Короче, сколько ни придирайся, здесь все же похоже на нормальную силлабику (и рифма, как полагается, парная и женская), хотя и намагниченную — для слуха — размашистостью акцентника 10 — 20-х годов. А лихая игра с корнем «мал» разве не из опыта тех же годов?

Плачу по деревянам, по малой гордыне...
Мало ей было Мала, немстящей Княгине,
вечно им будет мало! А то ли нам, людям, —
поплачем, забудем да малыми будем.

Но по большому-то нашему счету (главное, чтоб «чувства добрые») дорог образ этих древних людей, «древлян», горемычных, но, скажем так, не исте-

ричных, целомудренных в самом своем горе (вспомнилась почему-то «святая деликатность духа» — такое качество, по слову А. В. Дружинина, присуще было Пушкину, как и вообще русскому народу). Наверное, только в древности, по грезе автора, и были такие патриархальные, чистые, как дети, люди (словно пословицу «Мал мала меньше» напоминает нам автор, обыгрывая имя князя Мала), а как до них добраться, как их вызвать оттуда, если не с помощью архаичных форм? Здесь, как и в случае Амелина, нет стилизации ни под язык времен равноапостольной княгини Ольги, кроме разве очаровательного полногласия «деревляне», ни, строго говоря, даже под язык XVII века. Просто, как и в амелинском же случае, нужен был *образ старины глубокой*, намек, стрелка, в ту сторону указывающая. Свежесть же звучания стиху Полищука придает скорее соединение известной архаизации с органично усвоенным опытом серебряного века, причем не только (а может, и не столько) с «прерывистыми строками» в духе И. Анненского, о чем уже справедливо писали, но и с сильно, даже грубовато актуализирующими звуковое начало фольклорной и авангардистской поэзией:

И цветы побежалости
по ножу — по судьбе,
и в порезах без жалости
резче жалость к себе.

Эти загадочные и даже слегка «заумные» (в смысле причастности к известным поэтическим опытам) «цветы побежалости» напоминают скорее не о редком металлургическом термине «цвета побежалости», а о детском словотворчестве. Ведь стихи посвящены памяти детского перочинного ножика, которым кто-то в детстве мог порезаться и назвать так кровь (которая побежала, растеклась и соединилась с жалостью), подобно тому как, соединив петуха и кукушку из басни, читаемой бабушкой, ребенок назвал «петушкой» новую птаху, а Дм. Полищук — свою книгу. Мы нашли, кажется, искомое слово: мудрая детскость, «деликатность духа» — вот самое общее впечатление, остающееся от лирического героя, которое Т. Бек охарактеризовала как свободу от «душевной мути».

Наконец, XVII век и «деревляне» не предел углубления в старину, можно перепрыгнуть за опытом в каменный век, во времена дописьменные, что однажды и попытался сделать Александр Г. Сорокин (да и не только он, конечно). В № 4 альманаха «Черновик» (1990) он, помнится, объявил, что наскальные рисунки — «это не рисунки. Это стихи, рассказы, фильмы древних», а его стихи (на самом деле — это были рисунки) «отличны тем, что их нельзя читать вслух, можно только постигать их суть про себя». Вот так — ни мало ни много: стихи нельзя читать вслух. Не смейтесь, пожалуйста, одной из причин возникновения подобных идей может быть и усталость звучащего стиха, кризис орфейного начала в «строфической» поэзии, который как раз ощущался в конце 80-х — начале 90-х годов, в результате чего, думаю, в № 16 (1995) «НЛО» и было объявлено о том, что будущее за визуальной поэзией.

Вы догадываетесь: автор вроде бы так далеко и безоглядно ушел вглубь веков, что — с точностью до наоборот — оказался в самом что ни на есть авангарде. Рисунков тех можно было бы и не касаться, если бы пару лет назад я не услышал, как, напевая, отбивая постукиванием ритм, исполнял А. Сорокин свои произведения в духе древних заговоров, фольклорного ведовства. (И ничего страшного: Николай Тряпкин тоже свои стихи поет.) И мне это, признаться, очень понравилось, несмотря на неизбежную эстрадность акции. Исполнял он, конечно, не рисунки-визуалы, а поэтические произведения. Ведь работает поэт в нескольких «техниках»: собственно визуалы, конкретистские тексты «для взирания», стихи для напевания-камлания, а так как я некоторые из них слышал на магнитофоне в музыкальном сопровождении, то это, в сущности, еще одна «техника». Читатель заметит, что собственно авангардные

тексты стоит рассматривать в специальной статье, но этот «сюжет» интересен в плане актуальности проблемы звучания («орфейности») поэзии. Обнародовать, опубликовать А. Сорокина непросто, пришлось так и напечатать («Литературная учеба», 1998, № 3) и словесные тексты, и визуальные варианты, хотя и эту публикацию не назовешь полной: опубликовать пение, камлание, приложить фонограмму или видеокассету, естественно, не могли.

Любопытно, что визуальный вариант «Бесьего хвоста» был напечатан в «Арионе» (1998, № 1) просто как графика (правда, красивая), как часть дизайна, оформления, даже без всякого указания на то, что это произведение визуальной поэзии. Значит, эта проблема как-то сама по себе невольно прояснилась: дизайн, он и есть дизайн. Что касается аудио- или видеозаписи, то ведь часть современных авторов вообще считает, что наиболее адекватным воплощением текста является авторское представление. Теоретически допустим, что проблема решается с помощью «представления» на телевидении, хотя трудно поверить в эту возможность. А что же читателям-то останется? Но это как раз тот случай, о котором М. Л. Гаспаров говорил в «Очерке истории европейского стиха», что «стихи для глаза» и «стихи для слуха» — это тупиковые пути развития поэзии, потому что используемые здесь приемы носят разовый характер.

Знарок таких «техник» Сергей Бирюков, умеющий озвучить даже трапеции и треугольники конкретистского текста Василия Каменского «Константинополь», горячо приветствует в Сорокине продолжение авангардной парадигмы, хотя в рамках этой парадигмы поэт традиционен, а подобная «Годовым кольцам» Сорокина графика знакома нам, как пишет Бирюков, «еще по стихо-картинам Симеона Полоцкого». Особенно же важно, думаю, что стихи Сорокина навеяны фольклорной поэтикой, как заимствованной напрямую, так и переданной ему Хлебниковым и другими авангардистами начала века:

По кругу по кругу а все успокваились
 По кругу по кругу а все успокваились
 По рукам мои руки пошли а в траве мои руки нашли
 Четыре смычка да четыре стручка
 Пусть ударят смычки да об эти стручки

(«Полковшанка»)

Несколько лет назад было такое впечатление, что тонус звучащей и звучащей поэзии поослаб: стихи были осложненно-метафорические, описательно-повествовательные, сверхдлинные в смысле стихового размера, визуальные, наконец, о ритмичности которых догадываешься только при рассматривании текстов. Но вот сегодняшние поэты, внимательные именно к «озвучивающим» факторам, а не только и не столько к графическим, вполне доказывают, что стих, слава Богу, звучит. У Ольги Ивановой — строку возьми («О Улица! ты плеть. Тебя не одолеть»), рифму зацепи («жуть — избежать») — всякий раз поэт создает праздник звуков, а звучащему стиху, напряженной интонации она училась у Цветаевой и Маяковского, темперамент которых ей не чужд и, думаю, вполне посилен:

И как не сойти с ума
 и не выйти вон из игры,
 где дыры — твои дворы.
 Камни — твои дома.

(Чуткое ухо услышит не только резкое «дыры — дворы», но и более приглушенно перекликающиеся анафорические созвучия в опоясывающе зарифмованных строчках: «И как не — камни».) Подчас, правда, интонационно-звуковая волна хлещет через край, оставляя при этом лишь ощущение общей красоты, как в стихотворении «Пусть в этом мире безотрадном...», напечатанном, пожалуй, ради двух последних строчек, выразительных как в ритмическом, так и в цветовом отношении:

еще не сотканное платье
неувядаемого цвета.

Зато эта концовка ассоциируется с поэтическим названием иконы Богородица Неувядаемый Цвет.

Но главное: чрезмерная звуковая насыщенность не заслоняет от нас подлинной судьбы в строчках, где речь идет о вполне «вечных» и вполне современных тоске и одиночестве. И книга О. Ивановой названа вскользь и глуховато произнесенным обрывком придаточного предложения «Когда никого» (1997), и в стихах, словно сквозь зубы, звучит: «Мол, ты меня приручи. / Я тебя научу, / как именно... — Замолчи. / Мне это не по плечу». На мой взгляд, эта строфа особенно хороша, потому что она в лучшем смысле прозаична, то есть психологична, как хорошая проза. И дело не в том, что в данном случае есть откровенная переключка с «Маленьким принцем» Экзюпери, а в том, что психологический рисунок, я бы сказал, психологическая драма в ее поэзии вполне убедительны и, как говорится, берут за живое, потому что в стихах присутствуют разговорные интонации, голоса, элементы диалога, детали, за которыми — зримые картины, конкретные ситуации:

Не сиди на полу, не гаси о туфлях папиросы.
.....
Переляг на кровать.
Ну а нет — так сиди, провоцируй распросы.

Характерно и стихотворение «А сегодня, о, да, сегодня...» с его фрейдистским эротическим сновидением и героем-любовником из какого-то французского романа XVIII века. Сейчас, как мне лично кажется, и проза по-прежнему остается надежным источником поэтического вдохновения.

Одни (больше в литературных разговорах) упрекают Ольгу Иванову в том, что будто бы она стреляет из пушки по воробьям, творчески расплывается, мечется между поэтикой Цветаевой и Бродского, фольклорными мотивами и приговщиной и даже меняет имена, другие же (например, И. Роднянская) не только не находят в этом ничего зазорного, но угадывают некий символический знак, и я, признаться, тоже не вижу противоречия в том, что изысканную Полину сменила простая русская Ольга. Да, во второй половине 80-х она дебютировала в «Новом мире» и «Литературной учебе» как Полина, напечаталась в «Континенте» и в иностранном сборнике «Poetry of Perestroika», но зачем-то ей понадобилось стать другой, хотя это и не выгодно в смысле коротковатой читательской памяти.

По-моему, Ольга Иванова не зря рано дебютировала, она не остановилась на уровне общей молодой талантливости. Вот вышла в прошлом году книжка стихов с осмысленным названием «Когда никого» — и стало ясно, что перед нами другой поэт и человек, другой — то есть взрослый, самостоятельный, несмотря на разные «приколы» и стилевую эклектику, несмотря на очевидную эстетическую «засахаренность», красоту иных стихов в книге «Офелия — Гамлету» (цикл «По поводу зеркал», например).

Да, одиночество, тоска, оставленность и даже гибельность замкнутой среды обитания — улицы, города, комнаты («Ты, Улица, петля. И мне в тебе висеть») — важнейшая тема и почти постоянный фон стихов Ольги Ивановой, и суицидных мотивов в ее обеих книгах явно многовато, но — хоть это и парадоксально звучит — стихи ее мне лично дороги не только экзистенциальным началом, тоска по человеку-собеседнику в них присутствует и некая сегодняшняя жизнь происходит. Эта примета взрослости, зрелости дорогого стоит, потому что говорит о косвенной причастности автора к общей жизни — той самой, которая практически исчезла и поэтому дорога как память.

Итак, что это за поэты? Какие поэтические идеи, какое художественное мировоззрение (подозреваю, что само это слово они терпеть не могут) выражают? И есть ли у них идеи и мировоззрение? Есть. Только их поэтическое

странствие вершится в прошлое, причем даже не от сегодняшнего-вчерашнего дня, а от дня позавчерашнего. От вчерашнего, советского и постсоветского, времени отталкивались и не могли оторваться концептуалисты, а эти в поисках поэтического языка идут в прошлое от серебряно-авангардного времени и дальше назад — в фольклор, в античность, в век XIX, XVIII, XVII, каменный. Сравнительно недавние десятилетия они пролистывают, пропускают. А «у будущего будущего нет», — написал за всех Максим Амелин, и эта строчка стала эпиграфом к моим заметкам.

Но в начале XVIII века реформа стихосложения почему-то совпала с неким историческим разбегом, на рубеже XIX и XX открытия в стихосложении и поэтическом языке совпали как раз с ожиданием «рубежей» и «мятежей», будь они неладны. Возможно, с этого сезона новый историко-культурный эон наступил?

В предисловии Л. Сумм к книге Катулла, переведенной Максимом Амелиным, среди прочего говорится о том, что «римский поэт получает свое вдохновение от другого поэта», новаторство его в том, «чтобы самому сделать свой выбор внутри традиции». Для римлян «чувство собственной вторичности было... праздничным и первичным». «Римская литература задавала обратную перспективу, разворачивала традицию вспять: не предыдущий поэт наиболее важен, а последующий». Если представить себе, что современная русская литература вторична (только без обид!) по отношению к своей же классике (в более широком смысле: к тому, что уже было и стало образцовым) и современный поэт наконец осознал, что не просто говорит первое слово и впервые творит мир, а вдохновляется от другого поэта или собирательного другого автора, стиля, стиха, образа (стилей, образов, версификаций), то ведь вдохновляться можно празднично, первично и талантливо.

Ну, мы про это уже читали: сейчас литература на полях другой литературы называется постмодернизмом! Может быть, но вы представляете себе, чтобы наши постмодернисты написали и напечатали доброе, хотя бы и шутовское письмо к Николаю Михайловичу Языкову?

Языков! я тебя по голосу узнаю
и с яростью в крови
в твою со временем перекочую стаю. —
Прочти и разорви!

А в какую такую стаю к Языкову собирается перекочевать лирический герой? Да не в стаю же немцененавистников, а просто в ином мире ему рано или поздно придется воссоединиться с Николаем Михайловичем. Но, слава Богу, до этого еще очень долго.

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕРТА

«**П**роизведения вышеозначенного стиля издательства и журналы, конечно, никогда не печатали. Авторы издавали их за свой счет. В советской России частное издательство уничтожено, поэтому все должно проходить через цензуру и редактуру советских чиновников. Настоящего понимания эти чиновники, разумеется, лишены, но все-таки они достаточно натасканы, благоразумны и осторожны для того, чтобы произведений, лежащих много ниже нуля, в казенные издательства и журналы не пропускать» (В. Ходасевич. «Ниже нуля», 1936 год).

«*Исторья мира...*» Пока некоторые околачивают яблочки с древа познания, ковыряются в деталях и частностях, иные гиганты мысли, титаны духа просто и скромно сочиняют «Историю русской литературы» на одной газетной странице¹. Восемь веков на четырех газетных столбцах! Грандиозность замысла и изящество исполнения заставили меня вспомнить забытого ныне русского поэта В. Колосовского, чье произведение «Исторья мира в стихах» сочувственно цитировал В. Ходасевич.

Я долго думать-то не стану,
Исторью мира напишу, —
Оставьте вы читать Татьяну,
Внимайте этому, прошу!

Внимаем.

Зачин. Ник. Переяслов начинает осторожно и вдумчиво. Я бы сказал, деликатно.

«Я уже давно *подозревал* (курсив мой. — Н. Е.), что русская литература вышла вовсе не из гоголевской „Шинели“, а из „Слова о полку Игореве“...»

Любопытно, когда же зародилось это, надо признаться, вполне обоснованное подозрение? Я думаю, что на уроке литературы в седьмом классе средней общеобразовательной школы...

Интродукция. «Слово...» — наше всё...

«В нем, этом небольшом по объему и не четком по жанру произведении, явлены нам сразу и проза, и поэзия; даны образцы раскрытия *ратной* темы (например, в сценах выхода войска, описаниях битвы); воинской и патриотической *риторики* (речь Всеволода перед походом и речь Святослава о защите русской земли); *интимной лирики* (плач Ярославны); *аван-*

¹ Переяслов Ник. У последней черты. От «Слова о полку Игореве» до Интернета. История русской литературы. — «Литературная газета», 1998, 15 апреля.

тюрного (поход-плен-побег князя Игоря) и *мистического* (сон Святослава) романов...» (курсив автора. — Н. Е.).

В тексте «Слова...» вдумчивый исследователь обнаружил еще образцы вестерна — проповеди — сказки — аллитерации — хроники — проблемы поколений — лирических отступлений — и — одухотворения природы.

Я полюбостовал, кто этот кропотливый историк «Слова...». Какими работами он обогатил русскую словесность, находящуюся, как ни печально это признать, «у последней черты». В Публичной библиотеке мне удалось обнаружить небольшой по объему, но довольно четкий по жанру сборничек стихов Ник. Переяслова. «Близок час» (М., «РБП», 1994, 7 стр.) — эта небольшая книжечка томов премногих тяжелей. В ней нам даны сразу образцы раскрытия р а т н о й т е м ы — на стр. 5:

И тогда — вышел третий вперед:
«Государь! Лучше вынь ты мне душу,
но не дай предавать свой народ!»

Особенно хорош здесь смелый и оригинальный оборот «лучше вынь ты мне душу» — что-то в этом древнеримское, классическое в своей грозной простоте («Молчи, сволочь! — лениво ответил на это Кай Юлий и с прямоотой римлянина добавил: — Убью! Душу выну!» — Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М., 1959, стр. 483).

Есть образцы воинской и патриотической р и т о р и к и — на стр. 4:

О русский люд. Солдат и сын солдата, —
ты дал пленить себя в своей стране.
И, веселя слезами супостата,
ты сжат в его беспалой пятерне.

Всякий, кто хоть сколько-нибудь разбирается в поэзии, согласится со мной: это поразительный по своей точности образ, в нем изощренность маркиза де Сада и Захер-Мазоха соединена с державинской мощью...

А вот и н т и м н а я эротическая лирика — на стр. 5:

Не гулять мне по Кремлю, как кошка,
выгибая царственную стать,
и стрельцов, открыв свое окошко,
среди ночи в спальню не впускать.

У Ник. Переяслова можно обнаружить также образцы проповедей («Где мощь твоя? / Что с лучшей из милиций? / Одно жулье расселось вдоль пути...» — стр. 4), вестерна («Хорошо, хоть есть еще разины — / и, скользнув между чекистских вей, / из застенков сталинской России / уходил философ за рубеж» — стр. 6), неологизмов («Мой брат, мой дрозденыш...» стр. 3) — как нежно, да? Слышится ласковое: «Ну, ддрозденыш, ну, ты дощелкаешься, досвистишься у меня, трепаный пух... Кышш!»), аллитераций («и, гугнявым их стомам не внемля...» (стр. 3) — не правда ли, слышны незатихающие гугнявые стоны?).

Муза Ник. Переяслова не отпускает, затягивает в свое силовое поле... В ушах до сих пор трагический вопрос: «Что с лучшей из милиций?» В самом деле — что?

Честно скажу: до знакомства со стихами Ник. Переяслова я еще только подозревал, но после — ясно осознал непреложный факт: выйдя из «Слова о полку Игореве», русская литература вошла в творчество Ник. Переяслова, явившего сразу и прозу, и поэзию, и публицистику, и научный трактат.

Неувязки с хронологией. Я возвращаюсь к позабытому ради пиитических опытов прозаическому тексту. Автора волнует некоторая неточность в периодизации истории русской литературы:

«...если следовать общепринятой схеме, то история русской литературы приобретает некий странно нелогичный характер, начинаясь с необычайно высокого — Золотого века, горбом выступающего над голой равниной словесности, а затем по непонятной причине вдруг спадая до холмов века Серебряного и далее — как утверждают некоторые прогнозисты — до бугорков века бронзового, а то и деревянного.

И тогда я подумал, что, может быть, и не надо никакой лукавой игры в Золотой-Серебряный (бронзовый, оловянный, стеклянный. — *Н. Е.*), а надо просто, опираясь на свойственные для всего живого циклы роста, разделить историю русской литературы на эволюционные периоды, соответствующие стадиям человеческого возраста?..»

Господи! Да давно уже пора! Чего тянуть? Все эти классицизмы, романтизмы, реализмы, всяких там архаистов и новаторов похерить — и просто: Детство. Отрочество. В людях. Юность. Мои университеты. Смерть Ивана Ильича.

Почему никто до сих пор не додумался до подобной периодизации русской литературы? И даже более того, почему вообще все попытки свести историческое развитие к биологическому, предпринятые Данилевским и Шпенглером, Леонтьевым и Львом Гумилевым, остались невостребованными историками?

Наверно, потому, что историки до сих пор не изжили белибердяевский такой, нелепый подход к истории как к сфере человеческой свободы, в которой главным является не строгая заданность эпох, следующих друг за другом в затылок, как в старой советской очереди («Простите, мадам, но вас здесь не стояло. Я пришла, а вас не было, надо было дожидаться последнего...»), но многовариантность, порой катастрофичность развития. Самый что ни на есть вульгарный социолог, самый что ни на есть рьяный последователь теорий Льва Гумилева, всматриваясь в давно прошедшую эпоху, не могут не заинтересоваться этой эпохой самой по себе, не могут не почувствовать абсолютную ценность прошлого, вне зависимости от того, младенчество это, детство, феодализм, капитализм или нэп. Между физиологическим ростом, взрослением, старением и человеческой историей — принципиальная разница. Такая же разница, как между жизнью и судьбой...

Но все это лишнее, лишнее... Куда как просто и понятно: «Младенчество... (XI — XVII вв.) можно назвать периодом наибольшей близости к Богу...» — и уместить этот период (в шестьсот лет) на тринадцати газетных строчках. Украсить снизу и сверху виньетками, указать на главные черты: «детское косноязычие и неумелый лепет сочетаются здесь с чисто интуитивной смелостью, которую дает незнание литературных канонов и правил...». Хочется робко пискнуть: «Простите великодушно, но незнание чего бы то ни было смелости не дает — незнание дает наглость и невоспитанность, особенно если это незнание канонов и правил». В число «детско-косноязычных» и «неумело лепечущих» младенцев попадают митрополит Иларион (XI век), архиепископ Геннадий (XVI век), протопоп Аввакум (XVII век) и прочие, ну просто не упоминаемые Ник. Переясловым.

Мой комариный писк не прекращается: «„Младенцы“ очень хорошо знали литературные каноны и правила своего времени и тщательно их соблюдали. Просто людям XX века эти каноны и правила чужды. Вот нам и кажется детским лепетом и неумелым косноязычием то, что таковым не являлось и не является». Как смешны эти возражения! Достаточно сравнить детско-нелепое косноязычие протопоба Аввакума и психологически точное описание гибели князя Михаила Тверского у Ник. Переяслова, чтобы понять, кто знает литературные каноны и правила, а кто — ни синь порох. Протопоп Аввакум: «В ыную пору протопопица, бедная, брела, брела, да и повалилась, и встать не сможет... Опосле на меня, бедная, пеняет: „Долго ль-де, протопоп, сего мучения будет?“ И я ей сказал: „Марковна, до самая до смерти“. Она же против

тово: „Добро, Петрович... И мы еще побредем...”» А вот отрывок из стихотворения Ник. Переяслова «Нам есть кому молиться»:

Христа заветам непреложно
внемля,
оставив дом, богатство и уют,
он пролил кровь свою за эту землю,
где в белых храмах звонницы поют.

А был момент — он мог бежать к
супруге
и тем отсрочить смертную черту.
Но Бог сказал:
«кто жизнь отдаст за други,
тот выше всех...»
Он выбрал — высоту.

Да-а, это вам не протопопица. Так и видишь перед собой Михаила Тверского, улучившего момент и мчащего к супруге. Нет. Он выбрал высоту. Сильная картина.

Возрасты. Ограниченность объема журнальных заметок не позволяет остановиться на всех открытиях Ник. Переяслова. «Дети» Державин и Ломоносов («Не зрим ли каждый день гробов, седин дряхлеющей Вселенной» — какое чистое, детское восприятие действительности, не так ли?), «отроки» Пушкин, Батюшков, Баратынский с «юношеским фальцетом альбомных стихов» («Благословлен святое возвестивший! / Но в глубине разврата не погиб / Какой-нибудь неправедный изгиб / Сердец людских пред нами обнаживший», — по-видимому, в этих строчках был расслышан «юношеский фальцет»); «юноши» Лев Толстой и Федор Достоевский, а следом за «юношами» — возмужавшие «молодые люди»: «бас Маяковского, техническая изощренность Пастернака, лабораторная пристальность Хлебникова...»

Еще раз о смелости. Никакому англичанину (скованному знанием канонов и правил) не придет в голову назвать Шекспира, писавшего в XVI — XVII веках, неумело лепечущим младенцем; исландец не рискнет отнести «Сагу о Ньяле» к «утробному периоду развития» исландской литературы; француз не сообщит во всеуслышание, что Руссо и Дидро — «дети», немец поостережется назвать «ребенком» Гриммельсхаузена и «отроком» Гёте. Не dorosли еще, не поднялись до мудрой всеохватной «старости» Ник. Переяслова. Не дотянули...

Зрелость. Но прежде «старости» — зрелость.

«...*молодость* русской литературы была весьма недолгой, и уже с начала тридцатых годов нашего века в ней начали явственно проступать черты другого, более *сдержанного* и *оглядчивого* периода ее жизни (здесь и ниже курсив Ник. Переяслова. — *Н. Е.*)».

«Как тонко подмечено! Какие найдены верные эпитеты: «сдержанный» и «оглядчивый». Это — зрелость. Взвешенная, сдержанная и оглядчивая. Жаль, что Ник. Переяслов не уточнил, не расшифровал социально-политических причин сдержанной и оглядливой зрелости русской литературы. Могу предложить одну только байку про помудревшего, повзрослевшего, мы бы даже сказали — созревшего и прозревшего бывшего литературного скандалиста Виктора Шкловского. В составе писательской бригады Виктор Борисович съездил на строительство Беломорканала. По возвращении оттуда его спросили, как он себя там почувствовал. «Как живая чернобурка в магазине мехов», — моментально ответил бывший эсер, брат одного из «подельников» митрополита Вениамина. Зрелость, зрелость.

«На этом этапе развития литературы практически уже не существует проблем с техникой сюжетосложения или версификаторства... (надо пола-

гать, что у „ребенка” Державина, „отрока” Пушкина, „юноши” Гончарова были проблемы с техникой версификаторства или сюжетосложения. — *Н. Е.*) ...Идет добротное и по-своему талантливое хронометрирование официальной жизни эпохи и уговаривание себя и других, что *этот* путь был самый *правильный* из возможных („Они сражались за Родину”, „Братская ГЭС”, „Валентин и Валентина”... Даже такие произведения, как „Белые одежды”, „Печальный детектив” или крамольные песни Высоцкого, только подчеркивают, какой счастливой была бы жизнь в СССР, если бы не отклонения от правильного курса)».

Хочется дополнить этот ряд «добротных и по-своему талантливых произведений», хронометрирующих официальную эпоху, уговаривающих себя и других, что этот путь — самый правильный из возможных: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Колымские рассказы» Шаламова, «Факультет ненужных вещей» Домбровского, ну а уж крамольные песни Галича только про то и петы...

Замшелый критикан, буквоед и формалист скажет, пожалуй, что период, названный Ник. Переясловым «зрелостью», характерен как раз не железобетонной уверенностью в правильности избранного пути, а всевозможными сомнениями и колебаниями. В этот период даже и не обязательна такая яростная негация всего пройденного пути, как у Солженицына, — достаточно крупинки сомнения, чтобы из «добротного хронометрирования» получилось искусство. Речь ведь идет о советской литературе в последнем фазисе ее развития. Лучший и характернейший поэт этой эпохи, Борис Слуцкий «в глухом и темном углу времени» очень хорошо объяснил, чем подпитано и подсвечено «уговаривание себя и других в правильности избранного пути»:

Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня распался и потек.

...Но верен я строительной программе...
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.

Но это все придирки. Стоит только представить себе всю картину развития русской литературы, нарисованную Ник. Переясловым, чтобы захватило дух и сперло дыхание. Некое умопостигаемое существо в младенчестве кропает «Слово о полку Игореве», растет, набирается сил, становится ребенком (Державиным), отроком (Пушкиным), юношей (Толстым), мужает, крепнет — и вот перед нами зрелый муж — Михаил Шолохов, создающий эпопею «Они сражались за Родину» — «зрелость» той литературы, в которой были «Житие протопопа Аввакума», «Водопад» Державина, «Евгений Онегин» Пушкина... Вы не волнуйтесь: этой литературе предстоит еще старость («тихая и светлая» или «мараматическая»), «кончина» и — само собой — «жизнь после смерти».

Зачем... Неизжитые фрейд-марксистские привычки заставляют ставить этот вопрос. Причину заменять целеполаганием, детерминизм — телеологией.

Зачем Ник. Переяслову понадобилось создавать такую картинку? Для чего? Голос единицы (как известно) тоньше писка. Но если в великую литературу сгрудились малые? Если ты не сам по себе пишешь стихи и прозу, а действуешь в составе огромного организма, которому лет восемьсот, не меньше? А? Как расправляются плечи! Какой победной уверенностью наполняется грудь! Ты — представитель «старости» той литературы, где в «детях» были Баратынский и Вяземский...

На самом деле каждый сам про себя знает, чего он стоит. Человек, знакомый с «технической оснащенностью Пастернака» и «лабораторной присталь-

ностью Хлебникова», не может не понимать уровень «технической оснащенности» и «лабораторной пристальности» таких стихов:

Скажут: «Ишь, понацепила цапек!
Это все, красotka, не твое...»
..Да, недолгим было наше царство,
хоть и сладко царское житье.

Расставаясь с ним, скажу потомкам
нашей псевдоцарственной семьи:
«Чтобы слез — не собирать в котомку,
не садитесь в сани — не в свои».

Однако все меняется, если сказать себе: это не я плохо пишу, это через меня, мной плохо пишет постаревший, склеротический, впадающий в детство, готовый к смерти —

иларионоаввакуумодержавинопушкинобаратынскодостоевсконекрасовскомяковскоолешонабоковоката-ев.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

ЛЮДИ ЛУННОГО СВЕТА

Александр Титов. Полночная свадьба. Повесть. — «Волга», 1997, № 9-10.

Перелистывая в памяти страницы недавней деревенской прозы, на мой взгляд, самого значительного явления в русской литературе второй половины XX века, неожиданно задумываешься вот над чем: в этой прозе, кажется, напрочь отсутствует «лунный свет».

Нет, разумеется, и лунного света, и неба, полного ярчайших звезд, о котором уже забыли городские жители, в этой прозе вполне достаточно. Сразу вспоминаются и ночные поездки беловского Ивана Африкановича, и тайные, впотьмах, свидания с собственным мужем распутинской Настены, и шукшинские «беседы при ясной луне». Но то именно луна *ясная*.

Я же говорю о «лунном свете» в розановском смысле, о «звездном ужасе» — в гумилевском... О ночи как явлении страшном, мистическом и вместе с тем ужасающе материальном, когда земля кажется беззащитной перед космосом, а всякая земная идиллия — смешной...

Но меркнет день — настала ночь;
Пришла, и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна!

Эти тютчевские «страхи» — вовсе не вымысел городского интеллигента. Близкий не только природе, но и деревне, близкий ей вот именно физически (это сейчас Мураново подмосковный заповедник, а тогда, в XIX веке, это была обыкновенная барская усадьба, то есть деревня), Тютчев всего лишь наиболее точно передает ночные ощущения деревенского жителя. И было бы крайним высокомерием считать, что этих переживаний были и есть лишены крестьяне, что они результат одной только поэтической фантазии или сложного, книжного мировосприятия.

Нигде, как в деревне, ночные страхи не имеют такой власти над людьми, и нигде они до такой степени не влияют на психологию личности, не определяют ее контур с раннего же детства. Что для городского ребенка случайное переживание (страх остаться в темноте), то для деревенского — постоянная травма, к которой приспособливается его душевный организм. Но было бы наивно думать, что он с ней рано или поздно до конца справляется...

И что мы знаем о ночной жизни деревни до *лампочки Ильича*? Только поэтически преобразованные свидетельства вроде пушкинского «Утопленника» («Прибежали в избу дети...»), тургеневских «Певцов» и «Бежина луга» или бунинской «Деревни» и «Ночного разговора». Но даже из них можно догадаться, что тогдашние деревенские жители, именно самые простые, были во многом людьми «лунного света», лица и души которых освещались мертвенной луной ровно столь же, сколь и ярким животворящим светиллом.

Лампочка Ильича, отчасти нелепо, но отчасти и весьма трогательно воспетая литературой и публицистикой 20-х годов (особенно выделяется, конечно, Андрей Платонов), не только не разогнала всей ночной деревенской мистики, но в чем-то ее даже усилила. (Победить ее смог единственный всесильный монстр культуры XX века — телевизор.) Была какая-то горчайшая ирония в том, что трансфор-

маторы деревенских электросетей словно нарочно размещались в брошенных и заброшенных сельских церквях: побеждая тьму временную, приближали тьму вечную.

И все же только холодный и бесчувственный человек посмеется над этой символической лампочкой и только последний утопист будет всерьез мечтать о возвращении деревни к не менее символической лунине. Какую-то часть ночных страхов она все-таки разогнала и какие-то надежды на лучшее, правильное земное устройство все-таки породила. Статоватная лампочка — одна на всех, и она, как и фронтовые сто грамм, равняет всех, сокращая пропасть между бариним и мужиком, хотя и не устраняя до конца этого вечного и проклятого противоречия.

Это обостренно чувствуешь в нынешних брошенных (но все еще электрифицированных) деревнях с их почти классическими «тремя старухами». Нет ничего страшнее для деревенской бабки, чем поломка «обчего» ветхого трансформатора. И нет для нее казни лютее, чем перегоревший фонарь на столбе перед избой, который хотя и «тусменно», но все же освещает ее тоскливые ночи, борется с ее ночными страхами.

Это ее лампада...

Все эти размышления имеют лишь косвенное отношение к превосходной повести Александра Титова, напечатанной в «Волге». Кто этот Титов, я не знаю. И если бы дотошный критический отдел «Нового мира» мне на него не указал, то почти стопроцентно я сам бы до этой повести никогда не добрался. Тираж журнала 730 экземпляров. Под «Содержанием» читаю: «Начиная с этого номера журнал „Волга“ будет печататься непосредственно в редакции». То есть типографские «услуги» уже не по карману... Что же говорить о распространении и проч. Увы...

Не мной замечено, что разбирать хорошую прозу очень сложно, почти невозможно. Кажется, Щедрин сказал об «Асе» Тургенева: говорить о ней можно только ее же словами. То есть попросту всю вещь целиком пересказать или переписать. Это верно в отношении любой истинной литературы. Я намеренно и сознательно говорю это слово «истинная», многожды осмеянное победившим релятивистским сознанием. Повесть Титова о деревенской бабке и ее внуке, идиоте, именно чудом пробившийся феномен истинной прозы, в которой жизнь становится литературой, в свою очередь врезанной в жизнь.

Как это происходит, нельзя объяснить... Но именно по прочтении повести я стал как-то иначе понимать «лунную» сторону русской деревенской жизни, а значит, и мое отношение к жизни в целом стало каким-то иным. Это и есть драгоценная черта истинной прозы.

Что я имею в виду? В повести Титова каким-то образом замечательно передан глубочайший надлом в деревенской жизни. Но этот надлом невыводим из одной только революции и комиссара с наганом. Этот надлом еще в XIX веке чувствовал Лермонтов, писавший о *дрожащих огнях печальных деревень*. В XX веке его, быть может, единственный смог выразить Астафьев. Эта смертельная усталость, разлитая в воздухе, этот *говор пьяных мужичков*, это вечно *разбитое корыто* старухи — вот мы и проделали путь назад, от Астафьева через Лермонтова к Пушкину, и ничего при этом не изменилось — в повести Титова находят законченное выражение и единственный язык...

Бабка верила в Бога. Но... «Бог оставил ее. Да она никогда и не просила у него ничего, кроме „годочья“». Великий грех просить себе „жизню“, но вымаливала, на коленях стояла ночами. Видит Господь, что не для себя старалась — для внука болезнего...»

Самое начало повести мгновенно обнаруживает в авторе «талант двойного зренья», по выражению поэта Георгия Иванова. Бабка Титова несомненно символична. Это щедрая, вечно дарящая и кормящая деревенская сила, но сила где-то и когда-то безнадежно надломленная... Для чего бабка просит себе «годочья»? Чтобы, говоря по-деревенски, «довести до ума» своего внука, брошенного уехавшим в город сыном и снохой. Иронический парадокс: внук этот законченный идиот. «Даже дурочка из соседней деревни его испугалась, в чулан схоронилась».

Дело изначально проиграно. И бабка это понимает. Но ее движет — на первый взгляд! — какая-то автоматическая жалость. То есть нерассуждающая, не

просчитывающая «за» и «против» (как просчитала их сноха, решившая отказаться от большого сыночка).

«— Погибня... — шепчет бабка... — Никому, грешнай, не нужон!»

Это *грешнай* неожиданно задает повести совсем иной тон. Внук не просто идиот. Он итог бабкиной жизни. Итог того *хорошего времечка*, когда «вперед жить хотелось, песни подпевать у костра, в кругу парней и девчат. Под рванью одежды светилась юность, на полуголодных лицах сияла смуглость красоты. Она, тогда еще девушка, свято верила в новую жизнь. Перестала молиться и ходить в церковь. В полудетских снах, убитых тяжелой работой, возникали огненные старославянские буквы, вылетающие из церковной книги, словно бабочки...»

Бабка от солнца. Но дарит миру лунное дитя. Не она дарит — сын, рожденный в то самое *хорошее времечко*. Теперь сын *вперед жить хочет*, а бабке доживать с идиотом.

Вторая часть повести мощно бросает нас на дно сознания идиота. И вот что странно: отсюда мир видится куда яснее и гармоничнее, чем глазами бабки. Это мир по-своему совершенный и животно прекрасный. Ночной мир, освещаемый бессмысленной луной. Здесь нет не только Бога, но даже памяти о нем. Здесь для идиота отыскалась *невеста* — не то из барака, не то со свалки. По пьянке выходит замуж за местного тракториста, а заодно не отказывает и всем гостям. В этом мире нет полутонов, нет красок и деталей. Кто куда, кто с кем — непонятно. Несется впотьмах на мотоцикле обиженный жених, ищет свою невесту, что-то кричит, с кем-то дерется — наутро и не вспомнит с кем.

Но если для него день все-таки настанет и он будет тяжело-похмельно, но все-таки тянуть солнечную половину своего существования: каяться, страдать, работать, — то идиот отказывается от солнечного мира. Хватит! Запирается в доме с вояремем отошедшей в мир иной бабкой и держит лунную оборону.

Конец повести зыбок. Не сдавшегося ни милиции, ни пожарным идиота выводит на свет Божий соседский хозяйственный мальчик Митя, в котором словно угадываются черты екимовского Фетисыча. В этом мире идиот слеп, его надо кому-то и куда-то вести, держа крепко за руку. Поведет ли его Митя? Куда?

Нет ответа!

P. S. Не удержавшись, я все-таки выяснил, кто этот Титов. Не молод. Живет в области. Районный журналист. И при этом такая поразительная литература и культура, которой давно не встретишь в среде московской журналистики! К счастью, такое случается. Я имею в виду не сам факт наличия литературной культуры в провинциальной среде (это как раз закономерно!), но что она еще доходит до Москвы...

Павел БАСИНСКИЙ.

*

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ «ВЗЫСКУЮЩИХ»

Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках. Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии В. И. Кейдана. М., «Школа „Языки русской культуры“», 1997, 747 стр.

«Ужасно приятно получать большие письма. Но как трудно писать», — оправдывался В. Эрн перед А. Ельчаниновым.

Пройдет много лет, и наши далекие правнуки, вертя в руках странный предмет, будут тщетно пытаться прочесть загадочные письмена, написанные в допотопном редакторе Word 7, — почти все, что останется от эпистолярной культуры наших «переходных» времен. Жалуясь на катастрофическую нехватку времени («за рубашкой в комод полезешь — и день потерян»), мы с трудом верим, что когда-то целые дни проводились за писанием писем, — письмо было не менее значительным «жанром» культуры, чем роман или стихи. В письмах делились замыслами литературных сочинений, научных трактатов, сборников, письмами создавалось силовое поле культуры — атмосфера ожидания, предчувствия чего-то важного и за-

мечательного. Письмо — не только источник информации: оно дает услышать «голос» пишущего, почти эфирный, не отяжеленный ни привычной суетой, ни возможной вялостью собеседника, ни разнообразными механическими посредниками («вчера поймал Лопатина в телефон», — пишет Эрн жене)¹. Мы живем в эпоху Интернета, который есть не что иное, как прогрессирующая телефонизация, средство самоприватизации, подменяющее общение с личностью. Письмо же немислимо вне такого общения, оно приоткрывает «апофатическое» в другом, то, к чему мы восходим, даже сквозь маску, даже сквозь «недосказанное». Пишущему надо быть не только «взыскательным», но и «взыскующим» в общении. Письмо — Эверест для альпинистов общения.

Эпистолярый — послание, отправляемое культурой в будущее. (Неспроста Булгаков просит Эрна сжечь письмо, в котором изливает боль души о нестроениях в редакции «Пути».) В этом смысле эпистолы — эпифеномен культуры, «прилежащее» культуры. Нет письма вне мысли, вне переживания, вне надежды, вне любви. Поэтому эпистола — апостол дружбы, посланный вместить какую-то правду. Не случайно от святых апостолов до нас дошли не ученые трактаты, не проповеди даже, но именно послания.

Сказанное — не более чем необязательное предисловие к разговору о книге, выпущенной в престижной серии «Языки русской культуры» живущим в Италии филологом Владимиром Кейданом². Название книге дал программный сборник Христианского Братства Борьбы, леворадикальной христианской организации, созданной в год первой русской революции недавними студентами В. Ф. Эрном и В. П. Свенцицким; участников этого сборника и этого своеобразного братства стали в частной переписке называть «взыскующими». Когда нынешняя книга только что вышла в свет, немало знакомых мне людей встречали друг друга вопросом: «Видел книгу „Взыскующие града“?» Так что она не только была замечена, но и широко приветствовалась в узком кругу умеющих ее оценить. Однако тысячный тираж пока полностью не разошелся. Это заставляет думать, что круг людей, беззаветно преданных русской религиозной философии, весьма и весьма ограничен. Да и среди них книгу от корки до корки прочтут несколько десятков человек, большинство же пролистает, найдя в указателе имена своих «героев» и «кормильцев», сделав ценные выписки или постаравшись наловить «блох» в достаточно обильных комментариях — любимое занятие гуманитария с библиографическими наклонностями. Жители иных, удаленных от религиозно-философского, селений русской культуры отложат купленную книжку до лучших времен или же просмотрят для примера несколько писем... И впрямь одно из достоинств книги (не самое важное) в том, что читать ее можно практически с любого места.

Если же говорить всерьез, то люди компетентные сразу отметили для себя то, что, несомненно, зачтется В. И. Кейдану на самом пристрастном суде тружеников русской культуры: хотя составитель изрядно попользовался публикаторскими и архивными трудами своих коллег — М. А. Колерова, Н. В. Котрелева, А. А. Носова, Н. А. Струве, А. Б. Шишкина и других, — вставляя уже опубликованные ими письма в более широкий контекст, большую часть книги занимают впервые публикуемые источники. Среди них можно выделить три больших блока — это материалы из семейного архива В. Ф. Эрна (письма Эрна к жене, письма к Эрну С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, Вяч. Иванова и других), это письма С. Н. Булгакова к А. С. Глинке-Волжскому, хранящиеся в РГАЛИ, и это переписка Е. Н. Трубецкого с М. К. Морозовой. Фрагменты последней, совершенно удивительной, переписки, своего рода «новой Элоизы» русской религиозной философии, в значительном

¹ С. Н. Булгаков — А. С. Глинке: «Телефон, по Вашему совету, в сортир еще не перенесен... Крутит нас всех сатана».

² Книга вышла год спустя после исследования М. А. Колерова «Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от „Проблем идеализма“ до „Вех“. 1902 — 1909». (СПб., «Алетейя», 1996), написанного на сходном эпистолярном и газетном материале и представляющего первый весьма удавшийся опыт исторического исследования групп и изданий ревнителей «христианской политики». В частности, одна из глав этой книги была посвящена истории «Христианского Братства Борьбы», организованного В. П. Свенцицким и В. Ф. Эрном.

объеме были опубликованы на страницах «Нового мира» в 1993 году А. А. Носовым. Кейдан, работавший, как следует из его статьи, над подготовкой книги к печати параллельно с Носовым, не ограничился временными рамками предыдущей публикации, хотя многие письма и комментарии к ним повторяются. Думается, что одним из самых заинтересованных читателей «Взыскующих града» должен стать Носов, имеющий возможность сравнить опыт своего чтения рукописей с кейдановским. Два же других блока открываются широкому читателю впервые.

Название книги таит в себе некоторую ироническую оксюморонность. Частная жизнь пророков «христианской общности», взыскующих града грядущего³? Наше время проявляет особый интерес к сфере приватного — не только на уровне массовой культуры, но и на уровне серьезной исторической науки. Однако нельзя сказать, чтобы частная жизнь философов, особенно религиозных, привлекала к себе большой интерес. Впрочем, в жизни философ мало чем отличается от иных «человеков», разве что большей детскостью, принимаемую в обществе порой за практическую беспомощность.

Читая «Взыскующих града», мы узнаем, что Павлуша пьет, что у Ивановых дети болеют корью, что Эрн рыщет в поисках заработков, а Булгаков держит и плодит канареек. Для не менее нашего политизированного сознания религиозных философов существует какой-то параллельный мир — одушевленной и неодушевленной природы, — по отношению к которому они не утратили чувства благосклонности и даже любви. «Канарейка уже сидит на яйцах, радостям всех конца нет, спасибо, что научили», — пишет Булгаков А. С. Глинке-Волжскому в 1908 году (неволью ловишь себя на предположении, что «канарейка» — это партийная кличка или название какого-нибудь устройства, мультиплицирующего листовки «с помощью ми-ми и ти-ти»). Через полтора месяца: «У нас вывелся один кенарчонок, так что идет большое ликование об этом». Через три с половиной года: «У нас канарейки почти все перевелись, но и рыбок нет, живет синица и чиж». А. Ельчанинов записывает в дневнике: «Павел (Флоренский. — А. К.) любил растения с детства с какой-то усиленной нежностью, жалостью и пониманием. Он говорит, что любит их за кротость, за их непосредственную близость с землей». М. А. Новоселов пишет тому же Глинке: «Кот блудит, пропадает по суткам и более, заметно худеет от любви». Е. Н. Трубецкой в письме возлюбленной негодует на «очень прожорливую» личинку водяного жука, пожирающую в аквариуме других тварей, и испытывает при этом почти «афонское настроение». Составитель ценит эту искру человечью (перифразируя слова модного в том кругу Мейстера Экхarta об «искре Божьей» в человеке) — ценит ее не менее историко-философических подробностей об имяславческом споре или программе книгоиздательства «Путь», о природе эроса или об отношении к пантеизму. Выбранный составителем принцип публикации документов — нарушить замкнутое единство архивных картонных папок, выстроить все документы в хронологическую цепочку, растянувшуюся на двадцать три года — от прелюдий к первой русской революции до весточки «оттуда» высланного С. Н. Булгакова, — говорит о том, что перед нами не очередной «литнаследовский» фолиант, в котором публикаторы строго следуют академическим принципам текстологии, но настоящий эпистолярный роман, где есть своя интрига, свои изюминки, свои длинноты и пустоты. Письма, как правило, даются с купюрами (впрочем, отчасти это обусловлено волей покойной дочери Эрна, утаившей от публикатора то, что относится к внутрисемейным делам). Поэтому настоящим автором книги оказываются все-таки не обозначенные на титуле философы, но смотрящий на нас со вклейки в конце книги составитель, ведь именно он сводит воедино голоса и подголоски. С годами он вполне вжился в их сообщество, хоть и прячется под маской беспристрастно-объективного «наблюдателя» (пронзительное письмо Булгакова о смерти трехлетнего сына Ивашечки — и тут же, в примечании к нему, лапидарное сообщение о неправильностях в архивной пагинации).

Жанр эпистолярного романа в русской литературе не нов, но как жанр публикаторский, исторический он еще не вполне освоен (вспоминаются «Избранные

³ «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13: 14).

письма» К. Н. Леонтьева, подготовленные Д. Соловьевым, которые, при всей субъективности отбора, читать интереснее, чем любую монографию о Леонтьеве). Впрочем, иногда комментатор знает о своих героях больше, чем сами они могли знать о себе. Вездеприсутствие комментатора — непрменный залог демиургической текстологии «эпистолярного романа». Его осведомленность в обстоятельствах «частной» жизни героев должна ошеломить читателя. Так, Эрн, приехавший в Москву от жены с полугодовой дочкой из Тифлиса готовить диссертацию, советует в письме жене: «Быть может, лучше будет, если пузырьки будет мыть Fräulein. Ведь ты с этим возишься более полугода и все на ногах. Ты готовишь кушанье, а Fräulein пусть моет». Комментатор объясняет нам, в чем тут дело: Е. Д. Эрн в это время жила в доме родителей мужа и должна была работать в аптеке свекра, Франца Эрна. Странно вот только, что ей пришлось начать работу («мыть пузырьки») сразу с рождением дочки. Не логичнее было бы здесь подумать о пузырьках для детского питания? Съездив домой через год с небольшим, Эрн снова возвращается в Москву и пишет жене сразу по возвращении: «Лежу на диване и думаю, отчего не приходит ко мне Люська и не говорит: „На живот!“» Комментатор и здесь все знает: «Флоренская Ю. А. Видимо, Эрн вспоминает, как она делала ему уколы». Но обосновано ли подозревать Эрна в столь тайном сладострастии? Особенно если учесть, что дочь Ирину он в других письмах называет Люсь-Люськой, Мусь-Муськой и проч. Расставшись с семьей, нормальному человеку гораздо естественнее вспоминать начинающего лопотать ребенка, переворачивающего папку «на живот», чем связанную с хронической болезнью почек процедуру, к тому же не из приятных. Комментатор вообще относится к высказываниям своих героев подчеркнуто «сциентистски». Так, ироническое словечко «сублимашка», невзначай оброненное князем в письме своей Маргарите, провоцирует на замечание: «По-видимому, это одно из первых употреблений базовых терминов психоаналитической теории З. Фрейда в русском ненаучном контексте». Упоминание Эрном в фантастическом повествовании о изобретенной «г-ном Ришаром» миниатюрной пушке, которая «заряжалась радием» и производила опустошительные разрушения, — основание записать философа в идейные предтечи атомного оружия: «Здесь впервые высказана идея использования энергии расщепленного атома в военных целях». Впрочем, остаешься благодарен Кейдану: без таких оживляющих, перебивающих внимание вкраплений, делающих дыхание читателя неровным, чтение книги только потеряло бы в живости.

На карте русской христианской общественности, где, подобно параллелям и меридианам, скрещиваются разные голоса и «правды», можно разглядеть, что границы, отделяющие приватное и публичное в жизни «политического животного», очень расплывчаты, подвижны и весьма условны. Если учесть, что для русской философии императивы «gnóthi seautón» («познай самого себя») и «transcende te ipsum» («превзойди самого себя») вытекают один из другого, то именно в сфере частной жизни лучше открываются нам мотивы тех или иных поступков, совершаемых в жизни публичной. И напротив, когда узнаешь, что по случаю оправдания Эрна на суде (дело о брошюре «Что нужно крестьянину», 1911) и избавления его от тюрьмы он устроил друзьям автомобильную прогулку «в поле и лес» и мадам Салвинас подарил двадцать пять рублей, то незаметно для себя переходишь границу в обратную сторону.

Отношения людей есть настоящая алхимия, и книгу «Взыскующие града» можно было бы назвать не только эпистолярным, но и алхимическим романом. «Вы с В. П. [Свенцицким] как-то особенно повернулись друг к другу какими-то иными сторонами своей души, которыми раньше не соприкасались, и получилась новая душевная реакция, столь же неотвратимая и столь же непонятная, как неотвратима и в конце концов необъяснима химическая реакция... — пишет С. А. Аскольдов Эрну. — Кислород в чистом виде и в соединении с водородом неодинаково реагирует с другими элементами». Тема дружбы возникает в русской философии не просто как очередная философа, она рождается не из библиотечных штудий и кабинетных рефлексий о прочитанном. На страницы философских книжек выплескивается теплота и интимность разделенной приязни, а то и разделенной бутылки шампанского, выпитой в хорошей компании в трактире на Воро-

бьевых горах, вид откуда напомнил Эрну Рим с Яникулума. «Много смеялись, острили, порешили много вопросов и разошлись в самом веселом настроении», — отчитывается Эрн жене о дружеской посиделке с Бердяевым. Розанов сравнил дружбу с теплой и уютной квартирой зимой. Но в дружбе есть и трагизм — расхождения, охлаждение, предательства, неутомимый поиск единственного в Едином. Иуда — Христу, Сальери — Моцарту, Ставрогин — Шатову — друзья-изменники, дающие помыслить эту трагичность. Недаром одна из последних документальных выдержек в книге — дума Булгакова в Ялтинском дневнике 1922 года о Флоренском: «О. Павел, гениально написавший о дружбе и с распаленной ее жаждой, в сущности, всегда *один*, как Эльбрус с снеговой вершиной, никого не видит около себя, наравне с собой. И его привязанности, „друзья“ (характерно для роковой для него стилизации, что ведь и «письма к другу» тоже литературная фикция, ибо друга-то не существует, и *правы* те наивные, которые все разгадывали и спрашивали, кто же друг, потому что для простого человеческого чувства здесь стилизация недопустима и невозможна, а между тем она была) суть избрания иррационального произвола»⁴. Дружба помогает разглядеть особенное в людях: «Он был какой-то особенный, — пишет Эрн о Глинке-Волжском, — и хотя мы говорили об обычных вещах, что-то из наших разговоров мне врезалось в душу, потому что Волжский был поистине прекрасен и полон какой-то особой тихой серьезности и тихой проникновенности». В письмах стремятся поведать об этом особенном, в дружеской переписке мы встречаем не столько «частного», сколько «внутреннего» человека.

Свершается Церковь, когда
Друг другу в глаза мы глядим, —

написал Вяч. Иванов, когда внезапно, за два дня до своей докторской защиты, умер Эрн. Правда, читая о дружбе в письмах или опубликованных текстах религиозных философов, выносишь впечатление, что для них и сама церковь конституируется дружеской приязнью, не слишком напоминая ту церковь, которая находится внутри церковной ограды. Где друзья, там и церковь.

Флоренский также вспоминает ушедшего друга: «Удивительно ли, милый друг, что у меня нет решимости из сплошной картины воспоминаний, из этих сплетающихся в одно целое впечатлений солнечного зноя, горячих скал, серых, грязно-зеленоватых и ржаво-красных лишаев, глубоких синих далей, тонкой резьбы полуразрушенных храмов, выжженных полей, карабкающихся где-нибудь по кручам коз, темной синевы неба, сухого ковыля, летящего в горячем ветре, воздуха, окутывающего строгим благоговением богородичной травки, горной полыни и мяты, иммортелей и других горьких трав и, наконец, потоков спящего света, — удивительно ли, если из всех этих впечатлений, сплетшихся с впечатлениями от тебя в неразрывное целое, я не нахожу в себе решимости вырвать отдельные случаи». Образ друга, входящий в светлый, терпко пахнущий полевой мир, сливающийся с этим миром, намекает на то, что и сама дружба есть большее, чем «встреча двух одиночеств», она космична, в ней совершается некая эфирная правда, эфирная мистерия. «Сфера филии⁵ — эфир, — читаем в записной книжке Эрна. — ...улыбка есть чудесный фантом эфира. Улыбки столь же разнообразны, как разнообразны виды источников бьющей воды. Есть улыбки — колодцы, есть улыбки — лесные ключи, есть улыбки, гармонически сочетающие культуру ума и сердца с первоначальной действительностью лучащегося эфира, как фонтаны итальянских мастеров».

Но мир дружбы и его диалектика неутомимо требуют своей антитезы — вражды, недоброжелательства, козней падшего мира, от которого должен восхитить верного верный. «Надо прежде всего определить мистически „откуда“ человек, от Бога или от дьявола! Так, по-моему, Иванов — вампир темный!» — писала М. К. Морозова Е. Н. Трубецкому, одновременно приглашая, правда, Вяч. Иванова к почетному членству в молодежном литературном кружке. Это мир, в котором

⁴ Ялтинский дневник Булгакова впервые опубликован Н. А. Струве («Вестник РХД», 1994, № 170).

⁵ Ф и л и я — дружеская склонность (*с греч.*).

«свои опаснее чужих», Ильин «самолюбив и с полдюжиной бесенят», кустари устраивают «выставки кустарных изделий в философии», «гессенята процветают», шокирует «живая трупность» одних и «дилетантизм жизни» других, «петербургские мерзавцы» нещадно эксплуатируют Мариэтту (Шагинян), а Степпун гудит, как «пустая бочка от пива». На фоне всего этого политические перипетии, в которые ввязываются «града грядущего взыскующие», издательская суета — газеты, органы несуществующих партий, «путейские» книги и брошюры — оказываются даже менее интересны. Читая о планах книгоиздательства «Путь», задумываешься поневоле, не есть ли русская религиозная философия креатура одной женщины — Маргариты Кирилловны Морозовой, на свои деньги содержавшей и издательство «Путь», и журнал «Вопросы философии и психологии»? Не будь авансов от «Пути», Бердяев не только не написал бы «Хомякова», но и не съездил бы в Италию, где ему подумалось о «смысле творчества». Философия возникает тогда, когда есть возможность быть профессиональным философом, не только печататься, но и жить на гонорары от своих публикации.

Политика в книге оказывается фоном — листовки Христианского Братства Борьбы, думские заседания и уход двухсот профессоров из Московского университета, война и подъем национальных чувств, революция и церковный собор, Распутин и несбыточные упования либерализма. Большинство документов, приведенных в книге, датированы 1905 — 1915 годами, остальные годы как бы намечены пунктиром; верно, большие письма писать со временем становилось все труднее и труднее⁶. Разнообразные мотивы предчувствий, ожиданий, опасений того, что «интеллигенты» одержат все-таки верх над «дворянчиками», не разрешаются в лейтмотив большой бури. Революция не эпична, она пошла, в ней торжествует серость, усредненность, поэтому скупые слова о ней — боль и стоны сквозь стиснутые зубы. «Легион бесов, сидевших недавно в одном Распутине, теперь после его убийства переселился в стадо свиней. Увы, это стадо сейчас на наших глазах бросается с крутизны в море» (Е. Н. Трубецкой — А. Ф. Кони). «Мы побеждены, как бы ни сложилась наша судьба, которая не от нас зависит, и по заслугам. Исторически чувствуем себя на Страшном суде раньше смерти, истлеваем заживо. И все-таки — все остается по-прежнему, русский народ должен быть народом-мессией...» (С. Н. Булгаков — В. В. Розанову).

Последние годы — лишь постскрипtum, эпилог ко времени, которое нам привычно называть русским религиозным возрождением. Голос Мики Морозова, сына М. К. Морозовой, известного, в частности, по знаменитому портрету В. Серова, звучит в книге дважды — почти в самом начале и почти в самом конце, как бы обрамляя ее. Пока Булгаков и К^о участвовали в первой революции, издавали газеты, создавали религиозно-философские общества, сочиняли «Вехи», правели, он был ребенком. Дети — самые непосредственные наблюдатели, и если бы Мика вел дневник систематически, это, наверное, стало бы ценнейшим материалом для книги. Игра в поездка и представление драмы собственного сочинения «Братья враги» соседствуют в дневнике восьмилетнего мальчика с вестью об убийстве великого князя Сергея Александровича. Спустя тринадцать лет мальчик вырос. Он читает Золя и ходит смотреть шмелиные гнезда, но в память его уже врезаются слова взрослого: «Подобно тому, как человек может раздавить стопой шмелиное гнездо,

⁶ Было бы, наверное, уместным, публикуя ряд новых и важных материалов к истории Христианского Братства Борьбы, в связи с толками о принадлежности к нему Флоренского упомянуть и внести в комментарий обширную публикацию переписки Флоренского с математиком Н. Н. Лузиным, вышедшую в 1989 году в «Историко-математических исследованиях» (вып. 31) и поэтому оставшуюся без внимания исследователей-гуманитариев. В ней, в частности, приоткрываются последствия проповеди Флоренского «Вопль крови», произнесенной в марте 1906 года, в которой он резко осудил самодержавие и за которую он был заключен в тюрьму. Кстати, в комментариях публикаторы приводят большой фрагмент из письма Эрн к тогда еще невесте Е. Д. Векиловой, который был бы очень уместен во «Взыскующих...». В нем Эрн подчеркивает аполитичность Флоренского: «Все это произошло страшно неожиданно, потому что Павлуша Ф. был очень враждебно настроен к какой бы то ни было общественной деятельности и говорил всегда, что можно влиять лишь на *отдельные личности*, и в этом пункте как раз очень расходился с нами».

божества могут раздавить целые государства». Правда, похоже, слова эти он не вполне связывает с реальностью происходящего. «Приезжал большевик на дрожках; вместе с ним на дрожках сидела девица в венке. Через некоторое время пришел другой большевик, хорошенький, с черными усиками. Они требуют планы и дали маме подписать „опись” Михайловского». Некоторая «смазанность» финала «Взыскующих града», наверное, объективна — частная жизнь куда-то уходит, как уходит почва из-под ног во время землетрясения или оползня, и чаявшие «нового града» сами оказываются его заложниками. Эпиграфом к вступительной статье Кейдан выбирает строки Б. Пастернака:

Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на карте шпал.

Всю жизнь они считали себя властителями идей, теперь они не только теряют способность вольно ими распоряжаться — идеи начинают распоряжаться людьми: людей, в отличие от идей, которые нетленны, можно оторвать от семьи, расстрелять, изгнать, оставить без продовольственного пайка... Так, старший сын о. Сергия Булгакова, Федор, не отсиживается в Москве в 1919 — 1920 годах, как указывает комментатор, а находится в большевистском госпитале (он был мобилизован белыми, но в Харькове заболел возвратным тифом. Госпиталь, где он находился, перешел от белых к красным. После госпиталя Федор попал сначала в красноармейский санаторий, а потом был отправлен домой, в Крым, на излечение). При высылке о. Сергия из России Федор оставляется большевиками в качестве заложника; ему так и не было позволено увидеть отца и мать.

Незадолго до своей смерти А. Н. Скрябин начал писать поэтический текст для «Предварительного действия», которое должно было предварить общемировую мистерию — преображающий мир теургический акт. Деятельность «взыскующих града» тоже оказалась «предварительным действием», но предварила она не совсем то, что им хотелось. Герои книги не были фанатическими безумцами «теургии». Они верили в возможность совершенствования социального бытия, с Божьей помощью, конечно, но средствами чисто политическими — реформируя общество, церковь, внушая соотечественникам основные понятия о либерализме, политических свободах вкупе и неразрывно с духовно-нравственными основами. Но все-таки розы должны были расти с неба: «Угодно человеку, — растение может расти в воздухе. Я надеюсь, что скоро научатся их растить прямо *корнями из неба*. Представь себе со всех сторон ниспадающие с неба цветами книзу незабудки. Ведь лучше будет, чем нынешний устаревший способ расти корнями из болота, где их достать-то трудно, да и воняет». Из земли расти могут только пушки — на колоссальных подземных заводах вооружений, организованных германо-китайцами из фантастической притчи в записной книжке Эрна, опубликованной в приложении к «Взыскующим града». Этот текст — новая версия сюжета «Краткой повести об Антихристе» Вл. Соловьева, своеобразное мифологическое варьирование статьи Эрна «От Канта к Круппу», едва ли не самое фантастическое, что написано на русском языке об эсхатологии (чего стоят хотя бы «окультический истребитель» и «гипнотический дистурбатор» германо-китайцев против миниатюрной радиийной пушки г-на Ришара!). Вот ценная карта в пясчан нынешним геополитикам, стержнеючим в очерчивании всевозможных осей. «Взыскующие» были слишком идеалистами, а культура — слишком утонченной, чтобы вершить судьбами истории, — Штольц, а не Обломов должен был одержать верх. Одержал ли? Не стоит бросать поспешные обвинения в прекраснотушии или в оставшейся якобы от марксистской юности вере в социальный прогресс, в поступательное развитие истории — в чрезмерном социальном оптимизме. Они были рыцарями христианской свободы и культуры и о возможном аресте предупреждали друг друга на латинском языке, были не только взыскующими, но и взыскательными людьми.

Книга Владимира Кейдана сделана как бы ни для чего. Он назвал ее хроникой. Хронике не свойственно поучать. Ее пафос — пафос историзма и объективной научности, многознающего эмпиризма. Искать в ней практических рекомен-

даций по обустройству России тем, кто давно уже думает по преимуществу об обустройстве своих квартир и офисов, — бесполезно. Но вряд ли имеют смысл и попытки «деконструировать» наследие русских религиозных философов, вскрывая их утопизм, удаленность от практической жизни и реальной политики. В большинстве текстов писем, дневников есть ощущение внутренней органики, часто даже стилистически они однородны: принадлежащие различным авторам, они написаны на одной волне, могут быть отнесены к одному пласту культуры. Они целят своей человечностью, учат, не поучая.

Алексей КОЗЫРЕВ.



БИБЛИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН?

Симона де Бовуар. Второй пол. [Том 1. Факты и мифы. Том 2. Жизнь женщины.]
Перевод с французского. М., АО Издательская группа «Прогресс» — СПб., «Алетейя»,
1997, 832 стр.

Почти полвека назад, в 1949 году, во французском издательстве «Галлимар» вышло тысячестраничное исследование Симоны де Бовуар «Второй пол». Многократно переизданная, существующая в миллионах копий почти на всех европейских языках, сегодня она переведена на русский и... оприходована по разделу «Библиотека феминизма».

Мне хочется думать, что Симона де Бовуар сорок девятого года не приняла бы такую классификацию...

По легенде, «заказ» на исследование поступил от Сартра, который «считал, что для подтверждения их версии экзистенциализма... Симоне было бы неплохо написать нечто вроде исповеди о том, что значит для нее быть женщиной». «Симона отказалась... Сартр настаивал». В итоге — три года ушли на сбор материала и написание книги. Внутреннюю же историю ее создания можно, наверное, было бы попытаться разглядеть в зазоре двух других ее книг: книги мемуаров 1963 года и скандально известной книги «Обряд прощания» (1981) — откровенной истории ее взаимоотношений с Сартром.

Ко времени выхода «Второго пола» Симоне сорок лет. И книга выглядит скорее решительной попыткой самоутверждения, защиты и подтверждения уже совершенного личного жизненного выбора. Ответов в ней существенно больше, чем вопросов.

И все же, при всей определенности «позиции» автора, при всем выраженном «социальном пафосе» книги, я бы не советовала начинать ее чтение с предисловия. Оно столь же вдохновенно, сколь и прямолинейно. Портрет Симоны здесь энергичен и довольно прост, а выморочно-феминистский, политико-социальный пафос («Такая книга не может не найти отклика в нашей стране зарождающейся демократии») способен лишь сузить зону сегодняшнего прочтения книги... Понимаю, феминизму — отечественному в том числе, — пусть с некоторым историческим опозданием, нужен свой культовый текст, своя Библия. Начнем с пяти тысяч экземпляров. И издадим — в черно-бело-желтой строгости и величии полиграфического вкуса, с комментарием к именам (такого комментария нет, как отмечается, ни в одном европейском издании книги). Вот только — без единой фотографии автора. Случайность ли? Или «этика подлинного существования» (так назвала свое предисловие доктор политических наук С. Айвазова) неизбежно сглаживает живые черты — до их полного исчезновения?

«Введение» Симоны де Бовуар в собственную книгу гораздо более любопытно. Уже тем, что начинается с вопроса радикального: «И есть ли вообще женщины?», и признания, что многотомные глупости, выпущенные в свет с начала века, существенно не прояснили «женскую» проблему. Что же — основание выделения собственно «женского»? Анатомическая особенность? Сущность «вечной женственности»?.. Симона де Бовуар находит более точное, как она полагает, основание, становящееся началом ее размышления: «Мужчине не пришло бы в голову написать

книгу о специфическом положении, занимаемом в человеческом роде лицами мужского пола». Отсюда первый — вынужденный — шаг: дать себе первое определение, признать: «Я — женщина». Но значит ли это — подтвердить свою абсолютную относительность? (Бовуар цитирует Мишле: «Женщина — существо относительное...» — ссылается на Левинаса и делает вывод: «Она самоопределяется и выделяется относительно мужчины, но не мужчина относительно нее...»)

Так какова стратегия Симоны де Бовуар? Принять имя «женщины»? Имя, которым (и она это обостренно чувствует) наделил ее «мужской мир». И начать свой завоевательный поход — отсюда?

«Второй пол»... Именно на этой площадке заявлено начало исследования.

«Я считаю, что для изучения положения женщины лучше всего подходят сами женщины или некоторые из них», — утверждает Симона де Бовуар. Выбор, конечно, примечательный. Как примечателен и ее отказ в компетентности в данном вопросе — ангелу («он не знает исходных данных проблемы»), а также гермафродиту («он не мужчина и женщина одновременно, скорее он не мужчина и не женщина»).

По своей структуре и насыщенности цитируемым материалом эта книга внешне напоминает академическую монографию. Сначала — что говорит о женщине биология, психоанализ, исторический материализм (том 1. Факты и мифы. Часть первая. Судьба). Затем — анализ реальности «женского бытия» (части вторая и третья. История. Мифы). И описание, с точки зрения женщин, того мира, который был им предложен, трудностей выхода за пределы отводимой им области (том 2. Жизнь женщины). Первый том сегодня читается как вполне наивная, но занятая энциклопедия «женского вопроса». Том второй — более энергичский. Несмотря на миролюбивое предупреждение: «Я не собираюсь изрекать в этой книге вечные истины, я просто хочу описать тот общий фон, на котором... протекает существование женщины».

Названия некоторых глав второго тома: Девушка. Лесбиянка. Замужняя женщина. Мать. Светская женщина. Проститутки и гетеры... Самовлюбленная женщина. Влюбленная. Богоискательница. Независимая женщина... Точка исхода и направление движения выстраиваются с упрямой логикой. Если бы не замечательное богатство психологического, литературного, исторического, биографического материала, мы бы сразу различили, в общем-то, несложный и весьма жесткий теоретический конструкт — каркас всех авторских построений. Некоторое «кредо» лично-го и уже совершенного выбора.

Это «кредо» покоится на принимаемом Симоной де Бовуар основоположении: «...особенность ситуации женщины состоит в том, что, обладая, как и любой человек, автономной свободой, она познает и выбирает себя в мире, где мужчины заставляют ее принять себя как Другого: ее хотят определить в качестве объекта и обресть тем самым на имманентность, косность, поскольку трансценденция ее будет постоянно осуществляться другим сознанием, сущностным и суверенным». Мужчина — это тот, кто остается самим собой, кто — через Другого — всегда возвращается к самому себе. Мужчина — структура цельная, равновесная, симметрическая, устойчивая. А «самосознание» женщины ей видится как по необходимости ущербное: «В большинстве случаев женщина осознает себя лишь в качестве Другого, часть ее личности, предназначенная „для другого“, становится камешком ее сущности... она не обретает себя в своем субъективном существовании...»

Поэтому, описывая разнообразные «этапы», «ситуации», «позиции», «роли», в которых оказывается и которые принимает на себя женщина, Симона де Бовуар описывает фактически лишь этот «сверхфеномен» — зависимости и ущерба.

Одно из первых его имен — «пассивность». Основная черта «женственной женщины», основное жизненное настроение, навязываемое семейным воспитанием и общественным мнением. Вечное ожидание, существование как ожидание, томление плоти, ибо оправдание жизни, смысл — вне пределов личной воли. Грезы, где нет реального времени и реальных препятствий. Безграничное время, которое тебе не принадлежит... На языке психологии: неврозы, садо-мазохистский комплекс, психастенический синдром.

Другое важное имя — «вещь». Бовуар описывает различные «пограничные ситуации», в которых женщина переживает уготавливаемое ей состояние «быть ве-

щью». Один из ее примеров — клептомания, являющаяся, по мнению Бовуар, сексуальной сублимацией. «Именно из-за опасности быть пойманной девушка испытывает такую жгучую тягу к воровству. Если ее воровство обнаружится, все будут смотреть на нее с осуждением, указывать пальцем, и, переживая этот позор, она до конца и безвозвратно осознает, что она — вещь. Брать, но ничего не давать взамен из страха стать чьей-то добычей — вот в чем заключается опасная сексуальная игра девочки-подростка». Тот же механизм — у всех «дурных», эпатирующих окружающих поступков, у отрицательных навязчивых состояний, к которым склонны созревающие девушки... В итоге: «Страх перед превращением в вещь неизбежно приводит к осознанию себя в качестве таковой». Симона де Бовуар вообще охотно и много использует язык современной ей психологии и психопатологии. Может быть, он позволяет ей самой узнавать собственные преодолеваемые ею состояния.

Еще одно имя «сверхфеномена», от которого внутренне отталкивается Симона де Бовуар, — «брак». И здесь ее пафос быстро восходит к социальной общезначимости: «Брак подталкивает мужчину к капризному владычеству: ведь желание господствовать — самое распространенное и непобедимое из всех желаний. Отдавая ребенка во власть матери, а жену во власть мужа, мы способствуем укоренению тирании в обществе». В браке ей видится один исход — развращенность мужа и тоскливая униженность жены. Результат — пустота и скука, когда двум существам ни в духовных, ни в эротических отношениях нечего дать друг другу, когда им «нечем обмениваться». Классический — и, видимо, ужаснувший ее — пример: Льва и Софьи Толстых. Симона де Бовуар навязчиво возвращается к нему, обширно цитирует дневник Софьи Андреевны. И приходит к выводу, что чета Толстых дала самое глубокое развенчание мифа о Пьере и Наташе. «Софья испытывает к мужу отвращение, находит его „невыносимым“; он изменяет ей со всеми крестьянками окрестных деревень, она ревнует и скучает. Каждая из ее многочисленных беременностей сопровождается нервозностью, а дети не заполняют ни ее сердца, ни ее повседневной жизни. Для нее домашний очаг — бесплодная пустыня, для него — ад. И кончается все это тем, что она, старая истеричная женщина, полуголой бежит по мокрому лесу, а он, несчастный загнанный старик, уходит из дома, разрывая таким образом „союз“, который длился всю жизнь». В своей личной жизни Симона де Бовуар не решилась на жизненный эксперимент — иметь дом и детей...

И еще одного она пытается (знанием наперед) избегнуть — психологической старости. Она заранее описывает ее приметы. Они ей видятся гримасами и ужимками. Вот нарисованная ею картинка: «Начинающая стареть женщина... начинается преувеличенное акцентирование своей женственности, женщина украшает себя... чтобы стать воистину очаровательной, грациозной, таинственной... на своего собеседника-мужчину она бросает наивные взгляды, ее голос, интонации становятся ребячливыми, она охотно и много болтает, воспроизводя свои детские воспоминания... она щебечет, хлопает в ладоши, громко смеется. И весь этот спектакль разыгрывается вполне искренне...» Театральность и вообще-то не по душе Бовуар. Театральное действо для нее — это тот самый — причем осуществленный вполне — отказ от самости... Старческое оживление, когда оно сродни театру, вызывает у нее жалость. А жалости — надо бежать.

И — рецепт отталкивания: для женщин, занимающихся интеллектуальным трудом, отречение от своей личности немисливо (даже в плотских отношениях). Рецепт, выписанный Симоной де Бовуар для себя.

И еще один нюанс. То, быть может самое глубинное, что она не приемлет, — право распоряжаться Другим. Унизительно быть вещью, не менее — брать в этом реванш. Заставляя мужчину платить, женщина компенсирует свой комплекс неполноценности. Если она обеспечивает себя жизненными благами, оказывая сексуальные услуги, — она одновременно и паразит, и эксплуататор. И тот и другой живут не на собственном основании. Фаворитки управляли через своих любовников миром. Но и такое могущество Бовуар высокомерно отвергает.

Ее вывод радикален: все то, что до сих пор в истории было известно под именем «настоящей женщины», — искусственный продукт, фабрикуемый цивилизацией («как когда-то фабриковались кастраты»). Поэтому надо пройти поверх любовью заданности, устранить все зеркала, которые торопятся задать женщине ее об-

раз, надо жить естественной жизнью, не стремясь постоянно видеть свои действия со стороны.

О таких степенях независимости действительно может грезить даже не ангел и не гермафродит — разве что «чистый экзистенциальный субъект». Буде таковой имеется. Но об этом могла знать только Симона де Бовуар. Ее опыт — уникален.

Елена ОЗНОБКИНА.



ЭКСТАЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КАК ТИП МЫШЛЕНИЯ

Екатерина Дёготь. Террористический натурализм. М., «Ad marginem», 1998, 223 стр.

В начале этого года тогдашний глава МВД Анатолий Куликов поведал миру, что во всех бедах России виноват постмодернизм — все разрушающий, разлагающий и подтачивающий основы. Тут же один радикально настроенный коллега-художник при встрече дал мне понять, что министр внутренних дел всего лишь озвучил основную идею моих статей. И пусть тексты, на которые кивал коллега, были опубликованы четырьмя годами ранее, а разговоры о деконструктивной мощи постмодерна его энтузиастические апологеты ведут до сих пор; пусть они, эти тексты, были написаны вполне сознательным постмодернистом и противопоставляли либерально-рефлексивное в нем революционно-тоталитарному, а ответственность безответственности, они, безусловно, допускали подобное использование себя. (Правда, буквально сразу после этого заявления одиозного министра отправили в отставку. Тут уже я не удержался и при следующей встрече намекнул коллеге, что, мол, дуракам полработы не показывают.)

...В общем, хотим мы этого или нет, сегодня жизнь с искусством свились в один клубок и, соответственно, их причинно-следственные связи запутаны. Можно также говорить о существенной конвергенции, взаимопрорастании, когда искусство бывает трудно без подсказок отличить от жизни, общественно-политическая жизнь то и дело смахивает на хеппенинг, а личная — на пошлый роман. Не меньше впечатляет зависимость текста от контекста. Отчасти поэтому ныне от любого, даже вполне независимого высказывания веет ангажированностью — уж больно «прихвачены» все контексты. Ситуация пугает хотя бы тем, что оставляет мало места доверию. Оказалась разрушена и привычная координатность, чему ни-жеследующая рецензия художника на рецензии критика — вполне наглядное подтверждение.

Самый литературно активный и, пожалуй, самый влиятельный наш художественный критик в двух предисловиях и послесловии излагает свое видение сегодняшней художественной жизни и роли в ней работников своего цеха; в двух главах помещены рецензии на проекты художников московского актуального искусства, рассуждения об их месте в контексте мирового художественного процесса уходящего века; отдельная глава посвящена фотографии и отдельная — московскому концептуализму, а заключительная — проблеме элитарного, массового и народного в культуре.

Пусть Екатерина Дёготь пишет в основном для подготовленного читателя (то есть активно использует соответствующий словарь и культурные дискурсы) — она, в отличие от многих своих коллег, вполне внятный автор: «Специфика новейшего московского искусства состоит в том, что, будучи институционально стопроцентным „агентом Запада“ внутри России, оно одновременно тематизирует психологические травмы России...» К «психологическим травмам» мы еще вернемся, но действительно для понимания ситуации стоит уяснить отличия здешнего бытования художественной жизни от, скажем, литературной.

России, после утверждения в XIX веке ее литературы в качестве одного из флагманов мировой, с тех пор не покидало ощущение литературной метрополии (независимо от реальных достижений на конкретных исторических этапах). Так же

воспринимает ее и Запад. Русская литература не только ощущает свою самостоятельность и «институционально» ориентирована в основном на внутреннюю репрезентацию, где традиционно высок интерес к слову, но и в различных проявлениях, отнюдь не только радикальных, не без основания рассчитывает на благосклонное и пиететное восприятие Западом. А здешний художественный мир, несмотря на признание планетарными гениями Кандинского, Малевича, Шагала и в новейшей истории — Кабакова, не смог войти как институция в мировую элиту. После освобождения от государственного давления ему по совокупности самых разных причин не удалось сформировать независимые от власти дееспособные институты галерей, коллекционирования, музеификации, референции, спонсирования etc., которые могли бы обеспечить его эффективное функционирование — экономическую и культурную встроенность в новую систему отношений, как внутренних, так и внешних. А психологически он не смог преодолеть комплекс провинциальности. Посему реальная власть и реальный успех в интернационально ориентированном здешнем искусстве напрямую зависят от способности привлечь к себе внимание Запада — его референтных групп, его спонсоров и его рынка. Эта постоянная оглядка формирует внутреннюю иерархию, в которой положение критика напрямую зависит от преданности «общему делу» и приближенности к тамошним референтным группам, а художника — от способности привлечь их внимание.

Поэтому Дёготь, обладатель одного из наиболее высоких тутошних рейтингов, вполне откровенно констатирует: «...то место, которое в прежней системе... отношений критика с искусством занимал интерес, теперь занимает другое чувство — экстаз принадлежности своим, разрывающий желание понять, разобраться, различить». Причем отсутствие желания «понять, разобраться, различить» распространяется, ясное дело, не на «своих» (и не на Глазунова с Церетели), а на обитающих в том же пространстве актуального искусства аутсайдеров «стратегического функционирования», то есть гонки, главный приз которой — благосклонность критиков и кураторов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«...современный российский художник обычно отрицает, что его искусство может о чем бы то ни было свидетельствовать, — отмечает Дёготь (здесь и далее подразумевается наиболее продвинутый в только что указанном направлении российский художник), — и часто отрекается от лежащего на поверхности смысла своих произведений и жестов». Также и критики, создатели и крушители художественных репутаций, не без основания считающие себя главными демиургами артмира, часто строят из себя остранных мыслителей и индифферентных наблюдателей. Скажем, в первых словах своей книги Дёготь утверждает: «Ни один здравомыслящий художник не ждет сегодня, что критик его похвалит». Это неправда. Ждет каждый, независимо от степени здравомыслия, а вот дожидаться похвалы могут как раз наиболее здравомыслящие, то есть играющие по предложенным правилам или, еще лучше, задающие эти правила. В сборник не вошел ряд рецензий, в которых установочное нежелание автора «понять, разобраться, различить» принимает форму сознательной дезинформации читателя с целью дискредитации экспозиции и ее автора (авторов). Но более интересны изыятия противоположного рода. Так, в тексты об Илье Кабакове не вошли пассажи (см. «Профиль» Кабакова в журнале «Итоги»), где Дёготь утверждает, что Кабаков был единственным бескорыстным художником андерграунда (не продавал свои работы), а наиболее известным и успешным из уехавших стал потому, что больше других работает. Характерно, что и та и другая откровенная ложь не только дифирамбирует общепризнанного и не нуждающегося в столь грубой лести маэстро, но и призваны добавить по ложке одноименного автору вещества в бочки как московского андерграунда, так и русской художественной диаспоры. Однако в выпущенном сборнике критик, прекрасно ведающий, что творит, отказывается от «экстаза принадлежности» за гранью фола. Вернемся и мы к предложенной аккуратной выборке.

Прогуливаясь по общим местам современных культурных доктрин, автор окрашивает свои констатации не только чувством партийной принадлежности, но и чисто женским стремлением к уюту: «Ощущение смерти искусства — очень комфортное ощущение, поскольку именно эта смерть и помещает нас в систему конвенций, где мы в полной безопасности». Поймав апокалиптический кайф и ока-

завшись «по ту сторону», можно с легким сердцем сообщить всем, очутившимся там же: «Если что-то в нынешнем, все разрешившем и нарушившем все табу искусстве табуировано, то это неудача». Однако стопроцентная гарантия невозможна без соблюдения еще одного табу: «Не следует забывать, что эмоциональная включенность есть вообще козырь массовой культуры, которым... искусство элиты всегда пренебрегало». Заклеймив ересь и раздав индulgенции, можно откровенничать без оглядки: «Действительно, современные перформансы... скучны невероятно... Однако что такое, собственно говоря, скука, как не нарушение... „экономики интересного“, позитивная альтернатива ей?»

Также внятно автор артикулирует радикальную трансформацию представлений о том, что есть искусство и вообще артфункционирование: «Мы встречаемся с произведением искусства, как правило, только на выставке или в музейном каталоге — то есть в контексте, который однозначно сообщает нам, что эта бумажка есть искусство, а не бумажка». Иначе говоря, не только произведением искусства может быть все, что попало и его «в миру» невозможно отличить от различных форм и предметов жизни: оно возникает теперь не на каком-либо этапе деятельности художника, а на этапе референции, отбора, позволяющего или не позволяющего попасть в нужный контекст. Критик пытается представить эту ситуацию как воплощение мечты художника о свободе: «Теперь, в конце XX века, художник... может выставить все, что угодно, — сам предмет, часть предмета, изображение предмета, игнорировать предмет и так далее, а ведь под словом „предмет“ тоже может быть понято все, что угодно...» Эту эйфорию, пожалуй, можно было бы разделить, если бы, скажем, в категорию «все, что угодно», хотя бы Христа ради допустили живопись. Или, скажем, если бы вопрос «Угодно кому?» можно было бы считать хоть немножко открытым. Выдавая страховки в целях табуирования неудачи, критик не забывает и о себе: «Современное произведение искусства может быть понято любым образом, его интерпретация больше не расценивается как правильная... или неправильная...»

Уже упомянутая «тематизация психологических травм России», ставшая сегодня наиболее ходовым русским товаром на западном артрынке, представляется вполне показательным примером модной сегодня игры в поддавки — взаимного отречения «от лежащего на поверхности смысла своих произведений и жестов». «Интерес к современному русскому искусству со стороны Запада, — пишет Дёготь, — связан... со стремлением понять — в нем... ищут ответов на вопросы, на которые не дает ответа российская реальность. Что означает, например, желание художника ходить голым на привязи и бросаться на прохожих?» То есть может показаться, что речь идет о ничем не замутненном искреннем интересе и святой невинности западных кураторов и чисто спонтанном желании русского художника раздеться и кого-нибудь укусить. И вдруг бабах — в другой статье оказывается, что все всё прекрасно понимают и место имеет совершенно иная конвенция: «В сегодняшней России художник, занимающийся так называемым радикальным искусством... участвуя в выставках на Западе... почти неизбежно представляет Россию, поскольку западный куратор редко заинтересован в нем лично, а лишь в нем, как типичном представителе московской сцены, — которая, в свою очередь, представляет опасную страну на Востоке, а именно позволяет определить степень ее опасности». То есть, с одной стороны, выраженное желание Запада видеть Россию в образе дикого и агрессивного животного (этот образ экстатически культивируется тамошними электронными и прочими СМИ), а с другой — сознательная, хорошо продуманная и разработанная система адаптации этих чаяний — «террористический натурализм» в виде перформансов, где русский выступает в роли то униженного, то бешеного пса, напористо шокируя западного зрителя одновременно и своей неконтролируемой злобой агрессивностью, и своими гениталиями.

При этом автором отмечается «чисто русская универсалистская претензия Кулика», выраженная «в жажде не сделать все, но все получить». Вообще в тех случаях, когда Дёготь перестает назойливо демонстрировать свою партийную или корпоративную солидарность, она становится намного интересней и, можно сказать, родней. Начинают импонировать ее качественный аналитический инструментарий, отличное знание обсуждаемого предмета, способность точно и не без лихости фор-

мулировать. Так, нет ни малейшего желания возражать против утверждения, что «утаивание труппа авангарда» составляет «эстетическую пружину соцреализма». И что «художественный проект 90-х во всем мире, безусловно, ориентирован на эту „спрятанность концов в воду” (в нашем случае можно говорить об утаивании труппа андерграунда. — С. Ф.) и неразличимость средств». Импонирует и замечание: «Сейчас, когда мировое искусство тематизирует не персональный выбор, а, напротив, отказ от него, у художников, вышедших из пространства православной культурной традиции, появляется новый и неожиданный шанс».

Многие охотно согласятся с автором, который в статье о Шилове говорит, что его искусство, «по всем признакам государственное, является столь люмпенским с эстетической точки зрения, что это смутно чувствуют даже и его адепты» (подобная оценка вполне применима ко всем нынешним «государственным» художникам), или квалифицирует нынешнюю ностальгию по всему советскому как продукт в первую очередь сознательной культурной стратегии власти. Однако при чтении одних текстов, проливающих бальзам на раны, полученные при чтении других, все же порой возникает подозрение, что автор и тут на партийной работе. Что, скажем, отпovedь «народной культуре» (советско-новорусскому феномену, пытающемуся преодолеть диалектику западного взаимодействия элитарного и кича) — не протест либерального сознания против «заединчества», а борьба одного «заединчества» с другим, ибо, как настойчиво повторяет автор, «жест личного выбора... полностью девальвирован». И когда Дёготь пишет: «Бросается в глаза, что в риторике современного московского искусства преобладает слово „истинное”... что очень контрастирует с прежним определением неофициального искусства как „другого”», читателю невольно «бросается в глаза», что эманация «истинности», а вовсе не маргинальности (на которую намекает название издательства) и даже не элитарности витает и над самой книжкой.

И — вместо постскриптума — еще одна цитата из сборника: «Тоталитаризм есть прежде всего тип мышления: тот, кто не попадает под категорию, оказывается исключен, сначала логически и лишь как возможное... следствие — физически».

С. ФАЙБИСОВИЧ.

*

ВСПЛЫВАЮЩАЯ АТЛАНТИДА

А. И. Серков. История русского масонства 1845 — 1945. СПб., Издательство имени Н. И. Новикова, 1997, 477 стр.

«История русского масонства» А. И. Серкова увидела свет после несколько поспешного подведения итогов изучения одной из самых таинственных страниц российской истории. «Масонский сюжет есть, но масонской проблемы нет», — безоговорочно утверждал А. Я. Аврех («Масоны и революция». М., 1990).

И тем не менее «масонская проблема», особенно применительно к судьбоносным для России Февралю и Октябрю 1917 года, продолжает будоражить общественное сознание, выливается в профессиональные схватки историков, вызывает разносные отклики зарубежных специалистов и неспадающую пену политических и антинаучных спекуляций.

Свобода последних лет обусловила стремление выйти за рамки «догматического» решения масонской проблемы: проработочные обвинения и шаблонные филиппики в адрес историков типа «белоэмигранта» Г. М. Каткова сменились попытками выявить место и роль вольных каменщиков на политическом поле русской революции. Этот этап научных дискуссий был ознаменован выходом нашумевшей книги Н. Н. Берберовой «Люди и ложи» (Нью-Йорк, 1986) и закончился разносной статьёй маститого Людвика Б. Хасса, профессора Института истории Польской академии наук («Еще раз о масонстве в России начала XX века». — «Вопросы истории», 1990, № 1).

К сожалению, Хасс избрал недостаточно продуктивный путь выявления отдельных грубых ошибок и смысловых огрехов в по-журналистски броских и к тому же беспристрастных штудиях Берберовой.

В последующие годы «Люди и ложи» благополучно переиздавались в России, вышла в свет книга О. Ф. Соловьева «Русское масонство 1730 — 1917» (М., 1993), были изданы два сборника под общим заголовком «Масоны и масонство» (М., 1994 и 1997), появился еще ряд публикаций, кое-кто из прежних хулителей перешел в разряд «взвешенных специалистов», но научная разработка все той же проблемы, кажется, начала пробуксовку.

...Монографию Серкова, изданную солидным по теперешним временам тиражом, слизнуло с прилавков книжных магазинов Петербурга и Москвы мгновенно. Потому что в ней все интересно, начиная с источниковедческой базы, в основу которой положен обширный корпус исследований масонских материалов, некогда погребенный в недрах Особого архива. Ценнейшие находки Серкова относятся и к открытым фондам ГАРФ (бывший Центральный государственный архив Октябрьской революции) и РГАЛИ (бывший Центральный государственный архив литературы и искусства). Базисная часть исследования Серкова, то есть неизвестное ранее собрание первоисточников, дополняется личным архивом автора.

Весомым дополнением к архивным источникам выступает обширный свод литературы: прежде всего исследования, начатые самими вольными каменщиками, например «Записка о русском масонстве», составленная одним из лидеров масонов-эмигрантов Л. Д. Кандауровым. Результативна была работа Историко-архивной комиссии, возглавленной в свое время П. А. Бурьшкиным. Одно из лучших исследований выполнено С. П. Тикстоном (на французском языке; Париж, 1972). Особое место в историографии русского масонства занимают труды Б. И. Николаевского, выдающегося историка-эмигранта. Социалист с немалым партийным опытом, основатель журнала «Летопись революции» (1923), он десятилетиями собирал материалы по проблеме русского масонства начала века. Ему — одному из немногих — ряд видных масонов-эмигрантов приоткрывает завесу орденской конспирации. Работа Николаевского «Русские масоны и революция» — прямая предшественница монографии Серкова; к страницам этого труда автор обращается многократно.

«Найденные источники... — резюмирует Серков, — позволяют рассмотреть это движение в рамках монографического научного исследования, которое отсутствует в настоящее время. Несмотря на все достоинства, работы П. А. Бурьшкина, С. П. Тикстона, Л. Б. Хасса не дают полного представления об истории русского движения вольных каменщиков. Настоящая работа задумана как первый предварительный опыт такого исследования». Добавим со своей стороны, что понятие о «полном представлении» в данном случае означает весьма многое: источниковедческая база этапного труда Серкова впервые открывает возможность научного обоснования истории русского масонства на всех этапах его развития в XX веке — от возрождения и переформирования в 900-е и 10-е годы и вплоть до окончания Второй мировой войны. (В данный момент издательство имени Н. И. Новикова готовит к печати трехтомный труд Серкова «Русские масоны XX века. Биографический справочник».)

От публицистики — к науке: вот путь изучения отечественного масонства. Кратко проиллюстрируем это на материале «теории заговоров» в канун Февральской революции. В начале 30-х годов в обиход «масоноведения» вклинивается книга авторитетного русского историка С. П. Мельгунова «На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 1917 года» (Париж, 1931). Внедряется схема, повторенная Мельгуновым и в более поздних «Воспоминаниях и дневниках» (Париж, 1964), согласно которой масонский заговор стал закваской революционных событий. В результате исследовательская мысль получила на несколько десятилетий крен «заговоромании»: стали появляться публикации, в которых выяснялись последствия «заговора» или, напротив, отрицалось его существование как исторического факта.

Обычно называют «заговор Гучкова — Крымова», «заговор Львова — Алексева», говорится о причастности к заговорщикам и М. В. Родзянко. Не вызывала со-

мнений принадлежность к заговорщицкой конспирации ряда масонов — Н. В. Некрасова, М. И. Терещенко, А. Ф. Керенского.

Берберова, радикальный адепт теории масонского заговора, упоминает в числе прочего о существовании «морского плана» дворцового заговора, возникшего на собраниях в квартире Максима Горького. В ее изложении конспиративная группа Гучкова выглядит как масонский штаб, объединивший созвездие военных и политических лидеров: генералы М. В. Алексеев, Н. В. Рузский, А. М. Крымов, товарищ председателя IV Государственной думы Н. В. Некрасов, будущий министр Временного правительства М. И. Терещенко...

Но достаточно обратиться к подлинно источниковедческой базе, представленной в монографии Серкова, чтобы обнаружить вопиющее несоответствие между сенсационной схемой Берберовой и архивно обоснованными фактами: заговор был, и он затронул Верховный Совет ордена, но в гучковской и прочих группах лишь два масона — Некрасов и Терещенко. И сотрудниками Гучкова они стали отнюдь не в роли масонов. С полной очевидностью это явствует из текста опубликованных более полувека назад свидетельств самого Гучкова (Архив Гуверовского института войны, революции и мира. Стэнфордский университет. Коллекция Н. А. Базили, ящик 6, 7. «Последние новости». Париж, август — сентябрь 1936 года). Таким образом, дворцовый заговор был, но масонским он с такой же степенью достоверности не был и быть не мог.

Применительно к истории возрождения русского масонства, начавшегося в 1906 году, необходимо сравнить степень достоверности предшествующей литературы с результатами монографии Серкова. «Мы не узнаем, — писал Г. М. Катков, — какова была структура масонских лож и какова была программа этого движения до тех пор, пока члены его не опубликуют масонских архивов...». В отличие от историка-профессионала, Берберова, будучи, по собственному определению, «не историком, но современником русского масонства XX века», безапелляционно судит о процессах, требующих более глубокого изучения. В результате последовательная реконструкция этапов возрождения Ордена в России подменяется ошибочно расшифрованными сведениями, полными nepозволительных казусов. В изложении Берберовой великий русский ученый М. М. Ковалевский «кроме всего был масоном, „братом“ французского „Великого Востока“, содействовал к 1906 году введению во французское Послушание „Великого Востока“ пятнадцати русских» и в их числе «В. А. Маклакова, Вас. Ив. Немировича-Данченко, А. В. Амфитеатрова, П. Н. Яблочкова». Оставляя в стороне по-журналистски небрежное отношение автора «Людей и лож» к масонской терминологии, можно согласиться только с тем, что Ковалевский стоял у истоков союза русских вольных каменщиков начала XX века. Действительно, вспоминая об этом времени, А. В. Амфитеатров признается: «Перемасонил нас всех Максим Максимович Ковалевский...» Но уточним: Ковалевский не был «братом» французского «Великого Востока», так как еще в 1888 году состоялось его посвящение в ложе «Космос», работавшей по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу, что означает принадлежность не к «Великому Востоку Франции», а к союзу «Великой Ложи Франции». Различие принципиальное, ибо между русскими братьями, принадлежавшими к этим неоднородным по уставу ветвям французского масонства, имели место частые столкновения. Что же до всемирно известного П. Н. Яблочкова, то последний уже в 1887 году состоял досточтимым мастером ложи «Космос» и умер двенадцатью годами ранее 1906-го...

Серков дает конкретную и безукоризненно обоснованную историю двух этапов возрождения Ордена на русской почве.

«Действительное возрождение русского масонства в XIX веке, — предваряет Серков, — связано в первую очередь с именами философа-позитивиста Г. Н. Вырубова и изобретателя электрической лампочки П. Н. Яблочкова». Принципы названной ложи «Космос» «импонировали молодым русским ученым Е. В. де Роберти, М. М. Ковалевскому, Н. А. Котляревскому. В 1888 г. произошло их посвящение... в ложе „Космос“». После 1905 года заглохшее было в России масонство оживляется вновь. В общей сложности открылись работы девяти лож. Из столиц масонство распространяется на провинцию. Почти на четверть эти организации состояли из кадетов. На левом фланге находилась партия социалистов-революционеров и «сочувствующие ее программе».

Недолговечный период масонства «Великого Востока Франции» завершился в России в феврале 1910 года. Решение о прекращении работ, принятое самими ложами, связывалось с утечкой информации и слухами о провокации. Однако при более внимательном анализе вырисовывается иное: «усыплялись» скорее не ложи, а некоторые их члены. Как бы там ни было, «ведущее французское послушание не смогло создать структуру Ордена в царской державе». Не возникло и мощного давления вольных каменщиков на общественно-политические процессы в стране.

Тогда же началась реорганизация. К лету 1912 года был проведен конвент, «возникла возможность союза всех русских масонов и не только в мастерских высших степеней». Опыт работ «Великого Востока Франции» в России способствовал возникновению «Великого Востока народов России». Но формирование его шло как «нерегулярное», вне связи с послушаниями других стран.

Определение задач русского масонства «периода Керенского и Некрасова» наиболее четко выявлено А. Я. Гальперном, секретарем Верховного Совета, после конвента 1916 года: «...стремление к моральному усовершенствованию членов на почве объединения их усилий в борьбе за политическое освобождение России. Политического заговора, как сознательно поставленной цели, в программе нашей работы не было... Был, правда, целый ряд лиц, из них часть очень влиятельных, которые очень сильно к заговору склонялись, — например, Мстиславский и Некрасов».

Для реализации решений создавались специальные ложи — «думская», военная, литературная, ложи по принципу «полезности» того или иного лица для масонства. «Особенно важное значение в жизни организации имела думская ложа, руководству которой Верховный Совет уделял исключительно большое внимание... В ней Совет стремился создать объединение левой оппозиции». Касательно работы в армии Гальперн замечает: «Все разговоры о необходимости проникновения в армию, которые у нас велись очень часто и охотно, так и остались разговорами и осуществления не получили». Накануне революции в руководящую группу деятелей Верховного Совета входили А. И. Коновалов, А. Я. Гальперн, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, А. В. Карташев, Н. Д. Соколов, которые «все время были вместе, по каждому вопросу обменивались мнениями и сговаривались о поведении».

Благодаря результатам исследования Серкова перед историками Февральской революции открывается возможность раскрыть природу вхождения в ядро Временного правительства сплоченной группы масонских лидеров, определить число членов Ордена во всех его четырех составах и, наконец, обосновать центральный пункт: кто стоял во главе исполнительной власти Российской республики — руководство законспирированной организации вольных каменщиков или все-таки политическая группа, отделившаяся от союза лож «Великого Востока народов России»?

После Февральской революции от активной работы даже в Верховном Совете, не говоря о ложах, уклонялись многие из видных членов Ордена. Первое собрание Верховного Совета состоялось уже после опубликования состава Временного правительства: обсуждалась возможность воздействия на левых. Н. С. Чхеидзе, лидера Петроградского совета и члена высшего органа «Великого Востока народов России», на этом собрании не было. Как свидетельствует Гальперн, «каждый раз застывать его... удавалось только с трудом». Сам же Чхеидзе трактует отход от союза более определенно: «После революции я ни в ложу, ни в Верховный Совет не ходил ни разу — как-то сразу оборвалось... И была ли там какая-нибудь работа, я не знаю».

При этом не следует, конечно, упускать из виду наличие «братских связей» при назначении губернских комиссаров и апробированный прием выдвижения на административные посты членов местных лож. Однако основные свои задачи Верховный Совет видел в удержании левых партий от развала коалиционной политики, воздействию на процесс заключения мирного договора, борьбе с украинским сепаратизмом и большевистской экспансией.

Незначительные попытки возродить структуры организации начались в 1918 году. Велись они в Киеве, во Владивостоке, на национальных окраинах и

лишь подтвердили невосполнимость разрыва между Верховным Советом «Великого Востока народов России» и ложами на местах. Возродить российское политическое масонство мог только вновь созданный руководящий центр. Бурные инициативы исходили непосредственно от неугомонного А. Ф. Керенского, который к тому времени уже вызывал «сильное отрицательное отношение многих братьев». Однако вскоре собрания группы российских лидеров, не связанных с зарубежными масонскими союзами, прекратились. Одни из них присоединились к ложам «Великого Востока Франции», другие предпочли начать с 1-го градуса в союзе «Великой Ложы Франции». Перед А. Ф. Керенским, А. И. Коноваловым, И. П. Демидовым, А. Я. Гальперном «все двери... были закрыты», новые волонтеры не обнаруживались, и собрания этой группы прекратились.

Когда же к началу 1920 года число русских масонов в Париже оказалось достаточным для основания независимой ложи, была образована инициативная группа, получившая название Предварительного комитета по разработке плана учреждения русских лож в Париже. Еще через год возникла Инициативная группа под председательством Л. Д. Кандаурова. На третьем ее собрании было решено вновь учреждаемую мастерскую назвать «Астреей». «За „Астреей“ последовало открытие и других русских лож: „Северное Сияние“ и „Гермес“, а 13 апреля 1922 года был формально основан и Временный комитет российского масонства — прообраз предполагаемой Великой Ложы».

В 1920 — 1922 годах русские масоны одновременно входили в оба французских послушания. Но после IV конгресса Коминтерна произошел резкий переход «Великого Востока Франции» на антисоветские позиции. Возродилась идея создания русской ложи «Великого Востока Франции».

Одновременно с созданием структур «парижского масонства» идет процесс распространения русских лож за пределы Франции. «Отдельные российские вольные каменщики оказались практически во всех уголках мира, вплоть до Конго и Таити»...

«Следует сразу же отметить особенности данной книги, — предупреждает Серков в авторском предисловии. — Это еще не обобщающий, научно взвешенный труд по истории русского масонства XX в., а лишь предварительные материалы к исследованию». Но уже и он знаменует собой рубеж, от которого может начаться отсчет строго научных исследований о российском масонстве.

К. БЕЛОЦКИЙ.

И. С. И. ФУДЕЛЬ. Наследство Достоевского. Общая редакция, вступительная статья, подготовка текста и примечаний Л. И. Сараскиной. М., «Русский путь», 1998, 288 стр.

Труд Сергея Иосифовича Фуделя (1900 — 1977) создавался в такое время, когда Евангелие давно уже перестало быть книгой, имеющейся во всякой семье, стало малодоступно и жаждущим, и «интересующимся». Когда Истина Света Божия, разлитая (как верили многие) по неброским просторам России, по ее невзрачным селеньям, затмилась, казалось, навек.

Но Страстная неделя — предвестница и канун Пасхи.

И все же в каждый день Страстей — Господних и человеческих — кажется,

что Пасха безмерно далека, что Воскресение может и не наступить. Это дни, когда искушение необоримо, когда через сомнение и отречение — через отчаяние Петрово — проходит всякий. Это время, когда рассеиваются ученики и приходят те, кто веровал втайне, не признаваясь, что они с Ним, «страха ради иудейска». Время Иосифа и Никодима, которым досталось — остаться с телом, истерзанным и прободенным, — остаться с Господом, когда Он более всего был — поверженным и сраженным человеком. Время, когда и вера была бессильна — верующие бежали в страхе; когда осталась лишь любовь, кроткая и необоримая, нерассуждающая и мудрая, — любовь, которая после вернула и веру — как Мария Магдалина, принесшая апостолам весть о Воскресении.

Это — время Достоевского и Фуделя, время книги Фуделя о Достоевском, и недаром автор обозначил срок окончания своего труда: «1963. Страстная неделя».

Соседство их во времени — в смысле соотношенности их времен с единым прообразом в вечности — позволило Фуделю гениально понять и проникновенно истолковать самые загадочные и «сомнительные» слова Достоевского: «Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». «Это письмо, — утверждает Фудель, — как бы нарушая все традиции богословской грамотности, выразило самую дорогую для нас истину — о неразрывности веры во Христа и любви к Нему. Как сказано в одной молитве: „Мы веруем сердечно любовью“. И может быть, еще придет время, когда в полном смещении человеческого добра и зла, в окончательном тумане лжи, неведения и новых божеств, утверждающих истину вне Христа, — кто-нибудь с великой радостью повторит именно эти негромкие слова: „Уж лучше я останусь со Христом, нежели с истиной“».

И действительно, это слова не веры, но верности — верности Страстной Субботы, — когда мертв Господь, обещающий Жизнь Вечную, когда для разумного нет надежды, когда, как напишет один из героев Достоевского в романе «Идиот», «эти люди, окружавшие умершего... должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования». Это верность любви, не нуждающейся в доказательствах; любви, верной вопреки всяким доказательствам и очевидности.

И Достоевский, и Фудель пребыли верны в Страстную Субботу. Именно поэтому их свидетельство так весомо.

Пожалуй, две важнейшие вещи сказаны Фуделем о Достоевском.

Первое: литератор Достоевский — учитель и проповедник христианства в мире, где иссыхают источники веры; в мире, где взбунтовавшиеся овцы не желают пить из самого чистого и полноводного источника, предпочитая умирать от жажды. В мире жаждущих веры, но не просящих о ней.

Второе: Достоевский именно настолько литератор — хороший литератор, — насколько он учитель и проповедник христианства. В интерпретации Фуделя он оказывается настолько художником, насколько справляется с принятой на себя задачей, причем задача эта лежит вовсе не в художественной области.

Чудо Достоевского именно в этом сочетании. Гоголю и Толстому пришлось выбирать — и в результате отказаться: Гоголю — от искусства, Толстому — и от искусства, и от христианства. Достоевский силой искусства сумел поставить перед читателем веру, вновь ставшую «трепетным чувством сердца, делом подвига жизни, делом личной Голгофы и Воскресения». «Достоевский называл Диккенса великим христианином, — пишет Фудель, — но сам он совершил несравненно больший подвиг исповедания Христа. Вся его власть над людьми именно в этом исповедании, как бы случайно облекшемся в драгоценную форму художественной прозы. Может быть, исповедания христианства в таком всемирном диапазоне, в такой открытости и распятии мы больше уже никогда не услышим в искусстве. „Верую, Господи, и исповедую“. Именно в этом все значение его и вся его сила, а не в пресловутой психологичности как самоцели».

Книга Фуделя помогает увидеть невещающую Свет Христов в представляющих им мрачными романах Достоевского так же, как произведения самого Достоевского помогают разглядеть Свет в тех безднах бытия, где скептический ум привык видеть лишь непроглядную тьму.

Здесь бы и закончить. Но об одном серьезном, на мой взгляд, недостатке книги не могу не сказать. Не для того, чтобы упрекнуть почившего автора, которому — лишь низкий поклон и благодарность. Но только для заметки живым читателям и исследователям. Применяя свою схему (на мой взгляд, верную в самой большой степени, которая вообще доступна для схемы): *художественен настолько, насколько христианин*, Фудель больше доверяет себе, чем Достоевскому. Поэтому «за бортом» оказываются такие крупнейшие явления искусства, как, например, «Записки из подполья». Между тем и в них

бьются сердце и мысль христианина, и Фудель, безусловно, подарил бы нас блестящей интерпретацией этого сложного произведения, если бы не оказался — доверчивее. Если бы не поторопился объявить вещь лишенной художественных достоинств, не обнаружив в ней с ходу «выведенной необходимости веры», — но, увидев в ней очевидную художественную ценность, доискался бы с терпением христианского ее смысла.

II. СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНОЙ. Улыбающийся Иисус. Русская литература и новозаветное Благовестие. Статья первая. — «Ех libris НГ», 1998, 16 апреля. Статья вторая. — «Ех libris НГ», 1998, 23 апреля.

Перед нами очередное безнадежное (по признанию самого автора) предприятие в двух частях. На двух газетных страницах Сергей Земляной попытался «сформулировать некоторые духовные итоги XX века. Какими они видятся в России и исходя из России. С одним общекультурным выводом из них». Далее — абзац, могущий служить образцом стиля всей статьи: «Мне нечем прикрыть наготу и странность (чуть ли не дзэнскую, но тем не менее христиански причиненную) моей затеи — осуществить эту попытку в виде бабочки. То есть однодневки — газетной статьи. Кроме разве что не вполне искреннего убеждения: коль скоро времена исполнились, итоги будут итожиться, а вывод выводиться. И они вместятся в этот газетный хронотоп. В этот исторически и топологически проблематичный хронотоп. Хотя, впрочем, утренняя газета есть секуляризированная утренняя молитва».

Насчет хронотопа не знаю, а места, конечно, маловато. И на этом месте многовато изысков, по поводу которых как-то навязчиво припоминается цитата из «Москвы — Петушков», когда белесая искусительница говорит Вене: «Я одну вашу вещичку — читала. И знает: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!»

Я не ставлю себе безнадежной задачи на двух журнальных страницах разобраться со всем тем, что очаровательная

Веничкина героиня гармонически назвала околесицей. Хоть на что-то указать — и то хорошо. Но начать хочу с малости и ерунды — с последнего предложения процитированного абзаца. Все же перед нами философская статья сотрудника Института философии РАН, и интересно посмотреть, куда философа может завести безответственная игра словами.

«Газета есть секуляризированная утренняя молитва». Секуляризированная — то есть мирская, светская или языческая. То есть остановленная в пределах этого мира, без желания и ожидания ответа. Без обращения, без зова, без Другого. Хороша молитва. Ладно, скажем — медитация. Но медитация предполагает сосредоточение и вникание в немногие предстоящие слова (образы, символы). Газета предполагает решительное рассредоточение, потерю себя в словах, которых бесконечно много, которые отвлекают человека от всего, на чем ему следовало бы сосредоточиваться. Газета — печатный заместитель сплетницы-соседки по коммунальной квартире. То есть — ровно обратное авторскому определению.

Можно, конечно, сказать: «Чего пристала? Неудачно пошутил человек». Но мне кажется, что если человек решает вкратце сформулировать духовные итоги XX века, предлагая, как уже было сказано, на двух газетных страницах «читателям свой отклик на Новый Завет вместе со всей русской литературой», то даже проходные шутки у него должны быть значительны: или хотя бы хоть что-то значить — или хотя бы не значить противоположного тому, что имеет в виду автор.

Впрочем, по мере углубления в текст становится не до шуток.

Дело в том, что русской литературе предъявляется обвинение в «художественном растлении Иисуса, Богородицы, Троицы» в течение ста пятидесяти лет. Обвинение это подкрепляется чудовищными фактами, и главное, как в известном судебном деле Мити Карамзова, — подавляющей совокупностью фактов. Но как и в упомянутом деле, почти каждый факт при ближайшем рассмотрении оказывается либо весьма сомнительным, либо не идущим к делу, либо — прямой фальсификацией. Так, например, обвинение «гениальному

русскому поэту Александру Блоку» по поводу «стихотворения из итальянского цикла о Богородице и ее поэтически-монашеских воздыхателях» (о стиле — больше ни слова) весьма сомнительно по одной простой причине: перед нами описание западной, католической традиции отношения к Богородице (и Христу), отношения — в своих крайних проявлениях — чувственно-страстного и породившего много уклонений (в том числе — и среди русских писателей, то есть уклонений, отразившихся и в русской литературе, но вряд ли без весьма сложных опосредований могущих быть отнесенными к ее традиции). Это тема очень непростая, со своими тайнами, глубинами и подводными камнями, так что и прикоснуться походя страшно, но автор, кажется, не замечая ни глубин, ни камней, ни самой темы, стремительно пронесится к следующему обвиняемому — им оказывается «крупнейший православный богослов Сергей Булгаков». Поскольку в данном случае перед нами прямая фальсификация, цитирую полностью.

Итак, Булгаков «в своем коронном „Свете невечернем” разъяснял, что „Православная Церковь чтит зачатие Богоматери... но в то же время не изъе­млет этого зачатия из общего порядка природы, не провозглашает его „непорочным” в католическом смысле”». Поскольку выше речь шла о «растлении» Богородицы, то читателю внушается, что в «своем коронном „Свете невечернем»» Булгаков походя создает некую мини-«Гавриилиаду», отрицая непорочное зачатие (страшно сказать) Богородицей Иисуса Христа, причем при прямом одобрении Православной Церкви. Между тем у Булгакова речь идет о зачатии Богоматери ее родителями, Иоакимом и Анной, и подробно разбираются причины отвержения Православной Церковью этого нового (1854 год) католического догмата. Строка, пропущенная автором в приведенной цитате, как раз и проясняет истинное положение дел.

Второе обвинение отцу Сергию Булгакову Сергей Земляной бросает, солидаризировавшись с «мирянином П. Савицким», недоумевавшим, по словам Земляного, «в связи с „сексуальной” трактовкой богословом отношений Софии с Ипостасями Троицы». Сам Са-

вицкий пишет с большим вниманием к словам и стремлением понять предмет разговора: «В приведенных Ваших суждениях... не совсем преодолены эротические соблазны, присущие человеческому слову... Взятые слова под нотным ключом физиологического значения».

Проблема ортодоксальности софиологии рубежа веков — действительно серьезная проблема. Именно поэтому она требует к себе вдумчивого отношения. В ней мало самоочевидного. В частности, совсем не так прост и вопрос об «употреблении слов». Хорошо известно, что отцы Церкви (например, Дионисий Ареопагит в сочинении «О божественных именах»), говоря о том, что Бог есть Любовь, использовали не сравнительно нейтральное «агапэ», но «эротос», обозначавшее (и по сей час обозначающее в самых разных языках) любовь страстную. Однако именно это слово требовалось им для именован­ия Господа, ибо Он есть Любовь творческая, созидательная, ревностная и ревнивая — словом, такая, которая может быть названа лишь словом, включающим в себя всю полноту любви как она есть.

С тяжелым чувством сообщаю, что мы еще не дошли до конца второго столбца первой страницы. Вообще, лавина одичавших сведений, хлещущая из статьи на читателей, такова, что мне на ум приходит лишь одно сравнение и воспоминание — о конце кадра, не удовлетворенного желудочно («Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких).

Все это, мягко говоря, не совсем незнакомо. Подвергнутая обструкции и деструкции русская литература давно нашла этому феномену наименование. Хлестаковщина. Но бессмертный Хлестаков умер бы от стыда, прочитав разбираемую статью. Потому что он-то писателей по плечу хлопал, а наш автор — все больше по головам. Подумаешь, «ну что, брат Пушкин?». Тут мы слышим: «Ничего, ничего, брат Иисус...»

Идея Земляного — поставить в центр русской литературы улыбающегося Иисуса. Хорошая идея, но не поражающая. В конце концов, в центре всей русской культуры, Русской идеи и «русской души» — знаменитые русские средневековые иконы «Распятие» с Христом, распахнувшим объятия всему миру и — улыбающимся. Вот описание

одной из таких икон: «Не мертвой отрешенностью и не предсмертной мукой исполнен мягко склоненный лик Иисуса Христа, хотя печать пережитых страданий лежит на нем. Удивительно слита она с живым выражением просветленного, радостного умиротворения».

Но скоро читатель замечает, что у Сергея Земляного улыбка Иисуса какая-то не такая. Какая-то желчно-ироническая. Улыбался Он, по Земляному, тогда, когда говорил Петру: «Отыди от Меня, Сатана», — или предрекал ему же троекратное отречение прежде, чем пропойт петух.

«Но ведь и Иисус не ошибся, утвердив дело Свое на этой Петровой скале, — продолжает автор. — Вот я и веду к тому, что не мог Спаситель заниматься своей работой без улыбки».

Продолжать можно почти бесконечно — впереди еще Пушкин и Блок; апостол Павел, намеренно проигнорированный Достоевским, и Ницше, оценивший последнего выше Ренана...

У Некрасова, говорят, был хороший редакторский прием. Надоевший бесконечный роман он обрывал в первом попавшемся месте и писал: «Все утонули».

Татьяна КАСАТКИНА.

*

ГОЛОС НАРОДА. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918 — 1932 гг. М., «РОССПЭН», 1998, 328 стр.

Издательский консорциум в составе Института российской истории РАН, Федеральной архивной службы РФ, Российского государственного архива экономики и издательства «РОССПЭН» основал серию «Социальная история России XX века», в которой исторические события оживают под пером самих их участников — рядовых граждан. В данной, первой по счету, книге серии под указанным углом зрения освещаются периоды Гражданской войны, «военного коммунизма», нэпа, индустриализации и коллективизации, что в совокупности получило тогда название «строительства социализма в одной отдельно взятой стране».

Традиция апеллировать по разным

поводам в письменной форме к властям, делиться с ними (подчас — «на свою голову», расплачиваясь за это) своими проблемами, выражать себя — один из феноменов, типичный для постреволюционной России, не исключая, впрочем, и нынешнее время (на Западе подобное явление общественной жизни практически неизвестно). Привлекательная, хотя и декларативная, обманная, несбыточная цель — жить при более справедливом, чем прежний, строе — не могла не генерировать всплеска эпистолярной активности простого человека. Многого, конечно, пропало, но кое-что до нас дошло и хранится в архивных фондах отечества.

В книге преобладают письма в «Крестьянскую газету» (она выходила с 1923 по 1939 год), их сберег создатель и редактор этого органа и одновременно (с 1929 года) нарком земледелия Я. А. Яковлев.

Неотъемлемым элементом замысла книги являлось воссоздание образа отправления во всей его «первозданности», поэтому опусы «народных публицистов» даны как они есть (что называется, «в авторской редакции») или же максимально близко к оригиналам — когда последние были сугубо «непубликабельными» по их малограмотности. Из ряда писем по одному и тому же предмету обсуждения составители отбирали те, в которых содержался анализ конкретного случая, происшествия, а не общие рассуждения, — прием, способствующий повышению читательского интереса к документам. (Этим же продиктовано и купирование некоторых писем, хотя видеть обозначения таких купюр досадно.)

В книге широко представлены также так называемые «сводки писем», составление которых активно практиковалось различными властными институтами (ОГПУ, парткомы, комсомы, спецотделы совучреждений), а также редакциями как массовых печатных изданий, так и тех, которые до недавнего времени имели разные грифы секретности. Общественная атмосфера лет, когда советские люди жили, «под собою не чуя страны», была такой, что «сводок писем» боялись, «как бомбы, как ежа, как бритвы обоюдоострой», поскольку туда предписывалось включать материалы негативного содержания (ведь граждан

страны, «где так вольно дышит человек», призывали открыто обличать недостатки жизнеустройства, и многие наивно покупались на это). Но что было в таких случаях делать получателям — адресатам? На эпистолярных сводках чиновники делали дрожащей рукой, например, такие вот резюме: «Собранные письма ни в коем случае не могут служить измерителями настроения всей рабочей (крестьянской) массы», «Составлена по неопубликованным и непроверенным (не дай Бог обратного! — Г. Л.) письмам», «В сводке отражены чуждые нам кулацкие мысли» и т. п.

Материалы книги распределены по восьми рубрикам, три из которых охватывают исторические этапы («Войны и революции в сознании и памяти народа», «Военный коммунизм», «Великий перелом»), а остальные являются тематическими («Старая и новая деревня», «Повседневная жизнь», «Люди и власть», «Народный социализм») и в пределах рубрик находятся в гармоничной «симфонии» с прекрасным, острым и одновременно объективным пояснительным текстом.

Вот несколько извлечений из книги, емко, думается, иллюстрирующих все вышесказанное.

Гражданская война. «В 1918 г. 1 февраля я вступил добровольно в Красную армию, в которой прослужил до 1921 года... а посему желательно мне знать, будет ли помощь тем красноармейцам, которые потерпели стихийное бедствие от белых во время Гражданской войны. ...Когда Кубань захватили белые, мои родные скрывались в Краснодаре, оставили в станице Кореновской все хозяйство, которое было разграблено казаками, а остальная постройка, хата и сарай было сожжено белыми... остались одни стены, так как они были саманные, где и сейчас живем, переживая разные заболевания. ...Идет десятый год советской власти, и не оказано никому помощи, как будто забыла [нас] советская власть... и сейчас не только чужой смеется, а и родной брат: что заслужил ты за три с половиной года? ...Будет ли помощь или никогда?» (Диконенко Яков, 1927 г.)

Военный коммунизм. «Никогда еще не было в России такого произвола, гнета и бесправия. ...Едва ли надо тащить лю-

дей в то светлое царство, от которого они отказываются. Рай под угрозой расстрела». (Аноним-женщина — Ленину, 1918 г.)

«Если бы Вы только видели всю бездну горя, отчаяния, людской злобы и слез, которые сейчас затопили нашу несчастную Россию, Вы бы отказались от социализма. Мне кажется, что как раз этот кошмар и закрыт от Ваших глаз толстыми кремлевскими стенами. В тиши кабинета за работой и среди шума собраний Вы далеки от этого серого ужаса». (Аноним-мужчина, интеллигент, «убежденный противник всякой партийности» — Ленину, 1918 г.)

«Насколько я знаком с приказами за номером 88, в котором говорится о нормах питания для земледельческого населения, то оставляется при отчуждении на каждого человека 12 пуд. муки и 1 пуд крупы в год, а также оставляется и потребное количество семян. Но на деле делается совсем другое при выполнении разверстки. Не считаются ни с какими нормами... отбирают все. В Глазовском уезде мне много пришлось наблюдать случаев, что овес выгребали до зерна... Если одного из вас поставить в такие условия, как крестьянина Вятской губернии, то, наверно, вы бы запели Лазаря». (Крестьянин-аноним из Глазовского уезда (ныне это — Удмуртия. — Г. Л.) Вятской губернии — Ленину, апрель 1920 г.)

«Народный социализм». «Коммунисты — не дворяне, но почему у них жены в шляпках ходят и прислугу имеют? Например, жена Луначарского имеет на руках бриллиантовые кольца и золото на шее. Откуда это взято? Ответьте». «Партия для государства есть дело частное. Почему компартия отменяет выборы (их результаты. — Г. Л.) там, где в президиум не прошло ни одного коммуниста, почему партия снимает беспартийных ответственных и сажает коммунистов? Почему партия командует советской властью? Вообще, что мы, беспартийные и все массы, есть только сырье, на котором она обрабатывает свои грязные делишки, ведь социализм — утопия и его не проведешь?» (Из сводки писем, ОГПУ, 1927 г.)

«Бедняк я, мне и право везде есть, а зажиточный долой, ибо ты — опасный элемент... А я зажиточный, всегда работаю, днем и ночью нет покоя, беспокоюсь уплатить государственные налоги,

вообще стараюсь быть государственным любимцем, а оно, наоборот, за то, что я богатый, лишит права голоса... Хотите жить богато — дайте крестьянам зажиточным полную свободу, тогда в стране Советов не будет бедняков, а называться будете не „пролетарское государство”, а „народная республика». (Афанасий К., пос. Луговой УССР, 1927 г.)

Великий перелом. «Тов. Рыкову (А. И. Рыков — Председатель Совнаркома. — Г. Л.). Просим Вас от имени 50 000 рабочих Ижевского завода, спасите нас от голода... Рабочие бегут с производства, продают все с себя, лишь бы подкормить детей. Дети-то в чем ви-

новаты, что Вы не сумели нас обеспечить ничем? На кой нам ваша тяжелая индустрия, когда мелкой нет совсем, тяжелой сыт не будешь, надо было сначала обеспечить себя предметами первой необходимости, а потом думать о тяжелой индустрии — или все пойдет прахом от голода.

Тов. Рыков... первое, что надо: открыть частные заводы, фабрики и частную торговлю. ...Положение катастрофическое, дальше терпеть нельзя».

На выходе следующая книга серии: «30-е годы: общество и власть. Повествование в документах».

Г. ЛЯТИЕВ.

ПРЕМИЯ БУКЕРА — 1998

Мы рады проинформировать наших читателей о том, что в список претендентов на литературную премию Букера 1998 года за лучший русский роман вошли следующие произведения, напечатанные на страницах «Нового мира»:

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. *Дом в деревне* (1997, № 9);
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. *Роман с простатитом* (1997, № 4, 5);
 АНАТОЛИЙ НАЙМАН. *Б. Б. и др.* (1997, № 10);
 ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. *Прохождение тени* (1997, № 1, 2);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. *Грибники ходят с ножами* (1997, № 6);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. *Митина любовь* (1997, № 3).

Поздравляем наших уважаемых авторов, желаем им новых творческих успехов и постоянного плодотворного сотрудничества с нашим журналом.

Редколлегия «Нового мира».

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?

VICTORIA E. BONNELL. *Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin*. Berkeley. University of California Press, 1997, 363 p.

ВИКТОРИЯ БОННЭЛЬ. Иконография власти: советские политические плакаты при Ленине и Сталине.

Несомненно, самым демократичным театром является театр политический. Здесь нет проблем с билетами, акустикой, сценической площадкой, посадочными местами. В политическом театре тоталитаризма «посадочных мест» даже в избытке. Природа его такова, что зрителями оказываются все. Зрители эти — не вполне зрители, но, точнее, потребители идеологической продукции — добровольцы поневоле, которым не надо даже куда «записываться»: иди и смотри.

Немецкий культурфилософ Вальтер Беньямин, первый возвестивший о начале «эры механического репродуцирования», полагал, что с открытием репродукции радикально изменились не только функции искусства, но сама его природа, корни которой теперь надо искать не в ритуале, а в политике. На первое место выдвинулся печатный станок — тиражируясь во множестве копий, картина перестала быть уникальной. Но не только картина — такова природа кино, современной эстрады, телевидения, компьютерного интернета. Определяя новые функции искусства, Беньямин выдвигал оппозицию культовой ценности и ценности выставочной. Между тем в советской культуре перед нами уникальный сплав обоих этих начал: соцреализм превращает искусство в суперценность, ибо демонстрация власти в принципе не позволяет различить выставочное и культовое начала. Впрочем, Беньямин указал на возможность такого симбиоза: «Массы — это та матрица, — писал он, — по которой в наши дни штампуются привычное отношение к произведениям искусства. Между тем количество уже перешло в качество: резко возросшие массы участников искусства принесли и иной способ соучастия в нем». Отсюда и следовала известная мысль Беньямина об «эстетизации политики» в XX веке. Специфика тоталитаризма как феномена именно этого века в том, что он развился в условиях «перманентной революции» средств массовой коммуникации. Что и говорить, когда «станок» оказывается в одних-единственных руках, «жить становится лучше, жить становится веселее».

Автором первой книги о советском плакате был основатель и первый редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский, бывший в годы Гражданской войны руководителем того самого Литотдела Политуправления Красной Армии, в котором и издавалось большинство плакатов «первых лет Октября». Его «Русский революционный плакат» и по сей день остается одним из ценнейших источников информации. Дело, однако, не в одной только информации, но в оптике чтения: плакат является концентрированным образом политики, его роль в символической репрезентации власти огромна именно в силу его доступности (будем помнить, что к плакату большевики обратились в стране почти полной безграмотности), плакат сыграл чрезвычайно важную роль в легитимации и распространении большевистской идеологии, в формировании новой, советской идентичности еще и потому, что является «незаметным», повседневным визуальным феноменом, рассчитанным не на «специальную рецепцию», но на автоматизм восприятия (обилие плакатов поражало всех иностранцев, посещавших Страну Советов в 20 — 30-е годы); наконец, плакат является прямым выражением интенций власти и фактором социальной мобилизации. Этим аспектам социального функционирования плаката и посвящена новая книга Виктории Боннэль, известного американского социолога и историка.

В «Иконографии власти» представлены и история, и социология, и эстетика советского плаката. Автор показывает, как официальная идеология использовала различные «визуальные нарративы», конструируя «ментальный универсум» общества, создавая свой визуальный язык, работающий на глубинных («довербальных») уровнях массовой психологии (знаменитый девиз пропаганды: «Одна картина стоит тысячи слов»). Боннель исходит из того, что «политическое искусство начиная с 30-х годов призвано было обеспечить общество визуальным сценарием, воплощающим новые модели мышления и поведения». В создаваемом медиуме настоящее и будущее становилось почти неразличимым, плакат как бы предвосхищал развитие советского общества и «в большей мере поставлял модели, по которым это развитие должно идти, чем просто отражал процессы, протекающие в нем в настоящее время»; образ плаката «концептуализировал реальность», создавая и внедряя в массовое сознание своего рода «официальное воображаемое», а взаимодействие в плакате визуального и языкового образов рождало «прибавочную стоимость значения» (*surplus of meaning*). Вот этот «политический капитал», создаваемый советским плакатом, лексикон и синтаксис «идеологического производства» Боннель анализирует на уровне визуализированных архетипов.

К числу основных таких архетипов автор относит иконографию рабочего, репрезентацию женщины в раннем советском плакате и колхозницы в плакате 30-х годов, иконографию вождя и, наконец, большевистскую демонологию. Прослеживая весь путь от аллегорий и символики ранних советских плакатов через монтажные плакаты эпохи первых пятилеток до развернутой (соц)«реалистичности» послевоенных плакатных полотен, Боннель показывает, как шли поиски стиля, как рождался в плакате «типаж» (к примеру, плакатная «баба» буквально на глазах превращается вначале в «сознательную работницу», а затем — в «передовую колхозницу»), как менялась функциональность плаката (в этом отношении плакат начала 30-х годов, эпохи социальной мобилизации, заметно отличался от величавых плакатов позднего сталинизма, эпохи борьбы «за мир» и «за культуру»), как на протяжении тридцати лет изменялась структура плаката. При этом автор специально останавливается на эксплуатации советским плакатом православной традиции (ведь плакат, по сути, заменял икону). История советского плаката наиболее наглядно доказывает, что иконоборчество ранних советских лет имело целью еще и своеобразную «экспроприацию иконы» для целей пропаганды, что в особенности проявилось в иконографии вождя в 30 — 50-е годы.

В смене стилей от символа и монтажа до (соц)«реалистического» лубка, как показывает Боннель, была своя логика: в конце концов, плакат должен был заменить реальность. Здесь было бы уместно обращение к более широкому культурному контексту — к литературе, кино, архитектуре, ведь соцреалистическое производство есть не просто производство символов, но именно производство визуальных и вербальных заменителей реальности, потому столь велика роль искусства в политико-эстетическом проекте «реального социализма». Собственно, история советского плаката — это история заполнения аннексированного революцией культурного пространства суррогатными образами реальности.

Сотни с детства знакомых изображений встают со страниц книги, сливаясь в какой-то хоровод призраков (автор полагает, что своим влиянием на «ментальный универсум» плакаты создают своего рода «новую мистику», и концентрация этих образов в книге такова, что возражать не хочется). Вот легендарный мооровский красногвардеец: «Ты записался добровольцем?», а вот рабочий с прокламацией: «Береги свое право строить государственную жизнь» (в 1917 году это еще не воспринималось как насмешка); молоты, наковальни, станки; «Борьба красного рыцаря с темной силой»; рапортующие ударники, стахановцы, трактора — «Техника решает все»; шахтер, протягивающий лампу: «Ваша лампа, товарищ инженер!.. Из канцелярий — в шахту, на участок!»; 1935 год — «Кадры решают все»; работница с ружьем; колхозницы с граблями и косами, трактористы со смеющимися лицами — «Со всем инвентарем в колхоз вступай — не режь свой скот, не продавай!» (это плакат 1930 года), а вот — ближе к делу — «Дадим кулаку дружный отпор — организуем коллективный скотный двор!»; какие-то попы, пьяницы и кулаки у колхозницы под ногами — «Женщины в колхозах — большая сила!»; «К зажиточной

культурной жизни!» — улыбки на лицах детей: «Сбылись мечты народные!»; Сталин и толпы тружеников, Сталин и самолеты над Красной площадью, «Шесть условий товарища Сталина», «О каждом из нас заботится Сталин в Кремле», «Сталин — великий светоч коммунизма»; какие-то капиталисты со свинными рылами, монархисты, меньшевики, некий «генерал-интервент», непременный «Иуда-Троцкий», шпионы, диверсанты, троцкистско-бухаринская банда в виде крыс и меч над ними: «Да здравствует НКВД!»; наконец, «поздний сталинизм»: колхозница с академиком — «Союз науки и труда — залог высоких урожаев»; борьба за мир и поджигатели войны; танцы на фоне Кремля: «Посмотри: поет и пляшет вся Советская страна», пионеры отдают салют, все люди — в орденах («Ты тоже будешь героем!»)... Это и есть «фундаментальный лексикон» советской эпохи (стоит заметить, что книга является настоящим образцом полиграфического искусства: качество издания — со множеством уникальных, в том числе и цветных, репродукций — объясняется тем, что это одна из ста книг, выходом которых издательство Калифорнийского университета отмечает свой столетний юбилей).

Думая о плакате, не надо забывать о печатном станке: функция и эффективность плаката — в его тираже. Боннель описывает коллекцию плакатов Ленинки — четыреста тысяч (!) плакатов, еще десятки тысяч — в коллекциях Музея Революции, РГАЛИ, Британского музея, Гуверовского института... За три года Гражданской войны («Ты записался добровольцем?») было произведено более трех тысяч (!) разных плакатов общим тиражом в семь с половиной миллионов (для сравнения: тираж «Правды» был 138 тысяч экземпляров, а всех двадцати пяти красноармейских газет — лишь четверть миллиона). Средний тираж одного плаката в 20-е годы — двадцать пять — тридцать тысяч; в 30-е (особенно во второй половине) основные плакаты издавались тиражом от ста до двухсот пятидесяти тысяч. Таковы масштабы массовой интоксикации.

В эпоху перепроизводства образов, с воцарением телевидения и компьютера, наступает конец тиража как меры измерения. Впрочем, плакат по-прежнему остается одним из важнейших видов визуальной пропаганды, в конечном счете — все той же иконографией власти. Монополии на заветный станок, правда, уже нет; изменились и язык, и эстетика плаката — он стал более изысканным, более гибким, более социально-адресным. Застывшие образы плаката 20 — 50-х годов, со многими из которых и сегодня ассоциируется советская эпоха, остаются не просто напоминанием о прошлом, но — великолепным средством социальной диагностики: их политическая семантика именно в силу своей очевидной доступности (прямолинейности) превращает их в инструмент опасно эффективный, а потому так важно и в новой эстетике, в новом языке уметь прочитывать политические архетипы. Этому-то чтению учит «Иконография власти»: «сотри случайные черты», иди и смотри, чтобы не пришлось вновь «записываться добровольцем».

Евгений ДОБРЕНКО.

Стэнфордский университет, США.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Елена Аксельрод. Лирика. Иерусалим, Издательство «Месилот», 1997, 217 стр.

Избранное из шести книг известного русского поэта, живущего ныне в Израиле. Послесловие «Крутая соль» Т. Жирмунской.

Шарль Бодлер. Парижский сплин. Стихотворения в прозе. Перевод с французского, комментарии Е. В. Баевской. СПб., «Искусство СПб.», 1998, 352 стр., 5000 экз.

Н. Болдырев. Упавшее небо. Новеллы, истории, лирические и иные фантазии. Челябинск, «Урал LTD», 1998, 335 стр., 5000 экз.

Валерий Брюсов. Голос часов. Стихотворения 1892 — 1923 гг. Редактор-составитель И. А. Курамжина. М., «Центр-100», 1997, 382 стр., 55 000 экз.

Александр Генис. Темнота и тишина. Искусство вычитания. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 64 стр., 1000 экз.

Как бы устав реализовываться в «прикладных» жанрах литературоведческого, культурологического и прочих эссе, Генис решился выступить без посредничества внешнего повода — автором поэтических медитаций об опорных понятиях: тишине и темноте. «Тишина и темнота — мужество отчаяния, позволяющее паралитику обратить свою беспомощность в орудие познания». Книга состоит из тридцати прозаических миниатюр, иллюстрированных художником Александром Захаровым. Пафос философа («Люди для камня что дождь. / Поколения для него как ливни или солнечные затмения... / Но и это всего лишь долговечность. / Вечного нет ничего. / Даже небытие невечно, если оно способно стать бытием, как это однажды уже случилось») сочетается с пафосом поэта-лирика: «В этот ранний час не было даже чаек. На всем пляже были только мы с улиткой...»

Леонид Гиршович. Прайс. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1998, 400 стр., 3000 экз.

Полный текст романа, известного по отрывкам, публиковавшимся в журналах «Континент», «22», «Вестник новой литературы». Автор живет в США.

Андрей Дмитриев. Поворот реки. Повести, рассказы. М., «Вагриус», 1998, 320 стр., 5000 экз.

Нечастый случай, когда первая книга автора представляет читателю уже хорошо известного ему писателя. Повесть «Поворот реки» вошла в шорт-лист Букеровской премии 1996 года. Кроме нее в книге: повести «Воскобоев и Елизавета», «Повесть о потерянном», «Голубев»; рассказы: «Штиль», «Шаги», «Пролетарий Елистратов». Предисловие «После штиля и бурь» Андрея Немзера.

Анатолий Ким. Собрание сочинений в 6-ти томах. Том 1. Белка. Роман. Повести. Издательский дом «Корё Сарам» (отпечатано в Санкт-Петербурге), 1997, 542 стр., 20 000 экз.

Том содержит также повести «Собиратели трав» и «Луковое поле». Вступительная статья «Печать тайны» И. Любимова.

Юрий Левитанский. Когда-нибудь после меня. Составитель И. В. Машковская. М., Издательство «Х. Г. С.» ГФ «Полиграфресурсы», 1998, 608 стр., 3000 экз.

Самое полное собрание стихов Левитанского — все опубликованные при жизни поэта стихи, включая книгу поэтических пародий «Сюжет с вариантами» и переводы из Брехта, Ийеша, Голана, Песоа, Ивашкевича и других.

М. Львов. День воспоминаний. Стихи разных лет. Мемуарная проза. Современники о поэте. Составитель Е. Г. Ховив. Челябинск, Челябинское Южно-Уральское книжное издательство, 1997, 318 стр., 2500 экз.

Юкио Мисима. Исповедь маски. Роман, новеллы, пьесы, эссе. Составитель, перевод с японского Г. Чхартишвили. СПб., «Симпозиум», 1998, 382 стр., 5000 экз.

Ирина Одоевцева. Избранное. Составление, подготовка текста, вступительная статья Е. В. Витковского. Послесловие А. П. Колоницкой. М., «Согласие», 1998, 960 стр.

Полное издание мемуарных книг «На берегах Невы», «На берегах Сены», подборка стихов из семи поэтических книг Одоевцевой.

Татьяна Окуневская. Татьянин день. М., «Вагриус», 1998, 448 стр., 15 000 экз.

Автобиографическая проза известной кино- и театральной актрисы, прошедшей сталинские лагеря.

Б. Л. Пастернак. Избранное. М., «Гудьял-Пресс», 1998, 744 стр., 10 000 экз.

Издание составили: «Охранная грамота», «Люди и положения», «Доктор Живаго»; а также — «Избранные письма» (в этот раздел вошли неизвестные ранее письма Пастернака, помогающие представить жизненные обстоятельства, в которых шла работа над «Доктором Живаго»). Вступительная статья «Понятое и обретенное время» Евгения Пастернака.

К. Р. Великий Князь Константин Романов. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. Вступительная статья, комментарии Э. Матониной. М., «Искусство», 1998, 493 стр., 2000 экз.

Великий Князь Константин Константинович Романов (1858 — 1915) — поэт, композитор, переводчик, актер, президент Российской академии наук, создатель Пушкинского дома. Основной объем книги занимают извлечения из дневников, которые К. Р. вел с 1877 по 1915 годы; также в издание вошли: небольшая подборка стихотворений, отрывки из писем К. Р. к А. Ф. Кони и воспоминания А. Ф. Кони о К. Р.

Пьер Дрие ла Рошель. Жиль. Роман. Перевод с французского М. Н. Ваксмахера, М. В. Добродеевой, А. Н. Тюрина, И. П. Савенковой. СПб., «ИНАПРЕСС», 1997, 400 стр.

Впервые на русском языке классический французский роман 40-х годов Пьера Дрие ла Рошель (1893 — 1945).

Владимир Салимон. Новые стихотворения. М., Редакционно-издательский центр «Золотой век», 1988, 91 стр.

Седьмая книга стихов современного поэта; о Салимоне в нашем журнале писал Евгений Шкловский (1997, № 6).

Хармсиада. Анегдоты. Комиксы из жизни великих. СПб., Информационно-издательское агентство «ЛИК», 1998, 64 стр., 4000 экз.

Рисованная книжка на тексты Хармса художника Алексея Никитина; «Из жизни...» Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Гоголя. Послесловие «Быстрорастворимый Хармс» В. Сажина.

Е. Л. Шварц. Избранное. М., «Гудьял-Пресс», 1998, 638 стр., 10 000 экз.

Избранное составили: «Дракон», «Клад», «Тень», «Два клена», «Обыкновенное чудо», «Голый король», «Снежная королева», «Повесть о молодых супругах», «Золушка», «Дон Кихот».

В. Шекспир. Юлий Цезарь. Перевод Н. М. Карамзина, А. А. Фета, М. А. Зенкевича, А. Величанского. Составление, предисловие, комментарии А. Н. Горбунова. М., «Радуга», 1998, 302 стр., 5000 экз.

Антология русского перевода трагедии за два века.



Ф. Буслаев. О русской иконе. Общие понятия о русской иконописи. Репринтное издание. М., «Благовест», 1997, 206 стр., 10 000 экз.

Г. Вернадский. Русская историография. Составитель, научный консультант В. Н. Козляков. М., «Аграф», 1998, 448 стр.

Зимняя война. 1939 — 1940. В 2-х книгах. М., «Наука», 1998, 800 экз.

Книга 1. Политическая история. Ответственный редактор О. А. Ржешевский, О. Вехвиляйнен. 382 стр.

Книга 2. И. В. Сталин и финская кампания. Стенограмма совещания при ЦК ВКП(б). Ответственный редактор Е. Н. Кульков, О. А. Ржешевский. 295 стр.

Е. Краснощекова. Иван Александрович Гончаров. Мир творчества. СПб., «Пушкинский фонд», 1997, 496 стр., 1000 экз.

Дирк Кречмар. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970 — 1985 гг. Перевод с немецкого М. Г. Ратгауза. М., «АИРО-XX», 1997, 320 стр.

Работа немецкого историка о некоторых явлениях в истории русской культуры «времен застоя» — об идеологических проработках журналов «Новый мир», «Октябрь» и «Молодая гвардия» в 70-х и начале 80-х годов, об истории возникновения 3-й волны русской эмиграции, о «бульдозерной выставке» неофициальных художников Москвы, о ленинградском литературном «Клубе-81», об истории литературных альманахов «Метрополь» и «Каталог»; и т. д.

А. Ф. Лосев. Античная литература. Учебник для высшей школы. Под редакцией А. А. Тахо-Годи. М., «ЧеРо», 1997, 542 стр., 5000 экз.

М. Мамардашвили. Лекции по античной философии. Под редакцией Ю. Сенокосова. М., «Аграф», 1998, 312 стр., 3500 экз.

П. Флоренский. Сочинения. В 4-х томах. Т. 4. Письма с Дальнего Востока и Соловков. Составление, общая редакция игумена Андроника (Трубачева) и др. М., «Мысль», 1998, 796 стр., 5000 экз.

Е. А. Шиповская. Исповедь Рыцаря Света. Воспоминания. Публикация, предисловие и указатель имен А. Л. Никитина. М., «Интерграф Сервис», 1998, 184 стр.

Книжка вышла в малотиражной серии «Семейный архив. XX век»; свои записки, написанные в восьмидесятилетнем возрасте, педагог и певица Елена Аполлинариевна Шиповская (1901 — 1993) не предназначала для публикации, они писались для себя и для близких. Название книге дал публикатор. Одним из событий, многое определивших в ее жизни, стало ее посвящение, вслед за мужем, в «Орден Света», являющийся филиацией российского Ордена тамплиеров, основанного в 1920 году. В приложении приведены документы из следственного дела «Орден Света», по которому Шиповская проходила вместе с мужем.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА

«Арион», «Волга», «Губернский дом», «День литературы», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Коммерсант-Daily», «Континент», «Кулиса НГ», «Культура», «Литературная газета», «Литературная учеба», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-Религии», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета. Понедельник», «Новый журнал», «Общая газета», «Октябрь», «Постскриптум», «Россия», «Русская мысль», «Русский Телеграф», «Труд», «Фигуры и лица», «Хранить вечно», «Юность»

Федор Абрамов. Историческая беда России — мы раньше научились умирать, чем жить. Публикация и подготовка текста Л. В. Крутиковой-Абрамовой. — «Известия», 1998, № 86, 14 мая.

Фрагменты черновых записей к невоплощенному замыслу Федора Абрамова — исторической трилогии «Чистая книга». «Пафос вещи — что делать? Как помочь России? Людям? Сейчас, сегодняшним, живым или будущим, которых еще нет?» (из записи от 1 апреля 1978 года).

Елена Айзенштейн. Возвращение блудного сына. — «Нева», Санкт-Петербург, 1998, № 4.

Полемика со скандальной статьей Бориса Парамонова «Солдатка» об отношениях Марины Цветаевой с сыном Муром («Звезда», 1997, № 6).

Михаил Алексеев. Мой Сталинград. Роман. — «Наш современник», 1998, № 5. Вторая, заключительная книга военного романа. Печатается к 80-летию автора.

Борис Альтшулер. Эволюция взглядов Сахарова на глобальные угрозы советского ВПК. — «Независимая газета», 1998, № 90, 22 мая.

Изживание социалистических иллюзий. От «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968) до книги «О стране и мире» (1975). Автор статьи — член правления Фонда Андрея Сахарова.

Кирилл Анкудинов. У кошки четыре ноги. Стиховедческий памфлет. — «Литературная учеба», 1998, № 2 (март — апрель).

О верлибре — скептически, о рифме — с надеждой. Разрушение творчества. Всеволод Некрасов — «революция», о которой Михаил Айзенберг сообщил и которую никто не заметил.

См. также статью Кирилла Анкудинова «Внутри после. Особенности современного литературного процесса» («Октябрь», 1998, № 4). Цитата: «Внутри медленных катастроф тоже есть своя жизнь».

Дмитрий Бавильский. Война миров. (Сны как спасение от реализма). — «Постскрипtum». Литературный журнал под редакцией Владимира Аллоя, Татьяны Вольской, Самуила Лурье. Выходит три раза в год. Санкт-Петербург, 1998, № 1.

Персонажи: В. Шаров, В. Пелевин, А. Королев, М. Шишкин, А. Уткин. И зачем-то Тимур Кибиров. В подзаголовке пародируется название статьи Карена Степаняна «Реализм как спасение от снов» («Знамя», 1996, № 11).

Вадим Баранов. Все ли позволено Юпитеру, или К истории одних преждевременных похорон. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 6, март.

Полемика с Александром Солженицыным о Максиме Горьком (*весь номер «Кулисы»* посвящен 130-летию горьковскому юбилею).

Василий Белов. Как вообще можно жить без политики? Беседу вела Наталья Серова. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 7, апрель.

В Тимонихе, родной деревне писателя, умер последний мужик Фауст Степанович Цветков. Ни одного мужика, ни одной лошади. Три старухи.

Михаил Берг. Семидесятые годы — урок и укор. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 90, 22 мая.

Отклик на интересную подборку материалов о литературной жизни 70-х в журнале «Новое литературное обозрение» (№ 29). В частности, М. Берг полемически настаивает на том, что отечественному андерграунду в то время «прежде всего противостоял советский либерализм и традиционная эстетика таких журналов, как „Новый мир“ или „Знамя“. Здесь до сих пор любят вспоминать, как всей редакцией сопротивлялись давлению сверху, но о том, что именно они загнали в подполье несколько следующих за шестидесятилетиями поколений, предпочитают забыть». *Однако...*

Юрий Бондарев. Из «Мгновений». — «День литературы». Газета русских писателей. 1998, № 4, апрель.

«Разговор через закрытую дверь», «Страус», «Две фразы» — новые миниатюры из известного цикла.

Владимир Бондаренко. Дворянин из барака. Примечания к книге Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик». — «День литературы». Газета русских писателей. 1998, № 3, март.

Оказывается, «Бесконечный тупик» надо читать *буквально* — как актуальную патристическую публицистику.

Марк Борисов. Нефритовый голубь, или Житие Осипа Трезина, архитекта коллегии иностранных дел и сенатского. — «Нева», Санкт-Петербург, 1998, № 4.

Дебют питерского автора. Историческая повесть в тематическом номере «Невы» — «Петербург императорский».

Сергей Боровиков. В русском жанре. Из жизни пьющих. — «Знамя», 1998, № 3. Записи à la Розанов: алкоголь на Руси. Заметки в том же «русском жанре» на безалкогольные темы см. в «Новом мире» (1998, № 7).

Леонид Бородин. Этого не было. Рассказ. — «Юность», 1998, № 4.

Возвращение на родину. Детство, 1949 год.

Иосиф Бродский. Стихи. Перевод с английского Александра Сумеркина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 3.

Дословные подстрочные переводы семи стихотворений из сборника «So Forth» (N. Y., 1996) — «вспомогательное пособие для прочтения английских оригиналов».

Петр Вайль. Всё — в саду (Токио — Кобо Абэ, Киото — Мисима). — «Иностранная литература», 1998, № 4.

Авторская рубрика «Гений места» (см. также: 1995, № 2, 4, 12; 1996, № 8, 11, 12; 1997, № 6, 7, 11, 12; 1998, № 2).

Владимир Вейдле. Об умирании искусства. Вступительная статья Григория Поляка. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 4.

Статьи «русского европейца» Владимира Васильевича Вейдле (1895 — 1979), печатавшиеся в «Новом русском слове» в 1978 — 1979 годах, продолжают — через десятилетия — тему его знаменитой книги «Умирание искусства». Прогнозы автора, увы, оправдались.

О книге В. Вейдле см. подробную рецензию Ренаты Гальцевой («Новый мир», 1996, № 10).

Наталья Веселова, Юрий Орлицкий. Заметки о заглавии. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 1.

Поэтика заглавий в русской поэзии 80 — 90-х годов нашего века.

Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова. Вступление, подготовка текста, публикация и примечания В. М. Хрусталева и В. М. Осина. — «Октябрь», 1998, № 4, 5.

Военные записи 1914 — 1915 годов, принадлежащие двоюродному брату Николая II. Хранятся в Государственном архиве РФ.

Юрий Волков. Жена трюкача. Роман. — «Постскрипtum», Санкт-Петербург, 1998, № 1.

Из редакционного постскриптума: «Какие страсти — кто бы мог подумать — испепеляют интеллигентных на вид людей в этой непостижимой Москве!»

Владимир Воропаев. «Имею желание разрешиться и быть со Христом...». Кончина Гоголя как его завещание потомкам. — «Литературная учеба», 1998, № 2 (март — апрель).

Тайна смерти Гоголя. Взгляд позитивистский (с ума сошел) и христианский. «Я понимаю, что Гоголь сжег свое творение, и не понимаю плача С. Т. Аксакова и недоумения многих по поводу того, что Гоголь под конец своей жизни не остался прежним Гоголем, юмористом, а сделался истинным христианином» (из воспоминаний княжны Варвары Николаевны Репниной).

Рената Гальцева. Записки прихожанки. — «Континент», Париж — Москва, № 95 (1998, № 1).

Очерки церковно-общественной жизни, частично печатавшиеся в 1997 году в приложении к «Независимой газете» — «НГ-Религии».

Владимир Дегоев. Из архива великих иллюзий. — «Независимая газета», 1998, № 85, 15 мая.

Александр I и идея европейской безопасности. Акт о Священном союзе. Утопия и реальная политика. Загадочный русский император как великий антипод Наполеона.

Юрий Дружников. Техасские заскоки. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 4. Интересная жизнь в Техасе. См. также три рассказа Юрия Дружникова в нью-йоркском «Новом журнале» (№ 210). Автор живет в США.

Евгений Ермолин. Антикритика. Ответ Юрию Малецкому. — «Континент», Париж — Москва, № 95 (1998, № 1).

Спор критика с прозаиком, который недоволен своими критиками и критиками вообще.

Анатолий Жигулин. Лучше было бы умереть. Три рассказа. — «Знамя», 1998, № 3. Лагерная проза.

Андрей Забияко. Антиномии русского сознания: труд и праздность. — «Литературная учеба», 1998, № 2 (март — апрель).

А. Забияко — автор многих научных работ, учебника «История древнерусской культуры» (М., 1995). Журнал «Литературная учеба» готовит к публикации его эссе «Воля и власть», «Отчизна и чужбина», «Святое и падшее» и др.

Михаил Золотоносов. Зрелище преодоленной трудности. — «Московские новости», 1998, № 15, 19 — 26 апреля.

Новая книга Олега Чухонцева «Пробегающий пейзаж» (СПб., «ИНАПРЕСС», 1997) как событие. «Не потому, естественно, что он „лучший, талантливейший” или

никто, кроме него, не умеет писать стихи с рифмами. Просто от новых книг нормальных стихов нас уже почти отучили. И книга избранного (1959 — 1997), одетая в скромный, но фундаментальный переплет и наполненная стихами по эстетике своей ярко консервативными, с установкой на прозаическую повествовательность, местами напоминающими чуть ли не Исаковского с Твардовским, произвела впечатление прежде всего формальной честности. Это не *ничто*, маскирующее неумение выдержать требования к форме демонстративным отказом от соблюдения „поэтических правил“. Это именно „зрелище преодоленной трудности“ — сочетание установки на сообщение, на сюжет — с обязательством соблности все до одной формальности... **Простота**, которая в нынешней культурной ситуации уже кажется демонстративной, каким-то символическим и вызывающим жестом». Критик отмечает, что дилетантизм, облаченный в современную упаковку, во всех видах искусств исчерпан и победа *без борьбы* переходит к традиционалистам.

См. также «Опыт словарной статьи об Олеге Чухонцеве», принадлежащий перу И. Роднянской и сопровождающийся избранными стихотворениями Олега Чухонцева разных лет («Литературная учеба», 1998, № 2).

Михаил Золотонос. Графомания и интеллигенция. — «Кулиса НГ», 1998, № 9, май.

Обвинительный акт, предъявленный питерским критиком своим землякам: «Петербург не имеет права именоваться даже просто культурным городом». «Графомания» и (питерская) «интеллигенция» — синонимы. Журналы «Нева», «Звезда», «Постскриптум» — бастион шестидесятничества (*какой ужас...*). Довлатов и Бродский — культовые фигуры. Пристрастный разбор романа А. Наймана «Б. Б. и др.». К счастью, в Петербурге есть Николай Кононов, Виктор Кривулин, Александр Мелихов, Александр Покровский. «Новый язык — единственное, что может составить интерес». Среди прочего — остроумное наблюдение: «Для меня эссеистика — интеллектуальный петтинг. Глядят и тискают текст, но отказываются проникать внутрь, потому что боятся неудачи».

Наталья Иванова. Преодолевшие постмодернизм. — «Знамя», 1998, № 4.

Литературный процесс. «Преодолевшие постмодернизм» писатели уже не забавляются игрой, даже самой мрачной. «Маскарад окончен. Здесь гасят не свет, а взгляд».

Ирина Иловайская. Пасха 1998 года в России. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4219, 23 — 29 апреля.

«Во время полета (из Рима в Москву. — А. В.) я читала один из последних номеров журнала „Новый мир“ и в нем повесть Галины Щербаковой „Армия любовников“ (1998, № 2, 3. — А. В.). Вырисовывался образ России безнадежный. В жизни как будто ничего нет, кроме бездушного и бессмысленного секса и каких-то ущербных зародышей чувств с элементом извращения. Я с такой Россией не встречалась, и смущала меня мысль, что, может быть, я ее на самом деле не понимаю и удивляюсь ей так же, как языку, на котором разговаривают персонажи повести. К счастью, очень скоро мне вновь явилась та Россия, которую я как раз уже знаю и в которой, несмотря на все реальные трудности, все-таки преобладает свет».

Сергей Кара-Мурза. Обездоленные в СССР. — «Наш современник», 1998, № 4.

Перед миром два пути: «сосуществование разновидностей коммунизма» или «тоталитарный и единообразный фашизм» — иных проектов «не выдержит Земля». Автор опирается (или считает, что опирается) на наследие Антонио Грамши. Несмотря на антилиберальный пафос, настоятельно рекомендую статью всем заинтересованным читателям как одну из наиболее оригинальных попыток объяснить крах советского строя (дефицит образов).

К. Келли. Новые правила для новой экономики. Двенадцать принципов преспеяния в бурно меняющемся мире. Дайджест статьи из журнала «Wired» подготовил Александр Семенов. — «Знание — сила», 1998, № 4.

Перспективы и возможности сети *Internet*. Сетевая Экономика как глобальная перестройка нашей жизни. Сетевой экономический эффект. Тут же напечатана полемическая статья Антона Носика «Резиновый рынок и железная пята. Заметки на полях статьи К. Келли» о том, что «мир останется таким же скверным, какие бы технологические новинки ни придумал человеческий мозг». Среди прочего: «Сетевой эффект, работающий на корпорации Microsoft, неизбежно должен к 2000 году привести эту американскую фирму к статусу глобальной сверхдержавы, сосредоточившей в своих руках больше власти и денег, чем любое государство или правительство на свете. Серьезная проблема здесь состоит в том, что подобное накопление неконтролируемой и неограниченной власти в одних руках осуществляется абсолютно легальным рыночным способом и не может быть сдержано никаким законным противодействием».

Маруся Климова, Михаил Сидлин. Новый русский классицизм. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 8, апрель.

Интервью с художником — «покаявшимся модернистом» Тимуром Новиковым (недавно ослепшим в результате тяжелой болезни). Цитата: «Гитлер занимал крайне правильную эстетическую позицию. Политически он совершил немало ошибок (?! — А. В.), а эстетически Гитлер был абсолютно прав. Если бы вы посетили организованную им в 30-е годы выставку „Дегенеративное искусство“, где рядом с кубистскими скульптурами и авангардными картинами были выставлены портреты дегенератов, я думаю, вы абсолютно согласились бы с его эстетическими выкладками. Он выступал против картин, изображающих человека уродом. Вероятно, именно поэтому достижения эстетики времен Третьего рейха до сих пор действуют на людей завораживающе».

Алексей Кокотов. Необходимый Бенедиктов. — «Постскриптум», Санкт-Петербург, 1998, № 1.

«Заимствования» из Бенедиктова в творчестве Тютчева, Фета, Некрасова, Ходасевича, Заболоцкого, Пастернака.

Юрий Колкер. Седакова в анатомическом театре. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 1.

Глядя из Лондона: Ольга Седакова как поэт «второго ряда». См. также скептические заметки Юрия Колкера о поэзии Геннадия Айги («Новый мир», 1997, № 10). О творчестве Ольги Седаковой см. критическую статью Н. Славянского «Из полного до дна в глубокое до краев» («Новый мир», 1995, № 10).

Юрий Кузнецов. Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона. — «Наш современник», 1998, № 4.

«Слово о Законе и Благодати» (1038 год) — первое *именное* произведение русской литературы. Но жанр своей работы поэт Юрий Кузнецов определяет не как перевод, а как «сотворение со старославянского».

Александр Кушнер. <Отвечает на вопросы анкеты «МН»>. — «Московские новости», 1998, № 12, 29 марта — 5 апреля.

На вопрос «какие новые страхи появятся в XXI веке?» поэт ответил: «Мне кажется, с нас достаточно вечных страхов, преследующих человека из века в век. Страх одиночества, страх смерти, страх за близких, страх перед предательством, насилием... „Страх и трепет“, о котором писал Кьеркегор, — философский, метафизический страх, отличающий человека от животного. „Божий страх“, завещанный нам библейскими пророками; страшен человек, не знающий его».

Михаил Лайков. Гуляй, Украина! — «Москва», 1998, № 4.

Осень 1996 — осень 1997 годов. Душераздирающие сцены украинской «незалежності». С натуры: прозаик, автор романа «Возвращение в дождь» («Москва», 1996, № 6), живет на Украине, в Днепропетровской области.

Аугусто Лопес-Кларос. Интеграция против страданий. Перевод с английского Сергея Каменева. — «Знамя», 1998, № 4.

Сотрудник Международного Валютного фонда — за ограничение национальных суверенитетов и создание Мирового Правительства. Полемика со статьей Александра Неклессы «Конец цивилизации, или Зигзаг истории» («Знамя», 1998, № 1).

Лев Лосев. Великих поэтов больше не будет. Беседовал Глеб Шульпяков. — «Ex libris НГ», 1998, № 16, апрель.

Поэт, уже 22 года живущий в США, — о наступлении новой эры: «...может быть, великих поэтов не будет вообще и поэзия — пользуясь дурным сравнением — станет выполнять те функции, которые она выполняла, скажем, в классические времена Японии или Китая, когда была частью повседневных занятий образованного человека...» Тут же печатается рецензия Глеба Шульпякова на новую поэтическую книгу Льва Лосева «Послесловие» (СПб., «Пушкинский фонд», 1998).

Священник Александр Мень. Возможно ли иудеохристианство? — «Континент», Париж — Москва, № 95 (1998, № 1).

Текст выступления, записанного на магнитофонную ленту в 1973 году.

Анатолий Найман. Не быть не собой. Беседу вела Зоя Ершок. — «Новая газета. Понедельник». Ежедневник, 1998, № 15, 20 апреля.

Среди прочего — о шестидесятниках: «Пока не были шестидесятниками, их еще можно было различить в лицо».

Эрнст Неизвестный. Россия — это вам не «Титаник». Беседу вел Вячеслав Прокофьев. — «Труд», 1998, № 69, 15 апреля.

Среди прочего — о Церетели: «Это, бесспорно, исключительно талантливый человек. Не все у него удачно, что-то лучше, что-то хуже, как это бывает у всех. Я в свое время сильно пострадал оттого, что художественные советы, руководство постоянно оценивали мои работы. Поэтому я никогда не даю оценки работам коллег». Забавно, что те же слова мог бы, вероятно, произнести и сам Церетели о Неизвестном. Понятная корпоративная солидарность.

Андрей Немзер. Московская статья. — «Волга», Саратов, 1998, № 1.

О писателях московских и провинциальных, коллизиях реальных и надуманных. Кстати, тираж саратовской «Волги» в этом году — 700 экз.

А. Н. Островский. Из «Материалов для словаря русского народного языка». Костромская диалектная лексика. Вступительная статья Нины Ганцовской и Ольги Мараренко. — «Губернский дом». Историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал. Редактор Николай Муренин. Тираж 1500 экз. Кострома, 1998, № 1-2 (№ 26-27).

Фрагменты небольшого рукописного словаря, над которым драматург работал в 1850-х годах. Весь номер иллюстрированного «губернского» журнала посвящен 175-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского и одновременно 80-летию областной научной библиотеки, в фондах которой хранится наследие драматурга, в том числе прижизненные издания с автографами. Печатаются статьи, беседы, архивные документы. Среди прочего — родословная Островских, составленная А. Григоровым; духовное завещание Н. Ф. Островского (Щельково, декабрь 1852 года), отца писателя.

Борис Пастернак. Начало пути. Письма к родителям (1907 — 1920). Вступительная заметка, публикация и комментарии Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака. — «Знамя», 1998, № 4, 5.

Часть переписки поэта с родителями и сестрами. Из архива покойного Александра Леонидовича Пастернака.

См. также публикацию Елены и Евгения Пастернаков «В осаде» («Континент», № 95) — о борьбе вокруг опубликования «Доктора Живаго».

Людмила Петрушевская. К прекрасному городу. — «Общая газета», 1998, № 20, 21 — 27 мая.

Рассказ известной писательницы проиллюстрирован ее акварельным «Автопортретом № 2» — в шляпке.

Инна Пруссаква. Пришла ли пора занавешивать зеркала? Проза в толстых журналах. — «Нева», Санкт-Петербург, 1998, № 3.

В первую очередь о прозе «Нового мира» — А. Мелихове, А. Варламове, А. Уткине, А. Волосе, И. Поволоцкой, А. Наймане, А. Азольском.

Алексей Пурин. Лирика Гвидо Рени. — «Постскриптум», Санкт-Петербург, 1998, № 1.

Эссеистическая проза. Сначала — об итальянском живописце XVI — XVII веков. Далее — обо всем.

Вячеслав Пьецух. Счастливейший из смертных — это я. Беседу вела Елена Грандова. — «Культура». Ежедневная газета интеллигенции. 1998, № 13, 9 — 15 апреля.

«Я читаю толстые журналы и полагаю, что современная литература не только не слабее литературы 60 — 70-х годов, но в чем-то стала крепче, поизящнее, поумнее».

Валентин Распутин. «До могилы буду талдычить о душе, о совести...». Беседу вела Нина Степанова. — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1998, № 5.

На вопрос, почему он прекратил свою публицистическую деятельность, писатель ответил: «А кого, зачем сейчас убеждать публицистикой? Все встало по своим „позиционным“ местам, все определилось накануне... Накануне чего? И в этом — в одном или другом исходе — советы, назидания уже не помогут. Как в последний день перед выборами: агитация запрещена, да она уже и не нужна. Вступают в силу более могущественные законы, законы истории, энергия которых приведена в действие...»

Рустам Рахматуллин. Кумир не образ. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 8, апрель.

Москва: «кризис монументальной и городской скульптуры». Пути из тупика: «Первый и самый радикальный, как и самый утопичный, путь — отказ от всей традиции ан-

тропоморфных, зооморфных монументов и возвращение в средневековые восточное, где храм, часовня, крест — вот способы отметить память человека или случая... Второй путь — возвращение антропоморфных форм к стене и в стену, лучше в стену храма. Подчинение их архитектуре... В сущности, это лишь два пути в новое средневековье: православно-бескомпромиссный и компромиссный католически... Кумиров же пора остановить, и церетелиевский Петр — тот самый случай. История с его минированием значит, что ожившие кумиры пожелают крови. Для них у нас есть и Москва-река, и Днепр. Интеллигентам же, кричащим всякий раз о вандализме, нужно бы выучить еще слово — „идолоборчество”...»

Мария Ремизова. Большой пасьянс 97-го года. Взгляд на литературу через призму Букеровского жюри. — «Континент», Париж — Москва, № 95 (1998, № 1).

Критические разборы шести романов (из них — *четырёх новомирских*), попавших в финал Букеровской премии прошлого года. Только один роман из шести — «Любью» Юрия Малецкого, печатавшийся в «Континенте» и одобрительно рецензировавшийся в «Новом мире», — заставляет критика признать, что литература *жива*.

Мария Ремизова. Темные коридоры. — «Независимая газета», 1998, № 88, 20 мая.

О том, что новый роман Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» («Знамя», 1998, № 1, 2, 3, 4) — это «очень и очень специальный роман для очень и очень специального круга», а именно «для критиков, литературоведов, комментаторов и прочей служебной братии. Его интересно анализировать, раскладывать на составные части, рассматривать каждую из них в лупу — с ним интересно *работать*. Но сомнительно, что столь же чистое удовольствие от него способен получить *просто* читатель, раскрывающий книгу совсем с другой, далекой от утилитарных задач, целью».

О романе Маканина см. также статью Аллы Латыниной «Легко ли убить человека? Литература как великий вирус» («Литературная газета», 1998, № 17, 29 апреля). См. также статью Андрея Немзера в следующем номере «Нового мира».

В. Рогов. О переводе заглавий. — «Иностранная литература», 1998, № 4.

Рубрика «Трибуна переводчика». Казусы, конфузы, проблемы, решения. Тут же — статья И. Бернштейн «Английские имена в русских переводах».

Людмила Сараскина. Модный писатель в салоне и дома (версия П. Д. Боборыкина). — «Знамя», 1998, № 4.

Литературные нравы XIX века. Роман Петра Боборыкина «Жертва вечерняя». «Бобок» Достоевского.

П. В. Седов. «На посуле, как на стуле». Из истории российского чиновничества XVII века. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 4.

Взятка.

Валерий Сендеров. Евразийство в России — победившая идеология? — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4219, 23 — 29 апреля.

Полемика. Розовое эмигрантское евразийство 20-х годов и наше время. Сдвиг всего политического спектра в сторону «евразийского» этатизма. Россия — пока еще *европейская* страна?

Питирим Сорокин. Поездка на Север. Публикация, вступительная заметка и примечания Юрия Дойкова. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 3, 4.

Путевая проза известного «русско-американского» социолога. Поездка студента Петербургского университета П. Сорокина в 1911 году на Север. Записки были впервые опубликованы в «Вологодском листке» летом — осенью того же года.

Мария Станиславова. Государство и искусство. — «Независимая газета», 1998, № 64, 11 апреля.

Письмо в газету: «Самым логичным было бы совсем отказаться от государственных премий в эфемерной области муз и сосредоточить внимание на культурно-просветительских достижениях отечественной мысли. Оценить государственное значение Большой Российской Энциклопедии или серии телепрограмм по культурной и научной тематике можно гораздо адекватнее, чем поэмы или скрипичного концерта».

Диакон Даниил Сысоев. Похвала прозелитизму. — «Москва», 1998, № 4.

Не воевать с католическими и протестантскими миссионерами в России, но — нести истину Православия всем странам и народам.

См. также статью *православного американца* Лоуренса Юзелла «Пораженчество и полицейские методы» («НГ-Религии». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 1998, № 5, март). Цитата: «Православная Церковь привлекла меня глубиной молит-

венного делания, неприятием суеты и мелочности современной культуры, монашеской аскезой, прекрасным церковным искусством. Но мне всегда было странно слышать утверждения Московской Патриархии о том, что каноническая территория православия — это Россия. По-моему, это поражение. Весь мир — и мой штат Вирджиния, и Швеция, и Китай — каноническая территория православия, Церкви Христовой».

Александр Тимофеевский. Кающийся Грымов. — «Русский Телеграф», 1998, № 84, 16 мая.

Отклик на фильм Грымова «Му-Му»: нечто среднее между тургеневским рассказом «Муму» и... конфетой-тянучкой. Среди прочего: «Вода льется, муха жужжит, барская усадьба, как у людей, точь-в-точь из Тарковского с Кончаловским — кич, разумеется. Проблема в том, что кич был уже у Тарковского с Кончаловским, о чем когда-то не смели заикнуться, а теперь бесполезно — теперь нет иного кода изображения усадьбы, кроме кичевого».

Виктор Топоров. На полпути в неизвестном направлении. — «Культура». Еже-недельная газета интеллигенции. 1998, № 13, 9 — 15 апреля.

Злые заметки о Михаиле Кураеве в связи с выдвижением последнего на госпремию: «собрание сочинений писателя, расположенных в хронологическом порядке, могло бы выйти под лозунгом: тех же шей да пожизне влей. Впрочем, первые ши были столь хороши, а количество воды, которой писатель их разбавлял, было и остается настолько мизерным, что и сегодняшняя похлебка не лишена аппетитности».

Владимир Топоров. Не путайте интеллигента со специалистом. Беседу вел Юрий Буйда. — «Известия», 1998, № 90, 20 мая.

Первый лауреат новой литературной премии Александра Солженицына, академик В. Н. Топоров — о самом Александре Солженицыне: «Это огромное явление, хотя я и не разделяю точку зрения тех, кто называет его Львом Толстым современной отечественной словесности. Уже в те годы, вскоре по выходе „Одного дня Ивана Денисовича“, задолго до вынужденной эмиграции, он нарушал все табу, говорил о цензуре, о свободе слова — это было очень важно. Я не поклонник его романов вроде „Ракового корпуса“ или „В круге первом“ — в них избыток изобретательности, остроумия, „деланности“, что присутствует и в „Красном Колесе“, где, однако, он со страшной убедительностью говорит об обреченности старого режима, о том, что именно в феврале — марте семнадцатого года уже все было предрешено в судьбе России... „Архипелаг ГУЛАГ“ — вот книга века, это поистине потрясающее произведение. Явление другого рода — возвращение Солженицына в Россию. Думаю, сценарий этого возвращения был ошибочным. Да и то, что Александр Исаевич, едва вернувшись, с места в карьер обружал реформаторов, было не совсем тактично... Но, повторяю, значение его личности и творчества огромно, это для меня безусловно».

Александр Торин. Дурная компания. Роман. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 3, 4.

Из Израила — в Америку. Работа, нравы. Первое литературное произведение тридцативосьмилетнего автора, по образованию инженера, живущего с 1993 года в США и выступающего под псевдонимом.

Тэффи. После юбилея. Отрывки впечатлений и разговоров. Публикация и вступительная заметка Э. Нитраур и Б. Аверина. Примечания С. Князева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 3, 4.

Отрывочные мысли о Гоголе. 1952 год — русская эмиграция отмечает столетие смерти писателя. Тэффи — семьдесят девять лет, жить ей оставалось несколько месяцев.

Григорий Файман. Жена писателя. — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 1998, № 2, апрель.

Два письма 1946 и 1947 годов Веры Владимировны Зошенко (урожденной Кербиц, 1896 — 1981) к товарищу Сталину. Второе письмо — огромное. В защиту мужа-писателя.

Евгений Федоров. Кухня. Повесть. — «Континент», Париж — Москва, № 95 (1998, № 1).

Повесть «Кухня» (1956, 1997) примыкает к известному лагерному циклу «Бунт», но в него не входит. Один из персонажей повести — Кузьма есть реальное лицо, это интересный, но, к сожалению, малоизвестный прозаик Анатолий Иванович Бахтырев (1928 — 1968). Тут же напечатаны пять коротких рассказов А. Бахтырева (Кузьмы) из сборника, выпущенного крошечным тиражом в Израиле в 1973 году.

О прозе Евгения Федорова см. статью Д. Бака в «Новом мире» (1998, № 5).

Юрий Фельштинский. Тайна смерти Ленина. — «Новый журнал», Нью-Йорк, № 210 (1998).

Больной Ильич *не* просил яда у Сталина, Сосо сам постарался. Повар-отравитель.

Феликс Чуев. Самая длинная фамилия, или Глупо быть умным. — «Наш современник», 1998, № 5.

Беседы с тем самым «и примкнувшим к ним» Д. Т. Шепиловым — о Сталине, Хрущеве, Молотове и других.

Игорь Шайтанов. О сбывшемся и несбывшемся. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 1.

Пустыня современной русской поэзии. Критик надеется, что поэты еще почувствуют «неисчерпанность классических путей».

Варлам Шаламов. «Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни». Вступительная заметка Геннадия Иванова. — «День литературы». Газета русских писателей. 1998, № 4, апрель.

Два письма 1952 и 1956 годов к Пастернаку. Интересный разбор «Доктора Живаго». Оба письма можно будет увидеть в четырехтомном собрании сочинений Варлама Шаламова (составление, комментарии, текстологическая подготовка И. П. Сиротинской).

Владимир Шевченко. «Священная война» — эхо двух эпох. — «Круг жизни». Приложение к «Независимой газете», 1998, № 6, май.

О том, что текст песни, известной нам как «Священная война», написал не Лебедев-Кумач в июне 1941 года, а учитель мужской гимназии города Рыбинска Александр Бодэ (1865 — 1939) в мае 1916 года: «Вставай, страна огромная! / Вставай на смертный бой / С германской силой темною, / С тевтонской ордой! / Пусть ярость благородная / Вскипает, как волна, / Идет война народная, / „Священная война“!..» И так далее. Слова песни были вложены автором в обстоятельное письмо, отправленное им в декабре 1937 года... Лебедеву-Кумачу. Ответа Александр Бодэ не дождался.

Наталья Шубникова-Гусева. Поэма-загадка. — «Ex libris НГ», 1998, № 12, апрель. Есенин был знаком с масонством и полемизировал с ним в «Черном человеке».

Умберто Эко. Нонита. Вступительная статья Ричарда Темпеста. Перевод с итальянского Эллы Кушкиной. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 3.

Пародия на «Лолиту»: исповедь геронтофила.



ДАТА: 28 августа (9 сентября) — 170 лет со дня рождения Л. Н. Толстого (1828 — 1910).

Составитель Андрей Василевский.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Сентябрь

5 лет назад — в № 9 за 1993 год напечатана пьеса Андрея Платонова «Ноев ковчег».

20 лет назад — в № 9 за 1978 год напечатана повесть И. Грековой «Кафедра».

30 лет назад — в № 9 за 1968 год напечатан рассказ Виктора Некрасова «Дедушка и внучек».

70 лет назад — в № 9 за 1928 год напечатана поэма Э. Багрицко-го «Веселые нищие».

ПУШКИН

**103009, Россия, Москва,
Малый Гнездниковский переулок, д. 9, стр. 3Б
тел. (095) 236-2802, 236-2844, 236-2678
факс (095) 232-1431
e-mail: pushkin@russ.ru
russ@russ.ru**

Журнал «ПУШКИН» можно заказать в следующих оптовых фирмах:

— для регионов — ТОО «Фирма „ОДА”», тел. (095) 974-21-32;

— для Москвы — в оптовых магазинах ТОО «Логос-М», тел. (095) 974-21-31.

По вопросам распространения и подписки обращаться — raspros@russ.ru

НОВЫЙ МИР В INTERNET

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖУРНАЛ

<http://www.infoart.ru/magazine>

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «НОВОГО МИРА»!

Наш индекс 70636 в Объединенном каталоге «Подписка-99» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы также можете оформить *льготную* подписку на 1999 год непосредственно в редакции по адресу: Малый Путиковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. *Особые льготы* предусмотрены для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также для ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



Poetry of the issue is presented by new poems by Vladimir Kornilov and Olesya Nikolayeva, as well as new finds in the literary heritage of Yelizaveta Kuzmina-Karavayeva known as Mother Maria.

We are publishing four short stories under the common title «The Christmas Eve» by Irina Povolotskaya, short stories by Vyacheslav Pyetsukh and the belles-lettres and publicistic prose «The Seed Got between Two Millstones. Essays of Expatriation» by Nobel Prize winner Alexander Solzhenitsyn which continues the writer's famous book «The Calf Was Butting the Oak».

The section of publicistics presents the article «The Transcaucasian Knot» by Mark Feigin giving the history of the conflict between Armenia and Azerbaijan.

In the section «Publications and Reports» we continue to publish correspondence between Maxim Gorky and Iosif Stalin (materials from the archives of the President of the Russian Federation).

In the section «Far Nearness» we are publishing the end of the essay by Alla Marchenko dealing with the private relations between Russian poets Alexander Blok and Anna Akhmatova.

Literary criticism of the issue is presented by the article «The Reverse Perspective» by Vladimir Slavetsky and the notes «The Last Line» by Nikita Yeliseyev.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

И. о. главного редактора А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры **Н. Н. Замятина, Т. И. Филипова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.05.98 г. Подписано к печати 23.07.98 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 14570 экз. Зак. 4425. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

**ДО КОНЦА 1998 И В 1999 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНДРЕЙ БИТОВ. *Общество охраны героев* (повесть);
 МИХАИЛ БУТОВ. *Свобода* (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. *Гость случайный* (роман-эссе);
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. *Мария из Магдалы* (повесть);
 АНДРЕЙ ВОЛОС. *Первый из пяти* (маленькая повесть);
 ЯН ГОЛЬЦМАН. *Пустынные песни* (повесть);
 НИНА ГОРЛАНОВА. *Рассказы о чудесах*;
 ДАНИИЛ ГРАНИН. *Вечера с Петром Великим* (роман);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.
Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. *Пиночет* (повесть);
 НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. *Письма*;
 АНАТОЛИЙ КИМ. *Стена* (повесть невидимок);
 ОЛЕГ ЛАРИН. *Блудное лето* (сцены из захолустной жизни);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. *Новая повесть*;
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. *Нам целый мир чужбина* (роман);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. *Чернильный ангел* (повесть);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. *Театральный человек* (документальное
 повествование);
 ВИТАЛИЙ СВИНЦОВ. *Достоевский и пол*;
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. *Один в зеркале* (роман);
 АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. *Главы из книги «Угодило зер-
 нышко промеж двух жерновов. (Очерки изгнания)»*;
 ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. *Русская книга военных*;
 АНТОН УТКИН. *Самоучки* (роман);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. *Актриса и милиционер* (повесть);
- а также романы, повести, рассказы АНАТОЛИЯ АЗОЛЬСКО-
 ГО, ВИКТОРА АСТАФЬЕВА, АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, ФАЗИ-
 ЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА,
 ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, стихи АЛЕК-
 САНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯН-
 СКОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи,
 эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКО-
 ГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ
 ЕЛИСЕЕВА, АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА,
 АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, ИРИНЫ СУ-
 РАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**